

Н О В Ъ Й
М И Р

8

1956

8

Н О В Ъ Й
М И Р

8

1956

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 8

Август, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ | |
| АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — Репортаж с наплавного моста | 3 |
| — | |
| ВЛ. ЛУГОВСКОЙ — Та, которую я знал. Чимган. В сельской школе. Веснянка, стихи | 18 |
| ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Стихи из дневников (1938—1956 гг.) | 26 |
| В. ДУДИНЦЕВ — Не хлебом единым, роман | 31 |
| ЛЕВ КВИТКО — Стихи для детей. Переводы с еврейского Т. Спендиаровой, Павла Шубина, Ел. Благиной | 119 |
| СИЛЬВА КАПУТИКЯН — Тайное голосование, стихи. Перевод с армянского Веры Потаповой | 124 |
| ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Два стихотворения | 126 |
| Д. ГРАНИН — Собственное мнение, рассказ | 129 |
| В. ФИРСОВ — Война. О листьях, стихи | 137 |
| НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ | |
| ИВАН ФРАНКО — Стихотворения. Переводы с украинского Н. Заболоцкого и Леонида Хинкулова | 138 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — В Китае. Перевод с польского Е. Василевской | 143 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| ЕЛЕНА МИКУЛИНА — Год первый.. | 189 |
| Трибуна писателя | |
| ДРАМАТУРГ И ТЕАТР. Разговор в редакции. Алексей Арбузов. Драматург должен вернуться в театр. — А. Штейн. О грехах своих и грехах чужих. — В. Розов. Дело, конечно, не в должности. — Ю. Чепурин. Как я расстался с Театром Советской Армии. — А. Караганов. Бунт против режиссуры? — А. Анастасьев. Друзья, а не противники. — В. Плучек. Арбузов ошибается! — А. Арбузов. Возражения оппонентам. — Наше мнение. | 198 |
| ДНЕВНИК ИСКУССТВ | |
| Кандидат архитектуры Г. БОРИСОВСКИЙ — О красоте и стандарте | 223 |
| (См. на обороте) | |

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

| | Стр. |
|---|------|
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| Л. ДЕНИСОВА, В. ЖДАНОВ — Модернизация и произвол в освещении прошлого | 237 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| Лев Славин. Большое в малом. — Г. Владимов. Тридцать три дня в Америке. — Мих. Брагин. Биография героя. — Юрий Яковлев. Для детей и для взрослых. — А. Берестов. Плохая книга о досуге рабочего человека. — В. Афанасьев. Новый библиографический справочник. — Радий Фиш. Поэзия Орхана Вели. | 250 |
| <i>Политика и наука</i> | |
| Полковник С. Козлов. Неполющенный труд о великой победе. — Кандидат геолого-минералогических наук И. Батюшкова. Отец русской геологии. — Сергей Марков. Следопыт Дальнего Востока. — Доктор исторических наук профессор Н. Воронин. Открытия советских археологов. — Ю. Ефремов. Природа Северо-Восточного Китая. | 265 |
| ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО | |
| Проф. Б. Реизов. Почему Стендаль назвал свой роман «Красное и чёрное»? — Л. Светлов. Забытый писатель и публицист. | 275 |
| РЕПЛИКИ | |
| Наири Зарян. О гостях и гостиницах. — Василий Казин, проф. И. Розанов, С. Фомин. Почему не издаётся поэт Александр Ширяевец? | 280 |
| МЕЖДУ ПРОЧИМ... | |
| С. Лурье, библиотекарь, Н. Ильина. В мире чудес. — А. Я. Что же такое юмор? | 282 |
| КОРОТКО О КНИГАХ | 284 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 |

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

★

РЕПОРТАЖ С НАПЛАВНОГО МОСТА

(Бесконфликтный очерк с прологом и эпилогом)

Пролог

Весь день от посёлка шли люди. Сотни людей. Оживлённая пёстрая толпа, одетая по-праздничному, текла по дороге. По крутому спуску к реке, мимо серых бетонных стен, мимо рыжих отвалов земли — к мосту. Отцы несли на плечах ребятишек, матери катили перед собой детские коляски.

У самой эстакады произошла заминка. Наряд милиции остановил людской поток. Пока женщины переругивались с высоким, статным полковником, несколько мужчин на лодках, а то и вплавь перебрались на другой берег. Они разыскали начальника строительства и рассказали ему, что их семьи не могут пройти к мосту. Начальник приказал пропустить.

Люди расположились на берегу, усадив впереди себя детей и стариков. Сидели час, второй, третий, терпеливо чего-то поджидая. Было воскресенье, и ждать можно было, сколько угодно.

Солнце поднималось всё выше. Начинался душный, знойный день, но с реки веяло прохладой. Более предусмотрительные захватили из дому еду и теперь делились ею с другими. У буфета, разместившегося в походной палатке, очередь не уменьшалась.

С берега мост был виден, как на ладони. Река неслышно пробегала под ним, и вода спадала тугим валом, который разбивался ниже моста на изумрудные волны с белыми гривами. Точь-в-точь морской прибой!..

Солнце уже освещало спины людей, но никто не уходил. Наоборот, народу стало ещё больше.

Кто первый?

Ровно в семь часов вечера самосвал, доверху нагружённый камнем, осторожно съехал по деревянному настилу на мост. Мост мягко качнулся, прогнулся и распрямылся — машина прошла дальше. Мы успели заметить, что управляет ею молодой водитель в красной спортивной майке.

С берега спустился второй самосвал. За ним третий, четвёртый... Началось!..

— Кто это? Кто первый съехал на мост? — заволновались корреспонденты. Каждый хотел побыстрее узнать фамилию этого водителя, чтобы передать по телефону в свою редакцию.

— Пишите: Евгений Боклин, — авторитетно заявил высокий юноша в очках, представляющий областной газету.

— Вы знаете его?

— А вот, — высокий достал из кармана блокнот, — у меня есть список лучших водителей, утверждённый парткомом. Первым стоит знатный шофёр Е. Боклин. Значит, это он и есть.

Уже седьмая машина съезжала на мост, когда тот самый, выдвинувшийся вперёд самосвал достиг середины, задрал свой кузов, и первые тонны камня обрушились в реку, подняв фонтаны светлых брызг. Потом он развернулся и поехал обратно к берегу. Я догнал машину и вскочил на подножку. Водитель открыл дверцу кабины.

— Здравствуйте, товарищ Боклин!

На меня удивлённо смотрели серые глаза.

— Машина Боклина на мосту. Моя фамилия Гавазюк.

Как же так? Ведь список избранных, составленный начальством, возглавлял Боклин. А Гавазюка в списке вообще не было. Может быть, я перепутал машины, смешавшиеся на мосту? Нет, именно этот водитель в красной спортивной майке был впереди колонны.

— Как же вы стали первым?

— Ещё неизвестно, кто будет первым, — сухо ответил шофёр.

Разговор не получался. Гавазюк, казалось, задетый тем, что его приняли за другого, подчёркнуто сосредоточенно управлял рулём и рычагами. Самосвал проехал мимо бетонных кубов, которые, как груды огромных фанерных ящиков, были навалены на берегу; затем свернул направо и покатил между двумя невысокими холмами, сложенными из камня. Ещё поворот, и самосвал встал в очередь машин перед экскаватором. Гавазюк заглушил мотор и откинулся на спинку сиденья.

Нет, Гавазюк вовсе не был обижен. Его переполняло совсем другое чувство, причём настолько, что для других переживаний просто уже не оставалось места. Это была радость. Молодое, чуть скуластое лицо так и светилось ею. И, конечно же, парень был доволен, что рядом неожиданно появился человек, готовый выслушать его.

Гавазюк заговорил возбуждённо и сбивчиво:

— Я сразу решил, что буду первым. Ещё давно... Сколько ждали этого дня!.. Там список составили, меня, конечно, нет. Я не лучший — средний. Но я знал, всё равно буду первым! И вот команда: в семь начинаем. Я скорей под экскаватор. А дальше — вы сами видели... Теперь надо быстрее реку перекрыть, чтобы сердце успокоилось. Вон народ-то наш весь, ждут не дождутся...

Стоявшая впереди нас машина рывками продвигалась дальше, Гавазюк неотступно следовал за ней.

Ковш экскаватора «Уралец» размеренно опускался и поднимался, зачерпывал камни, проплывал по воздуху и, повиснув на секунду над кузовом машины, с грохотом ссыпал свой груз вниз. Всё шло, как по конвейеру. Передняя машина освободила место под ковшом. Гавазюк быстро и точно поставил самосвал. Тем временем экскаватор уже успел зачерпнуть новую порцию камня. Оглушительная бомбардировка где-то позади нас, кабинка на мгновение ушла из-под ног.

— Ну-ка, подсыпем вторую порцию! — Гавазюк дал газ, машина рванулась с места.

Самосвал обогнул каменный холм и направился к мосту. От моста снова к экскаватору. Так мы сделали пять или шесть кругов. Гавазюк управлял машиной со страстным нетерпением, целиком отдаваясь её быстрому бегу. Но на пути то и дело возникали очереди, и тогда на лице водителя появлялось выражение беспредельного отчаяния.

Разговор шёл с переменным успехом. Узнав, что говорит с корреспондентом журнала, Гавазюк, как это часто бывает с живыми героями наших очерков, подтянулся, как бы сразу окостенел и начал выкладывать готовые для печати фразы, где-то когда-то вычитанные: «Перекроем Ангару-

матушку!», «Померяемся с ней силёнками, посмотрим, кто кого возьмёт!», «Заставим красавицу Ангару послужить советскому человеку!» и так далее в том же роде. Мне почудилось, что из штампованной корреспонденции вдруг вышел этакий знакомый, старательно отшлифованный ходульный образ.

Трудно было согласиться, что таков Федя Гавазюк на самом деле. Несмотря на свою молодость, это человек, давно и твёрдо стоящий на ногах, имеющий хорошую специальность, неплохие заработки («И по шесть тысяч доводилось получать»), с житейским опытом, глава семьи («Жена сейчас в декретном, как раз подгадала под новый Указ правительства»).

А его горячий молодой азарт, с которым он отдаётся работе? А сказанное вскользь, но с явной горечью: «Я не лучший — средний»?.. Конечно же, Гавазюк не был таким, каким он вздумал представить себя корреспонденту, подражая известным ему литературным образцам.

И вот слово за слово наша беседа приобрела душевный оттенок. Передо мной был живой человек, со своим строем мыслей, со своими стремлениями и мечтами, со своими поступками. Взять хотя бы то, что произошло перед тем, как Гавазюк, не посчитавшись с пожеланием руководства, не захотел оставаться безучастным свидетелем сегодняшнего события.

Вот как это было.

Фёдор давно ждал «главного случая» жизни. Уже несколько лет он работал на стройке, возил на самосвале гравий, бетон. Дни шли за днями монотонной чередой, и всё думалось: это ещё не настоящая работа, она где-то впереди.

Так продолжалось до тех пор, пока не началась подготовка к перекрытию Ангары. Казалось, ничего не изменилось, попрежнему экскаваторы грузили камень в машину, водитель сбрасывал его в определённом месте на берегу. Как и раньше, Гавазюк проделывал всё это с той же старательностью. А потом вдруг пришла в голову мысль: «Вот он, долгожданный случай отличиться на работе!»

Никакого конкретного плана у Фёдора не было. Он узнал, что уже составлен список водителей, на долю которых выпала честь первыми сбросить камни на дно реки, и что фамилии Гавазюк нет в этом списке. Это ничуть не обескуражило его, наоборот, лишь прибавило озорной решимости.

И вот Фёдор стоит в группе товарищей, окруживших своего начальника, Шуликовского, слышит, как тот говорит, что в 19 часов решено начать отсыпку каменного банкета с наплавного моста. Сердце тревожно стучит в груди. Посмотрел на часы: половина седьмого.

Гавазюк осторожно выбрался из плотной толпы водителей. И во-время. Выслушав указания Шуликовского, все бросились к будке диспетчера за путёвками. Гавазюк бежал первым, но его всё же опередил кто-то, кажется, Боклин. Вот он широкой, размашистой походкой уже идёт с путёвкой в руке к машине, открывает дверцу кабины. Больше Гавазюк ничего не видел — энергично работая руками, он побежал что было сил к своему самосвалу. Включил мотор, прямо с места взял вторую скорость. Выехав на дорогу, Гавазюк увидел самосвал Боклина. Тот не спешил, зная, что стоит в списке первым.

Машинисту экскаватора тоже не терпелось начать работу. Ковш, наполненный камнем, уже висел наготове над дорогой. Гавазюк первым получил груз.

Въезд на мост был свободен. Там стоял Шуликовский. Он поднял красный флажок — оставалось ещё четыре минуты. Следом подъехал Боклин и — делать нечего — встал в хвост.

Ровно семь. Взмах зелёным флажком — и самосвал Гавазюка осторожно съехал по деревянному настилу на мост.

Начался «главный случай» Фёдора Гавазюка..

Заходили, задымили пятитонные самосвалы, обрушивая в Ангару потоки камня. А река, вскипая на секунду радужными фонтанами, снова смыкала свои воды, и изумрудный вал попрежнему падал за мостом, только крутизна его стала чуть больше.

Сотни людей сидели и стояли на берегу и любовались красивой, слаженной работой множества машин. Солнце опустилось за гребень плотины. На мосту загорелись мощные лампы, вспыхнули прожекторы на высоких мачтах. Лучи пронзили прозрачную воду, и дно реки засветилось мягким жёлтым светом.

На исходе был четвёртый час с начала работ. На щите появилась первая сводка. Впереди всех шёл Е. Боклин, сделавший 43 рейса, за ним В. Бородий — 42 рейса. Третьим был Ф. Гавазюк — 41 рейс.

— Трубка лопнула, — оправдывался Гавазюк. — На замену ушло тринадцать минут, как раз два рейса.

Он вывел машину на берег. Я соскочил с подножки, огорчённый за своего героя.

— Ещё неизвестно, кто будет первым, — бросил Гавазюк вдогонку и остервенело нажал на акселератор, давая полный газ.

Как перекрывают реки

В каждом строительном процессе есть как бы своя критическая точка, достигнув и преодолев которую, строители поднимаются на новую, высшую ступень работы. У домостроителей, скажем, такая точка — возведение дома под крышу; у строителей мостов — навеска последнего пролёта. Пусть дом ещё не готов, ещё когда-то появятся в нём новосёлы, но раз есть крыша, работы идут веселее. Ещё не скоро откроется движение по новому мосту, но уже быстрее идёт доставка строительных материалов, берега будто стали ближе один к другому.

У гидростроителей тоже есть своя критическая точка. Это — перекрытие русла реки.

Долго, исподволь готовится это дело.

Ещё в 1951 году начали строители Иркутской ГЭС наступление на реку. Направление главного удара развивалось с левого берега. Пойма Ангары раскинулась здесь на два с лишним километра, река текла шестью протоками, образуя острова.

Шаг за шагом строители отвоёвывали у реки её владения. Одна за другой были засыпаны мелкие протоки, огорожен надёжными перемычками котлован под здание гидроэлектростанции. Островная часть плотины стала набирать высоту. 14 июня 1954 года в котловане был уложен первый кубометр бетона.

Для плотины решили использовать местный строительный материал — гравий, который в обилии был вокруг. Бульдозеры срезали травянистый покров с островов, ковши экскаваторов загребали гравий и грузили его в кузова огромных двадцатипятитонных самосвалов, присланных в далёкую Сибирь из Минска. Незаметно таяли острова в пойме, а плотина поднималась всё выше, достигая тридцатиметровой высоты.

Левый берег всё ближе подступал к правому. Их разделяли вскоре восемьсот, затем пятьсот метров. Река, сжимаемая строителями, убистряла свой бег, глубже промывала русло. Шли месяцы. Всё ближе сходились берега реки. Расстояние между ними уже только 350 метров. Потом 200, 180 метров... И тогда инженеры сказали:

— Стоп! Дальше отсыпать плотину нельзя.

В самом деле, течение реки возросло настолько, что дальнейшее сужение протоки могло вызвать нежелательные явления — катастрофический рост скорости, преждевременный подъём воды в верхнем бьефе.

Что же делать? Ведь правая и левая части плотины всё-таки должны соединиться.

Строители поступают так. Они открывают реке другой путь, там, где гидротехнические сооружения уже готовы и где положено идти воде, чтобы дать электроэнергию.

До сих пор здание гидроэлектростанции возводилось в сухом котловане, отделённом от реки перемычками. Теперь оно выросло настолько, что бетонные стены его поднялись выше уровня реки. Значит, можно разобрать перемычки, затопить котлован, открыть затворы в здании ГЭС и дать дорогу реке.

Но и в этом случае река не уйдёт со старого пути. Течение её раздвоится, и только. Надо заставить реку пойти по новой дороге, закрыв старое русло. Для этого, в стороне от плотины, поперёк реки протягивается понтонный мост. Теперь всё готово к перекрытию.

Перекрытие реки — труднейший экзамен всему коллективу строителей, оценка многолетнего труда тысяч людей.

Есть ещё одна особенность в процессе перекрытия реки. До этого все изменения, совершавшиеся на строительных площадках, происходили постепенно, почти незаметно для глаза специалиста. Можно приехать на стройку через месяц-два, и окажется, будто ничего не изменилось на ней: всё так же бегут по дорогам самосвалы, поворачиваются, загребая землю, корпуса экскаваторов, размеренно двигаются стрелы порталных кранов. Разве только бетонные стены поднялись за это время на метр-другой, а плотина продвинулась ещё дальше вперёд. Да и этого не заметишь на глаз.

Я был на строительстве Иркутской ГЭС осенью 1952 года. Конечно, теперь, в июле 1956 года, нельзя было не увидеть огромных перемен. Но ведь и четыре года — не малый срок.

Иное дело — перекрытие. Стройка меняется на глазах, в течение нескольких часов. Величественное, захватывающее зрелище!..

Итак, котлован Иркутской ГЭС готов к затоплению.

Когда же начнётся перекрытие?

И тут в самый последний момент обнаруживаются сотни недоделок в котловане. Приёмная комиссия придирчиво простукивает каждый метр бетона, проверяет места соединений, пробует щиты, затворы, люки. Директор будущей гидроэлектростанции то и дело замечает неисправности и тотчас же является к начальнику строительства:

— В четвёртой секции на седьмом блоке плохо заделаны пазы между плитами-оболочками. Прошу зацементировать.

Начальник строительства клянётся, что он только-только оттуда и своими глазами видел — пазы зацементированы.

Директор гидростанции в сотый раз повторяет:

— Конечно, вам что. Вы построили станцию, сдали её по актам и поехали на новую стройку. А мне здесь до конца жизни работать.

Начальник строительства уверяет, что он не формалист и не меньше директора заинтересован в качестве работ.

— Там же всё в порядке.

— Не сделаете — не подпишу акт.

Последние слова обладают магической силой. Строители начинают заделывать пазы. Тем временем директор станции в поте лица карабкается по головокружительным крутым лесенкам, пробирается по шатким

настилам, лазает на корточках по галереям, и, пока строители ликвидируют старые недоделки, он находит новые. Снова бежит к начальнику строительства:

— Люки не герметичны. Они пропустят воду.

Всё начинается сначала.

Первоначальные сроки затопления котлована отодвигаются дальше. Назначаются другие, потом третьи даты. Отношения между дирекцией станции и руководством стройки накаляются до предела.

Так было в 1955 году на строительстве Куйбышевской ГЭС. Сначала предполагалось перекрывать Волгу в августе, затем в сентябре. Наконец был установлен окончательный срок — 20 октября.

Большая группа московских корреспондентов приехала на стройку. Повсюду — на дорогах, в котловане, на щитах, на бетонных быках, на корпусах машин — были плакаты и транспаранты: «Подготовим котлован к затоплению 20 октября». «Строители! 20 октября сюда придёт волжская вода!» При этом явно заметно, что двойка на призывах переправлена из единицы.

Мы ходим по котловану, читаем подправленные плакаты и с упрёком смотрим на календарь, который показывает 22 октября.

23 октября. Призывы попрежнему висят. Никто не решается их снять, чтобы не расхолаживать рабочих. И лишь на следующий день приступили к затоплению котлована.

Примерно так же развёртывались события на Ангаре. Ещё в середине июня, собираясь в дальнюю дорогу, я позвонил в министерство. Осторожный сотрудник не сказал мне ничего определённого, но всё же посоветовал лететь на самолёте: «На поезде рискуете не успеть к началу».

На месте положение прояснилось не больше. Соответствующих плакатов нигде не видно. Местные газеты обходят дату, искусно используя весьма расплывчатое слово «скоро». Не желая попадать впросак, инженеры тоже не называют точного срока. День, в который начнётся затопление котлована, держится в глубочайшей тайне, как на фронте час начала штурма вражеской обороны. Может быть, это и лучше, чем широковещательные призывы, отставшие от календаря, но всё же не очень утешительно.

В чём же, хотелось бы знать, причины задержки? На такой нескромный вопрос следует весьма дипломатичный ответ:

— Нас держит железная дорога. Старая ветка дороги от Иркутска до станции порт Байкал будет затоплена нашим водохранилищем. Через горы проложен новый путь, но железнодорожники никак не принимают его от строителей: что-то у них там не ладится, совсем недавно сошёл с рельсов товарный состав.

Наш собеседник продолжает:

— Кроме того, нас держит водонасосная станция города Иркутска. Старая будет затоплена, а новая ещё не закончена.

— Выходит, сам котлован готов к затоплению?

— Почти что так, — отвечают уклончиво. — Остались пустяки. Несколько тысяч кубометров пускового бетона. Не они нас лимитируют.

— А дирекция ГЭС? Она не имеет никаких претензий на качество работ?

— Что вы! Мы живём в дружбе. Комиссия работает, это верно, но никаких конфликтов не наблюдается. Нет, нет, не ходите к ним, они страшно заняты...

Тем временем где-то в самых потайных закоулках огромного здания гидроэлектростанции энергично действует комиссия, о которой так неохотно говорят строители. Не без её, видимо, участия дело приближается к благополучному концу.

Вот-вот наступит знаменательный день перекрытия.

Сначала надо раскрыть перемычки

Из котлована убирают всё лишнее, отслужившее свой срок, — краны и столбы, трансформаторные будки и домики прорабов, строительный мусор и провода. Котлован постепенно открывается взгляду в виде строгих прямых линий, с красивыми выступами на основании, с геометрически правильными, плавно закругляющимися к выходу стенами, со стройными высокими быками. Всё становится похожим на чертёж, каким он был задуман проектировщиками.

3 июля 1956 года. Котлован очищен, тщательно подметён. Подходит решающая минута, после которой уже нельзя будет передвигать сроки. Главный механик строительства Батенчук даёт команду:

— Прекратить подачу энергии к насосам!

Размеренно чавкающие насосы затихают. Всхлипывают в последний раз и останавливаются. Прекратились водопады из жерл огромных труб, которые сбрасывали откаченную воду обратно в реку.

Мутные струи просачиваются сквозь перемычки и сбегают небольшими журчащими ручьями к центру котлована. На дне его появляются лужи, они сливаются друг с другом, становятся широкими.

Тем временем экскаваторы начинают разбирать низовую перемычку. Стрелы их то сходятся, то расходятся, ковши уносят гравий в стороны. Перемычка становится всё уже и уже.

Рано утром 7 июля сделана первая брешь. Поток ангарской воды прорывается в котлован. Вода лижет бетонные быки, плещется у боковых стен. Проходит час, и она успокаивается. Внутри котлована — большое озеро. Теперь лишь верховая перемычка преграждает новую дорогу Ангаре.

Под вечер того же дня настал и её черёд. Ковши двух шагающих экскаваторов сделали узкую прорезь. Светлые потоки воды хлынули в мутное нижнее озеро, резко выделяясь на воде голубым языком. Ещё какую-то долю секунды вода бурлила, ходила волнами, водоворотами, но вот светлый язык вытянулся, на поверхности его появились тёмные мускулистые струи, он дошёл уже до здания станции и устремился в проходы между быками.

Брешь в перемычке заметно увеличивалась. Сделав несколько взмахов ковшами, экскаваторы еле успевали уходить от края обрыва. Перемычка честно выполнила свои обязанности. Пять лет защищала она строителей от напора реки. Теперь, получив волю, Ангара беспощадно расправлялась с нею. Река входила в прорезь, как в воронку, и раздвигала её. Глыбы слежавшегося гравия тяжело сползали в воду и бесследно исчезали в потоке.

В двенадцатом часу ночи главный механик строительства Батенчук приехал ещё раз на верхнюю перемычку. Он стоял у края обрыва, наблюдая за рекой и за работой машин. Блестящий в лучах прожектора ковш экскаватора падал в воду, поднимая каскады брызг, и через некоторое время выползал наружу, наполненный гравием. Экскаватор поворачивался, ковш плыл по воздуху к отвалам, и путь его обозначался тонким пунктиром, быстродвигающимся по реке, — это падали сверху мелкая галька и капли воды.

— Эй, берегись, отойди! — услышал Батенчук за своей спиной. Он оглянулся и увидел плечистого, рослого рабочего, помощника машиниста, подходившего к обрыву.

— Что, рушится? — спросил Батенчук, делая шаг назад.

— Ещё как, Евгений Никанорович! Всё время пятимся.

— Метров шестьдесят уже есть, — прикинул на глаз Батенчук. — Ещё немного, и можно начинать на мосту. Смотрите за механизмами, чтобы не стоять ночью.

— Сейчас стоять грех. Нечасто такой калым бывает.

— То-то же! — Батенчук весело переглянулся с помощником машиниста и даже, показалось мне в темноте, задорно подмигнул ему. Истинный смысл этого переглядывания стал мне ясен позже, когда Батенчук рассказал, что же подразумевали экскаваторщики под словом «калым».

Всю ночь работали экскаваторы, и река помогала им. Всё шире становился поток, устремившийся под здание гидроэлектростанции.

Когда в воскресенье утром люди пошли к мосту, они увидели с высокого берегового откоса две реки. Одна, как и раньше, бежала под наплавным мостом, а другая катила свои воды там, где ещё вчера можно было пройти посуху по перемычке.

Теперь дело было за наплавным мостом.

В шесть часов вечера начальник строительства Бочкин созвал совещание. В наше время, когда так выросла «культура» всевозможных долгих заседаний, может быть, и не стоило бы говорить ещё об одном из них. Но то, о котором сейчас идёт речь, было особенным. Несмотря на всю важность принимаемого решения, оно продолжалось всего двенадцать минут!

Главный инженер строительства Моисеев сообщил о расходах воды через здание ГЭС и под мостом, ширине прохода в перемычках, о разнице в уровнях воды перед зданием ГЭС и за ним, выше моста и ниже его. Инженер говорил языком цифр, понятным всем собравшимся. Вывод: обстановка созрела для того, чтобы пустить Ангару в новом направлении.

Слово за руководителями участков.

— Пятьдесят МАЗов стоят наготове. Ждём сигнала, — докладывает Шуликовский.

— Экскаваторы в исправности. Экипажи на местах. Бесперебойность работы механизмов обеспечена, — рапортует Батенчук.

— Крановщики готовы начать работы, — встаёт Фесенко.

Решение принято: в 19.00 начать отсыпку банкета. Все расходятся по местам. Батенчук собрал вокруг себя экскаваторщиков, механиков. Забравшись на бетонный куб, Шуликовский объясняет задачу водителям самосвалов. Слушая его, водители нетерпеливо поглядывают на будку диспетчера — там они получают путевые листы на машины.

Батенчук сказал всё, что хотел. Экскаваторщики влезают в кузов грузовика и уезжают к своим машинам. Шуликовский тоже отпускает водителей, и они толпой устремляются к диспетчерской будке. Впереди всех бежит молодой водитель в красной спортивной майке. Кто-то обгоняет его и первым встаёт у окошечка.

Корреспонденты, кинооператоры спешат на мост.

Люди на мосту

Хороший мост сделали строители. Из Улан-Удэ, вниз по Селенге, через Байкал, вниз по Ангаре речники привели караван из пятнадцати цельнометаллических барж. Их соединили прочными связями, сделали по ним широкий настил, закрепили тросами.

Десятки машин восьмой час работают на мосту. Связи моста надсадно скрипят. Тросы дрожат мелко и часто.

Мост прочен и гибок. Он перекачивается длинными волнами под тяжестью машин, баржи колышутся на воде.

Рёв моторов мешается с шумом реки. Из выхлопных труб самосвалов бьёт едкий сизый дым, окутавший мост, и тени машин, освещаемые прожекторами, двигаются словно в тумане. Машин так много, что, кажется, остановить их невозможно и неминуемо столкновение. Но нет, почти впритирку одна к другой они расходятся в разные стороны, уступают дорогу новым машинам, съезжающим с берега. И вдруг на тебя нисходит

прозрение — начинаешь понимать, что этот напряжённый ритм есть не что иное, как нормальное состояние работы.

Да, на мосту всё спокойно. Спокойно стоит Шуликовский, направляя на мост машины. Спокойно взмахивают флажками регулировщицы, давая водителю знак, где сбрасывать груз. Спокойно лицо главного инженера Моисеева, который смотрит, как ложатся камни на дно реки.

Это внешнее спокойствие достигается за счёт огромного внутреннего напряжения людей, работающих на мосту. И вот что удивительно: эти усилия почти невозможно заметить. Разве только в глубине глаз водителя, осторожно подводящего машину к кромке моста. Разве только в торопливых движениях сварщика, который спешит на пятый сцеп, где лопнула тяга. Разве только в отрывистых фразах Моисеева, приказывающего увеличить интенсивность движения машин.

Зато какой тревожный, драматический вид у пожарника! Высокий, сутулый, в полном пожарном одеянии, с топориком за поясом, он ходит по мосту, вытянув шею, словно нюхает воздух, и смотрит на всех с таким видом, будто в карманах у нас по меньшей мере портативные зажигательные бомбы, специально приготовленные для такого случая.

Один самосвал неточно встал у предохранительной кромки. Энергичным взмахом флажка регулировщица посылает его вперёд. Машина отходит на несколько метров и снова пятится назад. Опять не туда, куда нужно. Регулировщица в третий раз взмахивает флажком. Сердитый водитель кричит что-то из кабины, размахивает руками и не трогается с места. Тотчас у машины вырастает фигура Шуликовского. Он снимает водителя с рейса и отправляет его спать. Водитель с понурым видом уходит с моста.

— Не выдержали нервы у парня, — с виноватым видом поясняет мне Шуликовский. — Видите, темп какой!

В кабину садится другой шофёр. Он ловко подъезжает к нужному месту.

Подошёл следующий самосвал, привёз большую каменную глыбу с неровными краями. Мгновение — и она стремглав падает вниз. Глухой подводный взрыв. Водяные фонтаны. Течение быстро уносит мутное пятно, поверхность воды успокаивается, и становится видно, как белая, уже омытая рекой глыба улеглась на дне между другими камнями.

— Хорошо легла! — восклицает Моисеев. Он стоит у моста рядом со мной. — Какая река! Видно всё, как на модели. Можно даже не делать гидрологических замеров глубин, достаточно визуального наблюдения.

Моисеев смотрит на часы — перерыв. Мост подметают, убирают лопатами каменный мусор. Проходит машина и поливает настил. Гидрологи измеряют скорость воды. Водители пьют крепкий горячий чай, приготовленный в буфете.

Медленно занимается рассвет. Утро чистое, ясное. Голубое небо раскинулось над Ангарой. Вода впитывает в себя его цвет, повторяет его, река становится необыкновенно голубой.

Перерыв заканчивается. Шуликовский собрал вокруг себя новую смену водителей и объясняет им задачу — дан приказ вывести на мост семяточные самосвалы с бетонными кубами. Водители бегом направляются к берегу. Один из них опережает других — он хочет сбросить первый бетонный куб. И я улыбаюсь, вспоминая по-мальчишески озорного «нарушителя» списка — Федю Гаваяка.

Приступают к решающему штурму реки. Бетонные кубы лежат на специальных платформах, сваренных из рельсов. По сигналу регулировщика самосвал останавливается у кромки моста. Край платформы медленно поднимается. Куб наклоняется, вздрагивает, скользит по рельсам. Он

набирает скорость, под ним вспыхивают жёлтые искры. Куб летит в воду. Из синей глубины выбрасывается вверх водяной столб, окатывая холодным душем инженеров-наблюдателей.

Солнце встаёт выше, просвечивает косыми лучами прозрачную голубую воду. На дне реки отчётливо видна каменная гряда, протянувшаяся от берега до берега. Быстрые струи изламывают ход лучей, и зыбкие грани кубов как бы колеблются в глубине. Кажется, гряда совсем близко подошла к поверхности. Но ещё трёхметровый слой воды пронесётся над нею.

Растёт каменный хребет, вместе с ним повышается и уровень реки. Мост уже поднялся больше чем на метр. Самосвалы теперь не съезжают, а въезжают на него.

Постукивая палочкой, главный инженер Моисеев идёт по мосту, пристально вглядываясь в тугой вал воды. Навстречу ему не спеша направляется начальник строительства Бочкин. Сходятся на середине моста, молча склоняются над его кромкой. Ни за что на свете они не признаются, о чём каждый думает сейчас про себя. Оба об одном и том же: хватит ли бетонных кубов — слишком медленно поднимается каменная гряда.

Бочкин подзывает двух инженеров.

— Собирайте все бетонные отходы, — даёт он распоряжение. — Возьмите десять машин, тащите все отходы сюда, на мост.

— Увеличить интенсивность сброса кубов и камня, — командует Моисеев. — Поставьте на погрузку кубов резервный экскаватор.

Ещё больше машин выходит на мост, хотя, кажется, там негде разместиться даже и тем, что работали раньше. Ещё спокойнее, деловитее становится Шуликовский, управляя их движением. Ничто не ускользает от его взгляда. Вот он видит — в кабине самосвала знакомая красная майка. Шуликовский останавливает машину и подзывает водителя:

— Ну-ка, ну-ка, подойди сюда!

Подходит Гавазюк.

— Что ты здесь делаешь? — строго спрашивает Шуликовский.

— Как что? — отвечает растерявшийся Федя. — Вожу камень.

— Почему не сдал смену? Где твой сменщик?

— Он же в отпуске, Станислав Петрович. Я же один на машине.

— Всё равно нельзя. Вот заснёшь за рулём, и будет авария.

— Ничего не будет. Станислав Петрович, разрешите. Я до самого конца хочу... — чуть ли не со слезами на глазах просит Фёдор.

— Приказываю покинуть мост.

— Прикажете сначала себе. Сами стоите на мосту восемнадцать часов, я же вижу. Вам можно, а мне нельзя?!

— Но-но! Критикой потом заниматься будем.

Шуликовский поворачивается к машинам, въезжающим на мост. Гавазюк в ожидании переминается с ноги на ногу. Шуликовский пропускает машины и с недоумением смотрит на Гавазюка.

— Чего ж ты стоишь, проезжай, — кивает он головой.

Фёдор бежит к машине. На его лице широкая улыбка.

Рассказывает Батенчук

Прислонившись к перилам, ограждающим мост с верхней стороны, стоит главный механик Батенчук. Он наблюдает за всем происходящим и с невозмутимым видом грызёт семечки.

— Слышали, что сказал профессор из Москвы? — обращается ко мне Батенчук. — Организация работ на перекрытии образцово-показательная. Говорит, что с нас можно писать учебник и учить по нему студентов, как перекрывать реки.

С унылым видом я готов согласиться с профессором: в самом деле, всё идёт показательно. И красиво. Красиво рушатся в воду камни и кубы. Красиво несётся под мостом прозрачная река. Красиво работают на мосту машины и люди. Красиво, и только. Ни сучка, ни задоринки.

— Да, да, сочувствую. — Батенчук заразительно смеётся. — Вам нужны конфликты. Как же так, теория бесконфликтности осуждена, а конфликтов нет. И не будет на нашем мосту, не ждите!

Я удручённо поддакиваю: да, сплошная лакировка. А Батенчук подбавляет:

— Поздно, правда, начали, но зато как... Если бы не этот бетон, мы бы реку давным-давно перекрыли.

— Какой бетон? Ведь перекрытие задерживалось из-за железной дороги да ещё из-за водонасосной станции?

— При чём тут железная дорога! — Батенчук пренебрежительно машет рукой. — Нас бетон держал. Дирекция ГЭС столько неполадок в акте записала. Пришлось повозиться. Целый месяц исправляли.

Вот он конфликт! Я хватаюсь за карандаш. Батенчук удивлённо глядит на меня.

— Так вам такие конфликты нужны? — разочарованно говорит он. — Я думал, вы крови жаждете. Чтобы мост сорвался. Или в крайнем случае, чтобы машина упала в реку. А таких-то конфликтов у нас хоть пруд пруди...

Я познакомился с Батенчуком несколько дней назад, на бетоноукладочной эстакаде, когда он давал команду остановить насосы. У него мужественное обветренное лицо. Одет инженер просто, совсем не по чину — на ногах грубые сапоги, на теле рубашка из суровой ткани, сверху потёртый пиджак неопределённого цвета. Столь же прост он и в обращении, и за всей этой внешней, ничуть не показной простотой и даже некоторой грубоватостью нельзя не заметить большой силы характера и ума.

— Конфликт номер первый, — продолжает Батенчук. — Называется «калым». Помните, экскаваторщик говорил?.. Ну, так вот. Мы подсчитали, что объём верховой перемычки составляет шестьдесят тысяч кубов. Когда экскаваторы разберут её, эти шестьдесят тысяч будут записаны в выполнение их плана. А теперь кое-кто пытается поднять шум: «Да, мол, там действительно было шестьдесят тысяч, но больше половины размыла и унесла река. Экскаваторщикам можно засчитать только тридцать тысяч, не больше». А мы с рабочими вперёд по-честному договорились. Мало ли что сама река им помогла. Вот это они и назвали своим «калымом». Законно требуют его. Придётся, видно, всерьёз повоевать, чтобы отдать экскаваторщикам то, что они заработали. И немного сверх того — это они тоже заработали. — Батенчук хитро щурит глаза. — А вы говорите, нет конфликтов!

Теперь уже Батенчук упрекает меня, а я, довольный, не отхожу от него ни на шаг и без усталости записываю в тетрадь его слова.

— Возьмите хотя бы нашего Фесенко, начальника кранового участка. Надо реку перекрывать, а у него жена рожать собралась. Отвёз её в родильный дом и мечется теперь — два часа на мосту, час в роддоме. А роды тяжёлые. На мосту обстановка тоже не легче. Рвётся на части, бедняга, — Батенчук засмеялся. — Этот конфликт кончился счастливо: родилась девочка. Внесли предложение назвать её Ангариной, в честь перекрытия.

— А где он сейчас?

— Кто? Фесенко? Повёз цветы в родильный дом...

Сквозь гул машин и грохот реки радио донесло до нас слова:

— Товарищ Батенчук, вас срочно вызывает в штаб начальник строительства Бочкин.

Батенчук уходит. Я размышляю о Фесенко. На первый взгляд, он никак не подходит для героя. Что же это за герой, который в самый ответственный момент бросает работу ради своих личных дел? Совсем недавно один из крупных партийных работников товарищ К. рассказал мне почти такую же историю, герой которой вёл себя совсем по-другому.

То было в годы первой пятилетки. К. работал тогда на строительстве металлургического комбината. Подошла горячая пора — задувка первой домны. Ни днём, ни ночью К. не покидал цех, руководя плавкой. Тут же, у домны, он узнал, что его жену увезли в родильный дом. С плавкой не ладилось, пробы чугуна одна за другой давали брак. Трое суток К. не смыкал глаз, забыв о жене, целиком отдавшись работе. Начальник доменного цеха подошёл к нему:

— Звонили из города. У вас родился сын. Поздравляю!

К. удивлённо посмотрел на начальника цеха и закричал:

— Что? Какой сын? Давайте форсируйте пробу. Не отвлекайтесь!..

Вот это настоящий герой, человек, полный самоотречения, преданный только своему делу.

И что же? Что можно возразить на это? Послушаем лучше самого К., который так закончил свой рассказ:

«Не знаю, как описал бы всё это писатель, а в моей жизни эпизод этот имел трагическую концовку. Прошло двадцать с лишним лет, а жена до сих пор не может забыть, как она лежала одна в родильном доме и ждала, когда ей принесут от меня записку или цветы. Так и не дождалась! Представляете, в палате у них восемь женщин, весь родильный дом полон. И только она одна не получила ни записки, ни цветов. Как я её теперь понимаю!.. И самое страшное — ничего она мне не говорит, ничем меня не упрекает, только как вспомнит, сядет в уголок и заплачет. Последний раз плакала этой весной, в день рождения сына. А сын вырос, кончил институт, работает строителем — ему ничего. Утешает мать да ещё смеётся. «Подумаешь, — говорит, — стоит слезу лить: я тоже поступил бы, как отец». Ишь, в кого пошёл! Да, такую ошибку молодости уже ничем не исправишь. Но я решил: буду следить за сыном и, если что-нибудь в этом роде, силой повезу его к невестке в родильный дом».

Напрашивается естественный вопрос: зачем говорится здесь обо всём этом. При чём тут Фесенко? А вот послушайте, что было дальше.

Главный инженер Моисеев требовал усилить погрузку бетонных кубов и отчитывал Фесенко за то, что краны плохо справляются с заданным темпом. Начальник кранового участка почтительно выслушивал нарекания. А спустя час, покрячав слегка, для приличия, на крановщиков, и вовсе уехал с моста — поглядеть на новорождённого.

— А что, — сказал Фесенко, — без меня разве не перекроют? Своих крановщиков я выучил. Плохой бы я был руководитель, если бы был незаменим. — И уехал. Никто не удивился, не возроптал. Все понимали: так нужно. А как же иначе?..

Просто и хорошо. А главное — очень человечно.

...Вскоре Батенчук снова появился на мосту.

— Опять у Фесенко народ шумит, — сказал он мне. — Пришла новая смена крановщиков, а старая не хочет уходить: «Мы ещё не кончили. Перекроем, тогда пойдём отдыхать». Чуть не до рукопашной дошло, уже толкать друг друга начали. Пришлось дать работу у тем и другим. Теперь кубы пойдут веселее... Может, это и нужно для вашего очерка? Конфликт ведь!..

— А хотите ещё один? — усмехается Батенчук. — На тему о трудовом подъёме. Устраивает? Пожалуйста, сейчас расскажу... У экскаваторщи-

ков буквально интриги завелись, кому достанется первым делать прорезь в перемычке. Особенно волновался бригадир Малков. Уж он и так и сяк комбинировал смены, подменял, переставлял. И не угадал! Первый ковш достался машинисту Шалдаеву. Малков узнал, что приказ дан, — скорей на экскаватор. Но — увы! — поздно, вода уже хлещет. Малков даже пройти к экскаватору не может, пришлось обходить кругом по эстакаде. Пришёл, умоляет, просится за рычаги. Шалдаев не даёт. Прямо трагедия случилась у человека.

«Конфликт» кажется мне несколько шаблонным. Столько раз уже изображали трудовой порыв таким образом.

— Не спешите, — живо возражает Батенчук. — Конфликт ещё впереди. Приходят газеты и везде написано, что перемычку разбирал Малков. Работник он хороший, знатный, можно сказать, а прорезь делал всё же другой. У нас ведь частенько бывает: поместили человека один раз в газету, попал, что называется, в «обойму» — и пошло. Прибегает корреспондент на перемычку: «Чей это экскаватор? Кто у вас бригадир? Ага, Малков? Тот самый...» А ведь кроме Малкова, на экскаваторе ещё пять человек работают, все заслуживают, чтобы о них написали.

Ради этого действительно стоит записать в мою тетрадку случай с Малковым и Шалдаевым, надо же восстановить справедливость и исправить оплошность газет.

Берега соединились

Зубчатая каменная гряда показалась над водой. Сначала в одном месте бетонный куб не ушёл целиком под воду и острая грань его осталась на поверхности, потом показались грани в другом, третьем месте. Они разрезали голубой поток, как нос подводной лодки, быстро несущейся вперёд. Водяные буруны подступали всё ближе к мосту и медленно угасали. Тугой вал спадающей здесь вниз воды разбился на десятки, сотни мелких водопадов, родившихся на плоскостях бетонных кубов.

«Река перекрыта», — сказали инженеры, наблюдавшие за ходом работ. Услыхав это, корреспонденты газет побежали было к телефонам, чтобы передать самую свежую новость в редакцию. Главный инженер Моисеев остановил их.

— Нет, — сказал он, — река ещё не перекрыта. Ещё треть расхода идёт под мостом.

И Моисеев произнёс крылатую фразу, которая тут же обошла всех, кто был на мосту:

— Нам важно перекрыть реку, а не установить рекорд скорости перекрытия.

Размеренный ритм работы не ослабевал. На берега Ангары вышла «тяжёлая артиллерия» — двадцатипятитонные самосвалы — Большие МАЗы. Они медленно пятились до самого края дамбы, задирали свои огромные ребристые кузова, и кучи гравия и глины вырастали на дамбе. Из-за кузова МАЗа показывался юркий бульдозер, казавшийся совсем малюсеньким. Он лихо набрасывался на кучу, катил её вперёд, образуя ровную площадку, на которую становился следующий МАЗ. Дамбы левого и правого берега сближались со скоростью пятнадцать сантиметров в минуту, постепенно засыпая каменную гряду.

На исходе первых суток работы по перекрытию на небе сгустились грозные тучи. Ураганый ветер налетел на мост и обволок его клубами пыли. Вспышки молний заиграли над головами строителей. Тяжёлые капли дождя застучали по настилу моста.

Поток машин на мосту неожиданно поредел — молния ударила в столб электропередачи. Остановились все экскаваторы, следом за ними встали

самосвалы. К месту аварии подошёл автокран. Электрики быстро поставили новый столб, навесили провода. Не успела ещё отшуметь гроза, движение машин возобновилось.

...Незаметно проходит ночь. Второй раз занимается рассвет над грохочущим мостом. Голубоватый воздух разлился вокруг, и не разберёшь в поблёкшем свете прожекторов — то ли это утренний туман, то ли сизый дым отработанных газов.

Багровый шар солнца медленно поднимается над холмами. Огненный столб лежит на воде, и конец его упирается в узкую протоку Ангары, которая течёт, негромко шумя, между двумя дамбами.

Чем ближе подходят дамбы одна к другой, тем жарче кипит работа. Длинная очередь Больших МАЗов выстроилась на берегу. Вот две машины одновременно дают задний ход, приближаются к краям дамб. Они совсем близко одна от другой, поднятые кузовы их едва не сходятся вместе. С моста три самосвала тоже сбрасывают камень, помогая Большим МАЗам.

Широкий поток гравия и камня льётся с трёх сторон в оставшуюся узкую брешь. Река из последних сил промывает себе путь. Но уже подошли новые самосвалы, один высыпал в брешь мокрую гальку, другой — коричневую глину. Земля с обоих берегов перемешалась вместе и засыпала последний ручеек. Только узкая коническая ложбина разделяла теперь берега. Две девушки-регулирующие потянулись друг к другу и пожали руки — левый и правый берега встретились.

А затем мы были свидетелями захватывающего единоборства двух машин.

С левого берега в наступление пошёл бульдозер. В кабине Николай Жигалов, молодой загорелый паренёк. Он немигающими глазами смотрит перед собой, проворно передвигая рычаги.

Правобережный бульдозер, который ведёт Михаил Герасимов, на мгновение дрогнул и отступил. Жигалов устремился вперед, поддал газу. Остался метр, полметра — и он будет на том берегу. Вдруг бульдозер клюнул носом, широкий нос обнажился и соскользнул вниз по откосу. Жигалов не рассчитал, может быть, нескольких сантиметров в положении ножа, и ему не хватило земли. Водитель дал задний ход, чтобы загрести новую порцию гальки.

И тогда вступил в дело Михаил Герасимов. Он опустил нож бульдозера, тяжело двинулся вперед, катя перед собой широкий вал коричневой глины. Земля расходилась в стороны и ложилась под гусеницы машины ровной широкой дорогой. Герасимов, проехав по глине, выехал на мокрую гальку. Две дамбы слились в одну.

Герасимов быстро сдал назад, великодушно открывая путь Жигалову, и тот тоже прошёлся гусеницами по дамбе, приминая её.

Бульдозеры ушли. Два Больших МАЗа медленно сходились к месту смычки, чтобы укрепить перешеек. Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. На меня взглядом заговорщика смотрел Батенчук.

— Сейчас будет счастливая развязка главного конфликта, — таинственно проговорил он.

Батенчук переглянулся с Шуликовским, тот махнул флажком, и к кромке моста начал пятиться самосвал с камнем. МАЗы сошлись совсем близко и стали поднимать кузовы. Самосвал на мосту тоже задрал свой кузов. На дамбе образовалась гора земли. Бульдозеры мигом её сравняли.

Регулирующая в светлых туфлях прошла по дамбе, весело помахивая нам флажком, а навстречу ей, не в силах сдержать ликующей улыбки, с палочкой в руке шагал Моисеев.

Семь часов. Вторник, 10 июля 1956 года.

Ангара перекрыта.

— Где же развязка? — спрашиваю Батенчука.

— А вот! — инженер указал на самосвал, который всё ещё стоял у кромки. Из кабинки выглядывало радостное лицо Гавазюка. Он сбросил с моста первый камень. Он сбросил и последний. Его машина незаконно вышла на мост первой, но по праву уйдёт с моста последней.

Фёдор Гавазюк заслужил эту честь. Прошло 36 часов с тех пор, как его самосвал съехал на мост, и все эти 36 часов Гавазюк был за рулём.

Что вело его, как, впрочем, и десятки других строителей — экскаваторщиков, водителей, крановщиков, инженеров, которые не уходили с моста от начала до конца работ, — что вело их на этот коллективный подвиг? Энтузиазм? Трудовой порыв? Честолюбие? Потребность созидания? Желание прославиться? Пожалуй, они удивились бы, если бы кто-нибудь задал им эти вопросы.

Вот они стоят, сгрудившись, на мосту, улыбающиеся, усталые, счастливые, измученные, ликующие, с лицами, заросшими щетиной, и смотрят с удивлением и гордостью на дело своих рук, смотрят, как Ангара затихла, остановилась и легла к их ногам.

Пять лет назад они пришли сюда по зову партии, чтобы обуздать строптивую сибирскую реку. И вот теперь сделали это. Среди них были первые, но не было последних.

Эпилог

Опустел мост — ушли люди, уехали машины. Два человека идут вдоль моста, снимая флаги, плакаты. Радисты сматывают провод. Буфетчица свёртывает скатерти. Врачи эвакуируют медицинский пункт.

Опустел, оголился берег. Там, где высились груды камня, бетонных кубов, образовались ровные голые площадки. Тихо стало кругом. Не шумит остановившаяся река, не режут машины.

Отгремели митинги и поздравительные речи. Тихо и в домах посёлка. Крепко спят водители, и снится им, как мост качается под их машинами. А безмолвные машины стоят неподвижно в гараже, и пыль моста ещё не стёрлась с их колёс.

Пройдёт неделя-другая. Мост разберут и перенесут на новое место. Он начнёт новую службу, соединит берега в новом русле реки. На других участках, на плотине, в кратерах турбин закипит горячая работа.

А тут, на дамбе, будет тихо и спокойно. И ничто не будет напоминать о жестокой схватке с рекой, которая шла здесь. Только изредка про шумит самосвал, везя по дамбе груз на плотину. И снова тихо. Удивлённая рыба уткнётся острым рыбьим носом в дамбу, плеснётся над водой и уйдёт на быстрину, туда, где катится светлая, чистая Ангара.

А потом, совсем скоро, осенью этого года, разольётся первое «Ангарское море», волны его захлестнут дамбу, и место, где был совершён людьми большой подвиг, навсегда скроется на дне морском.

Но в памяти людской сохранятся имена и дела этих людей.

Июль.

Иркутская ГЭС.



ВЛ. ЛУГОВСКОЙ

★

ТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЛ

Нет,
та, которую я знал,
не существует.
Она живёт
в высотном доме
с добрым мужем.
Он выстроил ей дачу, он ревнует,
Он рыжий перманент
её волос
целует.
Мне даже адрес,
даже телефон её
не нужен.
Ведь та,
которую я знал,
не существует.
А было так,
что злое море
в берег било,
Гремело глухо,
туго,
как восточный бубен,
Неслось
к порогу дома,
где она служила.
Тогда она
меня
так яростно любила,
Твердила,
что мы ветром будем,
морем будем.
Ведь было так,
что злое море
в берег било.
Тогда на склонах
остролистник рос
колючий
И целый месяц
дождь метался
по гудрону.

Тогда
 под каждой
 с моря налетевшей
 тучей

Нас с этой женщиной
 сводил
 нежданный случай

И был подобен свету,
 песне, звону.

Ведь на откосах
 остролистник рос
 колючий.

Бедны мы были,
 молоды —
 я понимаю,

Питались
 жёсткими, как щепка,
 пирожками.

И если б
 я сказал тогда,
 что умираю,

Она
 до ада бы дошла,
 дошла до рая,

Чтоб душу друга
 вырвать
 жадными руками.

Бедны мы были,
 молоды —
 я понимаю!

Но власть
 над ближними
 её так грозно съела,

Как подлый рак
 живую ткань
 съедает.

Всё,
 что в её душе
 рвалось, металось, пело,—

Всё перешло
 в красивое, тугое
 тело.

И даже
 бешеная прядь её,
 со школьных лет
 седая,

От парикмахерских
 прикрас
 позолотела.

Та женщина
 живёт
 с каким-то жадным горем.

Ей нужно
 брать
 все вещи,
 что судьба дарует,
 Всё принижать,
 рвать
 и цветок и корень
 И ненавидеть
 мир
 за то, что он просторен.
 Но в мире
 больше с ней
 мы страстью
 не поспорим.
 Той женщине
 не быть
 ни ветром
 и ни морем.
 Ведь та,
 которую я знал,
 не существует.

ЧИМГАН

О, если бы забыть мне тяжесть лет
 И, как овчарке, вновь напасть на след,
 Который бы привёл меня к твоим дверям,
 Хоть этот путь, увы, не будет прям.
 Но знаю, помнишь ты, не забываешь ты
 Чимган, Чимган — далёкие хребты!

Ты сможешь ли забыть седую мощь ночей
 В серебряной броне карагачей,
 Ночей, когда стихает азиатский зной
 И бубен бьёт, беседуя с луной,
 И круглый месяц жадно смотрит с высоты.
 Чимган, Чимган — далёкие хребты!

Приснится ли тебе твой старый сад,
 Где арычки, как змейки, шелестят,
 Тот сад наполнен был сухим дождём лучей
 Луны, вплывавшей в океан ночей
 Лишь для того, чтоб видел я твои черты.
 А в небе плыл Чимган — далёкие хребты.

Услышишь ли ночного ветра стон
 Осеннего, когда со всех сторон
 Шумят деревья, сбрасывая первый лист,
 А воздух так лучист, так несказанно чист,
 Как будто от земли к луне ведут мосты.
 Чимган, Чимган — далёкие хребты!

Зажжёшь ли ты в окне неяркий свет,
 Свет первых и скупых послевоенных лет,
 Вскипает скудный плов на золоте углей.
 И вечер на земле становится светлей

От этой милой, шумной детской суеты.
Чимган, Чимган — далёкие хребты!

И перед миром всем в лиловой мгле
Одни с тобой мы были на земле.
Ложился месяц в спустевшее окно.
Два сердца бились страшно и темно,
Летел огонь из этой темноты.
Чимган, Чимган — далёкие хребты!

Всё это было, было и ушло,
Зелёным гибким хмелем поросло.
Иной, простой любви к тебе ворвался свет,
Иной к твоим дверям мужской проложен след.
Но дни беспамятства для нас всегда чисты.
Чимган, Чимган — далёкие хребты!

Есть в мире древний, правильный закон:
Кто счастлив был, тот дважды был рождён.
Ты рождена, чтобы родиться каждый год,
Счастливой снова быть, как птица, каждый год.
И радовать и горевать легко
И улетать за счастьем далеко.

Но будет час, последний у черты,
Когда все страсти, все дела пусты.
И в этот час так страстно вспомнишь ты
Огонь, летящий в бездне темноты,
Шуршащей южной осени листья,
Чимган, Чимган — далёкие хребты!

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Не горит электричество.
Только одна
Печка
красные блики
бросает на стены.
Да ещё
в незакрытые окна
луна
Льёт квадраты
и тянет
лиловые тени.
Школа сельская.
Запахи
мела и парт.
Попрощался февраль.
Начинается март.
Мы сидим у печи,
говорим
не спеша

А жила, никем не утешенная.
Сталь в мартенах кипит, как бешеная.
Парни вслед за Любашей кидаются,
А никто Любаше не нравится.

И не то чтоб росла недотрогою,
Просто шла своевольной дорогою.
Кровь кузнецкая, староверная,
Брови смелые, сердце верное.

Для кого же такую красу припас
Стародавний уральский рабочий класс?

И любила она ясных звёзд покой
Над родной своей Чусовой-рекой,
Песни русские, даль далёкую,
Чусовую-реку синеокою,

Ночи белые в зорях розовых,
И веснянки в лесах берёзовых.

И веснянками землю славил,
А с любовью она лукавила.

Я моложе был, я слышал её,
На крутом берегу я искал её,
Я искал её, окликал её,
Двадцать лет потом забывал её.

Я спросил кузнеца-старика в тоске:
— А русалки есть в Чусовой-реке?
— Может, нет, может, есть — люди разное врут.
Если есть — так они, как Любаша, поют.

Лунный свет, соловьи голосистые,
Ночи лёгкие, аметистовые.

Тень пройдёт, бузина заколышется,
И веснянки по берегу слышатся.

И заря с зарёю целуются,
На речных зеркалах милуются.

Парни с девушками встречаются,
И над домами пламя качается.

Ах, Урал, Урал, тело каменное,
Тело каменное, сердце пламенное!

Небо светлое, кровью крашенное,
Как веснянка ночная любашина.

Разорвись, душа, говори, душа,
Если песни нет — сотвори, душа.

Разбивай, душа, немоту свою,
Открывай, душа, красоту свою!

Мать-Россия на свете весной красна.
Выходи, душа, на простор одна.

Выходи, душа, не жалея себя,
Любям всем, душа, перелей себя!

Две зари замирают, рука в руке,
И русалки плывут в Чусовой-реке,

Кличут старый Урал — своего отца,
Здесь аукнется, там откликнется...

И веснянка-песня стоит, звеня,
Всю седую ночь до прихода дня.

Ели чёрные, длиннолапые
В Чусовой-реке зыбью плавают.

Слышен стук в Кремле стрелок башенных,
Слышен гром по земле слов любашиних —

О весне, о просторе, о молодости,
Чтобы счастье своё по земле нести,

По земле нести, против волн грести,
А в земной горсти всем цветам цвести.

Ходит, кровью следы печатая,
Сила песенная непочатая.

До рассветных звёзд эта песня встаёт.
Одиноко в лесу крановщица поёт.

Я слышал её, я искал её,
Окликал её, обнимал её.
Только раз один целовал её,
А потом всю жизнь забывал её.

Всё плывут облака, Ермака корабли.
Ты, Россия моя, лучше нет земли!



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

★

СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

(1938—1956 гг.)

ИСПЫТАНИЕ

...И снова хватит сил
увидеть и узнать,
как всё, что ты любил,
начнёт тебя терзать.
И оборотнем вдруг
предстанет пред тобой,
и оклеветает друг,
и оттолкнёт другой.
И станут искушать,
прикажут: — Отрекись! —
И скорчится душа
от страха и тоски.

И снова хватит сил
одно твердить в ответ:
— Ото всего, чем жил,
не отрекаюсь, нет! —
И снова хватит сил,
запомнив эти дни,
всему, что ты любил,
кричать: — Вернись! Верни...

1938-г.

РОДИНЕ

Всё, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье, —
всё вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участия.
Как будто б вновь забьют тогда окно
шитом железным, сумрачным и ржавым...
Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть — вдруг станет
всё равно?

1939 г.

ОТВЕТ

Друзья твердят: — Все средства хороши,
чтобы спасти от злобы и напасти
хоть часть трагедии,
хоть часть души...

А кто сказал, что я делюсь на части?

И как мне скрыть — наполовину — страсть,
чтоб страстью быть она не перестала?
Как мне отдать на зов народа часть,
когда и жизни слишком мало?

Нет, если боль — то вся душа болит,
а радость — вся пред всеми пламенеет.
И ей не страх открытой быть велит,
её свобода — то, что всех сильнее.

Я так хочу,
так верю,
так люблю.

Не проявляйте жалкого участия.
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше обывательское счастье.

1949 г.

О ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ

Ни до серебряной и ни до золотой —
всем ясно — мы не доживём с тобой.
Зато у нас железная была:
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым её не уступлю.
Всё так же, как в железную, люблю.

1953 г.

ТОТ ГОД

И я всю жизнь свою припоминала,
и всё припоминала жизнь моя
в тот год, когда со дна морей, с каналов
вдруг возвращаться начали друзья.

Зачем скрывать — их возвращалось мало.
Семнадцать лет — всегда семнадцать лет.
Но те, кто возвращались, шли сначала,
чтоб получить свой старый партбилет.

Я не прибавлю к этому ни звука,
ни вдоха даже: заново живём.
Ну, что ж ещё? Товарищ, дай мне руку!
Как хорошо, что мы опять вдвоём.

1955 г.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звёзды всё строже.

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется,
время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

1956 г.



В. ДУДИНЦЕВ

★

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Роман

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1

Вдвенадцать часов дня к станции Музга, до самой вывески скрытой высокими снежными гребнями, наметёнными по обе стороны полотна, подошёл поезд. Проплыли белые крыши вагонов и остановились. На платформе началась сутолока; три человека в валенках, в одинаковых полушубках телесного цвета торопливо прошагали в хвост поезда, к последнему — московскому — спальному вагону. Поднялись в вагон, опять показались, подали вниз один чемодан в сером чехле, второй... И вдруг, словно ветер любопытства дунул по платформе, метнулся лёгкий шумок, и всё побежало в одну сторону, тесной толпой сбилось около московского пульмана.

— Кто приехал?

— Дроздов. Сейчас будет выходить...

— Вышел уж...

Увидеть приезжего почти никому не удалось, потому что тот, кого называли Дроздовым, был очень мал ростом. Зато все увидели мягкую меховую шапочку и лицо его спутницы — сероглазой красавицы, которая была на голову выше Дроздова.

Толпа переместилась к зданию станции, неудовлетворённо разошлась, и только те, кто успел обежать кирпичное здание, увидели, как понеслись с визгом полозьев две тройки — вдаль, к белому снежному краю степи. из-за которого поднимались чёрные дымы, поднимались и сваливались на сторону, завесив полнеба грязно-серой пеленой. Там, за далёкой снежной линией, как за морским горизонтом, словно бы шла эскадра. Это дымил построенный здесь в годы войны гигантский промышленный комбинат, который со своими корпусами, цехами, складами и железнодорожными ветками растянулся на несколько километров. В те первые послевоенные годы комбинат этот не значился на картах и в географических учебниках.

Директор комбината Леонид Иванович Дроздов, или просто Дроздов, как его называли в этих местах, по вызову министра ездил в Москву. Он взял с собой в поездку и молодую жену, от которой со дня женитьбы не отходил ни на шаг. Теперь они возвращались домой. Оба были довольны: жена — сделанными в Москве покупками, а Леонид Иванович — успешным ходом всех своих дел. Знакомый начальник главка дал Дроздову понять, что ему следует ожидать скорого переезда в Москву, а это была давняя мечта Леонида Ивановича.

Два директора, которых Дроздов хорошо знал, придерживались на этот счёт иной точки зрения. Они считали, что лучше быть осью на заводе,

чем спицей в колесе, хоть и столичном. Леонид Иванович не задумывался над тем, что материальная обеспеченность его на должности начальника управления будет намного меньше. Он *шёл* на уменьшение зарплаты, это уже было продумано. Ограничения свободы также его не смущали. «Я везде буду самым собой», — думал он. Трудности большой руководящей работы не пугали, а, наоборот, манили его. На этот счёт у него была даже теория. Он считал, что нужно всегда испытывать трудности роста, тянуться вверх и немножко не соответствовать. Должность должна быть всегда чуть-чуть не по силам. В таком положении, когда приходится тянуться, человек быстро растёт. Как только ты начинаешь справляться с работой, как только тебя похвалили разок-другой, — передвигайся выше, в области новых трудностей, и опять тянись, старайся и здесь быть не последним.

«Ну что ж, построил комбинат, — слегка прикрыв глаза, думал он под свист полозьев. — Неплохо поработали в войну, получили знамёна, ордена... И сейчас от уровня передовых не отстаём. Если мне сейчас пятьдесят два... Три, четыре, пять... Лет тринадцать — это ещё приличный резерв! Приличнейший!.. Чёрта с рогами можно сделать за это время!»

Комбинат, похожий на большой город, постепенно вырастая, надвигался на него, охватывая степь с правого и левого флангов. Пять высоких кирпичных труб стояли в центре — стояли в ряд, все одинаковой высоты, и все пять чёрно дымили. Под ними внизу было видно множество мелких дымов — серых, красноватых и ядовито-жёлтых. В стороне стояли чёрные башни — градирни, и от них поднимались крутые облака пара, сияющие среди чёрных дымов особенно чистой белизной. Уже были слышны свистки комбинатских паровозиков-кукушек, и по обеим сторонам дороги потянулись одинаковые двухквартирные домики из белого кирпича, с острыми шиферными крышами — домики соцгорода, когда Леонид Иванович, очнувшись от своих мыслей, привстал и ткнул пальцем в полушубок кучера.

— Пройдёмся пешочком, Надюша! А? Гляди-ка, погодка!

Сани остановились. Жена Дроздова, подобрав мягкие полы манти, купленного шесть дней назад в Москве, сошла на чистый, неглубокий и очень яркий снежок.

— Чудо какой снег! — послышался её счастливый, молодой голос.

Леонид Иванович немного замешкался. Прорвав дыру в большом картонном коробе, он доставал оттуда яркооранжевые крупные апельсины и рассовывал по карманам. Потом махнул кучеру и, грубо срывая корку с апельсина, заспешил к жене. Та спокойно приняла очищенный и слегка разделённый на дольки плод, и они пошли, наслаждаясь солнечным зимним днём. Дроздов — маленький, в кожаном глянцево пальто шоколадного цвета с воротником из мраморного каракуля и в такой же мраморно-сизой ушанке. Жена — высокая, с постоянной грустью в серых глазах, без румянца, но с яркорозовыми губами и с большой бархатной родинкой на щеке. Она была в шапочке и в манти из нежнокаштанового шелковистого меха, в широкоплечем дорогом манти, которое сидело на ней немного боком. Она всё время отставала, и Леонид Иванович поджидал её, держа каждый раз в руке новый очищенный апельсин.

Надя была беременна. Дроздов, шагая впереди, щурился, морщил сухой жёлтый лоб, чтобы скрыть радостную улыбку. Люди здоровались с ними, отступали в сугроб, смотрели в упор — навстречу и вслед. Леонид Иванович останавливался на каждом взгляд чёрных, усталых и счастливых глаз. Он знал, о чём могли говорить эти люди там, зади, выйдя из сугроба на дорогу: «Жену-то одну бросил — старая стала. Теперь девчонку молодую заимел — совсем рехнулся!» «Ну и рехнулся! — подумал он. — Нужно ли кривить душой и жить с женой, которую никогда не любил, и избегать встреч с той, которую любишь! Не проще ли сделать вот так».

Он оглянулся на жену, и она улыбнулась ему из-под шапочки. «Тем более, что Шурка наша говорит: Леониду Ивановичу на роду написано две жены иметь. У него две макушки». Он засмеялся, вспоминая это, и опять оглянулся на жену. «Молода!» — с радостью подумал он. Взгляды людей его не стесняли. Не чувствовал он недовольств и оттого, что ростом ли ей был до плеча. Правда, Надя, если шла рядом с ним, слегка сутулилась, чтобы казаться пониже, это у неё уже стало входить в привычку...

Так они шли, то сходясь, то расходясь, занимая всю улицу, кивая и раскланиваясь со знакомыми. Иногда попадались навстречу школьники с сумками и портфелями. Те, что постарше, отойдя в сторонку, тянули наперебой: «Здравствуйте, Надежда Сергеевна!» — Надя преподавала в школе географию. Пропустив Дроздовых и выждав ещё с минуту, ребята бросались на дорогу, на оранжевые корки, затоптанные в снег. С весёлыми и удивлёнными криками они хватали и прятали яркое пахучее чудо — таких корок ещё никто не видывал в этом степном и недавно ещё совсем глухом районе.

Дроздовы жили на соседнем широком проспекте Сталина. Дома здесь были тоже двухквартирные, но с более затейливыми железными крышами и с большим числом окон — в этих домах жил, как говорили в Музге, командный состав комбината. Дом Дроздова не отличался ничем от своих соседей, кроме того, что он весь был занят одним хозяином и обе его квартиры были соединены в одну.

Пропустив жену вперёд, Леонид Иванович вошёл в сени, затопал, закашлял. Домашняя работница — рослая деревенская девушка Шура — выглянула в дверь и тут же распахнула её.

— Батюшки, новая шуба! Здравствуйте, Леонид Иванович! Надежда Сергеевна, с вас причитается за обнову! Чего это за мех, да какой мягкий!

— Этот мех заморский, — прищурив глаза, с важностью сказал Леонид Иванович, помогая жене снять пальто. Надя, стоя перед ним, по привычке слегка согнулась. — Мех заморский, норка называется.

Шура при этих словах с готовностью прыснула.

— Ладно смеяться. На-ка, повесь... в шифоньер.

Надя, выбирая из волос заколку и покачиваясь, пошла к себе в комнату. А Леонид Иванович без пальто, в чёрном костюме, хулиганский, с торчащими желтоватыми ушами, напевая что-то непонятное и потирая руки, направился через весь дом, по длинному коридору, на кухню.

— Мама! — раздался его разковатый весёлый голос. — Не видишь, мы приехали!

— Вижу, вижу! — ответил ему из кухни мужской голос матери. — Что-то ты вроде раньше срока.

— Мать! — Леонид Иванович остановился в дверях и окинул чуть насмешливым взором связки лука, развешанные на стенах, русскую печь, рядом с ней газовую плитку, работающую от баллона со сжатым газом, и у порога — полузакрытый тряпкой, низенький ушат со сметаной. — Мать, — он закрыл глаза и, постояв так несколько мгновений, медленно открыл их, что было признаком сдержанного раздражения, — ты куда дела моего Глазкова?

— За сметаной посылала, к Слободчикову. Для Нади посвежей надо. А сейчас отдыхает. Двое суток всё-таки человек проездил.

— Дело хорошее, — Леонид Иванович опять окинул глазами кухню и задержал взгляд на ушате со сметаной. Он надолго закрыл глаза и, медленно открывая их, сказал резким мальчишеским голосом: — А всё-таки машину без моего разрешения ты не вызывай. Придётся дать распоряжение в гараж...

— Ну-ну, — сказала старуха, не оборачиваясь к нему. — Давай... распоряжайся... Командовай...

Леонид Иванович вернулся в коридор, подошёл к телефону.

‡ — Мне диспетчера... Разъедините... — Он сонно засопел в трубку, это была ещё одна его привычка.— Александр Алексеич?.. Это? Хм, это Дроздов. Да... Спасибо. Как там дела? И-да... Четвёртый аппарат наладили?.. А печи? — Голос Леонида Ивановича угрожающе померк. — Что свистит? Что свистит? Как же это, товарищи дорогие, если бы я не десять, а двадцать дней отсутствовал, аппарат бы у вас свистел двадцать дней? Не через четыре дня, а послезавтра пойдёт... Ну ладно, не будем спорить... Да; я сейчас приду... Чёрт...— сказал Леонид Иванович, вешая трубку.

Впрочем, он тут же успокоился и велел Шуре отвечать на все телефонные звонки, что его нет дома.

— Кормить-то будете? — закричал он в сторону кухни.

Часа через три он вышел из дому, неся большую кожаную папку. За воротами его ждал «газик» защитного цвета. Леонид Иванович сел рядом с молоденьким шофёром Глазковым и нахмурился — сразу стал совсем другим. Машина сделала несколько поворотов между домами и остановилась перед подъездом двухэтажного здания с большими квадратными окнами. Так же хмурясь, Леонид Иванович поднялся по ступеням, толкнул зеркальную дверь и зашаркал на лестнице и по коридору, на ходу кивая встречным. Все знали о приезде начальника, и несколько человек уже сидели в приёмной. Леонид Иванович прошёл к себе, в просторный, высокий кабинет, с большим рыжеватым ковром, пересечённым по диагонали зелёной дорожкой. Вслед за ним вошла слегка подкрашенная секретарша в узкой юбке и белой прозрачной кофточке.

— Кто это там? — спросил Леонид Иванович, причёсывая височки и ошупав большую, раздвоенную плешь. У него действительно были две макушки — счастливая примета!

— Это изобретатель. Насчёт труб.

— Да, да. Я помню. Пусть ждёт. Ганичев с Самсоновым пусть войдут.

Секретарша удалилась, а Леонид Иванович обошёл свой громадный стол, на котором поблёскивал отлитый из чёрного каслинского чугуна чернильный прибор, составленный из знаков гетманской власти. Тут стояли две булавы, массивная печать, возвышался бунчук и были разложены ещё какие-то многозначительные и тяжёлые вещи. Леонид Иванович обошёл этот стол, опустился в кресло и, уйдя головой в плечи, соединив обе руки в один большой бледный кулак, выжидающе опустил его на зелёное сукно. Тут же, вспомнив что-то, он мгновенно переменял позу, снял трубку и, передвинув рычаги на чёрном аппарате, похожем на большую пишущую машинку, сонным голосом заговорил с цехом, где был плохо работающий четвёртый аппарат. В эту-то минуту и вошли Ганичев — главный инженер комбината и Самсонов — секретарь партийного бюро. Ганичев был очень высок, толст, гладко выбрит и носил поверх синего костюма куртку-спецовку из тонкого коричневого брезента. Самсонов был такого же роста, как директор комбината, носил старенький офицерский костюм без погон и сапоги. Оба сели перед директорским столом.

— Ну-с,— сказал Леонид Иванович,— здравствуйте, товарищи. Что нового скажете?

— Новенькое, к сожалению, всегда найдётся,— проговорил Самсонов. Ганичев непонимающе на него посмотрел.

— А я привёз вот какую новость.— Леонид Иванович раскрыл папку и показал листок ватмана, разграфлённый вдоль и поперёк и заполненный столбиками цифр. — По этому графику теперь будем отчитываться. Вот я сейчас для всех повешу его на видном месте... — Леонид Иванович взял из гетманской шапки несколько кнопок, нахмурился и, поскрипывая ботинками, прошёл к жёлтой доске у стены.— Повешу вот...— Он поднялся на носках. — Чтоб все видели...

— Позвольте, Леонид Иванович. — Громадный Ганичев поспешил к нему. — Позвольте, я, Я, так сказать, малость повыше.

— Наполеон в этом случае сказал бы так, — Самсонов откинулся назад, — ты, Ганичев, не выше, а длиннее.

Он громко засмеялся. Ганичев словно бы и не слышал, а Леонид Иванович повернулся к Самсонову, закрыл глаза и затем медленно открыл их. Это должно было означать сдержанный гнев, но Самсонов сразу увидел весёлые огоньки в чёрных глазах Леонида Ивановича. Директору понравилась острота.

— Товарищ Самсонов, — он поднял голову и строго свёл брови, смеясь одними глазами. — Товарищ Самсонов, исторические параллели рискованны. Осторожнее!..

Через час Ганичев ушёл. Леонид Иванович, уютно сидя за столом, опять соединил все десять пальцев в один большой кулак и, подняв брови, посмотрел на Самсонова.

— Как, как ты сказал про Наполеона-то?

Самсонов с удовольствием повторил.

— Леонид Иванович! — он засмеялся. — Могу ещё одну весёлую штучку сказать.

— Давай до кучи.

— Этот многочисленный наш, Максютенко... Знаешь, что учудил? Его захватила тётя Глаша в конструкторском, с этой -- из планового девчонка — с Верочкой! В обеденный перерыв. Заперлись, понимаешь, на ключ!..

— Жена знает?

— Никто ещё не знает. Вот думаю, что делать? Кашу-то затевать не хочется! Всё-таки трое детей. Да и жена, как помотришь на неё, жалко становится. Хорошая женщина.

— Хорошая, говоришь?

— Хорошая. Вот ведь что.

— А попугать надо. — Леонид Иванович нажал кнопку в стене за спиной. — Попугать следует.

Вошла секретарша.

— Максютенко ко мне.

— Там изобретатель...

— Знаю. Пусть подождёт.

— Так я пойду, — Самсонов поднялся.

— По правилу, тебе бы следовало заниматься этими делами. Моральным обликом. — Леонид Иванович остро и весело взглянул на него. — Ладно, бог с тобой, иди.

Через минуту Максютенко, плешивый блондин с нежной кожей, красноватыми веками и блестящими женскими губами, стоял перед директором.

— Ну, здравствуй! Чего смотришь?.. Садись... товарищ Максютенко... Рассказывай, как у тебя дела с труболитейной машиной. Министерство скоро меня съест — кончите вы её когда-нибудь?

Максютенко ожил, заторопился:

— Леонид Иванович, всё, что зависело от конструкторов, сделано. Поправки, которые были присланы, переданы в технический...

— Не врешь? — Дроздов устало закрыл глаза, потёр пальцем желтоватый сухой лоб и, не открывая глаз, спросил: — Что ты там опять... н-на-творил с этой... с Верочкой?

Максютенко молчал. Леонид Иванович мерно сопел с закрытыми глазами, словно спал. Потом приоткрыл глаза и, с грустью посмотрев на бледного, вспотевшего конструктора, опять сомкнул веки.

— Я думаю, тебе как члену партии известно, что за такие вещи по голове не гладят, — продолжал он, словно сквозь сон. — Думал, был даже уверен, что ты сохранишь хоть каплю благодарности к тому человеку,

который дважды, — здесь Дроздов открыл гневные глаза, — дважды выручил тебя из беды. Послушай-ка, Максютенко. — Он вышел из-за стола и зашагал по ковру — не по прямой, а по сложной кривой линии, поворачивая то вправо, то влево. — У тебя, брат, какое-то болезненное, я бы сказал, тяготящее-к неблагоприятным поступкам. Жена-то, небось, ничего не знает?

— Ничего... — прошептал Максютенко, вытирая лоб платком.

— А жена ведь у тебя хорошая женщина... Ну что же мне делать с тобой? Донжуан! Смотри-ка, у тебя ведь и макушка-то одна, а не две. У кого две макушки, как у меня, видишь вот: раз и два, тому разрешается иметь вторую жену. И опять-таки — жену! По закону! А ты-то куда лезешь? Что мне теперь с тобой делать? Мне официально донесли. Берн лист и пиши мне объяснение. Здесь садись и пиши. Вот бумага, вот перо.

Через полчаса Леонид Иванович, сидя за столом и надев большие роговые очки, читал объяснение Максютенко.

— Вылечешь, брат! Не всё написано. — Он снял очки, посмотрел с сожалением на конструктора и направился в угол кабинета, к сейфу. — Кладу сюда. Если ты ещё что-нибудь отчубучишь, тогда пушу в ход сразу всё. Смотри, здесь и старые твои грехи лежат. Вот ещё одна твоя покаянная бумажка, помнишь, когда ты пьяный потерял пояснительную записку? Вот она, здесь. Иди и помни — за тебя Леонид Иванович взялся. Он тебя на ноги поставит.

Максютенко ушёл, и опять появилась секретарша.

— Леонид Иванович, изобретатель...

— Ждёт до сих пор? Ну что ж, пусть зайдёт.

Вместо изобретателя вошёл Самсонов.

— Ну как?

— Краснеет. Как всегда. Сядь-ка вот здесь, у меня сейчас изобретатель... Пожалуйста, пожалуйста. — Это он уже говорил высокому, художавому человеку, который стоял вдали, в дверях. — Пожалуйста, прошу!

Самсонов сел в кресло и опустил глаза. Изобретатель ровным шагом пересек ковёр и остановился у стола. На нём были военный китель, заштопанный на локтях, военные брюки навыпуск, с бледно-розовыми вытертыми кантами и ботишки с аккуратно наклеенными заплатками. Всё это было отглажено и вычищено. Изобретатель держался прямо, слегка подняв голову, и Леонид Иванович сразу заметил особую статность всей его фигуры, выправку, которая так приятно бывает у художавых взрослых, Светлые, давно не стриженные волосы этого человека, распавшаяся на две большие пряди, окаймляли высокий лоб, глубоко прорезанный одной резкой морщиной. Изобретатель был гладко выбрит. На секунду он нервно улыбнулся одной впалой щекой, но тотчас же сжал губы и мягко посмотрел на директора усталыми серыми глазами.

Этот мягкий взгляд немного смутил Леонида Ивановича, и он опустил глаза. Дело в том, что изобретатель три года назад сдал в Бриз комбината (то есть в бюро по изобретательству) заявку на машину для центробежной отливки чугуновых канализационных труб. Материалы были направлены в министерство, началась переписка, и с тех пор перед каждым выездом Дроздова в Москву к нему приходил этот очень сдержанный, тихий и, судя по всему, очень настойчивый человек и просил его передать письмо министру и как-нибудь подтолкнуть дело. И нынешняя, последняя поездка в Москву не обошлась без письма. Только Леонид Иванович, приняв это письмо как и всегда, передал его не непосредственно в руки министру, о чём просил изобретатель, а одному из молодых людей, сидевших в приёмной, — первому помощнику. Попало ли это письмо по адресу, Леонид Иванович не знал и не осмелился спросить об этом у министра. А помощника он не спросил, потому что этот молодой человек вёл себя с людьми

неуловимо нагло: не торопился с ответами, улыбался, поворачивался к собеседнику боком и даже спиной.

Вот как обстояло дело. Кроме того, полгода назад появилась ещё одна загвоздка: из министерства прислали эскизы и описание другой центробежной машины, предложенной группой учёных и конструкторов во главе с известным профессором Авдиевым. Эту машину приказали срочно построить. Она уже начала свою жизнь и окончательно закрыла дорогу машине Лопаткина. Леонид Иванович чувствовал себя немножко виноватым: в те дни, когда он был, по известным причинам, особенно близок к музгинской десятилетке, где преподавала Надя, — в те дни он, показывая широту характера, легкомысленно пообещал изобретателю «протоглотнуть» его проект. И за три года ничего не сделал. А теперь, когда появился проект профессора Авдиева, который в течение многих лет считался авторитетом в области центробежного литья, — теперь всё бесповоротно определилось. На стороне Авдиева — знания и опыт, его дело организовано серьёзно, находится в центре внимания и, как выразился один начальник главка, приятель Леонида Ивановича, *имеет перспективу*. Опыт подсказывал Дроздову, что не надо, даже невольно, становиться на пути авторитетных людей, которые без помех трудятся над делом, имеющим перспективу. Более того, было бы даже глупо поддерживать в этом деле искусственный нейтралитет, в то время когда приказы министра толкают тебя в ту же группу заинтересованных лиц, обязывая в кратчайший срок дать машину Авдиева в *металле*. И, конечно, Леонид Иванович давно сказал бы Лопаткину то, что втайне было уже решено, если бы не эти грустные, верящие глаза, перед которыми он терял спокойствие и забывал свои излюбленные позы и привычки. Поэтому весь разговор, переданный ниже, стоял для него больших усилий:

— Садитесь, — проговорил он, слегка побледнев. — Самсонов, познакомься. Это товарищ Лопаткин. Дмитрий Алексеевич, если не ошибаюсь?

Изобретатель пожал руку Самсонову. Сел, и наступило долгое молчание.

— Что я могу вам сказать... — Леонид Иванович закрыл лицо руками и застыл в таком положении. Отнял руки от лица, потёр их и сплёл в одну большой кулак, стал смотреть на изобретателя, словно что-то соображая. — Н-да... Так вот, полный отказ. Да, родной, никто не поддерживает вас.

Лопаткин виновато развёл руками и привстал, собираясь уйти. Ему только это и нужно было знать. Но Леонид Иванович опять сказал: «Н-да», — он не кончил говорить.

— Читал ваши жалобы на имя Шутикова (он небрежно назвал эту фамилию заместителя министра). Читал. Вы остёр! (Он так и сказал — остёр.) Вы и меня там немножко... Ничего, ничего, — Леонид Иванович улыбнулся. — Я не обижаюсь. Вы поступаете правильно. Только у вас одно слабое место — у вас нет главного основания жаловаться. Я не обязан поддерживать вашу машину. Наш комбинат предназначен для выпуска труб. А те канализационные трубы, что мы делаем, — это для собственных нужд министерства. Для жилищного строительства. Это капля в море. Вам следовало обратиться в соответствующее ведомство. А не к нам. Вот ваша главная ошибка... товарищ Лопаткин.

Изобретатель ничего не сказал, только соединил руки на широком, сильном колене. Руки у него были большие, исхудалые, с выпуклыми суставами на тонких пальцах.

— А вторая ваша ошибка состоит в том, — Дроздов устало закрыл глаза, — в том, что вы являетесь одиночкой. Коробейники у нас вывелись. Наши новые машины — плод коллективной мысли. Вряд ли вам что-либо удастся, на вас никто работать не станет. К такому выводу я пришёл по-

сле всестороннего изучения всех перипетий... — он грустно улыбнулся, — данного вопроса.

— Да, да, я понимаю... — Изобретатель тоже улыбнулся, но улыбка его была мягче: он понимал стоявшие директора и спешил прежде всего освободить его от неприятной обязанности говорить посетителю горькие вещи. — Вы меня простите, пожалуйста... — Он поднялся и развёл руками. — Собственно, я ведь нечаянно попал в эту историю... Хотя я и одиночка, но я ведь не для себя... Благодарю вас. До свидания. — Он слегка поклонился и пошёл к выходу прямыми, чёткими шагами.

— Сломанный человек, — сказал о нём Леонид Иванович. — Слаб оказался. Слаб. Жизнь таких ломает.

— Да-а, — согласился Самсонов.

— А ты знаешь, он ведь был учителем физики в нашей школе. Где Надежка преподаёт. Понимаешь, какое дело? Университет окончил.

— Ну что ж, университет...

— Не говори — московский. Ты не знаешь, а он ведь настоящий изобретатель. Патент имеет. Свидетельство... Когда ему присуждали авторство, его сразу вызвала Москва — разрабатывать проект. А для них, изобретателей, закон имеется: если тебя вызывают для реализации изобретения — ты уходишь со старого места работы и получаешь на новом тот же склад. Вот он и выехал, ха-ха! — Дроздов засмеялся, мелко затрясся на своём кресле. — Вот он и выехал! Второй год уже не работает. Здесь другого физика приняли, а там, по приезду, отказали. Нет ассигнований. Я теперь знаю, чья это работа. Это Василий Захарыч Авдиев. Он ведь сам давно над этими делами колдует... Вот он с тех пор...

— Ты бы ему и разъяснил. Куда ему тягаться с докторами, — сказал Самсонов. — С профессорами!

— Это верно. Но мне он чем-то нравится. Знаешь, надо ему помочь. Уголька, что ли, подбросить. — Леонид Иванович снял телефонную трубку. — Мне Башакина... Порфирий Игнатьевич, это ты? Ты вот что, отправь угля на квартиру этому, Ломоносову нашему. Лопаткину, на Восточной улице. Ему, ему. Сколько? Полтонны, думаю, хватит! И дровишек с полкубометра. Во-от, вот как раз, буду я этим заниматься, подсказывать тебе. На то ты и топливный бог. Спишешь. В общем, отвези сегодня. Проследи.

2

На следующий день Надежде Сергеевне надо было выходить на работу. За час до начала уроков второй смены она надела манто, шапочку и зелёные пуховые варежки, постояла некоторое время перед зеркалом, а выйдя во двор, даже попробовала пробежаться по снежной тропке до ворот — так ярко, счастливо снял снег под темносиним небом и так хорошо чувствовала она себя. Но до ворот она не добежала — перешла на тяжеловесный, немного развалистый шаг, который стал уже привычным для неё. Она вышла на улицу, постепенно пригляделась к яркому снегу, забыла о своём новом манто, и счастливая улыбка исчезла с её лица — оно стало даже немного грустным. Надежда Сергеевна глубоко задумалась.

Она присхала в Музгу три года тому назад — сразу по окончании педагогического института. В первый же год она познакомилась с человеком, которого везде называли коротко — Дроздов. Падю поразили тогда его маленький рост и слухи о его необыкновенном таланте властвовать и управлять. С живейшим интересом выслушивала она в учительской анекдоты о нём, которые всегда рассказывались вполголоса, почтительно и немного враждебно. Один анекдот был такой: Дроздов поехал в своём «газике» на топливный склад. Во дворе склада он остановил машину и некоторое время наблюдал, как посетители шли от ворот в контору, бредя в сапогах через большую весеннюю лужу, меся глубокую, по колено, грязь.

Затем Дроздов приказал шофёру въехать в эту же лужу и, открыв дверку «газика», весело крикнул начальника склада Башашкина. Эту часть анекдота рассказывали с особенным удовольствием: Башашкина не любили в Музге. Дроздов вызвал его и перед всем народом стал приглашать подойти поближе к машине. И — нечего делать — Башашкин подошёл к нему, как был: в своих жёлтых «полботиночках», и стоял в луже полчаса, выслушивая неторопливые указания Дроздова об учёте топлива. Зато на следующий день у Башашкина на складе уже был построен высокий деревянный тротуар.

Надя любила романы Джека Лондона, и ей казалось, что Дроздов чем-то похож на золотонскателя из романа «День пламенеет». Она и сюда, в Сибирь, ехала с тайной надеждой встретить такого героя, человека, способного объединить силы тысяч людей — капризных, хладнокровных, обидчивых и требовательных, рабочих и специалистов. Она познакомилась с Дроздовым во время одной из экскурсий на комбинат. Три дня спустя этот маленький человек с твёрдым мальчишеским голосом уже катал её ночью на тройке по степи, сверкающей лунно-морозными кристалликами. А через месяц она вошла в его дом, запово отделанный по случаю женитьбы. Правда, женитьба была неофициальная — настоящая жена Дроздова жила в другом городе. «Ушла, но виноват был я, — объяснил Леонид Иванович. — Увлёкся работой, а ей нужна была личная жизнь». Жена не давала ему развода. Но это была лишь временная трудность. Ещё несколько месяцев — и в новом паспорте Нади уже значилась новая фамилия: Дроздова.

И вот прошло два года... Подумав об этом, Надежда Сергеевна неожиданно и глубоко вздохнула и с тревогой спросила себя: почему это — вздох? Уже давно она стала замечать в зеркале свои задумчивые и странно увеличенные, словно от испуга, глаза. Уже два года возникали в её голове внезапные, пугающие вопросы, и она не могла ответить на них, пока не приходил муж. Леонид Иванович с усмешкой выслушивал её и успокаивал чётким, разрубающим все трудности ответом.

В первой же беседе с женой — это было на четвёртый или пятый день после их неофициальной женитьбы — Дроздов отверг всё, чему её учили с детства, и Надя со страхом и восхищением приняла от него новый, дерзко упрощённый взгляд на жизнь.

— Милая, — сказал он устало и сел рядом с нею на диван. При этом оказалось, что теперь они одного роста. — Милая, вот в чём дело: всё, что ты говоришь, — это девятнадцатый век. Изящная словесность. Должен тебе сказать, что я ничего этого не понимаю и не жалею об этом. Вот так. Вот что я тебе могу сказать на вопрос по поводу моего нетактичного, как вы изволили выразиться, — он улыбнулся, — обращения с подчинёнными. Дорогая супруга, надо кормить и одевать людей. Поэтому мы, работяги, смотрим на мир так: земля — это хлеб, снежок — это урожай. Сажа валит из труб — это убыток и одновременно напоминание: есть приказ министра о ликвидации убытков, над чем мы ежедневно просиживаем штаны. Человек, который стоит передо мной, — это хороший или плохой строитель коммунизма, работник. Я смею право так думать о нём, потому что и о себе я иначе не могу думать. Я живу только как работник: дома, на службе — я везде только работник. Мне звонят ночью, когда я спящий человек. И напоминают, что я работник! Мы бежим наперегонки с капиталистическим миром. Сперва надо построить дом, а потом уже вешать картиночки. Видела ты когда-нибудь здорового такого плотника, от которого пахнет мужицким потом? И который строит дома? Я этот плотник. Вся правда в моих руках. Построю дом — тогда вы начнёте вешать картиночки, тарелочки, а обо мне забудете. А вернее, забудут о нас с тобой, как ты есть моя дражайшая половина и делишь со мной участь. Вот так. — Он положил руку ей на плечо. — Довольны ли вы таким объяснением?

Надя молчала, и Леонид Иванович, скосив на неё чуть насмешливые чёрные глаза, сказал отчётливее и резче:

— Я принадлежу к числу производителей материальных ценностей. Главная духовная ценность в наше время — умение хорошо работать, создавать как можно больше нужных вещей. Мы работаем на базис.

Ночью, придя с работы, он иногда брал с собой в постель «Краткий курс истории партии» и, надев большие очки, читал всегда четвёртую, философскую, главу. И Надя тоже читала. Они лежали рядом на квадратной деревянной кровати с тумбочками и почками по обе стороны. Леонид Иванович, найдя в книге нужное место, снимал очки.

— Вот ты говорила о том, что у меня крайности. У того, кто работает на материальный базис, крайностей не может быть. Потому что материя первична. Чем лучше я его укрепляю, базис, тем прочнее наше государство. Это тебе, родная, не Тургенев.

— Ты путаешь. Базис — это отношения между людьми по поводу вещей, а не сами вещи, — однажды не очень смело сказала ему Надя. Она много раз изучала этот предмет, но никогда не чувствовала себя в нём твёрдо.

Леонид Иванович перечитал ту страничку, где было сказано о базисе, и повторил:

— Я укрепляю базис. Я производжу вещи, по поводу которых люди будут вступать в отношения. Были бы вещи, а уж кому вступать по поводу их... в отношении, — он засмеялся, — за этим дело не стаёт!

Управлял людьми он твёрдо, с лёгкой усмешкой. Сложные вопросы решал в один миг, и дела комбината под его руководством шли по ровной, чуть восходящей линии. Министр в своих приказах всегда упоминал Дроздова, ставя его в пример другим. Надя давно уже смотрела на мир его глазами — смотрела, может быть, с некоторым испугом, но не могла иначе: своего ничего не могла придумать.

Так, в глубоком раздумье, ничего не замечая вокруг, Надя шла в школу по снегу, скрипящему под ботами, как крахмал, и её дыхание развевалось на морозном ветру лёгким всё время исчезающим шарфом.

На перекрёстке, где сходились проспект Сталина и Восточная улица — самая длинная улица посёлка, — Надя увидела бывшего учителя физики Лопаткина. Он был в солдатской фуражке и в чёрном старом пальто. Шёл он прямо на Надю, поднимая воротник и спрятав руки в карманы. Надя уже целый год не здоровалась с ним. Во-первых, потому, что он когда-то ей нравился. Будем говорить прямо — она была влюблена в него и теперь не могла простить себе этой глупости. Во-вторых, потому, что ей было жаль этого сумасшедшего чудака и она боялась причинить ему боль своим состраданием. Поздоровавшись с ним, пожалеешь, а он начнёт вдруг что-нибудь кричать! И на этот раз Надя, поблуднев, глядя только вперёд и вниз, прошла мимо, всеми силами души прося его, чтобы он не поздоровался и не остановился. И Лопаткин словно понял её — ровно прохрустел по снегу своими чёрными ботинками с круглыми наклеенными заплатами, неловко оступился, пропуская её, и исчез, как неприятный сон.

Он был когда-то нормальным человеком. Надя помнила — он преподавал не только физику, но и математику. А теперь вот не даёт покоя Леониду Ивановичу со своим смешным и несуразным проектом. И пишет, пишет, пишет во все места — академикам, министрам и даже в правительство! Должно быть, война тронула мозги и у этого человека. Как это сказал муж?.. Да, вот: нет в Москве другой работы, кроме как читать письма этих маршан!

Надя вздохнула, и мысли её опять повернули на привычную тропу. Вот муж... Видно, так и должно быть: одно нам не нравится в челове-

ке, другое — непонятно, а третье — очень хорошо. Человек противоречив по природе своей. Это говорил Наде он сам. И это правда!

Ведь вот минувшим летом, когда ездили на массовку за город, сумел же он тогда понравиться всем! Играл в волейбол, прокатился на чужом велосипеде, вспомнил молодость. Потом объявил конкурсе на плетение лаптей. Все сдались, а он быстренько поковырял проволокой и сплёл из лыка пару маленьких лапотков. Они и сейчас висят над столиком в её комнате. Он очень хорош, прост, когда, придя с работы и надев полосатую пижаму, начинает возиться с рыболовными снастями — паяет крючки, строгаёт рогульки для жерлиц. Только вот... если бы не пел. У Дроздова совсем не было музыкального слуха, и, когда он на кухне затягивал своё любимое «Стоит гора высоко-окая» — песню, которую можно было узнать только по словам, — ей казалось, что он где-то порядочно выпил.

«Да-а...» — Надя вздохнула и, сразу прогнав все свои воспоминания, стала подниматься по ступенькам школы.

До начала уроков оставалось двадцать минут, и все три клеёнчатых дивана и ступья в учительской были заняты. Старая дева — словесница — обложилась книгами и сумками и проверяла за маленьким столиком тетради. Вторая старушка — биолог — просматривала тетради в углу клеёнчатого дивана, и её сумки и книги стопками стояли около неё, на полу. Тут же сидели две молодые улыбающиеся учительницы первой ступени — слегка накрашенные и завитые, и обе в одинаковых голубых шерстяных кофточках с короткими рукавчиками, обнажающими руку почти до плеча. И третья старушка — математичка Агния Тимофеевна, — подсев к ним, читала нотацию по поводу этих рукавчиков.

На другом диване сидели рядом хорошенькая молодая химичка и две учительницы немецкого языка — обе с крашеными ногтями. Здесь шёл разговор о чулках с чёрной пяткой, которые тогда начинали входить в моду и которых здесь ещё никто не видел. В самом углу дивана сидел единственный в школе мужчина — преподаватель истории Сергей Сергеевич, он демонстративно развернул газету и закрывался ею от своих соседей.

На третьем диване было свободное место. Там расположилась со своими тетрадками подруга Нади — учительница английского языка Валентина Павловна, — курносая, с весело приподнятой бровью, с весёлыми кудряшками, начёсанными на большой выпуклый лоб. Этот лоб делал лицо её некрасивым, как бы составленным из двух половинок — верхней и нижней. Но Валентина Павловна не замечала своей беды — была всегда весела, шушукалась с молодёжью, и в учительской часто можно было услышать её лёгкий, счастливый смех. Никто не подумал бы, что где-то есть несчастный, влюблённый в неё муж, от которого она ушла вместе с дочерью, потому что сама полюбила другого, хотя этот другой был к ней равнодушен и даже не подозревал ничего.

Увидев Надю, Валентина Павловна молча подвинулась на диване. Надя села, и они, наклонив головы, сразу заговорили вполголоса, как общницы.

— Ну как? Стучится? — спросила Валентина Павловна.

— Всё время молотит. Такой хулиган!

— Какой месяц?

— Пятый. Мне теперь всё время дурно делается по самым разным причинам. Тут как-то свежковь показала мне материал в полоску — и мне от этих полосок стало дурно! А у вас что нового?

Они были очень близки, но, как и два года назад, говорили друг дружке «вы».

— Всё так же, — сказала Валентина Павловна, и в её весёлых глазах доверчиво, но всё-таки очень далеко промелькнула грусть.

Между тем математичка, отчитав двух модниц, наконец оставила их.

— С приездом, Надежда Сергеевна,— сказала она.— Вас тоже склоняли вчера. На педсовете.

— За что?

— А чего ж вы.: Ганичева Римма по всем предметам успеваает, а по географии вы ей двойку...

Она сказала это строгим голосом. Но в учительской все хорошо знали Агнию Тимофеевну и её манеру шутить.

— А кто склонял? — спросила Надя, улыбаясь.

— Директор. И она права: раз у Ганичевой по биологии три — значит и по географии должно быть не меньше трёх...

Надя выпрямилась и закусила губу.

— Знаете, Валя, вот так всегда... Помните, я говорила? Директор всегда со мной через третьих лиц...

— Надежду Сергеевну муж вырывает,— заговорила словесница, сняв очки.— А мне так прямо сказали: ставь Соломыкину тройку. Это, мол, вина не ученика, а ваша недоработка. А знаете, что он написал в сочинении? «Иму не нависны дворяни». Это он о Тургеневе! Девятый класс!

— Плохих учеников нет, есть плохие учителя,— пробасила математичка, и все засмеялись.

— Эх, я бы с нею поспорила, я бы не согласилась! — громко шепнула Валентина Павловна.— Словесница у нас — овечка.

— Уж будто вы, Валя, никогда не сдавались...

— Верно, иногда устанешь бороться и махнёшь рукой: бог с ними, получайте вашу тройку. Только к чему это ведёт? Всё это делается не для пользы, а для отчёта. Ведь нужны знания, а не отметка! Бумажка, которую мы здесь выдаём, она только вредит — по бумажке человека ставяг на пост, а он — вот такой Соломыкин, вытянутый за уши, он ещё станет врачом! Или начальником... Тяжелее всего слушать неграмотную речь, когда её произносит человек, поставленный тобой руководить.

Валентина Павловна говорила ещё что-то, смеялась, а Надя вдруг застыла, задумалась, глядя вниз и ничего не видя. Она вспомнила, как однажды Леонид Иванович прислал ей с комбината записку, и записка эта начиналась словом «Обеспеч», написанным крупными буквами и без мягкого знака. Позднее Надя осторожно сказала мужу об этом: она боялась, как бы Леонид Иванович не написал такое ещё кому-нибудь. Но он веско ответил: «Грамота — это грамота...» И Надя поскорее перебила его, переменяла тему, чувствуя, что он дальше скажет: «...и ничего больше».

— Иду по Москве и читаю,— говорила Валентина Павловна,— «Приём заказов *платья*», «База снабжения *материалов*». Золотом по мрамору! Это всё наши ученики пишут. Всё соломыкины! И мне думается, Надюша... Вы что? Что с вами?

— Да так, задумалась. Я всегда задумываюсь, когда вы говорите. Вы знаете, я совсем не умею бороться. Даже думать не умею!

— А зачем вам бороться? Вы за Дроздовым, как за стеной. За что вы Ганичевой двойку?..

— За подсказки и за шпаргалку. Я снижаю оценку, если замечаю такие вещи. Безжалостно. Послушайте, Валя... вы сегодня видели *его*?

Валентина Павловна покачала головой: не видела.

— А вчера?

— Видела... Издалека,— шепнула Валентина Павловна.— Я к нему иногда хожу. Только редко.

— Вы бы хоть мне его показали как-нибудь. Вы его любите? Это не шутка?

Валентина Павловна покачала головой: нет, не шутка.

— Что он — красив?

— Что красота! Вы помните красоту Элен из «Войны и мира»? Красота — вещь относительная...

Сказав это, Валентина Павловна спохватилась, взглянула на Надю: не обиделась ли она, красивая? Не считает ли всю эту философию самозащитой некрасивых? Но Надя слушала, широко открыв глаза, и Валентина Павловна успокоенно вздохнула.

— Дело здесь не в красоте, Надюша. Я ведь была когда-то боевой комсомолкой и иногда чувствую, что *это* осталось во мне... на всю жизнь. Когда мы первый раз встретились с этим человеком... В общем, амур не присутствовал при нашей первой встрече. У меня началось с желания ему помочь. Как в хорошие комсомольские времена...

— А как вы его полюбили, сразу? С первого взгляда? Валюша, ну расскажите!

— Нет. Не сразу. Не с первого взгляда. Знаете, чтобы полюбить, взгляда мало. Нужно с человеком столкнуться. Такое столкновение нужно, чтоб почувствовался характер. И у нас было столкновение. Но почувствовала одна я.

— А он?

— Он — нет. Для него я чужой и непонятный человек. Как мне Сергей Сергеевич. Я встречаюсь с ним и вспыхиваю, а мне ведь тридцать лет! Ах, Надя, вы не знаете, что это такое. Если бы хоть один его взгляд сказал мне то, что... я ведь не могу скрывать!.. За одну такую минуту я отдала бы всё. Он тоже меня замечает, вспоминает обо мне, но не так, как я... А я вот вспоминаю иначе... — Валентина Павловна опустила голову, потом подняла, и Надя увидела слёзы в её доверчивых и ясных глазах. — Вы знаете, это человек высочайшей души. Смелый. Умный. С кем ни встретится, оставляет след. Это настоящий герой, о каком я мечтала девочкой. Ах, если бы он встретился мне раньше. Я бы побежала за ним на край света. Ни секунды бы не думала! Я ведь была тогда лучше...

— Ми-илая! — Надя прижала её руку к дивану, прикоснулась к ней плечом. — Вы сейчас лучше всех!

За стеной, в коридорах школы, тонко разливался звонок. Учителя не спеша собирали книги, журналы, выходили из учительской.

— Хватит, хватит сплетничать! — с сердитым весельем пробасила старая математичка, проходя мимо них, и подруги, вздыхая, поднялись.

— Мы ещё поговорим? Ладно? — сказала Надежда Сергеевна, глядя на подругу грустно-восхищёнными глазами. — Хорошо, поговорим?

— Не знаю, что здесь интересного. Тем более для вас. Не притворяйтесь! Вы не меньше моего знаете, что такое любовь...

И Надя вдруг почувствовала на лице у себя странное, фальшивое выражение! Оно говорило: «Конечно! Я знавала любовь», и ещё: «Пожалейте меня, Валентиночка, я совсем ничего не знаю, сама себя не могу понять...»

Около лестницы они расстались, шутливо и ласково протянув друг дружке руки. С той же чужой, растерянной улыбкой Надежда Сергеевна вошла в седьмой «Б» класс. Она поздоровалась с учениками, села за стол, и все её непонятные заботы отошли в сторону.

Со второй парты на неё угрюмо смотрела Римма Ганичева. Её тёмные глаза были неприятно раздвинуты к вискам и напоминали о бинокле. Надежда Сергеевна сразу увидела и свою лаборантку — Сьянову, бледную и худенькую девочку-подростка, с тревожным взглядом — и улыбнулась ей. К Сьяновой Надежда Сергеевна давно уже чувствовала необъяснимую материнскую нежность и жалость.

— Ну, как мы подготовились? — Надежда Сергеевна посмотрела на доску. Да, конечно, лаборантка опять постаралась — развесила карты и нарисовала на чисто вытертой доске контуры Севера и Центра европей-

ской части СССР. — Ну что ж, очень хорошо. Прекрасно, — сказала Надежда Сергеевна уже учительским тоном. И урок начался.

Она вызвала к картам троих учеников и, задав всем вопросы, мельком взглянула на Сьянову. Эта тихая, исполнительная девочка очень боялась вызовов к доске и всегда получала по географии тройки. Надежда Сергеевна решила сегодня побороть страх своей лучшей лаборантки и вдруг сама почувствовала робость.

— Сьянова! — сказала она как бы между прочим, устало прикрыв пальцами глаза.

Девочка встала, уронила учебник и, не заметив этого, прихрамывая от страха, подошла к доске.

— Вот ты показала здесь Север европейской части. Нанеси теперь реки Севера и покажи размещение полезных ископаемых. И не бойся, — добавила она тише.

— Я не боюсь, Надежда Сергеевна. Вот Печора... — Сьянова слабо улыбулась и стала жирно вести мелом Печору от Двинской губы.

У Надежды Сергеевны закололо в груди. Класс негромко зашикал. Сьянова остановилась и побледила. Потом быстро стёрла свою «Печору» и на этом же месте уверенно нарисовала ветвистую Двину. Стукнула мелом и оглянулась. Все усиленно закивали. Надежда Сергеевна опустила глаза к классному журналу. Покончив с Двиной, Сьянова нанесла Печору, Мезень и Онегу. Вычертив все изгибы Онеги, она опять оглянулась, и ученики в первых рядах, косясь на учительницу, осторожно кивнули. «Не буду замечать», — решила Надежда Сергеевна. Под маленькой рукой Сьяновой быстро и верно разветвились реки Нарва и Кола с Туломой — это было сделано уже сверх того, что требовалось. «Она всё знает. Ей не хватает смелости», — подумала Надежда Сергеевна, следя за ответом другого ученика. Она мельком взглянула на контур Севера европейской части и увидела, что на нём уже показаны месторождения апатитов и тихвинские бокситы. Не было лишь Ухты. «Поставлю четыре, — подумала Надежда Сергеевна, — может быть, с этой четвёрки у неё начнётся другая жизнь».

— Ну, — сказала она. — Что у тебя?

Оживлённое лицо Сьяновой сразу же померкло.

— Я что-то ещё забыла, — призналась она и положила мел. — Никак не могу вспомнить.

— Садись. Ставлю тебе четыре. Сейчас мы вспомним сообща, что ты забыла.

И тут же Надежда Сергеевна заметила поднятую руку Ганичевой.

— Ну, вот Римма сейчас нам скажет...

Ганичева встала, оглянулась направо, налево и заговорила, упорно глядя в сторону, при каждом слове поднимая одну бровь:

— Вот вы, Надежда Сергеевна, поставили мне двойку за подсказки. А Сьяновой всё время подсказывали. Кто? Вот и скажу — Парисова подсказывала, Слаутин, Вяльцев...

— Мы не подсказывали! — закричали сразу несколько ребят.

— Кивали! Вот и кивали, я видела! А когда Печору — Хапапетова сразу зашикала, и Сьянова стёрла Печору. Так что вот... — И, не договорив, Ганичева села, и в её оттянутых к вискам больших глазах засветилась удовлетворённая месть.

— Сейчас Сьянова сама разрешит наши сомнения, — сказала Надежда Сергеевна. Сьянова поднялась. — Оценка зависит от твоего ответа, Сьянова. Если тебе подсказывали, я поставлю два.

— Подсказывали. — чуть слышно сказала Сьянова.

— Не подсказывали! — взорвался весь класс. — Кивали! Надежда Сергеевна! Только кивали!

— Кивали. — ещё тише сказала Сьянова.

— Хорошо. Я поставлю три.— Надежда Сергеевна тихо вздохнула и посмотрела на Ганичеву.— Ставлю три. Но, ребята... правду говорить с досады не лучше, чем скрывать правду: Для того, чтобы отомстить, чаще применяют ложь. Но, как видите, применяют и правду. Если бы Ганичева хотела заставить Сьянову лучше работать, она должна была бы сначала с нею поговорить. А вы тоже хороши. Киваете... Зачем кивать?

На перемене около учительской к Надежде Сергеевне подошли несколько учеников из этого класса, притихшие, строгие, и стали просить, чтобы она поставила Сьяновой четвёрку.

— Ей трудно учиться,— сказала чёрненькая подсазчица Ханапетова.— У неё большая семья, и они бедные. Ей много приходится работать дома. Мы ей помогём...

— Помогайте, только не подсказками, — сказала Надежда Сергеевна своим привычным тоном руководительницы и задумчиво посмотрела в окно.— Где она живёт?

— На Восточной улице, в самом верху.

«Надо сходить. Схожу, посмотрю»,— подумала она.

Надежда Сергеевна и не подозревала, что там, в домике Сьяновых, и начнётся первый большой поворот в её жизни.

3

Она хотела навестить семью Сьяновых на следующий день. Но это ей не удалось, потому что Леонид Иванович, который был в последнее время очень хорошо настроен, задумал попить, или, как он выражался, организовать *сабантуй*. Надя догадывалась, в чём дело. Дроздов в Москве получил какие-то более серьёзные и секретные сведения о своём новом назначении — гораздо более важные, чем то, что знала она. Вот он и фазвеселился, не мог найти себе места и наконец придумал: устроить «блоняницию» свадьбу. Как раз прошло два года с того дня, как они расписались в поселковом загсе.

Был сразу же назначен день, Леонид Иванович пригласил гостей, а к Наде была вызвана портниха. Она начала срочно шить для Нади из синего кашемира специальную свободную одежду, которой Дроздов каждый день давал новое название — то размахай, то разгильдяй, как придётся. Из ближней деревни привезли старуху — родственницу Шуры, и на кухне началась работа.

Надя решила пригласить на празднество кого-нибудь из *своих*, чтоб было не так скучно, и сказала об этом мужу. Леонид Иванович спросил:

— Кого?

Надя назвала имена нескольких учительниц, в том числе и Валентины Павловны.

— Н-да,— сказал Леонид Иванович и, закрыв глаза, с силой провёл сухонькой рукой по лицу, как бы сминая нос и губы.— Н-не рекомендую. Почему? — Он посмотрел на неё одним глазом из-под руки.— Потому что они, как бы тебе сказать... рабы всёей. Увидят и отождествят тебя и меня с теми вещами, которые нас окружают. У них нет таких вот часов, которые стоят на полу. Они всегда по этой причине будут свою зависть переносить на ничего, не подозревающего человека. Как у Моцарта с Сальери получилось. Рано или поздно ты будешь изолирована от них, и не по твоей вине. Это тебе ответ на твой наболевший вопрос. Значит, так: не рекомендую звать учительниц. А впрочем, зови. Но это только ускорит процесс изоляции.

И Надя, подумав, позвала на свою «оловянную» свадьбу не всех, а только одну Валентину Павловну.

В назначенный вечер Надя приготовилась встречать гостей. Она всё время помнила слова мужа об изоляции и уже нашла себе место в той

неуютной жизни, на которую обрекал Леонида Ивановича его высокий и ответственный пост. Она должна была совершать подвиг вместе с ним.

Начали съезжаться всегдашние гости. Первым появился управляющий угольным трестом — рослый мужчина в кожаном пальто на собачьем меху и в новых фетровых бурках. За ним пришли Ганичевы — муж и накрашенная жена в платье из чёрных немецких кружев. Ганичева сразу же внесла в гостиную дурмящий запах каких-то незнакомых духов. Она была очень похожа на свою дочь Римму. Надя знала, что у неё есть ещё одна дочь, которую зовут Жанной. Эта дочь уехала в Москву — поступила на химический факультет. И говорят, что, когда Жанна училась в десятом классе, у неё с учителем физики Лопаткиным была какая-то романтическая история...

После Ганичевых приехал секретарь райкома Гуляев — смуглый, горбоносый кубанский казак, одетый в военное. За ним прибыл председатель райисполкома — пожилой, увесистый и одетый тоже в военное. Затем ввалился директор совхоза — этот был весь в снегу, в двух тулупах — добрался из степи на санях. Вскоре после них пришла и Валентина Павловна. Сняла свою шубку, показалась на миг в гостиной и вернулась в коридор к Наде, которая к этому времени уже приветствовала районного прокурора и его жену.

Мужчины успели надымить папиросами, и Надю начало поташнивать. Она улыбнулась новой гостье — громогласной заведующей райторготделом Канаевой. Улыбнулась, но в это время Канаева закурила около неё, и Надю передёрнуло.

— Я не могу... — шепнула она Валентине Павловне.

— На каком месяце? — глухо спросила Канаева, взяв её за плечи, дыша табаком. — Ах вон что... Так ты чего тут стоишь? На диванчик иди. Но Надя всё же героически устояла на месте.

В гостиной между тем разгорелась нестройная весёлая беседа.

— Значит, Леонид Иванович, выпьем, говоришь, прощальную? — доносился голос директора совхоза.

— Да... — должно быть, в эту минуту Дроздов закрыл глаза. — Мужественно расстаемся... С бокалом в руке. Как подобает суровым мужчинам Сибири...

— Не забывай нашу Музгу! Она одна на свете...

— Ну, память о Музге с Леонидом Ивановичем в Москву поедет, — сказала Канаева. — Едут не один, а двое!

— Трое! — крикнул управляющий угольным трестом. Он ещё до прихода успел где-то выпить.

— Как хорошо! И Жанночке моей теперь будет к кому зайти. Всё-таки земляки...

Это Ганичева вставила словцо.

— Ну, как она там?

— Второй курс кончает.

— Леонид Иваныч! Леонид Иваныч! — звал с другого конца комнаты чей-то голос, весёлый и искательный. — Ты бы перед отъездом взял да и распорядился насчёт грейдера! Нам на память! Чтоб мы поставки осенью повезли по дорожке!

— Это Ганичев сделает, — ответил Дроздов шутливо. — По вступлении на троп...

Валентина Павловна стояла около Нади и через открытую настежь дверь наблюдала за гостями.

— Идите к нам, в наш кружок! — любезно извиваясь, позвала её Ганичева. Она рассказывала женщинам об Австрии, где прожила с мужем целый год.

— Ну и как там после нашей Сибири? — перебил её Дроздов и прошёл к выходу, не ожидая ответа.

— Ах, никакого сравнения! — закричала, всплеснув руками, Ганичева. — Никогда бы оттуда не возвращалась!

И Валентина Павловна, всё так же не говоря ни слова, остановила на ней свой спокойно наблюдающий взгляд.

Леонид Иванович, выйдя в коридор, позвал глазами Ганичева. Тот вскочил, и они остановились около стены — маленький и высокий.

— Ну? — хмурясь, спросил вполголоса Леонид Иванович.

— Он сказал, что очень сомневается.

— Ты мне толком всё-таки скажи, что он там раскопал?

— Он хочет остановить авдиевскую машину.

— Н-ничего не знаю, — протянул Леонид Иванович. — Вот ещё! А имеет он право?

— Он советует не торопиться...

— Ничего не знаю! — Леонид Иванович нахмурился, подвигал коленом. — Вот ему Авдиев с министром выплут... Покажут ему вето!

И он резко повернулся, чтоб уйти.

— О ком это вы? Что-нибудь случилось? — тихо спросила Надя.

— Что может случиться с нами? — он тепло улыбнулся. — Разве Черномор невесту украдёт? Завод, завод, — добавил он серьёзно. — Это не мастерская какого-нибудь «Индпошива».

Надя не смогла до конца выдержать роль хозяйки дома. Когда по знаку Леонида Ивановича гости перешли в столовую, после первых двух тостов она отдала мужу свою рюмку с недопитой вишнёвкой (чтобы он допил, потому что тосты были за счастье), извинилась и вышла. Легла у себя в комнате на диван, и тут же к ней подседа Валентина Павловна, посмотрела на неё внимательными грустными глазами.

— Надюша... Ведь у вас здесь, на этом вечере, нет ни одного друга! Ни у вас, ни у Леонида Ивановича...

— Правда... — Надя сказала это слово и испугалась. — Нет никого. Кроме вас...

— Я не в счёт.

Они надолго замолчали. Надя лежала неподвижно и смотрела на строгий некрасивый профиль подруги.

— Почему? — спросила Валентина Павловна.

В эту минуту из столовой в коридор открылась дверь и донёсся извисящий голос Ганичевой:

— Господи! Кто же мог тогда предположить? Впрочем, Жанночка мне писала, что он не оправдал надежд.

— Изобретатель-то? — засмеялся Дроздов, и дверь закрыли.

— Это о ком? — живо спросила Валентина Павловна.

— О нашем Лопаткине.

Они опять затихли. Валентина Павловна вдруг взяла Надю за руку.

— Вы на меня не сердитесь? Ради бога, не сердитесь! Я просто не ожидала. Это не свадьба у вас, а приём, в районном масштабе... «Присутствовали такие-то, такие-то и такие-то лица...» Всё громкие имена. Почему у вас не было никого из рядовых, обыкновенных людей, скажем, доктора Ореховой? Ведь она к вам часто ходит в обычные дни. А Агния Тимофеевна — она ведь вас любит! Вы и её не пригласили?

Надя не ответила, и Валентина Павловна, взглянув на её бледное лицо, покрытое серыми пятнами, прекратила расспросы.

За стеной был слышен нестройный, расслабленный хор — гости пробовали затянуть песню. Песня долго не ладилась. Потом кто-то захлопал в ладоши.

— Товарищи! — это был голос Канаевой. — Надо внести в это дело элемент организованности! Пусть жених запекает, а хор будет подхватывать. Давай, Леонид Иваныч!

И Дроздов затянул. «Стоит гора высокоокая!» — взвился его вибрирующий, глухой голос. Надя покраснела. Как всегда, песню можно было понять лишь по словам. Но хор, с трудом сдерживавший свои силы, грянул — и исправил всё дело.

Валентина Павловна обняла Надю.

— Ну ничего, ничего... Это что — для вас? — она посмотрела на пианино. В нём отражались две женские фигуры. — Играете?

— Собственно не играю, а так... размышляю иногда.

— Поразмышляйте, пожалуйста, а?

— Они услышат, — Надя посмотрела на стену. — Ещё сюда придут, играть заставят. Я чувствую, они уже основательно там... Лучше завтра как-нибудь.

— А это кто? — спросила Валентина Павловна и, быстро встав, сняла со стены фотографию в коричневой деревянной рамке. Из рамки смотрел молодой крестьянин в фуражке, в чёрном пиджаке и новых сапогах. Он сидел, раздвинув колени, оставив локоть, прямой и непрístupный. Из-под фуражки выбился как бы печально чуб, а на лацкане пиджака Валентина Павловна заметила значок, окружённый шелковым бантом.

— Он? — шепнула Валентина Павловна с уважением.

Надя кивнула.

— Он что — в гражданской войне участвовал?

— Нет. Тогда все надевали банты.

— Когда же это?

— В двадцатом или в девятнадцатом году. Он плотником работал. Красивые избы ставил. У него где-то есть фотографии. Нет, Валя, он не так уж плох. — Надя посмотрела на Валентину Павловну, и серые глаза её посветлели и словно увеличились от выступивших слёз.

— Надя, миленькая, что вы! Это вы, по-моему, своим мыслям что-то... возражаете. Конечно, неглух! Я, вернее, его не знаю. Он скорее всего даже хороший и человечный, и всё такое... Я только думала об одном: почему...

— Он не плохой, — упорно продолжала Надя. — Он очень много работает. Просто забыл человек себя. Он совсем забыл о себе, думает только о работе. Вот и всё!

— Значит, вы его любите?

— Я же вышла за него замуж! Он мой муж! — сердито сказала Надя и, шмыгнув носом, стала развёртывать и складывать платок.

Гости разъехались поздно ночью. Дроздов проводил их к машинам, постоял на крыльце, громко хлопнул дверью и, напевая, бодро вошёл в комнату Нади.

— Ну что, товарищ педагог? — и сел около неё. Он чуть-чуть побледнел от водки, но движения его были точны, и рассуждал он трезво, как всегда. — со своим дроздовским смейском. — Что с вами, мадам? Нездоровитесь?

— Я хотела у тебя спросить, Лёня. Почему у тебя нет друзей?

— Как это — нет? А это кто? Вон что в столовой натворили — смотреть страшно!

— Я говорю, настоящих друзей.

— Настоящих? Вон чего захотела... Видишь, Надя, я тебе говорил уже. Помнишь, говорил? Друзей у нас здесь быть не может. Друг должен быть независимым, а они здесь все от меня как-нибудь да зависят. Один завидует, другой боится, третий держит ухо востро, четвёртый ищет пользы... Изоляция, милая. Чистейшая изоляция! И чем выше мы с тобой пойдём в гору, тем полнее эта изоляция будет. Вообще, друг может быть только в детстве. Мне очень, конечно, хочется иметь... Я вот надеюсь на тебя...

Он встал и зашагал по ковру — не прямо, а зигзагами, делая неожиданные повороты и остановки.

— Вот они — пили за наше здоровье. Думаешь, они нам друзья? Нет. Секретарь — этот всё щурится. Не нравится ему что-то во мне. Твёрдая рука Дроздова не по душе. Не теоретически действую иногда, вот его и корбит. Видишь — ушёл! Сразу же после тебя и поднялся. И-пу, кто же ещё... Ганичев — этот вроде ничего. Этот ничего, кажется. Но он мой наследник. Я уеду — его уже прочат на моё место, и он знает. Он ждёт, когда я уберусь. Чтоб наследство поскорей принять...

— Значит, ушёл Гуляев? — задумчиво проговорила Надя.

— Молод и соглашатель, — Леонид Иванович угадал её мысли и опять заговорил о Гуляеве. — Нельзя к Дроздову на свадьбу не прийти. Приглашён. Опасно это — обидеть Дроздова. А на бой выйти боится. Взять меня не сможет — районишко у него худой. Вся экономическая база вот в этой, Дроздова, руке. Вот он и половинничает: ушёл «по делам»!

— О ком это ты говорил в коридоре с Ганичевым? — спросила Надя.

— Да вот... приехал из Москвы. Некто Галицкий. Доктор наук. Строим мы тут одну машину, так он говорит, что принцип устарел... В первый день, когда приехал, он только сказал, что будет помогать при сборке. Через три дня спрашиваем его, как машина. «И-ничего как будто». Ещё через два дня встречаемся — как будто заболел. Лохматый, бледный и глаза прячет. Ещё бы! Представитель заказчика! Промычал что-то и пошёл себе. А теперь вот высказался!

Леонид Иванович посмотрел на пол, поморгал, потом решительно поднял голову.

— Вот так, дорогая. С кем же нам дружить? Мы с тобой уже не студенты. Мы теперь серьёзные люди, многогранные. Чем дальше, тем больше граней. Простой ключ к нам уже не подойдёт. Какой выход из этого? А вывод такой: сплотимся! Раз мы подошли друг к другу. — С этими словами Дроздов обнял жену и, откинувшись, посмотрел на неё издали. — Хороша, хороша!..

Всего лишь несколько слов — и всё поставлено на место! Но всё ли? Надя туманно посмотрела на мужа. Они действительно были многогранны — оба. Особенно он. Столько граней, что голову можно потерять!

4

Ещё через день, прямо из школы, Надя пошла на Восточную улицу к Сьяновым. Эта улица, длиной в добрых три километра, была застроена домиками из самана. Их здесь называли землянками. Двойная цепочка желтоватых электрических огней восходила всё выше в темноту, на спину громадного холма, который по утрам, искрясь своими необъятными снегами, царил над посёлком. Надя долго поднималась на взгорье, присаживалась отдыхать на лавочках, поставленных почти около каждой землянки, и снова шла. Наконец она поднялась на вершину взгорья и здесь нашла глиняный домик, номер 167, до половины врытый в землю и окружённый кольями с колючей проволокой. Она постучала в замороженное, матово освещённое окошко, которое было на уровне её колен. Где-то за домиком хлопнула дощатая дверь, заскрипел снег, и к Наде вышла худощавая женщина, в фартуке и синем ситцевом платье, с засученными до локтей рукавами.

— Мы и есть Сьяновы, — сказала она. — Пожалуйте, — и повела Надю за дом, за узкий и высокий стог сена. — Вот здесь, не оступитесь, — она открыла низкую дверь под стогом, и Надя вошла в помещение с тёплым и сырым приятным запахом коровника. В полумраке она увидела пёстрый бок и безразличную коровью морду, которая медленно повернулась к ней.

Был слышен звон молочных струй о стенку ведра — корову доили, и Надя не увидела, а почувствовала, что доит Сима Сьянова, её ученица. И худенькая Сима действительно поднялась из-за коровы.

— Здравствуйте, Надежда Сергеевна! — У неё здесь было другое лицо — приветливое лицо хозяйки.

Её мать открыла вторую дверь, и Надя вошла в жарко натопленную низкую комнату и прежде всего увидела пятерых ребятшек, сидящих за столом. Каждый — с горячей картофелиной в руке. И картошка была такая белая и рассыпчатая, какой может быть только *своя* картошка. Пять детских головок повернулись к Наде.

— Здравствуйте, малыши! Пришла проведать, как живёте, — сказала она, расстёгивая манто, и села на табуретку посреди комнаты.

— Попродевайте, попродевайте, — сказала Сьянова, поднимая на Надю лихорадочные чёрные глаза. Она не знала, что делать, что говорить. — Что ж, живём, как люди живут. Вот я только что-то сдала нынче. Не могу ступить. По женским всё хожу. Больница-то далеко... Вот теперь наша хозяйка, — она показала на Симу, которая с ведром быстро прошла по комнате.

— Я к вам по одному делу, — сказала Надя, — и вижу, кажется, что это всё невозможно...

— А что такое? — раздалось из-за простыни, повешенной, как показалось Наде, на стене. Там, оказывается, была дверь в соседнюю комнату. — В чём дело? — спросил, показываясь из-за простыни, пожилой худощавый и лысеющий мужчина в белой нижней рубашке, на фоне которой особенно рельефно темнели его громадные рабочие руки. — Здравствуйте, — любезно сказал он и стал застёгивать воротник сорочки. — Кажется, Надежда... Сергеевна вас звать?

— Я пришла, чтоб попросить: нельзя ли уменьшить для Симы домашнюю нагрузку... Теперь вот вижу...

— Это верно. Дела у нас вон какие. — Мужчина положил руку на русую головку одного из малышей. — Сам я работаю, да ещё и сверхурочно прихватываю. Хозяйка наша — одно название. Болеет наша хозяйка. Серафима теперь у нас за старшую. Вы дошку-то снимите, дадите я помогу. И пройдёте сюда, здесь будет посветлее...

Он отдернул простыню, и Надя, наклонив голову, прошла в узкую, чисто побелённую комнатку без окон. Ей пришлось зажмуриться, чтобы привыкнуть к свету очень яркой лампы, подвешенной на уровне глаз. Она повернулась и чуть слышно ахнула: перед нею на узкой кровати, положив ногу на ногу, сидел Лопаткин и ел картошку. Он тоже был в нижней белой рубашке и показался Наде очень худым. На маленьком столике возле него стояла глиняная миска с очищенной и, должно быть, очень горячей картошкой. На газете — горка серой соли.

Увидев Надю, Лопаткин вздрогнул, и на лице его можно было прочесть очень многое: и то, что ему неловко сидеть перед нею в нижней рубашке и есть картошку, макая её в серую соль, насыпанную на обрывок газеты, да и картошку, должно быть, не свою. И то можно было ещё прочесть, что он и сам хорошо видит все её мысли. Но он только чуть заметно вздрогнул. Привстал, поклонился Наде и при этом обмакнул картофелину в соль.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Сьянов, и Надя послушно села на стул. — Это вот наш постоянный квартирант, Дмитрий Алексеевич. По моему, вы должны быть знакомы.

— Мы знакомы, — подтвердил Лопаткин спокойно, разламывая картофелину.

Надя огляделась и увидела за столом чертёжную доску, поставленную к стене. На ней был приколот лист ватмана с контурами непонятной машины. А над столом, как раз против Нади, висела фотография, размером

в открытку. С этой карточки на Надю смотрела юная девушка с полуоткрытыми капризными губами. Она была очень похожа на Римму Ганичеву, только глаза были не так далеко раздвинуты и не было в них того угрожающего выражения. «Жанна», — подумала Надя и с любопытством посмотрела на Лопаткина.

Сьянов стоял около Нади, хмурился и чесал худую небритую щеку. От него сильно пахло табаком-самосадам.

— Да что же мы! — спохватился он вдруг. — Не хотите ли покушать нашей картошечки? Хороша она нынче... прямо сияет! Агаша, дай тарелочку...

— А я и так, — сказала Надя, беря из миски горячую белую картофелину, посеребрённую блёстками крахмала. И призналась себе, что ждала этого приглашения.

— Ну вот, так ещё лучше. За картошечкой и потолкуем. Разрешите, и я здесь присяду? — Он сел около Нади на сосновый чурбак, взял картофелину и собрался было обмакнуть в соль, но спохватился: — Сима, дай, милая, ножик!

Наступило молчание.

— Так вот, товарищ... Надежда Сергеевна вас, кажется? — заговорил Сьянов. — Вы захватили всю нашу семью, можно сказать, в сборе. Всю нашу артель, — он взглянул мельком на Лопаткина.

— Да, я теперь вижу, — начала было Надя. Но Лопаткин, любуясь картофелиной, буркнул:

— Симу освободим.

И опять все замолчали. Лопаткин спокойно съел картофелину и взял другую.

— Это ваша работа? — спросила Надя и показала на чертёжную доску.

— Моя, — просто ответил он.

Надя тоже съела свою картофелину, взяла новую и, дуя на неё, несколько раз взглянула на Лопаткина. Ворот его сорочки был расстёгнут, там виднелась мощная ключица. Лицо его было спокойно, словно он сидел в комнате один и отдыхал после тяжёлого труда. Тусклые длинные волосы его лежали как-то мертво, словно устали. Один раз он взглянул на Надю добрыми серыми глазами, и она почувствовала на миг, как в ней проснулось что-то тёплое, девичье, то, с чем она когда-то боролась. Но он отвёл взгляд и так же мягко посмотрел на картошку. Чтобы подержать беседу, Надя обратилась к нему ещё раз.

— Простите меня... — Она бросила на него заискивающий взгляд и, тут же покраснев, оборвала себя. — Я вот что хотела спросить... Если трудно, скажите мне, в чём состоит ваше изобретение.

— Изобретения никакого нет, — ответил он. — Я вам серьёзно говорю, нет.

— Погоди, Дмитрий Алексеич, — вмешался Сьянов. — Ты испугаешь Надежду Сергеевну этак-то. Видите, как бы вам сказать, здесь и изобретение и вроде как нет его. Но в общем вещь полезная и имеющая перспективу. Это касательно будущего.

— Я сейчас всё скажу. — Лопаткин отодвинул миску с картошкой. — Разрешите закурить? Мы с дядей Петром только по одной.

Он запустил большую худую руку в карман своего кителя, висевшего на стене. Выгреб оттуда горсть самосада. Надя невольно залюбовалась угловатой мощью его рук и плеч, мужской красотой, которая начала уже сдавать под напором безумного дневного и ночного труда над чертёжной доской.

Свернув цыгарку, Лопаткин зажёл спичку и жадно затянулся, закрыв глаза. Ещё и ещё раз.

— Я вам всё скажу, Надежда Сергеевна. Я вас уважал всегда. Я вас понимаю и вам могу всё сказать. Вы поймёте. И к тому же мне не хочется, чтобы вы разделяли общий взгляд на меня, как на манияка.

Он опять затянулся, едко поморщился и, быстрым нервным движением сбив пепел с цыгарки, продолжал:

— История длинная. Но, я надеюсь, мне удастся изложить её коротко. До тридцать седьмого года я работал на автозаводе. Эта предистория нужна, чтобы вы поняли всё происходящее со мной. Я работал в группе главного механика. Был весьма квалифицированным слесарем. Мы обслуживали главный конвейер — работа самая разнообразная. У меня знакомый был, тоже слесарь, который работал на одном из постов этого конвейера. Звали его Иван Зотыч. Этот Иван Зотыч брал шесть гаек для одного колеса машины и шесть для другого. На шпильки это колесо устанавливал другой рабочий, а Иван Зотыч — только гайки. Подойдёт к нему машина — он сразу ставит гайки на место. Тут же висит электрический гайковёрт, и он все гайки этим гайковёртом мгновенно завинчивает. Аккуратный, трезвый рабочий. Всегда приходил к семи тридцати. И, глядя на него, я понял существо и мощь современного разделения труда. Оно должно быть доведено до такого предела, когда на вспомогательные действия, обдумывание и всё прочее остаётся минимум времени.

— Простите,—переблуд Надя, краснея,—вы лишаете рабочего мысли. Так человек думать перестанет. Мы ведём к стиранию граней, а вы...

Лопаткин пристально посмотрел на неё и, отведя глаза, чуть заметно улыбнулся.

— Надежда Сергеевна, вы раньше не говорили таких слов. Я с удовлетворением констатирую, что вы сделали успехи в некоторых областях знания. Нельзя не отметить плодотворного влияния некоей твёрдой руки.

Надя ещё гуще покраснела.

— Я продолжаю,—спокойно сказал Лопаткин.—Разделение труда должно дать нам такие простые операции, чтобы их мог выполнять любой человек, не имеющий специальной подготовки. Это нам даст максимальную производительность труда. А рабочий, о котором вы проявили заботу,— почему же? — пусть мыслит! Не над тем, куда он положил вчера молоток, а творческий, например, о полной отмене ручного труда и переходе к сплошной автоматике. Пусть изучает высшие тайны своего дела. Пусть становится учёным. При таком положении мы действительно сотрём грань. А если будем думать о пропавшем молотке, мы её никогда не сотрём. Скажите, противоречит что-нибудь в этой мысли здравому рассудку?

— Нет. Я с вами во всём согласна.

— Очень хорошо. Значит, можно идти дальше. Слесарь Дмитрий Лопаткин окончил физико-математический факультет, а когда его ранили на войне, приехал в Музгу преподавателем физики. Он повёл свой класс на экскурсию в литейный цех комбината и вдруг увидел здесь производство канализационных труб, которые являются многофазным видом продукции. Ещё более массовым, чем автомобили. А здесь это производство было таким, как во времена Демидова: делают земляную форму и заливают в неё чугун из ручного ковша. Всё ясно, Надежда Сергеевна! Я беру опыт автомобильной промышленности и переношу его на производство труб. Это сделал бы на моём месте любой человек, видевший конвейер, тот же Иван Зотыч! Если, конечно, его заденет за живое подобная картина отсталости. Вот я конструирую, как могу, литейную машину и всё в ней подчиняю правильным законам — закону максимального использования машинного времени,— это значит, что рабочий орган машины всё время производит трубы, без простоев. И закону экономии производственной площади. Извините, я не слишком сухо говорю? У меня уже вырабатывается профессионализм.

— Ничего, ничего. Я вас очень хорошо понимаю.

— И вот я сконструировал машину и подал чертежи в Бриз — в бюро изобретательства. Думаю, правда, не может быть, чтоб такую простую вещь там, в институтах, не понимали. Но всё-таки подал — на всякий случай... Через восемь месяцев получаю вот это...

Лопаткин быстро поклонился, выдвинул из-под кровати фанерный ящик, полный связок с бумагами. Раскрыл одну из папок и протянул Наде документ зеленовато-голубого цвета, опечатанный на плотной глянцевой бумаге, прошитый шёлковым шпуром, с красной печатью.

— Вы можете убедиться... (Тут Надя заметила, что у Лопаткина дрожат пальцы.) Можете убедиться, Надежда Сергеевна, что изобретение сделано, оценено, признано полезным и оригинальным. Только не переоцените эту бумажку. Хоть это и красиво, но это бумажка. И ценить её нужно только по себестоимости. С вашего разрешения, я закурю ещё раз...

Сьянов с сочувствующей поспешностью подал ему клочок газеты. Дмитрий Алексеевич в молчании оторвал уголок, быстро свернул цыгарку, криво поджёг её и, задув пламя, дважды глубоко затянулся.

— На чём же мы?.. Да, вот. Я получил эту бумажку и каждый день, ложась спать и ото сна восстав, люблюсь ею. И волнуюсь. Почувствовал, что полезен! Сказали мне, что машина нужна! И так несколько месяцев. Но разве для того я голову ломал? И я начинаю писать клизузы. Одну, вторую, третью... Через полгода — о, радость! — вызывают в Москву. «Срочно увольняйтесь, будете проектировать вашу машину в таком-то проектном институте». Вы представляете, какая радость? Мы тут танцевали с дядей Петром — землянку чуть не разломали. Я бросаю свою физику, вы это помните. Еду. Обиваю два месяца министерские пороги. Два месяца получаю зарплату и никакого проектирования не вижу. На третий месяц вызывает меня замминистра, некто Шутиков, и ласково мне говорит: «Ничего не можем. Урезаны финансы. Не в наших руках. Может быть, что-нибудь в следующем году...» Слышите? *Может быть!* И пошли они, солнцем палимы, повторяя: «суди его бог!» Вот так, Надежда Сергеевна! И стал я постоянным жильцом дяди Петра.

— Почему же вы опять не поступили на работу?

— Прошу простить. Давайте по Асмусу — последовательно. Что же оказалось? Оказалось, что мою машину послали на отзыв профессору Авдиеву. Есть в Москве такая великая личность. И этот профессор её забраковал. Не вдаваясь в доказательство, он заявил: «Получить трубу в машине без длинного жёлоба нельзя». Он знаменит, слова свои ценит, бережёт. «Безжёлобная заливка — фикция», и точка. А раз фикция — министр и отказал в реализации. Ведь Авдиев — авторитет! Он руководит кафедрой литья! О нём пишут: «Авдиев и другие советские исследователи!» Это Колумб!

— Послу-шайте! — покраснев, перебила его Надя. — Дмитрий Алексеевич! Я даже... мне неловко. Профессор Авдиев — это же действительно большой учёный!..

— Ну, и ещё одно: этот учёный незадолго до того, как я получил свидетельство, заявил собственную машину для отливки труб.

— Вы хотите сказать, что он у вас... — сухо вато проговорила Надя.

— Ничего подобного! У него конструкция собственная. И в высшей степени оригинальная. — Дмитрий Алексеевич докурив цыгарку, потянулся было за газетой, но остановил себя. — Хватит. На сегодня я выкурил норму. Ничего я не хочу сказать. Вы спрашиваете, почему я не поступил на работу. Не поступил потому, что я должен был ежедневно писать, доказывать, что Колумб неправ. Вот вы опять улыбаетесь. Вам сказали, что Авдиев непогрешим, и вы теперь улыбаетесь. Вы отдали Авдиеву свою улыбку, он ею управляет.

Он сказал это, и Надежда Сергеевна, не успев возмутиться, почувствовала, что лицо её вышло из повиновения. «Глупейшее выражение!» — подумала она растерянно.

— А я заявляю, что отлить трубы без жёлоба не только можно, а нужно! — не глядя на неё, упрямо продолжал Лопаткин. — И мне нужно всё это доказывать — вот почему я не могу поступить на работу. И, кроме того, я разрабатываю новый вариант, а это — тысяча четыреста деталей и двенадцать тысяч размеров, увязанных между собой. Конечно, одному это всё сделать трудно. Это может сделать конструкторская группа или такой сумасшедший, как я. Да вот ещё помогает мне дядя Пётр. Он тоже немножко с ума сошёл.

— И что, вы даже хлебных карточек не получаете?

— Без хлебных карточек мы как-нибудь не похудеем, — сказал Сьянов за спиной у Надежды Сергеевны. — Нам бы другую карточку — на ватман.

— Не понимаю, — Надя пожала плечами, — вы могли бы обратиться в управление комбината.

Сказав это, Надя почувствовала странную тишину. Дмитрий Алексеевич посмотрел на Сьянова, и они обменялись чуть заметной усмешкой.

— Вот что я вам скажу, Надежда... Сергеевна, кажется? — Сьянов, налегая на стол, придвинулся вперёд. — Так вот, Надежда Сергеевна, мы тоже многого не понимали с Дмитрием Алексеевичем. А когда петух жареный, попросту говоря, извините меня, в задницу клюнул, всё научились понимать. И не только понимать — и делать научились. Мы, конечно, когда не понимали, толкнулись к товарищу Дроздову за ватманом. По простоте. Он, конечно, отказал. И прав: нельзя государственный ватман на всякое непредусмотренное баловство тратить. Дал, правда, поначалу два листа — как на стенгазету. И точка. А мы всё-таки без ватмана не живём.

— И тушь у нас китайская! — сказал Лопаткин с неожиданной улыбкой.

— Без ватмана не живём, — продолжал Сьянов задумчиво. — И даже надеемся, что наша возьмёт. Правда, никто нам не верит... Люди программой заняты...

— Надо голову иметь на плечах, чтоб понимала, да сердце хоть какое в грудях, тогда и верить можно! — зло сказала вдруг жена Сьянова в соседней комнате.

— Это ты не про нас, Агафья Тимофеевна?

— Сам знаешь, про кого! Сидите уж, Аники. Слово боитесь проронить. А я вот вам скажу напрямки, — Сьянова влетела в комнату, болезненно сияя чёрными глазами, размахнулась белой, обнажённой по локоть рукой, взялась под бок. — Если государство и Академия наук признали, каждый обязан помогать, как может. Ежели он сознательный. Как Пётр вот помогает, — она резко кивнула на Сьянова. Умолкла и долго смотрела на Надежду Сергеевну, постепенно успокаиваясь. Потом вышла из комнатки и там, за простынёй, грохнула кастрюлей, закричала на ребятишек: — А ну спать, оглашенные!

— Она у нас боевая, — добродушно сказал Сьянов.

Домой Надя шла не одна. Лопаткин, почти невидимый в темноте, мерно шагал рядом, подняв воротник своего демисезонного пальто, спрятав руки в карманы. Он был задумчив, и Наде всё время казалось, что она чувствует его мысли. Он словно наливался в эту минуту железом — должно быть, думал о большой тяжёлой дороге, по которой ему ещё долго придётся идти со своим изобретением. «Нет, здесь никак не сумасшествие, — думала Надя. — Это — то самое, что я когда-то угадывала в нём. Огромная твёрдость. Она дремала раньше без применения, смотрела спокойно из глаз, как новое, чистое оружие. А теперь это голубое

свидетельство с ленточкой заставило тихого человека обнажить свою сталь. Конечно, здесь и Авдиев виноват. Хоть и знаменитость, а сказать обязан вразумительно. Такому человеку, как Лопаткин, надо серьёзно доказывать, иначе он не отступится... Дело не так уж просто».

На углу Восточной улицы и проспекта Сталина они остановились.

— Теперь вы дойдёте. До свидания,— кратко сказал Лопаткин. Повернулся и исчез во тьме, захрустел сухим, колючим снегом.

Придя домой, Надя долго сидела в одиночестве за большим обеденным столом. И при этом не сводила пристального взора с блестящей точки на никелированной сахарнице. Она ждала мужа — у неё сегодня было припасено много новых вопросов к Леониду Ивановичу. Шура появлялась и неслышно уходила, подавая и унося сливки, домашнее печенье, солёные огурчики и капусту, до которых молодая хозяйка в последнее время стала большой охотницей.

Затем Надя перешла в свою комнату и, не зажигая верхнего света, в полумраке, целый час играла этюды Шопена, начиная и бросая играть где попало, повторяя некоторые особенно грустные, задумчивые места. Муж не приходил. В гостиной прокаркали часы — одиннадцать раз. Эти часы Леонид Иванович прозвал вальдшнепом за их особенный голос. Вспомнив об этом, Надя улыбнулась. В эту минуту сильно зазвонил в коридоре телефон. Она поспешила к нему, сняла трубку и услышала сонный голос Леонида Ивановича:

— Надя? Я не приду сегодня. Да так вот, свистит аппарат. Если что — позвони мне в цех. Ну как здоровье? Ничего, говоришь? Не врешь? Ну, так ложись сейчас же спать. Спокойной ночи.

Надя вздохнула и с грустным видом побрела в спальню. «Вот и ответ на все вопросы,— подумала она.— Да разве может он разорваться, чтоб все были довольны!» В последнее время Леонид Иванович часто оставался на работе до утра, а если приходил раньше, то сразу же падал в постель, отмахиваясь от еды, и во сне сдавленно стонал. «Сердце надо иметь в грудях»,— мысленно передразнила Надя Агафью Сьянову и усмехнулась, как бы защищая мужа. Тут никакое сердце не выдержит! Расхныкались! Вы попробуйте вот так — по пять ночей!

Она легла на своё место на квадратной деревянной кровати и долго не могла заснуть, тревожно вздыхала, внимая частым то сильным, то еле ощутимым толчкам ребёнка в животе.

Утром, открыв глаза, она увидела на соседней подушке голову мужа. Леонид Иванович спал, крепко зажмурясь, припав к подушке, как ребёнок к материнской груди. Только у ребёнка этого был серый седой висок и усталое жёлтое лицо с высоким лбом.

Надя оделась и вышла, неслышно прикрыв за собой дверь. Она пила в столовой чай, и вальдшнеп прокаркал уже одиннадцать часов, когда Леонид Иванович в домашних туфлях на босу ногу, в галифе и подтяжках, улыбающийся и свежий после умывания, вошёл к ней.

— Налей-ка мне покрепче, — сказал он, садясь возле Нади.

— Я тебе уже говорила,— она взглянула на него серыми печальными глазами. — Ну зачем ты так надрываешься? Неужели это нужно?

— Финиш, Надя. Финиш... Финишируем!

— Не понимаю...

— Надо дать перед отъездом такой удар, чтоб Ганичев никогда до меня не дотянулся. Это будет прощальный свисток Дроздова!

— Зачем ты это говоришь? — В глазах Нади засверкали слёзы. — Ты же лучше, чем то, за что выдашь себя!

— Я то, что я есть.

Леонид Иванович встал и подошёл к трюмо, поставленному между двумя окнами. Посмотрел на себя исподлобья, словно собираясь боднуть, потрогал виски и, подняв голову, заложив руку за пояс брюк, сказал:

— Вот он я. Стою перед с-самим собою. Сейчас буду дополнять свой портрет описанием внутренней сущности. — Он закрыл глаза и медленно открыл их. — Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нём остаточек того, что раньше называлось «честолюбие». И я не понимаю, как можно жить без него! Но человек будущего поймёт. Я хочу работать лучше, чем Ганичев! И хочу, чтобы люди о моей работе были только хорошего мнения. Всегда с перевыполнением — это моё больное место. Ещё: радуюсь повышениям и заслуженным наградам. Они — суть свидетельства моих качеств. И в Москву еду с радостью. И знаю, что я там буду на месте. И ещё много во мне есть слабых мест — потому, что жизнь люблю! Куда ни ткни — везде живое, нежное, чувствительное. Поэтому мне нужен панцирь, как улитке. Этот панцирь — твёрдая воля, которая в человеке есть положительное качество. Она его обуздывает. И я себя держу в рамках. Конечно, я никому не скажу, что я хочу дать боевой прощальный салют. Только жене дозволено знать такие вещи. Как видишь, я ещё молод и не чужд человеческих страстей. В коммунизм мне, конечно, хода нет. Я весь оброс. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте. Таково место этого человека в жизни.

Взглянув на себя ещё раз, Леонид Иванович медленно вернулся к столу и, высоко поднимая брови, стал громко прихлёбывать чай с ложечки.

— Или ты хочешь, чтобы я по-христиански? — спросил он и вдруг улыбнулся Наде, как ребёнку. — А? Может, хочешь, чтобы я свою работу заваливал, получал выговора? Не-ет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь... Дон Карлос.

— Нет, зачем же... — Его рассуждения опять сбили Надю с толку. — Ты можешь работать просто. У тебя есть план и долг...

— Просто работать нельзя. — Леонид Иванович закрыл глаза. Он уверенно отвечал на все вопросы Нади. — Просто так никто не работает. Всегда примешивается личный момент, не поддающийся никакому фиксации.

И на этот раз муж как будто разъяснил Наде всё. Она не могла больше ни о чём спрашивать Леонида Ивановича — не было вопросов. Но когда после чая она шла в свою комнату, брови её были сдвинуты. Она словно сидела в воспоминании ещё один решающий вопрос, но память нагло закрыла от неё этот вопрос.

5

Вот над чём Надя думала все последующие дни. Она попала в странное положение. Ей нужно было обязательно, во что бы то ни стало, отыскать довод в защиту того человека, чью власть она мирно и даже с восхищением признавала вначале. В домике Сьяновых она узнала много нового, и Леонид Иванович, легко отвечая на тревожные вопросы Нади, всё же не успокоил её. Лучше бы вовсе не отвечал — она уже почти нашла ответ: муж по-прежнему занят на работе, не жалеет себя, как всякий творческий человек, не спит, устал, за всем ему не усмотреть.

Лучше бы он вовсе не отвечал!

Она ждала нужного, точного ответа. В школе, встречаясь с разными людьми, она неумеренно хвалила или жалела мужа, ожидая сочувствия от собеседников. Но люди сразу замечали ложь в её словах, смотрели на неё с интересом: чем же вызваны эти неожиданные восторги? Она поспорила с Валентиной Павловной, которая с усмешкой сказала ей: «Не думаю, чтобы Дроздов так уж уставал». Правда, подруги вскоре и помирились. Но ни ссора с Валентиной Павловной, ни примирение не прояснили надинного горизонта.

А затем произошло нечто совсем неожиданное и нелепое.

В конце января, как всегда, Надя пришла в школу, поднялась в учительскую и увидела знакомую до мелочей картину. Каждая учительница сидела на своём месте.

Надя, как всегда, под села на диван к Валентине Павловне. И только лишь она собралась заговорить с ней на их постоянную тему — о чистой любви, как секретарша, сидевшая в глубине учительской за столиком, сообщила торжествующим голосом:

— Граждане, знаете, кто к нам сегодня должен прийти? Дмитрий Алексеевич Лопаткин! У него какие-то сдвиги наметились, и он придёт за справкой.

Это сообщение по-разному подействовало на учителей. Старушка Агния Тимофеевна просветлела, закивала удовлетворённо. Молодые учительницы младших классов смешливо переглянулись — слово «изобретатель» звучало для них странно, и к тому же они знали, что Лопаткин — чудака: ни за кем не ухаживает и не бывает на танцах.

А Надя вдруг громко заговорила:

— Бедняга, я у него была недавно. Чувствуется всё-таки, что он неудачник и основательно надломлен. Знаете, как всегда в этих случаях, все не правы, а он прав. Очень тяжёлое впечатление. Со всех сторон на него нападки — и учёные и чиновники...

Что толкунула её на эти слова? Должно быть, то же самое, что привело раньше к ссоре с Валентиной Павловной. Надя говорила громко и неискренне и ждала, что её вот-вот перебьют и скажут что-нибудь хорошее о Лопаткине и тогда разрешатся все сомнения. И ребёнок особенно часто постукивал у неё в животе.

Но никто не сказал ни слова. Даже наоборот, наступила тишина. Все слушали.

— Понимаете, меня удивило и даже заинтересовало это: живёт этот наш Леонардо да Винчи у рабочего, отца девочки из седьмого «Б» Сьяновой. Не получает карточек на хлеб, похудел, курит и чертит с утра до ночи. Тысяча четырёхста деталей — вы представьте себе! Двенадцать тысяч размеров! И главное — всё впустую, потому что он не специалист. — Она неискренне засмеялась и опять почувствовала сильную тревогу. И на этот раз никто её не перебил. — Мне кажется, можно было бы всё это сделать без этой трагической обстановки, — продолжала она. — Можно преподавать физику, не отказываясь и от хлеба и спокойно, главное — спокойно, работать над...

Кто-то больно наступил ей на ногу. Она осеклась и увидела красный лоб и искажённое стыдом и злобой лицо Валентины Павловны. У неё сразу же вспотели руки. Она оглянулась и почувствовала, что бледнеет: в дверях, спокойно выжидая, опустив глаза, стоял Лопаткин. Подождав ещё немного и увидев, что Надя кончила свою длинную речь, он чёткими шагами прошёл к столу секретарши, по пути с улыбкой кивая знакомым учителям.

А Надя привалилась к спинке дивана и глубоко вздыхала раз за разом, молча протягивая руку к Валентине Павловне. Ей становилось всё хуже — незнакомая теплота охватила верхнюю часть её тела, и всё громче и громче, наступая на неё, зашумели вокруг невидимые примуса.

— Товарищи, идите на урок! — сказал кто-то над нею. — А вы, Валентина Павловна, врача позовите. Андрея Иллиодоровича.

Кто-то занёс её ноги на диван. Кто-то в белом халате спросил: «Здесь болит?» — и коснулся её живота. «Болит», — ответила Надя. Тот же голос спросил: «А здесь болит?» — и чья-то рука коснулась её поясницы. «Ох, болит, болит! По очереди, то тут, то там», — сказала Надя и заплакала со страха. «Дроздов машину выслал», — проговорил кто-то. И через некоторое время Надю положили на носилки, накрыли мягким манто и понесли на улицу, а потом повезли в дроздовском «газике».

В больнице её осторожно и как-то незаметно переделали, внесли в коридор, тесно уставленный кроватями вдоль обших стен. Высокий мужчина в белом халате и белой шапочке быстро прошёл мимо неё, остановил женщину в халате, шепнул: «До сих пор не освободили? Сейчас же!» «Полежит со всеми», — громко сказала женщина. «Вы что, распоряжений не знаете?» — испуганно и резко зашептал мужчина, схватил её за рукав и втащил в ближайшую палату.

Вскоре Надю по команде молодой медсестры подняли две санитарки, пронесли по коридору, и она почувствовала направленные на неё со всех сторон взгляды больных. Передняя санитарка погой открыла дверь, и Надю внесли в палату и переложили на большую кровать, мягко скрипнувшую пружинами. Медсестра, громко командуя санитарками, поправила простыни. Это, надо думать, была старшая сестра. Она оглядела всю палату и ушла, напоследок сказав: «Вот звоночек, если что...» Всё затихло. Надя повернула голову, увидела шёлковую штору и окно, сквозь которое уже синели зимние сумерки. Дверь открылась, и вошли два врача — высокий мужчина и женщина. Щёлкнул выключатель, вспыхнул яркий свет. Врачи вполголоса поговорили у дверей и с озабоченным видом подошли к Наде. Начался осмотр.

— Здесь болит? — громко спросил мужчина, как будто спрашивал глухую.

— Болит. И здесь и здесь, — ответила Надя.

— Ну пока не будем трогать, — вполголоса сказал он своей спутнице. — Можно дать препарат жёлтого тела. Лучше не внутримышечно, а в таблетках. У нас есть? — И, так разговаривая, они медленно пошли к выходу.

— Скажите, это схватки? — спросила Надя со страхом.

— Слабые схватки, — ответил мужчина, — которые могут прекратиться...

— Если вы будете лежать спокойно, — добавила женщина.

Через час, когда совсем стемнело, Наде подали записку: «Надюша, не волнуйтесь, лежите спокойно. Завтра с утра мы вас навестим. Валя».

И, широко открыв глаза, глядя в потолок и всё время чувствуя глухне то нарастающие, то совсем слабые боли, она задумалась. «Что же это со мной было? — думала она. — Почему это я вдруг заговорила какими-то чужими словами? Чьи это были слова?» Надя тут же остановила себя: «Хоть себе лгать не надо! Всё, что я говорила, всё это было постоянной точкой зрения Леонида». Да, она бессознательно попробовала проверить её, эту точку зрения. «Почему же я так испугалась? Почему я чувствую себя виноватой перед Дмитрием Алексеевичем?»

Она нажала кнопку звонка, и через несколько секунд дверь палаты мягко открылась и вошла та же самая старшая сестра, туго перетянутая в пояс, молодая, с твёрдым взглядом начальницы.

— Будьте добры, — робея перед нею, попросила Надя, — скажите, пожалуйста, во сколько завтра начнут пускать посетителей?

— С девяти утра. К вам можно и раньше.

Утром Надя проснулась от того, что в палате что-то тихо и настойчиво шелестело, как мышь. Открыв глаза, Надя улыбнулась. Вчерашние боли утихли, и он время от времени постукивал в животе. Шелест в палате продолжался. Повернув голову, Надя увидела маленькую старушку санитарку, которая протирала пол тряпкой, намотанной на щётку. При этом санитарка успевала заглянуть под кровать, сунуть нос в тумбочку и даже для чего-то открыла один за другим ящики красного столика в углу, низко наклонилась над ним.

Надя с интересом наблюдала за нею. Осмотрев все ящики столика, старушка оглянулась и встретилась глазами с Надей.

— Не бойся. Твоего ничего не трону. Тут одна гребешок свой спрашивает. Вот я и шукаю, где это он запропастился.

— А почему она спрашивает?

— Да их выносили в коридор — торопились! Для тебя палату очищали!

— Почему же это всё для меня? — недоверчиво спросила Надя.

— Палата-то не ихняя. Их тут до время держали. Пока кого из начальства подвезут.

— А почему палата не ихняя? — спросила Надя тише.

— Знать, распоряжение такое.

— А почему распоряжение?.. — машинально, совсем тихо спросила Надя.

— Почему да почему! А почём я знаю, почему? «Почему»!

Надя нерешительно нажала кнопку звонка. Потом взглянула на часы и сразу же опустила ноги с кровати. Было без двадцати девять. Сейчас к ней должны были прийти учителя, Валентина Павловна...

— Дайте мне халат скорее! — сказала Надя. Махнула рукой и быстро вышла в коридор в коротенькой белой бельничной рубашке.

— Что это ты? Иди скорей назад! — услышала она за спиной испуганный шёпот старухи.

— Никуда не пойду. Главного врача мне! — приказала она подбежавшей старшей сестре, и та опрометью побежала по коридору. между двумя рядами кроватей.

Бледные лица поднимались одно за другим над этими кроватями. Надя стояла около своей палаты, и багровые пятна волнения всё гуще выступали на её лице, заливали лоб, переходили на шею. Она опять почувствовала приливающую к груди, к голове теплоту и, ослабев, села на ближайшую кровать.

— Ты что? — спросила её бледная женщина с растрёпанными волосами, поднимаясь на кровати. — Глупая, чего это ты выскочила?

Надя не ответила. В конце коридора показались две фигуры в белых халатах. Врачи спешили к ней, и первый — высокий мужчина — ещё там, вдали, широко развёл руками.

— Что же мне делать с вами, Надежда Сергеевна? Зачем? Ваш муж каждую минуту звонит, интересуется здоровьем. Что я ему скажу?

— Я хочу...

— Пойдёмте скорей, ляжем в палату, и там я вас выслушаю.

Надя поманила его слабой рукой. Он наклонился, покраснев, подставил ухо.

— Я никуда не пойду... — Надя почувствовала себя очень плохо и закрыла глаза. Сразу зажужжали вокруг примуса. — Никуда не пойду... — шепнула она, — пока не переведёте всех на место...

Врач, ничего не понимая, выпрямился.

— Это она хочет, чтобы энтих обратно перевели, — заговорила старушка санитарка. — Энтих, которых давеча вы...

— Ага! Понятно. — Главный врач внимательно посмотрел на Надю, подумал и сделал широкий решительный знак рукой — из коридора в палату. И сейчас же старшая сестра вместе с двумя санитарками побежали в дальний конец коридора, подняли там кровать вместе с больной женщиной и потащили в надину палату.

— Сейчас всё будет сделано, — ласково сказал Наде главный врач и поджал губы. — Это наша оплошность. Простите. Может быть, вы перейдёте туда, пока мы...

— Вы даёте мне слово, что всех?..

— Господи, какой может быть разговор?.. Пожалуйста, прошу вас.

Врачи подхватили её под руки и осторожно привели в палату, к кро-

вати. Надя легла. Женщина-врач взяла её руку и сразу же обернулась к старшей сестре.

— Принесите термометр.— Она посмотрела в глаза главному врачу. Тот ответил ей таким же пристальным взглядом и взял надю руку.

— Бели есть?

— О-ох... Есть... — чуть слышно шепнула Надя, не открывая глаз.

— Да, похоже, — сказал главный врач, посмотрел на женщину в белом халате и на цыпочках пошёл к выходу. Он открыл вторую дверь палаты, распахнул.— Быстрее, быстрее несите! — услышала Надя его резкий голос.

Сайитарки внесли ещё одну кровать. Надя лежала с закрытыми глазами и вдруг услышала голос старшей сестры.

— Лидка, подвинь-ка первую кровать... Эти жёны начальства хуже самих начальников. А теперь эту бери... Никогда не угадаешь, чего им...

Надя широко открыла глаза. И старшая сестра, перехватив её взгляд, сразу же улыбнулась, наклонилась к ней.

— Ну что, милочка? Как себя чувствуем?..

Сжав губы, Надя отвернулась.

А в дверях уже стояли четыре или пять человек в белых халатах — учителя. Впереди — Валентина Павловна. Она подошла к Наде, взяла её за руку, села на край кровати. В глазах её стояли слёзы. Она ничего не говорила, только пожимала Наде руку.

— Миленькая, — наконец заговорила она. — Милая Надежда Сергеевна. Мы все вас любим! Вот и для вас испытания пришли, бедняжка. Ничего... Надюшенька моя. Теперь лежите, пожалуйста, не расстраивайте нас. Не бегайте в коридор... Вам привет от Дмитрия Алексеевича. Он сам просил передать привет и вот... письмо... Господи, мы вас ведь так хорошо понимаем все.

Появился главный врач и попросил всех посетителей оставить палату в связи с тяжёлым состоянием больной. Учителя, кивая и улыбаясь Наде, ушли, и Надя, подождав ещё несколько минут, развернула письмо. Оно было короткое — тетрадная страница, исписанная крупными строчками.

«Дорогая Надежда Сергеевна, — писал Лопаткин. — Я хорошо понимаю ваше состояние и спешу вас уверить — я ни в чём вас не виню. Вы очень честны и прямы и верите в людей. Поэтому вы так быстро подчиняетесь авторитетам. Я ценю в тов. Дроздове незаурядный талант руководителя, хотя у нас, как это часто бывает, есть большие расхождения во взглядах на жизнь. Мне кажется, что и вы не вполне разделяете его взгляды. Этим и вызвана вся история. Ваша душа, по-моему, не признаёт компромиссов — начинает метаться. Это хорошо. Жму вашу руку и прошу прощения за то, что я стал невольным виновником ваших страданий. Д. Лопаткин».

Надя перечитала это письмо несколько раз, а когда около дверей зашаркали шаги мужа, спрятала письмо под подушку.

Леонид Иванович был в белом длинном, до полу, халате, должно быть, с плеч главного врача. Он остановился в дверях, и тут же Надя услышала женский голос:

— Товарищ Дроздов, состояние Надежды Сергеевны заставляет нас...

Леонид Иванович окинул палату быстрым взглядом, но Надю не заметил. Улыбнулся, подчиняясь медицине, и шагнул назад.

Через два дня утром он опять пришёл, на этот раз в маленьком, женском, халате. Увидел Надю, сел около неё, взял за руку и, шутливо хмырься, сказал:

— Ты у меня молодец.

Слушая его, Надя спокойно, иногда закрывая глаза от подступающей боли, смотрела на его жёлтый лысеющий лоб, на крепкие белые зубы, стараясь заглянуть в душу этого до сих пор не понятного ей человека. Но

видела только умные, ласковые, немного насмешливые чёрные глаза. «Что же ты не говоришь своего мнения? — думала она. — Что бы придумать? Что значит эта похвала: молодец?»

— Да-а, — сказал, улыбаясь, Леонид Иванович. — Восстание. — И весело оглянулся по сторонам. Засмеялся, покачал головой. — Навела порядок! Теперь смотри мне, чтоб выздоровела!

— Ты знаешь, — тихо и слабо заговорила Надя, — я до войны ещё девочкой лежала в больнице. В Ленинграде.. Там не было такого..

— А теперь полежишь в Музге, — ласково ответил он, как бы не уловив её главной мысли. Помолчал, улыбаясь, подбирая какое-то шутливое слово, и сказал: — Музга, как видишь, относится к тебе лучше!

Нет, он не собирался сегодня беспокоить её серьёзными разговорами. Он решил её развлечь весёлыми новостями.

— Ты знаешь, этого лавиана и пьяницу Максютенко от меня забирают! В филиал проектного института. Я думаю, я ломаю голову — для чего? А его как специалиста по чугунным трубам! Он, значит, авдиевскую машину проектировал, так его теперь и на другую берут. Поцёл человек! Впрочем, без меня он быстро пропадёт..

— Ты сказал, авдиевскую? — как бы нехотя спросила Надя. — Это её забраковал приезжий твой, доктор наук? А другая — может, это Лопаткина машина? — И Надя подняла на него спокойные серые глаза.

— Ты думаешь? Возможно.. Они там все вместе с Шутиковым с ума пасходили. О трубах только и говорят. Галицкий, правда, мне предсказывал, что авдиевская машина дальше опытного образца не пойдёт. Может, там тоже почували, спохватились..

— Да.. — сказала Надя, и Леонид Иванович опять не заметил особого звучания в её голосе.

— Ты устала? — спросил он, и глаза его влажно потеплели.

— Нет. — Надя тоже улыбнулась. Но она думала о чём-то постороннем.

— Смотри, не затевай больше ничего. Твоё восстание имело, так сказать, лишь частный успех. Завтра, смотришь, привезут сюда мадам Ганичеву, и вся твоя подзащитная публика пойдёт в коридор. Это не мной и не тобой учреждено. Это блага, которые на данном этапе распределяются в соответствии с количеством и качеством труда. Уравниловка — вещь вредная. Я вот, например, в больницах не лежу совсем. Должность не позволяет. На ногах болею. Мы если ложимся, то уже не встаём, — сказав это, Леонид Иванович важно закрыл глаза. Потом приоткрыл один лукавый глаз и засмеялся. — А т-такой человек, как ты, когда болеет, на него приятно посмотреть. Он должен находиться в особых условиях. Ты ведь у меня особенная. Редкий цветок! А вот, когда Ганичева ляжет... Эта баба их заставит побегать!

Так и не заметив ничего нового в голосе и в глазах своей жены, Леонид Иванович попрощался с нею, опять окинул взором палату, ухмыльнулся и ушёл. И Надя ещё при нём сунула руку под подушку. Проводив его спокойным взглядом до дверей, она достала письмо Лопаткина. «...стал невольным виновником ваших страданий...» — прочитала она и сразу увидела выпуклые ключицы, широкие, сухие кулаки этого человека, так хорошо скрывающего свои неудачи. Его тусклые, словно больные, волосы, его втянутые щёки и под бровями — впадины глаз, наполненные мужественной, прощающей теплотой.

Через две недели она выписалась из больницы. Леонид Иванович узнал об этом по телефону. С работы он пришёл, как всегда, поздно и очень удивился, не найдя жены в спальне.

— Она спит у себя, в той комнате, — сказала ему Шура. — Я им раскладушку постелила. Хотела перинку покласть, так не дала. Говорит, доктор велел.

6

В апреле Надя родила мальчика. Это событие как бы сдвинуло и повернуло по-новому её характер. Она словно забыла обо всех своих знакомых, встречала и Валентину Павловну и мужа одинаково рассеянным, почти чужим взглядом. Зато в своей комнате — вымытой, проветренной, белой от разложенных везде простынь и пелёнок — она была другой, но опять-таки не прежней. В наброшенном кое-как халате, непричёсанная, она сияла затаённым материнским счастьем. Часами ходила, сидела и опять ходила около спящего ребёнка. Пеленала его и при этом целовала и смазывала вазелиновым маслом розовые складки на его тельце, вместо того, который был приготовлен два часа назад. Прочитав в книге, что волосы могут служить убежищем для инфекции, Надя тут же потребовала ножницы. Без сожаления, напевая перед зеркалом, она сама кое-как обрезала свои длинные волосы, а то, что осталось, забрала под белую косынку. И всё — с сиянием, со счастливым румянцем.

Леонид Иванович заказал на механическом заводе комбината коляску для сына. Коляска была сделана в три дня — маленький обтекаемый экипаж, сверкающий никелем и голубой эмалью, — и доставлена в комнату Нади. Двадцатого мая «сама» Дроздова, как говорили о ней в посёлке, одетая в серое коверкотное пальто с поясом, вывезла коляску на улицу и двинулась по сырой, но уже плотной дорожке на прогулку. Коляска легко катилась перед нею, Надя иногда чуть-чуть подталкивала её, не отрывая взгляда от полупрозрачного целлулондного козырька, сквозь который просвечивало личико спящего ребёнка.

Надя выкатила коляску на перекрёсток, затем свернула на длинную и широкую Восточную улицу, похожую больше на ковыльный пустырь, пересечённый столбами и застроенный по краям саманными домиками. Потихоньку двигаясь этой бесконечной улицей, с жадностью дыша холодным весенним воздухом, она узнавала весенние запахи — то запах огородной земли, то запах прелых досок. Пригретая весенним солнцем, Надя как бы заснула с открытыми глазами. Потом она очнулась и увидела, что с той стороны, через улицу, к ней идёт улыбающаяся Валентина Павловна. Неумело обхватив, она прижимала к себе рулон ватмана. Этот рулон привлёк внимание Нади. О чём-то напомнил, что-то пробудил, и, приветствуя свою подругу, Надя почувствовала, что в ней зреет удивительная, но верная догадка.

— Дайте скорей посмотреть! — Валентина Павловна бросила на руки Наде тяжёлый рулон и наклонилась к коляске. — Ах, господи, какое чудо! — зашептала она. — Как же мы хорошо спим! И какая же мы кукла! Какие у нас красные щёки!

— Куда же мы идём? — спросила Надя, шутливо подделываясь под её тон.

— Да чепуха, тут в одно место, — Валентина Павловна махнула рукой. Выпуклый лоб её слегка покраснел.

— По благотворительным делам? — спокойно и тихо спросила Надя, передавая ей ватман.

— Ну да. — Валентина Павловна ещё заметнее покраснела и добавила беспечно: — Вот достала ему ватман.

— Как у него дела?

— Новый вариант чертит...

Надя замолчала. Догадка — это одно дело, а вот такое прямое признание — этого она не ожидала.

— Валя...

Валентина Павловна поблаговела.

— Вот вы и попались... да? — шепнула Надя ей на ухо и поцеловала это горячее, розовеющее ушко.

Валентина Павловна не ответила. Они долго шли молча.

— Он не знает об этом... о чём мы говорили? В школе, помните? — спросила Надя.

— И не должен знать, — шепнула Валентина Павловна.

— Хотите, я скажу? Или что-нибудь подстрою? А?

— Ничего нельзя делать. Слышите? Я вас очень прошу просто забыть обо всём. Если он узнает, мне нельзя будет туда ходить.

— Да?..

И они опять обе глубоко задумались.

— Что же, он опять чертит? Какой же это вариант?

— Последний, — гордо сказала Валентина Павловна. — Он получил распоряжение министра. Министр приказал проектировать старый вариант, а Дмитрий Алексеевич заканчивает новый — этот и пойдёт.

— Пойдёт? Это совершенно точно?

— Я видела сама распоряжение из министерства.

— Неужели он настоящий?..

— Я в этом не сомневалась никогда, — Валентина Павловна, сощурив глаза, сухо посмотрела вперёд на невидимого врага. — Я считаю, что даже тот человек, который когда-то давно первым из всех людей приделал себе птичьи крылья и прыгнул с колокольни, — и он тоже «настоящий». Обыватель, конечно, хохотал... Обыватель разрешает таким... летунам существовать, он милостив, но только при одном условии: чтобы у них не было неудач. Над неудачником он хохочет...

— Вы что хотите сказать? — Надя замедлила шаг. Губы её искривились, и слёзы задрожали в глазах. — Валентина Павловна!..

— Дмитрий Алексеевич не разбился. Крылья у него оказались настоящими. Но если б вы видели, как у него иногда идёт из носа кровь... когда он переволнуется... У этого человека, который был когда-то чемпионом университета по бегу! Милая Наденька, не обижайтесь... Я ведь два года закрываю его, как могу, от насмешек... от недоверия...

— Валентина Павловна!.. Значит, меня он не простил?..

— Вы не так говорите. Не то... Как будто только за себя боитесь. Он, конечно, простил. Конечно! Но ему было тяжело. Если б вы, Надюша, видели, как он задумывается, когда он один. Как он читал и перечитывал этот приказ! Вы тогда многое поняли бы... Почему я это говорю: я ведь могла не сказать вам, что получен министерский приказ. Или министр мог не издать распоряжения. И крылья, они тоже могли оказаться слабыми — ошибка, скажем, в расчётах. Что же? Вы были бы уверены, что он не *настоящий*, и смотрели бы на него с превосходством? Ведь вы сейчас вот сказали машинально: «неужели он настоящий?» Я всё думаю: кто это научил вас не верить человеку? Откуда это чувство превосходства? Надюша, не лучше ли сначала верить, а потом уже, когда набралось достаточно доказательств, тогда уже не верить!

Поздно вечером, придя с работы, Леонид Иванович услышал за стеной, в комнате Нади, равномерный скрип детской кроватки и тихое, монотонное пение Шуры. Он зашёл к жене. Надя лежала на диване в мягкой полутьме и глядела вверх, на лампу, завешенную со всех сторон пёстрой тканью. Шура поскрипывала кроваткой и тихим тоненьким голосом выводила: «Бай-бай, баю-бай, пришёл дедушка Бабай. Пришёл дедушка Бабай, сказал: «Коленьку давай».

Надя, не взглянув на мужа, показала рукой на диван, рядом с собой. И Леонид Иванович послушно сел.

— Ну что нового? — спросила Надя.

— Ганичев с завтрашнего дня — король на комбинате. Принял дела.

— Телеграмму ты получил?

— Получил. Еду в Москву через неделю. Квартира уже есть. Тебя оставляю пока здесь. Когда там улажу — вызову. Не бойся, у тебя будет провожатый. Доставит тебя.

Он замолчал, прилёг на диване, отдыхая. «А мы Колю не дадим. Он у нас пока один...» — тоненько тянула Шура, поскрипывая коляской.

— Ещё одна новость! — сказал Леонид Иванович, оживляясь. — Лопаткин! Пробил ведь ход! Мне звонили сегодня из филнала. Требовали Максютенко и заодно Лопаткиным интересовались.

— Я это знаю. Он заканчивает новый вариант...

— Вот как? Новый, говоришь? — Леонид Иванович встал, чтобы пройтись туда-сюда. Он всегда ходил, «колесил» по комнате, если его захватывала какая-нибудь новая мысль. И Надя поймала себя на том, что следит за ним. — Говоришь, новый? — спросил Леонид Иванович, останавливаясь. Взглянул на кровать ребёнка и сел. — А откуда ты узнала?

— Имею информацию. — Надя чуть заметно улыбнулась. — Скажи мне вот что. — Голос у неё был сонный, она смотрела вверх. — Скажи мне... товарищ Дроздов. Ты как, хорошо реагируешь на критику?

— Смотря какая критика! — Леонид Иванович засмеялся.

— Я беспартийная. Но я тебя сейчас буду критиковать, — сказала Надя и замолчала.

— Ну что ж, критикуй! — немного выждав, сказал Леонид Иванович.

— Я думаю, что ты такой критики у себя на заводе не услышишь. Мне интересно: почему у тебя была потребность издеваться над этим изобретателем? В его отсутствие говорить о нём... — на перебивай! — говорить всякие вещи. И кому! Мне, человеку из коллектива, где он работал когда-то! Уважаешь ты кого-нибудь из людей, кроме себя?

Во время этой неожиданной тирады Леонид Иванович всё время пытался остановить её. Закрыв глаза, говорил: «Надя... Надя...»

— Надя, послушай, — сказал он наконец. — Я понял тебя. Слушай: во-первых, я не издевался над Лопаткиным, а излагал свою точку зрения и говорил о ней только тебе, своей жене. Я её тебе не навязывал. Я знал одного директора, который несколько лет кормил и одевал сумасшедшего изобретателя. Они вместе вечный двигатель конструировали. Этот пример наш министр любит приводить... Вот тебе обстоятельство, которое сыграло всю роль в формировании моей точки зрения...

— Министр? — спросила Надя с усмешкой.

— Нет, не министр. На сегодняшний день мы имеем ещё целый ряд новых обстоятельств, которые изменили...

— Ты считаешь, что ответил? — тихо спросила Надя.

Леонид Иванович с тревогой развёл руками.

— Ты — поминишь? — казал его маршанином...

— Надюш... Постой-ка. Разве я спорю с тобой? Возможно, что я проявил здесь слабость, поддался моменту. Но это был только ответ на его слабость. У всех этих... творцов очень высоко развито самомнение.

— Кто тебе сказал?

— Он всегда со мной держал голову только вот так, — и Леонид Иванович раздражённо поднял голову повыше — так, как никогда её не держал Лопаткин.

— А как он должен был держать голову перед тобой? Вот так? — Надя согнулась перед мужем, и он поморщился.

— Я и не верю в существование так называемых возвышенных натур. Рядом с понятием «гений» обязательно существовало понятие «чернь». — Леонид Иванович напал на удачную мысль, вскочил и с довольным видом стал расхаживать по коверу. — Я потомок черни, бедноты. У меня наследственная неприязнь ко всем этим... незамыслимым...

Он остановился перед Надей. Она молчала — не могла найти нужных слов, хотя, как и всегда, чувствовала, что он не совсем прав.

— Вот что...— заговорила она наконец.— Вот ты говоришь, что ты потомок черни. Чернь — это не обязательно беднота. Наоборот, бедняк много думает, размышляет над своей судьбой. И даже над человеческими судьбами. И, между прочим, — тут Надя улыбнулась, — в процессе этих размышлений именно бедняки иногда приходили к гениальным открытиям! Чернь — это что-то другое, не кажется тебе?

Леонид Иванович ничего не сказал на это.

— Это действительно что-то чёрное,— задумчиво продолжала Надя.— И страшное. Самое плохое. Оно стремится захватить побольше и всё время кривит душу. А когда захватит — сразу разжиреет, и всё равно у него будет морда, а не лицо...

Леонид Иванович остро посмотрел на неё, сел и обхватил голову жёлтыми пальцами.

— А то, что ты назвал «возвышенной натурой», а я говорю «простой честный человек»—лиши его всего, сделай его нищим, — он всё равно светит людям. Нашёл, где искать самомнение! У Лопаткина, который сам ничего не имеет, а думает о том, как помочь дочке твоего слесаря Сьянова! Ах! — воскликнула вдруг Надя и, закрыв лицо руками, стала качаться из стороны в сторону.— Ах, господи, что я наделала!

— Что это? Надя! — Леонид Иванович ещё заметнее встревожился.

— Ты знаешь, ведь я с ним целый год не здоровалась! Один раз мы сошлись на узкой дорожке, и я голову в сторону отвернула! И он понял, пожалел, пожалел меня! Он тоже сделал вид, что не заметил меня или не узнал!

Леонид Иванович неуверенно засмеялся, положил руку Наде на плечо.

— Вы проявили невоспитанность. Но при чём здесь я?

— Ты совершенно ни при чём? — тихо спросила Надя, и Леонид Иванович опять развёл руками.

— Хоть бы не оправдывался,— опять заговорила Надя, взглянув на мужа.— Я теперь не знаю, как с ним встречаться. Господи, ватмана лист поскупился дать! Не поскупился, а хуже — поленился пальцем пошевелить! Бумаги клочок человеку не дал!

— Милая, это судьба индивидуалиста. Если бы он был в коллективе, ему дали бы ватман. Кто же с ним, с кустарём-одиночкой, считаться будет?..

— Значит, ты прав? — прервала его Надя.— Никто не будет считаться? Совершенно никто? На чём же он чертит?

И Леонид Иванович пожал плечами, ничего не сказал.

— Что я вижу... Во всё́м нашем разговоре...— сказала Надя тихо и вздохнула. — Есть у людей свойство — думать чувствами. Вот я не знаю человека, не имею перед собой его анкеты и с первого взгляда решаю: он симпатичен! Он приятен! Мне хочется быть в его обществе. Я ему верю. Я угадываю, что ему трудно живётся. Замечал ты за собой такое?

— Это ты верно, конечно...

— Так вот, «верно». Мне кажется, что я тебя всегда побеждаю в споре чувств. Хоть ты и доказываешь мне логически, что ты прав. Иногда доказываешь... Да-а... — она задумчиво посмотрела на стену, туда, где висела фотография молодого Дроздова.— Ты был лучше тогда.

— Валий, валий,— сказал Дроздов. Быстро поднялся и заходил по ковру.

— Если бы здесь была аудитория,—сказала Надя,— человек на триста, твоё красноречие завоевало бы их. Заговорить бы их ты смог, а мне бы ты просто не смотрел в глаза. Только нет её, аудитории, нет. И ты мне смотришь в глаза. И я вижу, что ты не можешь мне ничего возразить. Скажи-ка мне, Лёня, что ты сейчас задумал?

— Когда?

— Сейчас. Пять минут назад. Почему встал и начал ходить, как ты ходишь сейчас?..

— Надя, это же невозможно! Ты прямо прокурор! Да, я думал кое-что. Насчёт авдиевской машины...

— А что с нею?..

— Да так... Технические неполадки.

— А ещё о чём ты подумал? Когда вскочил и зашагал?

— Вот о том. Больше ни о чём.

— Значит, ни о чём? Ну ладно. Иди спи.

Леонид Иванович поцеловал жену в щёку и, чуть слышно отдуваясь, ушёл в спальню.

На следующий день в доме Дроздовых начались сборы в дорогу. Грузовик привёз с комбината ящики из хорошо прифугованных белых досок. Мать Леонида Ивановича и Шура сразу же начали укладку посуды. Дня через три, когда всё было уложено, паровозик вкатил на складскую территорию комбината пустой товарный вагон. В этот вагон рабочие под наблюдением старухи Дроздовой погрузили все ящики и кое-что из мебели. Вагон закрыли и опечатали пломбой.

Вскоре уехал в Москву Леонид Иванович. Шуру отпустили в деревню, и Надя осталась одна в полупустом доме — со старухой и маленьким сыном. Она уже давно не преподавала в школе и теперь, скучая, стала каждый день заходить в учительскую — на прощанье — и, держа ребёнка на коленях, с растерянной улыбкой смотрела, как течёт мимо неё прежняя её трудовая жизнь.

Через полмесяца и в школе нечего стало смотреть. Экзамены окончились, школа опустела, и даже подруга Нади — Валентина Павловна — уехала с дочкой к родным на Украину. Иногда к Наде приходила Ганичева, и на её жирном накрашенном лице Надя читала: «Вы ещё здесь?» Ганичева ходила по пустым комнатам и говорила старухе Дроздовой: «Вот здесь я поставлю шифоньер, а здесь — трюмо».

В конце июня Надя наконец получила от Леонида Ивановича сначала письмо, где была описана их новая трёхкомнатная квартира на Песчаной улице, а затем и телеграмму: «Выезжайте».

Сразу же Ганичев прислал к Наде молодого техника Володю, которому была на этот случай выписана командировка в Москву — в техническое управление министерства. Володя привёз билеты в московский вагон и быстро запаковал последние вещи. До отъезда оставалось четыре часа, и Надя, оставив ребёнка старухе, вышла прогуляться. Что-то теснило её грудь, какое-то незнакомое чувство — не испуг и не тоска. Она вышла на улицу, огляделась — и это чувство сильнее сдавило её. Это же чувство привело её к школе, и она ещё раз открыла школьные двери, прошла по гулкому и необитаемому второму этажу, прошла — и не стало ей легче, только прибавилась тихая боль.

Потом она вышла на Восточную улицу. Ветер гнал по ней облака пыли — с горы вниз. И, закрыв платочком лицо, Надя торопливо зашагала вверх, навстречу пыльным порывам ветра. Она взошла на гору, здесь ветер был жёстче, сибирский, степной ветер. Вот и домик номер 167 — днём он был ещё беднее, даже мелом не покрашен. Надя перешагнула колючую проволоку, обошла сарайчик, на котором уже не было стога, и открыла дверь. Коровы не было — паверное, угнали в стадо. Надя открыла вторую дверь и сразу увидела пятерых ребят за столом. С ними был чужой дядька, одетый в светлосерое коверкотовое пальто. Он сумел пробраться за стол, к маленькому окну, криво сидел там, вытянув в сторону длинную ногу, держа на колене фетровую шляпу, и что-то рисовал ребятам, нахохлившись, свесив на лоб чёрную прядь и даже как будто рыча.

Ребята, как по команде, повернули к Наде светлорусые головы с сияющими от восторга глазами и открыли на миг лист бумаги на столе. Там незнакомый дядька уже почти кончил рисовать взъерошенного, как метла, волка.

Незнакомец, встав, поклонился Наде, сосурился на неё зоркие глаза. Его худошавое губастое лицо всё ещё хранило хищно-лукавое волчье выражение. Надя, опешив, забыла даже поздороваться.

— Ктой-то? — слышался голос Агафьи Сьяновой из второй, меньшей комнатки.

— Это я, — сказала Надя, уже чувствуя, что Лопаткина нет дома. — Прощаться пришла.

— Ах, это вы! Что ж, заходите. — Во второй комнатке вспыхнула яркая электрическая лампочка. — Заходите смелей, приболела я.

Надя, с опаской взглянув на незнакомца, поскорей прошла туда и увидела Сьянову на кровати Дмитрия Алексеевича. Она сразу заметила всё: нет чертёжной доски и, главное, исчез портрет Жанны Гашичевой.

— Где же? — торопливо спросила она и показала рукой, одним движением, всё: и портрет, и письма, и самого Дмитрия Алексеевича.

— Уехал в область. Картошку мы с ним посадили и — уехал. Дела-то у него, вы слыхали, небось? Ну вот, он туда, в филиал. Проектировать машину будут.

— А сюда он ещё приедет?

— Как же. Тут у него всё, под кроватью оставленное. Приедет. Должно, осенью или, може, раньше когда.

— Так я ему письмо...

— А сколько туда езды, в филиал? — напомнил о себе незнакомец. У него был медлительный, тягучий басок.

— Полтора суток верных будет, — сказала Сьянова.

— Да-а, — отозвался незнакомец. — Ах, чёрт, как же это я упустил его...

— Я уезжаю и хочу ему несколько слов... — торопливо зашептала Надя. — Бумажечки у вас не найдётся?

— Ге-енки! — натужно закричала Агафья, свешиваясь с кровати. — А ну, иди сюда. Открой этот вон чемодан, тетрадка там. И чернила с ручкой принеси.

Генка принёс всё, и Надя, подсев к столику, стала быстро писать.

— Значит, вы говорите, всё в порядке у него? — в тишине за тонкой стеной нерешительно басил незнакомец. — Вот что... Значит, уехал... Агафья Тимофеевна, а у него не осталось здесь какого-нибудь чертёжника? Мне бы посмотреть...

— А на что тебе? Ты что — специально к нему?

— Видите, какая вещь, — протянул незнакомец, показываясь в дверях маленькой комнаты. Он был очень высок, наклонил голову, словно подпирая плечом потолочную балку, посмотрел на Сьянову серьёзными чёрными глазами. — Я из Москвы. Буду испытывать здесь одну машину... Машина того же назначения...

Надя быстро обернулась, подалась, закрывая своё письмо.

— Это вы приезжали к нам зимой? Вы Галицкий?

— Я. — Он перевёл на неё чёрные глаза, сдвинул чёрные толстые брови. Некоторое время оба с интересом молча смотрели друг на друга.

— Значит, эта машина всё-таки годится? — спросила наконец Надя.

— А вы у рабочих узнайте. Они народ прямой. Не утаят.

— Ругали, ругали, а всё-таки построили?

— Видите ли, — он, вздохнув, задержал на ней какой-то загадочный взгляд. — Насчёт этой машины у меня есть своя точка зрения, которую я в этот приезд окончательно уточню. А потому прошу вас повременить

с этим разговором. Через месяц, когда всё выяснится окончательно, я буду готов...

— Я сегодня уезжаю в Москву.

— Это не беда. Вы и там узнаете. Волна докатится...

— Докатится?..

— Может, и не докатится. Всё равно. Муж вам скажет. Он заинтересован в этом не меньше моего.

И, словно не замечая краски, залившей лицо Нади, Галицкий повернулся к Сьяновой, выставил палец вверх.

— Мне очень важно ознакомиться с принципом машины товарища Лопаткина. Потому что, допустим, у себя я приду к отрицательному выводу, мне нужно что-то и предлагать.

— Муж скоро придёт с работы, поговорите с ним,— сказала Агафья.— Може, что и найдётся, чертежи какие.

Надя написала письмо, сложила его треугольником, крупно надписала: «Тов. Лопаткину» — и оставила на столе, надписью вниз. Попрощалась с Агафьей, с ребятишками, смело взглянула на Галицкого и, кивнув ему, вышла на улицу. Ветер быстро погнал её в спину, вниз, к чёрным дымам комбината.

У ворот её дома стоял «газик». Володя и старуха ждали её, одетые в дорогу, сидя на чемоданах. Ещё на двух чемоданах сидели супруги Ганичевы — пришли прощаться.

Надя набросила на плечи пальто, Ганичева крепко и мокро расцеловала её, сказав: «Слава богу. А то уж думали, что остаться решила. Передавай привет Москве». Володя ухитрился взять сразу три чемодана, Ганичев — один, шофёр — ещё один. Старуха бережно подняла завернутого в зелёное одеяло ребёнка, и все отправились к машине. И вот уже Надя едет по знакомой дороге, уезжает навсегда от этих мест, и всё уходит назад, без возврата. Она оглянулась и в последний раз увидела дымную завесу, комбинат, и над ним жёлтую ковыльную гору, по которой рассыпались маленькие глиняные домики Восточной улицы. Она ещё и ещё раз оглянулась на эти домики с тяжёлым и неясным сиротливым чувством. Всё это медленно поворачивалось у неё за правым плечом и отступало назад, в прошлое, навсегда.

7

Дмитрий Алексеевич Лопаткин принадлежал когда-то к числу людей физически здоровых, очень сильных и потому выделялся среди товарищей прежде всего добродушием. Он никогда не имел врагов, и на совести его не было тёмных пятен, кроме постоянного чувства вины перед матерью, которая ещё до войны угасла в городе Муроме, так и не повидав перед смертью единственного сына. Сын тогда был слишком занят учением в университете и работой на заводе, свидание с матерью откладывал с зимы на лето, с лета на осень и даже письма писал не часто, хотя деньги ей посылал. Получив короткое письмо от её соседей, Дмитрий Алексеевич поехал в Муром. Он посидел в пустой комнате матери, разыскал на кладбище простую могилу с железной табличкой и, прочитав на ней свою фамилию, снял кепку. Он не оплакивал мать, но товарищи заметили, что Дмитрий чуточку притих. И эта вот тишина осталась в нём навсегда.

Войну он начал рядовым солдатом-пехотинцем, но вскоре стал командовать отделением, а в начале сорок второго года получил взвод. В конце этого года он уже был демобилизован. Война оставила на его теле несколько грубо заросших рубцов, словно нанесённых топором.

В армии он научился курить, разговаривать, не двигая при этом руками, терпеливо, молча слушать, быстро принимать решения. И ещё в нём выступило одно качество — думать сперва о солдатах, а потом уже

о себе. Голодный Ленинградский фронт проявил это качество во многих, а Дмитрий Алексеевич получил своё последнее ранение как раз там, около Ладожского озера. Привёз он с войны и орден — Красную Звезду.

Когда Лопаткин пришёл в музгинскую десятилетку, ему было двадцать семь лет. И если тогда, при первом знакомстве, в учительской ему давали не больше двадцати пяти, то через три года он стал тянуть далеко за тридцать: сказались те сотни листков и десятки больших ватманских листов, на которых он вычерчивал детали своей машины. Он держал все эти детали в памяти, закрыв глаза, видел их, изменял, соединял вместе и так же в памяти пускал их в ход. И ещё больше, чем эти детали и чертежи, подействовали на него надежды и разочарования. Их приносила девушка-почтальон в конвертах с чёрными и цветными штампами министерств, управлений и комитетов. За два года Лопаткин научился вести переписку, подшивать бумаги, читать их тайный смысл, сопоставлять ответы, полученные из разных канцелярий и от разных деятелей. У каждого документа он видел человеческое лицо. В первый раз, когда пришёл короткий отзыв профессора Авдиева, с бумаги на Дмитрия Алексеевича глянуло лицо непреклонное и фальшивое. Никто не мог увидеть эту фальшь, только один Дмитрий Алексеевич — ему она была отчётливо видна. Авдиев схитрил: сделал вид, что не нашёл в чертежах Лопаткина идеи, и разобрал недостатки конструкторского исполнения — то, в чём Дмитрий Алексеевич действительно был слаб. Профессор упирает на то, что машина «сложна и громоздка». Немного позднее был прислан пространный отзыв кандидата наук Тепикина. Этот сказал как будто от себя: «Машина сложна и громоздка», — и Дмитрий Алексеевич увидел лицо «молодого учёного, разрабатывающего проблемы, поставленные профессором Авдиевым». Через полгода в домик на Восточной улице пришло письмо за подписью заместителя министра Шутикова. Здесь повторялась та же знакомая формула: «Машина сложна и громоздка», но лицо у бумаги было иное: благородное лицо чиновника-исполнителя, который списал формулу у Тепикина, обрадовался, что есть основание закончить надоевшее дело и дать бумагу на подпись заместителю министра. В уголке бумаги он поставил и свою фамилию: «исп. Невраев». Этот маленький домовый министерства был как бы стражем у ворот, через которые слово Авдиева вошло в кабинеты и стало мудростью высших лиц.

Дмитрий Алексеевич за эти годы научился с недоверием относиться к тому, что бойко сочинено и красиво напечатано. Но ждать и надеяться он не отучился, и эти-то непрерывные вспышки надежды сделали черты его лица жёсткими и упорными чертами страдальца.

Дядя Пётр Сьянов — хозяин домика, в котором ещё с 1943 года жил Лопаткин, — работал слесарем на механическом заводе комбината. С первых же изобретательских шагов Дмитрия Алексеевича он записался в сочувствующие. Сначала дядя Пётр вежливо справлялся о назначении той или другой детали, потом попробовал помочь, но у него ничего не получилось — он плохо представлял себе машину в пространстве. Тогда дядя Пётр стал привносить с завода маленькие модельки, сделанные из стали и латуни, и дело пошло значительно быстрее. Сьянов «заболел» машиной Лопаткина. Втайне удивляясь твёрдости своего квартиранта, он стал потихоньку подкармливать голодного, но самолюбивого изобретателя. Сам приносил ему обед, незаметно ставил на столик и поскорее уходил, словно приручал дикую ушибленную птицу.

И Дмитрий Алексеевич вошёл в его семью. Правда, он тут же мысленно подписался обязательство выполнять в доме и во дворе Сьяновых все работы, связанные с мелотком, топсом и лопатой. Вскоре он почувствовал, что этого мало, и стал давать уроки, возиться с двоечниками, прививать им интерес к точным наукам, изгонять лень. Клиентура начала расти, и вопрос о деньгах постепенно отошёл на второй план.

По утрам, наколов дров и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. В течение часа он быстрым и ровным шагом пересекал весь посёлок с горы и в гору и после этого садился за чертёжную доску. Иногда во время этих прогулочных рейсов Дмитрий Алексеевич встречал своих бывших учеников. Он останавливался, пожимал им руки, спрашивал, как успехи,— он хорошо помнил всех по фамилиям и именам. А ребята ещё не умели скрывать своих чувств, смотрели на него во все глаза. Одни с уважением — ведь он был изобретателем, а другие с открытой усмешкой — ведь он был чудаком!

И это ещё ничего бы. Но иногда Дмитрию Алексеевичу попадались навстречу взрослые, особенно эта, «сама» Дроздова. С тех пор, как Лопаткин вернулся из Москвы, она не здоровалась с ним, проходила мимо с ясным лицом, с приветливым взглядом, обращённым к его пуговицам. Она была счастлива, красива и задумчиво нежна. «Вот такие паразитические цветы с сильным запахом, бледные позилки, зарождаются в какой-то непонятной сфере, чтобы поражать нас,— думал Дмитрий Алексеевич, провожая её взглядом.— И они нас презирают, и никто не протрёт им глаза, не повернёт их, потому что они глупы».

— Да, это как раз она,— шептал Дмитрий Алексеевич, проникаясь к ней ненавистью.

Но действовал он совсем не так, как диктовало ему гордое самолюбие. Он предупредительно уступал ей дорогу и даже переходил на другую сторону улицы и при этом делал вид, что занят своими мыслями.

Потом он заметил, что она беременна. У неё появились желтоватые расплывчатые пятна на лице и медлительная походка. Ей было трудно ходить, она со страхом готовилась к материнству, и Дмитрий Алексеевич сразу же простил ей всё. Правда, здесь сказались ещё кое-какие обстоятельства, которые постепенно открылись Дмитрию Алексеевичу в последнюю зиму.

В домик Сьяновых часто наведывалась учительница английского языка Валентина Павловна — смешливая, постоянно краснеющая женщина лет тридцати. Лицо её было безнадежно испорчено, высоким, выпуклым, розовым лбом. Этот недостаток не так был бы замечен, если бы Валентина Павловна могла освободиться от своей привычки краснеть: скажет слово — и зардеется. Замолчит — и ещё больше покраснеет.

Впрочем, Дмитрию Алексеевичу меньше всего было дела до чьей бы то ни было внешней красоты. Ведь и у той девушки, чей портрет висел у него над столиком, тётя Агаша тоже заметила что-то неприятное во взгляде далеко к вискам отставленных глаз. А Дмитрий Алексеевич видел в этих глазах другое, что-то вроде сочувствия или ласкового одобрения. Его так и тянуло посмотреть в эти глаза.

С Валентиной Павловной Лопаткин был всегда ровен, старался не замечать её неловких движений, слов, сказанных невпопад, и краски, то и дело заливавшей её лицо. Он радовался каждому её приходу: Валентина Павловна как бы связывала его с окружающей жизнью, была живой и весёлой газетой. И ещё она верила в то, что «лопаткинская» машина для отливки труб — не простая выдумка. Верила в то, что машина эта победит. А раз вера её была искренней, значит можно было принимать и её вклад в нужное дело — рулоны прекрасной ватманской бумаги, которые она где-то доставала.

Валентина Павловна просиживала в комнатке у Дмитрия Алексеевича по несколько часов, а он что-нибудь гудел и чертил новый вариант своей машины или думал над неоконченным чертежом. Она молча через его плечо следила мимо разросшихся лохматых волос за уголком широкой русой брови, который то поднимался удивлённо, то сердито опускался в зависимости от того, как шли дела. Или вдруг принималась болтать о жизни посёлка или о школе.

И вот из-за этой-то болтовни перед Дмитрием Алексеевичем постепенно встало и грустно взглянуло на него другое лицо — «самой» Дроздовой. Оказывается, эта когда-то счастливая комсомолка, дочь простого счётного работника из банка, ошиблась в выборе мужа, попалась в плен и слишком поздно начала это понимать.

— Вы знаете, как она сейчас со мной спорит! — рассказывала Валентина Павловна. — Так никто ещё не спорил! Выдвинула аргумент и ждёт, чтобы я опровергла! И радуется, если я хорошо, как следует её разобью. А если замолчу, задумаюсь — злится, наускакивает, удивительно! Может, здесь ещё и её положение сказывается. Но всё равно — такого я ещё не встречала.

— Да-а! — гудел Дмитрий Алексеевич, вспоминая недавний визит Надежды Сергеевны к Сьяновым.

Однажды Валентина Павловна пришла к нему утром, молча поставила в угол трубку ватмана и села на табуретку, расстегнув серо-голубое пальто с воротником из фиолетового песка.

Дмитрий Алексеевич растирал в блюдечке тушь. Он взглянул в угол на трубку ватмана и сказал полушутливо, полусерьёзно:

— Валентина Павловна, смотрите, я скоро начну вас любить. Вы мне даёте больше, чем жизнь.

Валентина Павловна засмеялась, покраснела и спрятала лицо в воротник.

— Я говорю серьёзно, — Дмитрий Алексеевич улыбнулся ей. — Для того, чтобы просто жить, нужен хлеб. Но как бы я ни был голоден, я всегда променял бы свой хлеб на искру веры. У нас в госпитале были почти все раненые с Ленинградского фронта. И с некоторыми что-то случилось — поголодались они там, и вот смотрю: сушат теперь на батарее корки! Высушат и — в подушечную наволочку. И у меня такое есть, только по отношению к людям, которые верят в моё дело. И ещё к ватману. Это я, чтобы вы поняли, Валентина Павловна. Простого спасибо здесь мало. Я всегда буду помнить эти дни и буду всегда ждать случая, чтобы доказать своим друзьям...

— Дмитрий Алексеевич, перестаньте! — Валентина Павловна повернула к нему лицо не то счастливое, не то обиженное. — Вы сейчас чуть-чуть меня не обидели. Мне достаточно самого малого; неужели вы думаете, что я не пойму! Верю! — громко крикнула она. — Вы услышали это слово? Вот и хорошо. Ватман вам нужен — вот я и счастлива!

И, спохватившись, вспыхнув, она добавила:

— Я же понимаю, что эта машина нужна государству и что помогать вам — долг каждого честного...

И они оба замолчали.

Во время этой беседы Дмитрий Алексеевич быстро и словно нечаянно несколько раз взглянул на неё. Он гнал от себя то и дело выплывающую на свет догадку, которая польстила бы его самолюбию, но была страшна серьёзностью и глубиной. Совесть подсказывала ему, что догадку эту нужно остановить, нужно ничего не видеть и не слышать, иначе разрушится короткая и сердечная дружба.

И он громко стучал блюдцем, беспечно покашливая, потом включил радио — детскую передачу, чтобы не замечать чувств, вышедших чуть ли не для открытых действий. Он не смог бы дать ответа на эти чувства. Он не хотел отражать этот приступ и спешил решить дело средствами дипломатии. Надо сказать, что это ему удалось. Валентина Павловна поднялась, словно её разбудили, и включила радио погромче. Потом, следуя необъяснимому ходу мыслей, она стала смотреть на портрет Жанны Ганичевой, повешенный над столиком.

— Жанна так и не пишет? — спросила она.

И не успел Дмитрий Алексеевич ответить, как на улице послышался женский голос, хлопнула дверь, и Агафья Сьянова, войдя с мороза в платке и нагольном полушубке, бросила на столик два письма.

— Приймай, Алексеич, корреспонденцию — забыла вчера передать. Так и ношу в кармане. Силосовать скоро будем письма твои!

Привычной и спокойной рукой Дмитрий Алексеевич разорвал первый конверт со штампом министерства. Мгновенная боль вступила в виски — он прочитал слова: «Не представляется возможным» — и тут же бросил красивую бумажку под стол. На секунду в глазах его появилось выражение усталости, на миг он как бы окостенел, и губы его ядовито искривились, но всё это сразу же прошло, он поднял с пола бумагу, спокойно перечитал её, разгладил и, выдвинув ящик, тут же подшил её в толстую папку, к другим таким же красивым бумажкам. Бросив папку в ящик, он глубоко вздохнул и посмотрел на портрет Жанны. «Наверно, конца не будет нашей с тобой разлуке», — подумал он, легко проникая сквозь жёсткость её взгляда, отдыхая в тех ласковых глубинах, о существовании которых никто не знал, кроме него. Он уже забыл о том, что в комнатке сидит ещё один человек — его постоянная гостья.

— Да, ч-чёрт, — сказал он, темнея лицом, и протянул руку ко второму конверту.

Ах, это было письмо от неё! Валентина Павловна сразу поняла это и стала прощаться, что-то сказала, засмеялась, жалко хихикнула, словно в пустой комнате, и быстро ушла, даже не застегнув пальто.

Наступила тишина. Дмитрий Алексеевич читал письмо и незаметно для себя начал поглаживать одной рукой волосы, плечо, щёку. Он слышал громкий, словно дикторский голос письма, объявляющий ему о неожиданном разрыве:

«Дмитрий! Я перечитала все твои письма. Везде ты пишешь, что у тебя дела идут на лад, в гору, к лучшему, что машину уже начинают строить, что уже есть «соответствующие» распоряжения, что академик Н. тебя хвалит, а доктор НН. превозносит до небес. Мне было лестно читать всё это, и я даже похвасталась своим подругам. Написала письмо в Музгу. И вот они все отвечают, и оказывается, что ты мне лжёшь. Я не буду повторять того, что пишут девочки, но мне не нужен и обман. Я не хочу быть героиней трагедии в стихах. И вообще, всё так грустно, всё получается как-то не так. Напиши-ка мне чистую правду, дай мне возможность решить свою судьбу, как её решают обыкновенные взрослые люди. Во взглядах на жизнь девочки и взрослой девы есть разница, и это начинаешь с годами понимать. У меня нет сил, я чувствую, что мне придётся уступить моего будущего Эдисона другой, более мужественной женщине...»

Прочитав письмо, Дмитрий Алексеевич озадаченно поскрипел стулом, потом, подняв бровь, взглянул на портрет Жанны и вспылал. Он выхватил из ящика листок бумаги и стал быстро, с громким скрипом писать:

«Что ж, дорогая, я напишу Вам всю правду. Я вижу, что наступает время нам расстаться. Должен извиниться перед Вами. Я необдуманно увлёк Вас на сомнительный путь подруги изобретателя, не зная при этом, кто я — изобретатель или просто чудак. Я рад, что у Вас во-время открылись глаза и Вы, таким образом, избегнете опасной участи. Дела у меня сейчас хуже, чем когда-либо, я истратил почти все спички, и ни одна не зажглась. Только дымят. А раньше у меня была хоть полная коробка! Но я с той же надеждой смотрю на последнюю спичку. Можете считать это ложью, только разрешите доложить: скоро я буду праздновать победу! Наши машины будут работать на заводах, и мы с дядей Петром станем любоваться на них и придумывать новые, потому что это дело пришлось нам по вкусу! И вот свою последнюю спичку я сейчас спокойно попробую зажечь. Жаль, конечно, что вместе с нами не будете ждать огня

Вы. Но и то — ведь это «скоро» лишь для меня. Я привычный — могу чиркать свою спичку несколько лет. Когда ещё она загорится! Стало быть, забудьте всё, о чём я с Вами говорил, потому что всё это беллетристика, всё риск. Это не для Вас. Помните только физику и математику, но не очень, потому что людей, боящихся риска, эти науки сушат. Желая Вам быстрого успокоения от всех тревог, причинённых мною. Москва — мастерица лечить неглубокие раны. Будьте здоровы!

Д. Лопаткин».

Заклеив конверт, Дмитрий Алексеевич накинул на плечи пальто и выбежал на улицу без шапки. На столбе скрипел от ветра почтовый ящик. Письмо тупо стукнулось о его железное дно. Дмитрий Алексеевич повернулся к своему дому и увидел ниже, под горой, девушку-почтальона. Она спешила к нему, держа в руке большой конверт. И на конверте синел знакомый штамп министерства.

— Привет из Москвы, — сказала она, подавая ему конверт, и, не оставиваясь, пошла на другую сторону улицы.

Промороженный и обсыпанный снегом, Дмитрий Алексеевич влетел в свою комнату и, едко искривив губы, разорвал конверт. Опять красивая бумага! Но что это?.. «Министерство вторично рассмотрело... Принято решение разработать технический проект... Начальнику филиала дано указание на период разработки... зачислить Вас на работу в проектно-конструкторское бюро и выделить Вам в помощь необходимое количество конструкторов... Необходимые средства выделены...»

— Чёрт! — сказал Дмитрий Алексеевич. Бросил бумагу на стол, снова взял и перечитал с начала до конца.— Поневоле сойдёшь с ума. Чёрт его знает что!

Он опять схватил бумагу и посмотрел на подпись. Она была похожа на тонкий и прямой зелёный шов, сделанный швейной машиной. По обеим концам шва висели нитки. Заместитель министра!

Он задумался: а как же быть с письмом к Жанне? И махнул рукой: пусть идёт.

— Конечно! Как тут не сойти с ума! — сказал он. Сбросил пальто, улёгся на постель и сразу заснул.

Вечером в домике Сьяновых по этому поводу был устроен небольшой праздник. Дядя Пётр достал бутылку жёлтой, как керосин, степной водки. Был сделан отличный для тех времён винегрет — с солёными огурчиками, с капусткой и с картошечкой — и полит настоящим хлопковым маслом. Друзья выпили, закусили и вволю посмеялись над своим счастьем. Они долго считали по пальцам, сколько же раз приходили такие письма и сколько бутылок было распито. И оказалось, что за два года было всего четыре обнадёживающих письма и распито три бутылки. Один раз обошлись без водки.

Дмитрий Алексеевич смеялся по этому поводу громче, и смех его был ядовитее. Но, как и в прежние четыре раза, его к ночи стала трясти лихорадка.

— Ты, брат, не привык к вину, — сказал дядя Пётр и внимательно посмотрел ему в глаза. — Лихорадит что-то тебя. Не можешь ты ему сопротивляться.

И, заботливо обняв, уложил Дмитрия Алексеевича в постель. Но дядя Пётр ошибся. Это была не лихорадка. Это была надежда.

К утру она должна была бы отпустить Дмитрия Алексеевича, который ещё больше похудел за эти сутки. Но пришло новое письмо из Москвы — копия распоряжения, согласно которому инженер Максютенко откомандировывался в проектно-конструкторское бюро филиала Гипролита для участия в разработке технического проекта литейной машины системы инженера Лопаткина.

«Ого, ты уже инженер!» — сказал себе Дмитрий Алексеевич.

Потом в дверь постучалась девочка-курьер из управления комбината. Она вручила Дмитрию Алексеевичу записку от Дроздова, написанную коричневым карандашом на директорском бланке: «Тов. Лопаткин! Прошу Вас, зайдите ко мне касательно Вашего дела в 12.00 часов, 27-1-47 г.»

И Дмитрий Алексеевич поспешно стал готовиться к этому визиту. Он осмотрел и начистил свои ботинки и подклеил коллодием заплатки. Затем, пока грелся уютю, он побрился, подстриг ножницами бахрому на рукавах кителя и на брюках и, надев напёрсток, «подживил» нитками подстриженные места. Потом, опрыснув водой китель и брюки, пропарил их уютюю через полотенце и сделал на брюках отличную складку — сверху донизу.

Приведя свой костюм в порядок, он оделся и вышел. По пути он заглянул в школу и попросил у секретарши справку «с прежнего места работы», которая, конечно, ему пригодится при первом же разговоре в проектно-конструкторском бюро. Справка была тут же написана, но печать оказалась запертой. Эта мелочь и стала первым звеном в той цепи событий, которые привели Надежду Сергеевну в больницу, — Лопаткин пообещал зайти за справкой и ушёл, чтобы вернуться позднее.

Он спешил на свидание с Дроздовым. Секретарша встала, когда он появился в приёмной, но не пошла докладывать, а только открыла дверь кабинета, приглашая Лопаткина войти. Его ждали!

Так же, как и в прошлый раз, он прямо пересек ковёр и остановился между двумя креслами, перед громадным темнокрасным столом, за которым сидел маленький плешивый и взъерошенный человек с желтоватым худеньким лицом. Дроздов приветливо смотрел на него чёрными живыми глазами. Голова его была спрятана в плечи, и обе руки, соединённые в одном большом кулаке, лежали на зелёном сукне стола.

— Ну, — сказал Леонид Иванович. Поднялся, подал руку Лопаткину, показал на кресло и снова сел, принял ту же привычную позу, как будто и не поднимался. Он закрыл глаза, помолчал некоторое время, потом хитро открыл один глаз и поднял бровь в сторону Дмитрия Алексеевича. — Поздравить тебя надо? А?

— По-моему, ещё рано...

— Ты хочешь сказать... — Дроздов ухмыльнулся и закрыл глаза. — Он хочет сказать, что он скромен!

Тут Леонид Иванович покосился через плечо, и Лопаткин, проследив его взгляд, увидел в глубине кабинета, в кресле, лысоватого человека в офицерском костюме, без погон, того же самого, который сидел у Дроздова в прошлый раз и назвался Самсоновым.

— Мы это знаем, товарищ изобретатель, — продолжал Дроздов, добродушно и лукаво морщась. — Скромнен, скромнен! А сам уже, небось, sprыснул это дело! А? И меня не позвал!

— Четвёртый раз sprыскиваю, Леонид Иванович. Может, ещё столько придётся.

— Ну, это у тебя, брат, упадочнические настроения. Достоевщина. Это мы сейчас развеем. Ты вот что скажи мне, товарищ Лопаткин. — Дроздов придвинул к себе настольный календарь и взял из чугунной гетманской шапки остро отточенный карандаш. — Мне сегодня будут звонить из филиала. Максютенку от меня туда забирают. Для участия в разработке технического проекта... литейной машины инженера Лопаткина. Знакома тебе эта фамилия? — Он дружелюбно покосился на Дмитрия Алексеевича. — Так ты мне скажи, товарищ инженер, когда ты туда поедешь?

— Поеду вот... Я должен кое-что закончить. Месяца три ещё провоюю.

— Три-и? Это меня устраивает. Устроит ли тебя? Он ведь у меня авдиевскую машину двигает! Не боишься?

— Я знаю. Вот и пусть двигает.

— Изобретатель-то... благороден! — сказал Дроздов Самсонову.

— А через три месяца начнёт мою, — спокойно продолжал Дмитрий Алексеевич, — если не передумает этот товарищ замминистра.

— Шутиков? Не-ет, не передумает. Он теперь болеет вашими машинами. Это его любимая тема. Конёк! Значит, на май? Так мы и запишем. Вот, собственно, и всё...

Дмитрий Алексеевич встал и протянул было руку прощаться, но Дроздов словно не заметил его руки.

— Сядь, посиди, куда торопишься? — Он добродушно засмеялся. — Куда торопится? Не пойму, — сказал он Самсонову, и тот в ответ весело задвигался в кресле и положил ногу на ногу. — Не пойму! — сказал Дроздов, снимая при этом трубку с телефонного аппарата. — Алло! Фабричковского, — сказал он в трубку и помрачнел. — Товарищ Фабричковский? Тут к тебе придёт изобретатель. Сегодня. Не остри, кислые щи здесь ни при чём. Я говорю, придёт изобретатель. Лопаткин. Так ты мне его одень. Да. От меня. Ты меркантильные эти разговоры... Что, у нас разве нет денег? Мы не так уж бедны. Комбинат может как-нибудь одеть одного инженера? Нет, ты скажи, может? Так вот, одень. Одень. Одень мне его. Одень. Как министр чтоб ходил. Как у тебя, такой костюм сделай. Или свой отдай... пузо, хе-хе, ушей и отдай. Ну, вот слышу речи не мальчика, а мужа. Ну-ну...

Бросив трубку на рычаги аппарата, Леонид Иванович весело хлопнул рукой по столу.

— Спустишься вниз и направо — там наше снабженческое пекло. Спросишь Фабричковского. Они тебя сразу схватят, и не успеешь моргнуть, как будешь одет по новейшей фабричковской моде. Ну, желаю тебе... — Леонид Иванович встал и крепко пожал Лопаткину руку. — Давай делай машину, двигай технику вперёд. Нас не забывай. Заходи, если что. Поможем.

Лопаткин поблагодарил Леонида Ивановича, поклонился Самсонову, и тот в ответ снял ногу с колена. Дмитрий Алексеевич быстро вышел, поклонился на ходу секретарше, сбсжал по лестнице вниз. Оделся, распахнул зеркальную дверь и очутился на притоптанном снегу. Здесь он на секунду остановился, посмотрел на своё пальто, на брюки, поморщился... Почему он не зашёл к Фабричковскому, не принял от Дроздова его богатый подарок? Ведь принимал он ватман и тушь от Валентины Павловны. Очень просто: Валентина Павловна верила в его дело, а этот... у этого совсем другие были глаза. Даже сейчас!

Вспомнив о справке, он забежал в школу и появился в дверях учительской как раз, когда Надежда Сергеевна начала свою громкую речь о несчастном музгинском Леонардо. Прежде всего Дмитрий Алексеевич заметил, что слова её звучат в тишине странно громко, как в пустом зале: учителя узнали Лопаткина и замерли от неожиданности. Потом он увидел лицо Надежды Сергеевны, её глаза, ищущие поддержки. Она словно убивала себя чужими словами, чужой усмешкой, чужими нотками в голосе. Дмитрий Алексеевич хотел было шагнуть назад, скрыться, но в это же мгновение она остановила на нём тёмный взгляд, негромко вскрикнула и умолкла, быстро бледнея.

Этой минуты он не мог забыть ни назавтра, ни через месяц. Помнил он о ней и в тот последний день мая, когда, закончив свой новый вариант, с трудом разогнув спину, счастливый, пошёл прогуляться по Восточной улице.

Уже внизу, недалеко от управления комбината, мимо Дмитрия Алексеевича пролетел «газик» защитного цвета. Пролетел и, резко затормозив, стал. Открылась дверца, Дроздов поставил на землю ногу в блестящем сапоге.

— Привет изобретателю! — сказал он, весело и пристально глядя на Лопаткина.

Дмитрий Алексеевич подошёл, пожал маленькую желтоватую руку директора.

— Всё ещё не уехал? — спросил Леонид Иванович, всё так же пристально рассматривая его лицо.

— Скоро отправлюсь, всё уже готово.

— Ну-ну. Что же костюм-то? Фабричковский тебя ждал...

— Я занят был, Леонид Иванович. Секунды считал. Наше счастье, оно, знаете...

— Ну да, ловил, значит, на корню...

Леонид Иванович прекрасно понимал, что это всего лишь вежливая форма отказа. Понял он и то, что сделал ошибку, предложив Лопаткину костюм. И, чтобы не уронить своего престижа, внутренне раздосадованный, он сказал шутливо:

— Понимаю! Ваш брат далёк от мира сего. Чужды вам радости, чужды страдания! Ну-ну...

И, пожав руку Лопаткину, он подвинулся к шофёру и захлопнул дверцу. На какую-то секунду сквозь целлулоидное окошечко Дмитрий Алексеевич увидел его глаза. Да, похоже, что Леонид Иванович сделал опыт, который не удался: он хотел на всякий случай подружиться с изобретателем. И теперь морщился, испытующе смотрел на этого непонятного чудака, на эту «возвышенную натуру». И «натура» отвечала ему таким же взглядом — изучающим и недоверчивым.

8

В середине июня в ясный полдень Дмитрий Алексеевич неторопливо шёл по деревянному тротуару вдоль широкой улицы областного города, запущенной и всёлой от обилия весёлой молодой зелени. Это была Шестая сибирская улица. Вся она поросла яркой травой, и на траве то тут, то там отчётливо белели козы. Искривлённые ветром громадные тополя уже лопотали, мельтешили своими листками. Дмитрий Алексеевич вдыхал их острый запах, напоминающий каждому о лучших минутах жизни. Он чувствовал, что былая крепость ушла за эти годы из его тела: запах древесного клея настойчиво звал его побрататься с тополями, взять от них силы и тихого равнодушия ко всему.

Дмитрий Алексеевич наслаждался свободой. У него ничего не было, никакой собственности, кроме чемодана, оставленного в Доме колхозника. Он мог с места решить и поехать, скажем, на пароходе по Оби, к Полярному кругу, или вверх по Иртышу, к озеру Зайсан, и там, между небом и зелёной землёй, устроиться на работу — вязать плоты или гасить на рассвете бакены, считать утренние облака. Можно было бы и не уезжать. Вот во дворе около домика номер 141 пожилой хозяин залез в кусты смородины и, присев на корточки, обдуманно подстригает сухие ветки. У него всё хозяйство в порядке, стволыки яблонь побелены известью, рассада высажена, на помидорах надеты бумажные колпачки, в глубине огорода — сарайчик, блестят какие-то стеклянные рамки, и всё разбито на проспекты и переулки.

Всё это были возможности, всё это была свобода, а ноги Дмитрия Алексеевича, между тем, шли и шли, постукивая по доскам тротуара. У них был свой, ясный путь — к дому номер 177.

Вот и этот дом. В глубине двора — длинное двухэтажное здание из серого бетона, большие квадратные окна, длинная цветочная клумба от подъезда до ворот. В проходной будке Дмитрия Алексеевича остановил старичок вахтёр. Он прервал чаепитие, позвонил кому-то, назвал фамилию «инженера Лопаткина» и после этого выписал разовый пропуск. Дмитрий

Алексеевич прошёл в дом, в прохладный вестибюль и, привыкая к его полутьме, увидел на стенах плакаты, доску приказов и большую стенгазету под названием «Конструктор». Третью газету занимал отдел «Кому что снится», карикатуры и стихи, и в конце был нарисован почтовый ящик.

Дмитрий Алексеевич свернул в левый коридор. Здесь, прямо на полу, были навалены рулоны бумаги, стоял матёрый запах аммиака, пробежали озабоченные девушки в чёрных халатах, а из большой комнаты, освещённой ярким фиолетовым огнём, доносилось через открытую дверь жужжание электрических приборов. Дмитрий Алексеевич понял, что здесь печатают светокопии чертежей и что посторонним тут делать нечего. Он поскорее вернулся в вестибюль и, постояв некоторое время, двинулся на разведку в противоположный коридор. Открыв одну из многочисленных дверей, он увидел большую, светлую комнату, всю уставленную столами. На каждом столе была чертёжная доска с желтоватой калькой. За столами сидели молоденькие девушки-копировщицы. Все они прервали работу и смотрели на Дмитрия Алексеевича. Пахло чем-то вроде лака для ногтей. В углу тупо стучала швейная машина — на ней подрубали чертежи, а под ногами блестело множество кнопок, вдавленных в пол.

Спокойно оглядев комнату, Дмитрий Алексеевич негромко попросил показать, где находится директор филиала. И тогда пожилая начальница копировщиц вышла к нему и повела по коридору.

— Вот туда, — сказала она, указывая на лестницу и вверх. — Второй этаж и налево. Пожалуйста, молодой человек!

Наверху в коридоре лежала зелёная с красным ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич, робея, пошёл по ней. Знакомое, радостное и сильное чувство мешало ему дышать, заставило ускорить шаги. Это уже было с ним, когда он первый раз получил письмо со штампом министерства. Он внимательно прочитывал таблички с названиями отделов — электропривода, аппаратов, вспомогательного оборудования — и вдруг остановился перед одной дверью. Таблички на ней не было, но дверь эта была обита коричневой клеёнкой, и Дмитрий Алексеевич сразу понял, что это вход к директору. Он спокойно открыл дверь, вошёл и подал секретарше письмо заместителя министра. Та схватила письмо и, закусив губу, стала читать, а Дмитрий Алексеевич, удерживая дыхание, с безразличным видом оглядел комнату. Ну да, вот и ещё одна дверь, обитая клеёнкой, и на ней табличка: «Главный инженер». А где же директор? Ах, вот же, совсем на виду такая же вторая дверь и на ней такая же табличка, только надпись покороче и посолднее: «Директор».

— Письмо оставьте у меня, — сказала секретарша. — Директора сейчас нет. Придите завтра с утра.

Назавтра, когда Дмитрий Алексеевич появился в приёмной, секретарша встала.

— Директор передал ваши бумаги товарищу Урюпину. В отдел основного оборудования. Пойдёмте, я вас провожу.

Дмитрий Алексеевич посторонился, пропустил её. Она пошла впереди него по коридору, держа руки по швам. Открылась дверь и за нею светлый цех, заставленный машинами. Но это были не простые машины, а чертёжные доски на особых чугунных станках, с рычагами, противовесами и рукоятками. На рукоятках висели плащи и макинтоши, а из-за чертёжных лосок смотрели молодые люди без пиджаков, в льняных косоворотках, в шёлковых теннисках. Кое-где виднелись и пожилые, седые конструкторы в сорочках с галстуками и запонками. И здесь пол так же блестел от множества вдавленных в дерево кнопок.

За решётчатой, остеклённой перегородкой стоял ещё один чугунный станок с чертёжной доской, а дальше — письменный стол. За столом, подняв гибкую бровь, пригнулся и выжидающе замер молодой начальник отдела Урюпин, худощавый, темнолицый, с густой серой шевелюрой, прони-

занной блёстками ранней седины. Пиджак висел сзади него, на спинке стула. Рукава шёлковой сорочки были засучены. Худые смуглые руки лежали на листе ватмана.

— Товарищ Лопаткин, — сказала ему секретарша. Чуть заметно интимно улыбнулась и, так же держа руки по швам, вышла.

— Садитесь! — стальным голосом проговорил Урюпин, показывая на стул рукой с громадными чёрными часами.

Потом он поморщился и с силой ударил несколько раз кулаком в перегородку. Прислушался. Морщась, закричал:

— Кирилл Мефодьевич! Араховский!

Появился очень высокий, пристально глядящий только вперёд, пожилой конструктор — черноволосый, гладко причёсанный и с пробором. На нём была много раз стиранная белёсая сорочка с запонками и галстуком. Он сел на стул рядом с Лопаткиным, глядя только вперёд, только на начальника. А Дмитрий Алексеевич, сам того не замечая, достал из кармана гайку и стал с силой надевать её на палец.

— Знакомьтесь, — сказал начальник отдела, широко раскладывая на столе руки. — Это товарищ Лопаткин, автор проекта.

— Ах, автор! Очень приятно, — зашипел Араховский, поворачиваясь на стуле к Дмитрию Алексеевичу и показывая беззубые, розовые, старческие дёсны. С этого момента Дмитрий Алексеевич стал чувствовать на себе его пристальный, то и дело убегающий взгляд.

— Так мы рассматривали это... ваше предложение, — сказал начальник, вдруг повышая тон. — Рассматривали, понимаете! Ничего не можем разобрать! Вы меня извините, я не специалист, для нас это тёмное дело. Вот, например... — Он открыл ящик стола и достал папку с чертежами, милые знакомые чертежи, сделанные когда-то Дмитрием Алексеевичем на ватмане Валентины Павловны. — Вот, например, этот узел — что это?

— Это узел заливочного устройства, — сухо и коротко сказал Дмитрий Алексеевич, вертя в пальцах гайку. — А это дозатор.

— Хм... — сказал Урюпин.

— Простите, — перебил его Араховский и, озабоченно разглядывая запонку на рукаве, зашипел: — Мы ещё не завершили знакомства. Меня интересует, какую специальную подготовку имеет автор. Скажите, вы инженер? Вы литейщик?

— Я окончил физико-математический факультет, — ответил Дмитрий Алексеевич.

Урюпин получил большое удовольствие от этого ответа. Его обтянутое лицо ярко улыбнулось, он оскалился.

— То есть по отношению к данному конкретному проекту знания ваши имеют несколько общий характер? — прозвенел его торжествующий голос. — У нас время есть, я расскажу вам одну историю-притчу. Я ведь тоже был когда-то изобретателем! Ого-о! Я был бы серьёзным конкурентом для вас!

Он умолк, как бы с удовольствием вспоминая свою изобретательскую молодость.

— Я изобрёл когда-то ловушку для крота! Я не иронизирую. Нашёл я его ход, вырезал кусок дёрна и поставил туда обыкновенную мышеловку. Только ниточку протянул: он зацепит её, тут мышеловка и хлоп! Да, так вот... Закрыл всё это дёрном, на следующий день прихожу — что за чёрт! Что за дьявольщина! Нет крота. Я подумал и сделал десять разных ловушек на самых разнообразных принципах. И ни в одну не поймал! И, какая сволочь, каждую ловушку он мне обязательно засыпал землёй. Запечатывал с двух сторон! Слушайте дальше, это ещё не всё. Что же он делает? А он, когда идёт по своим коридорам, он чистит их и впереди всегда толкает пробку земли. Земля и попадает в ловушку. А крот тут же

всё это и закупоривает. Это у него как бы знак апробации. Как эксперт! Ловушку с резинкой он чувствует по запаху, закупоривает и её, подлец! Изда-лека! Что ж, думаете, я отступился? Нет. Я спаял для него вершу из толстой стальной проволоки и острья поставил, знаете, вот так, чтобы крот влез и не мог назад выбраться. И он попался, но! Но! Понимаете? У него сильнейшие лапы, он разломал мою стальную вершу и вышел вбок. И, конечно, запечатал её! Он мне сказал: «Ты, дурачок, идёшь от бумаги к конструкции. Приобрати сначала опыт, изучи меня, а тогда и изобретай». И я бросил это дело!

Урюпин засмеялся, крикнул несколько раз. Араховский обнажил дёсны — тоже улыбнулся, повесил одну длинную ногу на другую, и Дмитрий Алексеевич увидел его нитяные коричневые носки.

— В общем, непонятно, — сказал Урюпин, быстро перелистав чертежи и отодвигая папку в сторону. — До меня не доходит. Я не хочу сказать, может, идея и остроумна... (При этом Араховский наклонил голову с пробором, теребя свою запонку.) Живая мысль! Была бы хоть живая мысль!

— Это что же, моя голова — твои ноги? Так, что ли? — раздался за спиной Лопаткина молодой и очень уверенный голос.

Дмитрий Алексеевич мгновенно обернулся и встретился глазами с на-смеяливо-ненавидящим взглядом молодого человека лет двадцати трёх. Он был в голубой тенниске с маленьким спортивным значком на груди. Его русые волосы торчали вихрами, как у мальчишки. Сзади него стояли несколько молодых инженеров и смотрели с любопытством на Дмитрия Алексеевича. А этот, вихрастый, повернулся к нему боком и хлопывал себя по мускулам на руке.

Начальник отдела поднял голову, как бы говоря: «помолчи».

— Да как же, Анатолий Иванович! Я же вижу по затылку, опять автора прислали! — возразил вихрастый инженер со значком. — В план не ставят, а присылают! — он обращался уже к Дмитрию Алексеевичу. — Вам этого не понять, конечно... Вы предприниматель. Вы организуете это дело... а кто-то будет ишачить. Видите, здесь у нас не авдиевское Конго...

Начальник ещё строже поднял голову.

— Когда вы доживёте, — не унимался вихрастый парень, — когда доживёте до авдиевских седин, до его учёных, я имею в виду, седин, может, и у вас будут тогда свои негры...

— Да, кстати, — заметил Урюпин. Он как бы не слышал того, что сказал молодой инженер. — Кстати, вы знакомы с машиной Василия Захаровича? Она ведь уже на испытании. По-моему, она должна работать.

— И моя будет работать! — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Влезет она хоть в цех? Вы извините, я всерьёз. Не прикидывали, как она в габаритах? И зачем нам две? Вы что же думаете, ваша будет лучше?

— Вероятно, лучше.

— Каждому изобретателю кажется, что его машина лучше. Но я открыто говорю: не сторонник я этой, вашей...

— Очень жаль, — спокойно сказал Дмитрий Алексеевич, слегка подбрасывая на ладони гайку. — Я надеялся увидеть здесь сторонников. Мне кажется, что некоторые товарищи не разобрались в сути. Вещь новая...

— Нового мы не боимся, — перебил его Урюпин. — Новое мы подхватываем.

— Да, лучшее, как говорится, — враг хорошего! — добавил насмешливо молодой инженер. — Только что-то мы его не видим, лучшего. Я и про машину Василия Захарыча кое-что слышал...

— Разрешите мне договорить, — Дмитрий Алексеевич, глядя вниз, спрятал гайку в карман. — Вы мне сказали много неприятных слов. А я ещё не ответил и, стало быть, в долгу перед вами. Особенно перед вами, — он повернулся к молодому инженеру. — Но я думаю, что вы мне простите этот долг, если я его не отдам. Вы знаете, ведь я по профессии учитель.

Никогда не думал, что меня нелёгкая дёрнет дать министерству совет, который не относится к моей компетенции... Я сам жалею, что оторвал вас от дел. Я всё время путаю людям планы. Но сейчас я не могу даже отказаться...

Сказав это, Дмитрий Алексеевич хотел было в доказательство достать бумаги, подписанные заместителем министра Шутиковым, но во-время сообразил, что Урюпин из тех маленьких начальников, которые не любят, когда им показывают границы их власти.

— Я хотел бы ещё, чтобы мы перешли к делу, — продолжал он сдержанно. — Если надо, я дам подробные пояснения. У меня есть с собой модели. Товарищи разберутся. Может быть, даже и сторонники появятся! — Он улыбнулся.

— Вы что, имсете приоритет на это дело? — помолчав, отрывисто спросил Урюпин.

— Имею приоритет, — мягко ответил Дмитрий Алексеевич.

Наступила долгая, многозначительная тишина.

— Так чего ж нам время терять? — сказал начальник. — Давайте вы, Кирилл Мефодьевич, займитесь этим делом, прикиньте, что там получится...

Он упёрся в стол, как бы собираясь встать, и добавил своим стальным, бодрым голосом:

— Даю вам нашего лучшего механика и математика. Это наша гордость, наш Лагранж...

— Насовсем? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Это зависит от него и от вас.

Высокий, согнутый вперёд Араховский молча забрал со стола папку с чертежами и повёл Дмитрия Алексеевича между чертёжными досками в дальний угол комнаты. Там у него был маленький столик и станок с чертёжной доской. Он сел, надел пенсне, развернул первый лист — общий вид машины — и, хищно хмурясь, сопя, стал как бы обнюхивать чертёж. Он долго так сопел над чертежом, потом засмеялся, обнажил розовые дёсны и бросил на ватман логарифмическую линейку.

— Сколько работал?

— Полгода.

— Я вижу. Все мелочи вычертил. Размеры проставил! А знаешь ты, что ничего этого не надо было делать? Вот этого и этого и вот этой всей чертовщины. — Он ткнул пальцем в несколько мест чертежа. — В технике приняты так называемые нормалы, готовые стандартные детали и целые узлы, из которых мы можем собирать машину. Собирать. Понимаешь? А ты трудились! Даже резьбу у болтов начертил! Вот ты говоришь, Коля... Слышишь? — Он возвысил голос, обращаясь к кому-то на том конце комнаты. — А ведь неплохо учитель машинку завязал!

— Очередная любовь Араховского! — отсзвался насмешливый голос вихрастого молодого инженера. — Вертушок какой-нибудь!

— Не вертушок, а настоящая машина! И я на вашем месте, товарищ футболист, ознакомился бы.

Молодой инженер, изгибаясь и виляя между чертёжными досками, подошёл, навалился на Араховского, и они вместе стали просматривать чертёж.

— Ты эту штуку видел? — Араховский постучал карандашом по чертежу. — Ну? Что? А говоришь, живой мысли нет!

— Не понимаю я ни шиша в литейных машинах, — сказал Коля, выпрямляясь и всё ещё не глядя на Дмитрия Алексеевича. — Вижу только, что редукторов где надо и где не надо натыкано. А это уже верный признак...

Он не договорил — вдали раздались три глухих удара в перегородку. Пронзительный голос начальника позвал: «Кирилл Мефодьевич!» И Ара-

ховский сразу встал и, глядя только вперёд, двинулся, лавируя между чертёжными досками.

Вскоре он вернулся. Надел пиджак, бросил в ящик стола карандаши и линейку.

— Придётся вам отдохнуть, товарищ... Лопаткин. Еду на завод. Оформляйте пока хозяйственные дела, а встретимся завтра, во второй половине...

Так они занимались с Араховским целую неделю — каждый день по полтора-два часа. К концу этой недели Араховский стал неразговорчивым, и Дмитрий Алексеевич заметил, что он опять прячет глаза.

И наступила минута, когда, просмотрев все свои расчёты, Кирилл Мефодьевич снял пенсне и, глядя в сторону, прошипел:

— Пойдём к Анатолию Иванычу.

Начальник отдела, как всегда, сидел за столом и словно ждал их, раскинув смуглые плоские руки на ватмане. На нём была шёлковая безрукавка, цвета старого мяса, с чуть заметными серыми полосками. Его худославое загорелое лицо старого физкультурника было перекошено снисходительной и нетерпеливой гримасой.

Араховский молча сел против него на стул. На второй стул сел молчаливый Дмитрий Алексеевич. Урюпин лениво протянул руку и принял от Араховского папку. Постучал погтем по стеклу огромных часов, поднёс их к уху, потом развернул папку и достал чертёж — общий вид.

— Ну, как ваше мнение? — спросил он.

— Получается вроде, — негромко сказал Араховский.

— У вас всё получается, — начальник окинул взглядом чертёж. — Ну что же... давайте... возьмите Егора, что ли, Васильевича... Пусть он общий вид прикинет.

— Анатолий Иваныч... Вы что, забыли? Ведь у меня этот, жираф...

— Какой жираф?

— Да мельница эта... Я занят с утра до вечера.

— Ах, верно... Мы уже вылазим из графика... Кому же поручить?.. Вы, товарищ Лопаткин, извините, что так. У нас свои хозяйственные дела. Вот, тоже, мельница. Её не планировали, разрабатываем, как предложение. Как и ваш проект. Послали один раз — возвращают. Сами же техническое задание неправильно дали! Переделать! А время где?

— Да, — согласился Дмитрий Алексеевич. — Действительно...

— А люди, люди, спрашивается, где? Людей нет! И денег нет!

— Да, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Да. Да...

Начальник подумал, потом, играя гибкой бровью, взглянул пристально Дмитрию Алексеевичу прямо в глаза и сказал:

— Придётся мне взять вашу машину...

Наступила долгая пауза. Прохладный ветер, пахнувший клеём тополя, врвался в открытое окно и приятно обдувал лица. Араховский, выкатив спину дугой, хмурый, безучастно смотрел только вперёд. Дмитрий Алексеевич старался понять, хорошо или плохо, что начальник взялся руководить проектом. А сам Урюпин в это время смотрел ему в лицо твёрдым взглядом бойца, готового нанести удар.

— Так и постановим! — сказал Урюпин. — Кирилл Мефодьевич, пошлите сейчас ко мне Егора Васильевича и этого, новенького, Максютенко.

Не взглянув на Дмитрия Алексеевича, Араховский ушёл с таким видом, будто поссорился со всеми. Лопаткин удивлённо посмотрел ему вслед. Почти сейчас же после его ухода появился улыбающийся Максютенко — светлый щеголеватый блондин в шёлковой бледносиреневой рубашке, заправленной в синие брюки, пышно оттопыренной и перехваченной у локтей резинками. Он вылез из-за чертёжной доски, словно сидел там и ждал своей очереди.

— Товарищ Максютенко, — сурово сказал начальник, — вот автор, Дмитрий Алексеевич Лопаткин. Вот проект. Вы уже знакомились с ним. Прикиньте общий вид машины. Вопросы решать — ко мне. Я буду курировать это дело. Вот и Егор Васильевич пришёл... Егору Васильевичу поручим узлы.

Егор Васильевич — маленький, седой, с брюшком, одетый в синюю сатиновую куртку — мельком взглянул на автора, протянул руку к чертежам. Но тут же отдернул её, потому что начальник поднял папку и торжественно вручил её Максютенко.

— Там, там всё посмотрите. Максютенко вам покажет. Вы назначаетесь в группу, Егор Васильевич. Всё теперь зависит от вас. Проект ответственный, о качестве я, зная вас, не говорю. Но нам нужна ещё и быстрота. Я думаю, что она и вам не повредит.

9

В дальнем углу комнаты для группы «центробежников» были поставлены четыре чертёжных станка, которые все здесь называли «чертёжными комбайнами», и письменный стол. Два молчаливых техника — детализовщики — быстро взглянули на Дмитрия Алексеевича, потом друг на друга и отточили карандаши. Егор Васильевич, сопя и хмурясь, откинулся на стуле перед своей доской. Они были готовы приступить к работе. Заработок этих людей зависел от листажа.

А Максютенко принял перед своим «комбайном» вдохновенную позу — поставил ногу на высокую перекладину, упёрся локтем в колено и вставил в рот пустую изогнутую трубку. Потому, что ему было поручено самое главное. И потому ещё, что в отделе был инженер с толстыми косами, уложенными на затылке, и ещё один с пышными светлыми волосами до плеч.

Так начался первый день основной работы. В этот день было сделано многое, и Дмитрий Алексеевич понял, что его проект был с технической стороны не так уж беспомощен. Через несколько дней он намекнул об этом Максютенко.

— Валерий Осипович, — сказал он, — я вижу, мы совсем не спорим с главным конструктором!

— А чего спорить? — Максютенко снял ногу с перекладки, достал резиновый кисет и, набив трубку, взял её в зубы. — Чего тут с ним спорить? Хорошая машина. Он сам говорил. И Араховский сказал. Чего ж тут?..

— А мне Анатолий Иванович при первом знакомстве...

— Пугал вас? Это всегда так. Это полагается. Надо морально подготовить автора к сотрудничеству, чтобы слушался. И не рыпался. — Он хотогнул, передвинул трубку во рту и, достав спички, пошёл к выходу. Он часто выходил покурить.

Раза два в день к станку Максютенко подходил начальник и давал указания. При этом он стучал пальцем по доске и громко кричал:

— Убрать, убрать этот болт! Слышите: убрать! Что вы, дорогие товарищи! Сейчас же его уберите, он портит здесь всю обедню!

«Кричи, кричи», — думал Дмитрий Алексеевич. Ему теперь нравилось здесь всё: и этот начальственный крик, и вдохновенные позы Максютенко, и молчаливая энергия техников, которые мастерски вычерчивали детали — лист за листом.

На доске Максютенко постепенно проявлялся контур машины. Известно, по каким причинам, но почти каждый день у этой доски останавливался Коля — молодой вихрастый инженер со спортивным значком. Иногда приходил сюда и Араховский и молча рассматривал, словно обнюхивал чертежи.

И вот произошло неожиданное столкновение. В начале августа, когда работа над «общим видом» приостановилась, и Максютенко, наколов на доску форматку с главным узлом машины, с центральным валом, и набив трубку, ушёл на крыльцо поразмыслить, в эту самую минуту к станку и подошёл начальник отдела. В последнее время он стал уделять машине больше внимания — вызывал Максютенко к себе, за перегородку, а проходя мимо Дмитрия Алексеевича, в шутку задевал его локтем и говорил: «Наш автор». Если же он останавливался у доски, то сам брал в руки карандаш.

Так вот, он подошёл к станку, сел на стул, поднял на лбу морщины и, сжав губы, стал смотреть на чертёж. Зажмурился, словно прогоняя видение, и загляделся в окно, барабая пальцами по колену. Потом пришёл Максютенко, удовлетворённый, чмокая красными губами и распространяя горький запах трубочной гари. Начальник что-то сказал, Максютенко пожал плечами. Они оба быстро взглянули на чертёж, и в эту минуту сзади них остановился взъерошенный и прямой Коля, сунул руку в карман, оглянулся на Дмитрия Алексеевича и зло усмехнулся.

— Послушайте, Максютенко... — Голос его прозвучал неожиданно и резко, и Максютенко испуганно обернулся. — Зачем вы вновь изобретаете велосипед?

— Какой велосипед?..

— А такой! Вы же инженер со стажем! Зачем вы нагромождаёте здесь эти два редуктора?

— Как так? — почти в один голос сказали Максютенко и начальник.

— Если редуктор ставить сюда, надо его мощнее делать. И зачем он вам? У нас есть нормальный узел, который Анатолий Иванович уже применял на двух машинах. Ведь применяли, Анатолий Иванович? Так что же здесь думать? — Коля уже обращался к Дмитрию Алексеевичу. — Где будет машина стоять? В литейном цехе. В каждой литейке есть сжатый воздух. Стало быть, здесь нужна самая обыкновенная пневматика. Идите в архив — и вам дадут готовый, отработанный узел!

— Ваши слова несколько расходятся с ммм... — начал Урюпин и замолчал, подбирая нужное слово. — Таких два-три решения, подсказанных автору, и количество перейдёт в качество. Получится новая идея, потребуются апробация, пойдёт переписка...

— А потом автор, если машина не будет работать, нас же обвинит за то, что мы отошли от первоначального проекта, — сказал Максютенко и посмотрел на Урюпина.

— Об этом надо спросить автора, — сказал Коля и пошёл к своему месту. Он остановился посередине комнаты и, глядя в сторону, добавил: — Только пневматика — это, товарищи, не идея. Она спасает идею — это да, а редуктор и червяки гребят её. — Он пошёл дальше, исчез за досками, и был слышен только недовольный его басок: — И вы сами понимаете! Так чего ж тут ждать... На первом же испытании шестерёнка эта хрупнет, и всё. Тимоха, ты видел, что они там...

Урюпин поднял голову и прислушался, строго оглядывая свой отдел. Ни один человек на него не смотрел, все молчали, наклонились к доскам, напряжённо обдумывали свои конструкторские дела. Только за досками, где исчез Коля, всё слышался его басок:

— Я уже четвёртый день хожу и смотрю... Дай, думаю, погляжу, чего это они мудрят... И чего мудрят?..

— Дмитрий Алексеевич! — сказал Урюпин, дождавшись, когда Коля умолк, склонив голову набок и изогнув бровь. — А ведь если подумать, дело это заманчивое — пневматика! А? Что вы скажете?

При этих словах Максютенко поставил ногу на перекладину своего «комбайна», упёрся локтем в колено и стал сосать пустую трубку. Слабый летний ветерок шевелил блондинистый пух на его плечи. Лопаткин

подошёл к ним, посмотрел на форматку, где тончайшим пунктиром Егор Васильевич показал соединённые шестерни редуктора. На ясном усталом лице Дмитрия Алексеевича можно было увидеть все его чувства — простые, не вооружённые холодной осторожностью и не исколотые в поединках. Дмитрий Алексеевич верил своим опытным конструкторам и удивлялся тому, что они обошли такую простую вещь, как пневматика, тем более, что, оказывается, существует *нормаль* — иначе говоря, этот узел разработан и применяется в готовом виде, как водопроводный кран! Он только что понял всё это и удивлённо посмотрел на Урюпина. И тот сразу же раздвинул все морщинки на своём моложавом лице седёющего физкультурника — улыбнулся, показав стальные зубы. Он-то мог прочесть всё на лице этого педагога. Но и от Дмитрия Алексеевича не укрылась волчья искорка в весёлых глазах начальника.

— Я много думал об этом, Дмитрий Алексеевич, — сказал Урюпин, издав себя с сомнением глядя на чертёж, и даже как будто зевнул. — Можно попробовать. Правда, придётся в четырёх местах ставить цилиндры. Валерий Осипович, давайте прикинем, как оно там...

И, сказав это, он подошёл к станку, подбоченился и карандашом прямо на редукторе провёл несколько неуловимо слабых линий.

— Вот примерно так должно быть. Развейте это дело, Валерий Осипович.

Затем он добродушно толкнул Дмитрия Алексеевича — так, мимоходом. Шутя сунул карандаш в карман его кителя и неторопливо стал пробираться к своей перегородке, останавливаясь то у одного станка, то у другого.

Максютенко наколол на доску новый лист ватмана и, набив трубку, ушёл на крыльцо поразмыслить. Задумался и Дмитрий Алексеевич. Несколько минут просидел он перед «комбайном» Максютенко, ощупывая пальцами лоб. Подозрительность его вспыхнула, но опасности он не видел. Ему захотелось курить, и, достав кисет, он свернул из газеты с самосадом толстую цыгарку. Облизал её, вышел в коридор, закурил. Белый дым перехватил ему дыхание. Он затянулся ещё и ещё раз. Потом Дмитрий Алексеевич спустился вниз, вышел на крыльцо и увидел лысую голову Максютенко. Он сидел на ступеньке и что-то чертил карандашом прямо на цементной боковине крыльца. Трубка его хрипела, он был увлечён и не заметил Дмитрия Алексеевича. А тот, постояв немного, подошёл поближе и увидел через плечо Максютенко на колючей серой поверхности круг, нарисованный карандашом, и в нём шесть кружков поменьше. Они были расположены симметрично. Весь чертёж напоминал барабан револьвера.

— Вот она где настоящая лаборатория конструктора! — пошутил Дмитрий Алексеевич.

Он сам не знал, насколько верно попадали в точку эти слова, и поэтому удивился, когда Максютенко, захваченный врасплох, побагровел, накрыл ладонью свой чертёж и стал его размазывать.

— Да бросьте вы! Застеснялся, как красная девица. — Дмитрий Алексеевич присел около него на корточках. — Автору-то вы можете показать!

— Фу... вот же привычку какую заимел! — Максютенко, всё ещё красный, достал платок и вытер лоб. — Не могу при людях думать. — Он зачертил карандашом свой рисунок и встал. — Не могу, понимаете... Чёрт знает что!

— А что это у вас?..

— Да вот поршень думаю... для пневматического устройства... это в плане... — Он достал свой резиновый кисет, набрал в трубку табак и, закулив, стал спокойнее.

— Валерий Осипович, — вспомнил вдруг Лопаткин. — А вы ставили бы тот узел, о котором Коля...

— Ну да! Я ж и говорю! А дурная голова что-то своё подаёт,— Максютенко покосился на тёмное пятно, втёртое в цемент, плюнул и наступил на него ногой.— Так и сделаю. Надо пойти в архив, посмотреть этот узел...

Он передвинул трубку в красных мокрых губах, утопил палец в пепле и, оставив локоть, ушёл, зашаркал в вестибюле. И Дмитрий Алексеевич успокоился. Он увидел, что человек работает над его проектом не за страх, а за совесть — даже увлёкся!

Максютенко действительно принёс из архива светокопию — чертёж пневматического устройства — и стал «прикидывать», то есть рисовать на листках бумаги подвижную часть машины и *вписывать* в неё цилиндр с поршнем. Дмитрий Алексеевич был около него, и к тому времени, когда день начал желтеть, они вместе успели «прикинуть» два варианта и дали расчётчикам исходные цифры для вычисления нагрузок на поршень и цилиндр.

День этот заметно продвинул дело вперёд, и Дмитрий Алексеевич ушёл из отдела в хорошем настроении. На улице стояла прекрасная предвечерняя тишина. В синем небе, как белое пёрышко по водной глади, уже плыл полумесяц. Поднимая пыль, в тишине по улице двигалось стадо. Щёлкал клюв, коровы брели навстречу Дмитрию Алексеевичу по дороге, по деревянным тротуарам, заглядывали в открытые калитки. Чтобы пропустить их, Дмитрию Алексеевичу пришлось сойти с доски. Он прижался к забору, пережидая. Тёплый запах молока вместе с пылью наплыл на него, и тут он услышал шепелявящий, добродушный голос Араховского:

— Не уступают дороги изобретателю! А? Как вы на это смотрите?

Дмитрий Алексеевич засмеялся. Араховский, одетый в льняную косоворотку с русской вышивкой, повесив пиджак на одно плечо и держа подмышкой папку, подошёл к нему.

— Вот вы смеётесь, гуманный человек, — всё так же добродушно сказал он, подбоченясь и окидывая стадо взором философа. — А ведь это не случай, а явление. Если бы вместо вас на тротуаре стоял их сиятельство господин волк, картина была бы другая! Вот в чём беда...

Они замолчали, думая каждый о своём. И когда стадо прошло, двинулись не спеша вдоль улицы.

— Вот так, товарищ изобретатель, — сказал Араховский. — Вы знаете, что вы избрали самую кривую и самую опасную дорожку?

— Я её почти всю прошёл. Я уже два года...

— Прошли? Ну, дорогой...

— Вы не знаете... — перебил его Дмитрий Алексеевич.

— Я всё знаю. Послушайте, что вам говорят. Послушайте, опыта у вас не убавится! Так вот, верьте мне или нет — ваше дело. Но вы не прошли и десятой части того, что для вас заготовила фортуна. Если хотите, я помогу вам сделать один шаг вперёд. Если вы, конечно, хотите...

— Ну, конечно же, хочу!

— Ах, хотите? Ну так слушайте. Вы ничего не смыслите в проектном деле. Вы не знаете деталей машин. Вам неведом язык чертежей. Не смейтесь, а слушайте, что вам говорят-то! Того, что вы знаете, достаточно для оформления идеи. Чтобы создать проект, этих знаний уже мало. А для того, чтобы работать с Урюпиным, эти ваши знания — ничто. Вам, дяденька, уже заехали оглоблей в рот, а вы улыбнулись и сказали спасибо. Хорошо, что Колька вас спас! Потому что человек он молодой и сперва говорит, а потом уж думает. Я тоже хочу спасти вас — только солиднее, капитально. Для начала я вручу вам три книжечки страниц по триста, заставлю вас их подзубрить и приму экзамен. Когда вы освоите эти книги, вы сможете увидеть кое-какие палки, которые вам будут совать в колёса. Будет меньше поломок в пути.

— Кирилл Мефодьевич, я вас заранее благодарю...

— Нечего благодарить. Завтра у нас воскресенье? Приходите завтра вечером ко мне...— Араховский остановился и подал Дмитрию Алексеевичу руку.

— Простите, а где вы живёте?

— Живу я в домике, против которого мы стоим.

И Дмитрий Алексеевич увидел знакомый домик номер 141. Он был теперь весь затянут ползучей зеленью. Сарайчика уже не было видно. Яркая зелень кипела в огороде, жёлтые светила подсолнухов глядели в одну сторону — туда, где опустилось за дома солнце. Кусты смородины были обсыпаны зелёными и коричневыми ягодами, а на низеньких, растущих в стороны деревцах висели бледные яблочки. В глубине, между берёзами, белел гамак.

— Я видел вас здесь,— сказал Дмитрий Алексеевич.— В первый день, когда приехал.

— Возможно. Я здесь каждый день копаюсь. Это мой, так сказать, сад Эпикура. Видите вон гамак? Там есть ещё столик.— Араховский засмеялся и поднял вверх палец.— Прошу завтра в семь.

На следующий день, когда вечерюющие улицы затихли, Дмитрий Алексеевич потянул за проволочное кольцо у высокой решётчатой калитки дома номер 141. Потянул — и в глубине двора раздались угасающие удары в медную певучую посудину. С мирным лаем подбежал к ограде высокий красно-шоколадный сеттер и завилял хвостом. Медлительная пожилая женщина открыла калитку и пропустила Дмитрия Алексеевича. Кирилл Мефодьевич был в огороде — раскинув руки, полулежал в гамаке. Косоворотка его была растёгнута, он был здесь другим человеком — гордым и гостеприимным хозяином, смотрел героем и не отводил глаз в сторону. На столике, около гамака, лежала вверх обложкой раскрытая книга. «Ньютон. Математические основы натуральной философии», — прочитал Дмитрий Алексеевич и проникся глубоким уважением к хозяйну книги.

— Садитесь в гамак, места хватит,— сказал Араховский.— Марья Николаевна! — крикнул он, оборачиваясь.

— Знаю, знаю! — донеслось из дому.

Лопаткин опустился в гамак и почувствовал, что рядом с ним сидит мускулистый и тяжеловесный человек.

— Кирилл Мефодьевич, сколько вам лет? — спросил он.

— Давайте торговаться. Сколько вы дадите?

— Лет сорок восемь?

— Эх, куда хватил! — Араховский захохотал, обнажив дёсны.— Хватай выше. Шестьдесят, не хотите?

— Не может этого быть!

— А между тем есть. Это всё знаете отчего? — Он засмеялся. — Оттого, что изобретательством не занимаюсь! — протрубил он на ухо Дмитрию Алексеевичу.

— Не-ет! Какой же я изобретатель? Ваша шпилька здесь не подходит, Кирилл Мефодьевич.

— Не подходит, говорите? — Араховский нетерпеливо оглянулся на дом, но Марья Николаевна уже несла поднос с графином и тарелками.

— Несу, несу,— сказала она и поставила поднос на столик.

— Давайте-ка выпьем, Дмитрий, как вас по батюшке, Алексеич. Между прочим, хорошее русское имя.— Говоря это, Араховский налил в рюмки из графина.— Вам повезло. Настоящая разливная. Вчера талон получил. Так давайте за знакомство...

Выпив рюмку, Араховский приумолк, веки его покраснели, он подцепил вилкой ломтик огурца и начал ловко его жевать одной половиной рта.

— Так, говоришь, не изобретатель? А какого ж чёрта я привёл вас? Не-ет. Изобретатель — каждый человек, который в своей области создаёт новое. Изобретатели могут быть везде. И в технике и в науке. И вы не скромничайте, вы самый настоящий изобретатель.

Он сказал последние слова с особенным весом и посмотрел прямо в глаза Дмитрию Алексеичу.

— Так вот: вы избрали тяжёлую дорожку. Техника — король. За королём идёт свита: хранители знаний, передатчики, популяризаторы. Большинство профессоров, которые учат нас, а сами ничего не создают. Около них вы найдёте и изобретателя. Только он идёт не в парадных одеждах. Ему переппадают пинки. И вы, Дмитрий Алексеич, раз вы лезете в эту свиту, приготовьтесь к хорошим пинкам. Я вижу вашу судьбу у вас на лице. Идея ваша очень важна, а судьба печальна. И вы поймёте это, когда проштудируете всё, что я вам дам.

Араховский налил водки в рюмки и выпил, не чокаясь. Выпил, горько засмеялся и покачал головой.

— Да, был и я автором. И у меня есть это... голубенькое, с лентой и печатью. Вид на изобретение.

— Что же вы изобрели, если не тайна?

— Изобрёл, Дмитрий Алексеич. Даже сам сначала не поверил. Машина для проходки горных выработок в скале. В скале, понял? У меня и модель действующая была. Я ставил её перед кирпичной стеной, и она прямо на глазах у почтенной публики проходила её насквозь.

— Ну и что?

— Есть такие стены, товарищ изобретатель, которые никакой машиной не возьмёшь. — Араховский опять налил в рюмку, выпил и стал шевелить ломтик огурца в беззубом рту. — Со мной, Дмитрий Алексеич, говорили открыто: иди в кассу, получи — и отойди в сторону. Я не отошёл, и мне вежливо переломали хребет. И вы ещё услышите открытую речь. Грамотную, гладкую, вежливую, открытую речь.

— Я всё это знаю...

— Всего вы не можете знать...

— Ну догадываюсь. И иду на это.

— Что же вы думаете сделать? Ну-ка, ну-ка... Как вы намереваетесь победить капитализм в сердце Урюпина?..

— Как-нибудь победим. Народ-то существует или нет?

— Что такое народ? Народ — это я, и вы, и мы все. Одного врага мы с вами видим. Потому что близко прикоснулись. А других, в прочих областях, мы не видим. Там все профессора для нас с вами архангелы и пророки.

— А зачем в чужие области вникать. Будем ориентироваться на наших... Раз существую я, значит есть ещё люди, такие же, как я. Вот, например, Коля. Да и вы...

— А кто тебе сказал, что я такой, как ты? Может, я волк? Возьму сейчас тебя и съем!

— Видали мы таких волков! — Дмитрий Алексеич улыбнулся. Но Араховский поднял палец.

— Вы говорите красивые слова, но всё это гарольдов плащ. В жизни всё суровее и прямее. Подите в наше министерство, в отдел изобретений или в НИИЦентролит к вашему Авдиеву, и там вы найдёте на полях подтверждение тому, что я говорю. Десятки, сотни гробиков — и всё ваша братия, изобретатели. Девяносто пять процентов — макулатура, пустая порода, ей и место в гробу. Но пять — настоящий радий, и он там будет лежать, пока не протрубит архангел. Свита её величества науки — они спецы хоронить.

— А кто же всё-таки вы? — спросил Дмитрий Алексеич.

— Я старый енотишко. Победённый. Когда-то и я, как вы, выбегал из норы, лез в самую гущу. А сейчас я енот-калека. Меня спасает только защитная окраска. По принципу «открой глазки, закрой ротик». Ротик закрою и сплзу в углу, подальше, хе-хе, от драки! — Он умолк, с минуту сидел, вздыхая, покачивая головой. — Нет, — сказал он вдруг. — Я, конечно, другой. Потому что я не устаю верить. Увидел вас — и надежда затеплилась. И Колька — другой. Правда, ещё желторотый, но Урюпин его уже боится. Вот был у нас начальником один светлый человек. Убрали. А сюда — волчка серенького...

— Урюпина?

— Да. Вы его ещё не знаете. Это во-олк! Люпус! Назначили — и надежда моя погасла. Увидел вас — опять надеюсь. Дмитрий Алексеевич! Помните, как Брюсов сказал: «Унесём зажжённые светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры» — он неправ! Когда они зажгутся, мы уже не сможем их унести! Вот скажите: что делать с ними, с зажжёнными светлами? Я уже гашу мысли, нашёл способ: изобретаю для спиннинга блесну, не задевающую за коряги. Я ведь рыболов. Или по садовому делу придумаю какую-нибудь мелочь. Замечательно! С тем же огнём! Увлечусь — время и проходит. Вы понимаете, какая беда! Мыслитель не может не мыслить!

— Так вот что, Кирилл Мефодьевич, — сказал Лопаткин и положил кулак на столик. — Я вам протяну ещё руку. Поняли? Живите и надейтесь...

— Какой же ты идеалист, как я погляжу! — Араховский с грустной, усталой улыбкой стал смотреть вдаль, в сумерки. — Ах, какой идеалист! — Он покачал головой.

— Кирилл Мефодьевич, я вам клянусь, что так будет!

— Клянись, клянись. Спасибо и на том. А пока, раз ты такой, буду помогать тебе я. Я хочу тебе заповедать несколько тезисов. Как-нибудь придёшь...

— Кирилл Мефодьевич! Давайте с вами выпьем за зажжённые светлы!

— Это как же понимать?

— А так, за то, что их нельзя ни унести в пустыни и пещеры, ни погасить. За то, что они живучие. Чтоб продолжали гореть. Людям на радость...

— А кому-то и на муку! Бог с тобой, давай выпьем.

Араховский выпил, крикнул и, нюхая хлебную корочку, лукаво посмотрел на Лопаткина.

— Гост идеалистов надо бы занюхивать не хлебом, а хлебной карточкой... Хе-хе, для служащих!

10

Араховский дал Дмитрию Алексеевичу три книги: «Применение гидравлики и пневматики в машиностроении», «Расчёты в машиностроении», «Детали машин». Дмитрий Алексеевич вспомнил свои студенческие привычки и засел за книги так, как будто готовился к экзаменационной сессии. Через две недели, когда Максютенко справился с пневматическим устройством и отдал его детализовщикам, а сам, приготовив большой лист, стал начисто вычерчивать общий вид, Дмитрий Алексеевич подошёл к нему и сказал:

— Валерий Осипович, я просмотрел ваше решение и не могу признать его удовлетворительным.

— Какое решение? — мгновенно обернулся Максютенко.

— Вот это, пневматическое устройство. У вас здесь четыре цилиндра — это сложно. Можно два сделать, я вот дома сегодня набросал.

— Где же вы раньше были? Вы были здесь!

— Я читал книгу. Прочитал — и мне стало ясно. А раньше я не знал некоторых простых вещей. Но вы как конструктор должны согласиться...

— Не знаю... — Максютенко уставился пустыми глазами в окно, медленно розовея. Потом вдруг сорвался и пошёл, заюлил между станками к Урюпину.

Вскоре за перегородкой раздался стальной голос начальника: «Что такое? Какая пневматика? Какие цилиндры? Почему два? Какие книги?»

Они вышли вдвоём, Урюпин — впереди. Пробираясь между станками, он задел несколько досок и не оглянулся. Он подошёл, надвинулся на Дмитрия Алексеевича, как бы требуя ответа за обиду.

— Что тут у вас? — спросил он, с широким жестом оборачиваясь к Максютенко.

— Это я всё намутил, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Это моя работа.

Он словно не заметил раздражения Урюпина, подвинул ему стул, сел и сам и развернул свой листок.

— Мне кажется, что Валерий Осипович усложнил конструкцию, поставил два лишних цилиндра. Дело в том, что и эти два будут работать вполсилы, если мы уравновесим оба плеча...

— Но това-арищ автор, — заныл раздражённо, но сдержанно Урюпин. — Дмитрий Алексеевич! Этак мы до морковкина заговенья будем прикидывать да менять? Кто же нам за это будет платить?

Наступило молчание.

— Оставить в таком виде, — коротко приказал Урюпин и встал, чтобы быстро и эффектно уйти.

— Я не подпишу проект, — тихо сказал ему вслед Дмитрий Алексеевич.

— Но поймите же, поймите! — раздражённо закричал Урюпин, обращившись к Максютенко. Он наклонился и застучал сухой ладонью по чертежу, приколотому к доске Егора Васильевича, и все остро отточенные карандаши старичка посыпались и запрыгали на полу. — Поймите! — кричал начальник, стуча ладонью. — Это деньги, это время, это план!

— Это относится прежде всего к вам и к Валерию Осиповичу, — сказал Лопаткин, глядя на него холодными глазами. — Вопрос бесспорен. Если он ясен даже мне, то для вас он должен быть элементарно ясным. Я не возражаю, давайте позовём третейского судью, и если он докажет мне, что решение моё гениально и лежит за пределами способностей и знаний рядового конструктора, я сниму его.

Это был голос нового, иного человека, и Урюпин умолк. Притих и Максютенко, а техники-деталировщики подняли головы и взглянули на Дмитрия Алексеевича и потом друг на друга.

— Конфликт! — сказал вихрастый Коля, пробираясь к ним, и с насмешливой улыбкой посмотрел в угол Араховского. — Что тут такое?

— Правильное решение? — Дмитрий Алексеевич подал ему свой листок.

Коля взглянул на чертёж, положил его на стол и налёг на него локтями.

— Решение правильное и, мне кажется, наилучшее, — сказал он, зло щурясь и глядя то на Лопаткина, то на Урюпина.

— А это что? — спросил Дмитрий Алексеевич и развернул перед ним черновой набросок Максютенко.

— Это? Это вы сделали? — спросил Коля, глядя на Максютенко.

— Что это такое? — повторил Дмитрий Алексеевич.

— Это халтура.

— Николай, у тебя выражения... — сказал Урюпин, досадливо морщась. — Мы с тобой не на волейбольной площадке.

— Тогда я скажу по-другому: мяч налево. Переиграть, товарищи, надо. Переиграть! — И, смеясь, Коля ушёл к себе и там ещё раз пропел нежным тенором: — Переигра-а-ать!

И узлы пришлось «переигрывать». В сентябре Дмитрий Алексеевич обнаружил ещё два неуклюжих узла и один грубейший математический просчёт, в связи с чем опять пришлось переделывать весь проект.

Но всё же наступил день, когда проект — сто шестьдесят листов, тысяча четыреста деталей, двенадцать тысяч размеров — был подан автору на подпись, и Дмитрий Алексеевич, недоверчиво пересмотрев все листы, надписал на каждом свою фамилию. После этого листы пошли в копировальный отдел — на первый этаж. Оттуда через несколько дней Дмитрию Алексеевичу принесли на подпись прозрачные, подрубленные на швейной машинке кальки. Он подписал, и кальки ушли опять вниз — в отдел светокопий, туда, где был дрожащий фиолетовый свет и пахло аммиаком.

Уже несколько раз выпадал снег, на улице стояла сырая стужа, на деревянных тротуарах налипла и уже начала твердеть грязь, был уже последний серый день октября, когда Дмитрий Алексеевич получил наконец свой проект — уложенный в папку, ясно отпечатанный авторский экземпляр. Урюпин с силой пожал ему руку, и сам встряхнулся при этом. Подал ему и Максютенко свою тяжёлую и словно увядшую лапу. Потом подошли оба техника и Егор Васильевич. Быстренько пожали автору руку, отошли и, тихо переговариваясь, стали собираться домой, потому что рабочий день окончился.

— Теперь увидимся в Москве, — сказал бодрым голосом Урюпин. — Я и на вас заготовил командировку.

Дмитрий Алексеевич поблагодарил его, поклонился всем и вышел. Он незаметно для себя пролетел всю Шестую сибирскую улицу и только в конце её вдруг спохватился: не взял свой экземпляр прсекта. «Тьфу!» — В сердцах махнув рукой, он повернул назад. Уже было темно. Он торопился — как бы не заперли отдел.

Но в отделе горел свет, и дверь была открыта. Дмитрий Алексеевич вошёл в пустую комнату, заставленную чертёжными «комбайнами», прошёл за перегородку и сразу увидел лысину Максютенко и серую волчью шерсть — жёсткую шевелюру Урюпина. Голова к голове, они рассматривали небольшой чертёж. Первым услышал шорох старого чёрного пальто Максютенко. Он поднял голову, увидел Дмитрия Алексеевича и замер, розовея. Потом поднял голову Урюпин и, собрав на лбу множество морщинок, недобро прищурился.

— Проект забыл, — сказал Дмитрий Алексеевич и, взяв свою папку, лежащую на стуле, повернулся, чтобы уйти. Он нарочно не смотрел ни на конструкторов, ни на их чертёж, чтобы не узнать чужой тайны.

— Дмитрий Алексеевич! — услышал он, выйдя из загородки, и остановился.

— Валерий Осипович, скажем? — спросил Урюпин. Максютенко ещё больше покраснел. — Скажем! — твёрдо решил Урюпин и улыбнулся Лопаткину. — Дмитрий Алексеевич! Вот... подите-ка к нам...

Дмитрий Алексеевич подошёл и сразу понял всё. На столе начальника лежал чертёж машины для центробежной отливки труб. И в этот чертёж крупным планом был вписан знакомый кружок и в нём шесть кружков поменьше, как гнёзда для патронов в барабане револьвера. Этот барабан смотрел на него своими шестью глазами, но Дмитрий Алексеевич не смутился, выдержал этот взгляд. Он только почувствовал с досадой, что уши у него начинают гореть.

— Дмитрий Алексеевич, — начал Урюпин безразличным тоном экскурсовода. — Вот тут мы... вот, так сказать, наша с Валерием Осиповичем попытка отбить у вас хлеб... — Он хихикнул, быстро взглянул на

Дмитрия Алексеевича и чуть заметно покраснел.— Нет, вы не подумайте только, что мы это делали в ущерб вашей... нашей, совместно с вами... Нет, это мы совсем недавно с Валерием Осиповичем, от нечего делать. Вдруг смотрим, что-то получается. — Он опять засмеялся.

— А зачем говорить-то об этом? — Дмитрий Алексеевич шагнул к столу.— Дайте-ка лучше ваш чертёжик. Ага...

Он долго двигал перед собой листок ватмана. Урюпин молчал, с острым любопытством следил за ним. Максютенко, опустив голову, рисовал на столе кружок и в нём ещё шесть кружков. Дмитрий Алексеевич забарабанил пальцами по чертежу, раздумывая над ним, и наконец поднял на Урюпина усталые улыбающиеся глаза. На Максютенко он смотреть не мог.

— Мне думается, Анатолий Иванович, что вас постигла неудача. Вот за эту часть машины вы не получите приоритета, потому что это машина Пикара. Эта машина даёт неравномерное охлаждение труб, получается отбел чугуна, чугун становится хрупким. Пикар устроил специальную томильную печь и там отжигал отлитые трубы, чтобы снять отбел. Вы бы хоть со мной заранее посоветовались. В этом-то деле я собаку съел. Так что вот это Пикар. А этот барабан тоже не содержит новизны — это видоизменённый питатель из моей машины. Идея та же, но конструктивное решение хуже. У меня можно регулировать температуру изложницы, подбирая их число. Барабан вас связывает: надо иметь обязательно шесть изложниц, не больше и не меньше.

При этих словах лысина Максютенко ещё сильнее порозовела, а Урюпин обескураженно сморщил нос. Дмитрий Алексеевич в первый раз увидел его таким.

— Я мог бы смягчить свой ответ,— сказал он.— Но я разговаривал с вами, как живой справочник. Чувств нам лучше не касаться.

— Это верно,— Урюпин засмеялся, стреляя в Лопаткина глазами.— Ну ладно. Спасибо за прямоту. До встречи!

На обратном пути Дмитрий Алексеевич зашёл к Араховскому попроситься. Кирилл Мефодьевич провёл его в большую комнату, слабо освещённую лампой в широком абажуре из плотного выцветшего оранжевого шёлка. Они уселись за столом друг против друга. Дмитрий Алексеевич почувствовал на себе острый и весёлый взгляд Араховского. Кирилл Мефодьевич, сидя в темноте, шевелил губами, собираясь поддеть гостя.

— Урюпин и Максютенко сделали машину для литья труб,— сказал Дмитрий Алексеевич.

— Что вы говорите! — Араховский налёг на стол.— Ну-ка, ну-ка!

— Больше ничего. Рабочий орган — по схеме Пикара, питатель — мой, правда, упрощённый. Только что со мной консультировались.

— Консультировались? Впрочем, на Урюпина это похоже. Смело действует! А что я говорил? Ваша идея, Дмитрий Алексеевич, будет до конца рождать подражателей. Да, чтоб не забыть: возьмите журнал «Металл» за январь — март этого года и просмотрите. Там, по-моему, про вашу машину написал какой-то доцент — Волович или Корович, не помню точно. Я не уверен, но посмотрите. Помню, будто есть такая статья.

Они замолчали. Араховский отодвинулся назад, в тень, не сводя глаз с Дмитрия Алексеевича. А тот сидел всё так же молча и думал: «Чем это мне может угрожать?»

— Будешь конструктором,— медлительно, с удовольствием выговорил наконец Араховский.— Ты не первый. В конструкторских бюро ты найдёшь немало бывших изобретателей вроде меня. Которые гасят свои идеи, изгоняют плод. Не верят вообще в возможность изобретательства. И ты — в школу учительствовать ты не вернёшься, а конструктором будешь. Хорошая я сивилла?

— Посмотрим.

— Слушай теперь мои напутствия. Вот ты приехал в Гипролит, начинается обсуждение — не кричи, когда увидишь несправедливость. Не возмущайся громко. Прежде всего знай: проект у тебя на удовлетворительном уровне. Я просматривал все листы. Но — никаких саркастических улыбок со скрещёнными на груди руками! Действовать только наверх! — басом протрубил он, выставив палец. — Наверняка и молча. Входить в среду, как бурав. Если ты начнёшь метаться, прыгать и кричать, ты будешь похож на традиционного изобретателя, и с тобой будет легче бороться.

Он замолчал и опять принялся насмешливо шевелить губами.

— Учти, — сказал он, помолчав. — Учти, что в НИИЦентролите сидят многолетние спецы-могильщики. Это стоит записать. Вот тебе карандаш и бумага. Этот доцент, который писал про твою машину, он тоже из НИИЦентролита. И машина эта будто разрабатывается у них. Запиши про журнал. Приедешь в Москву — найдёшь в библиотеке. Запиши ещё: Авдиев в этом институте — князь. И вообще по ведомству он «всех давишь». Он же и в Орглитмашпроме. Ты чувствуешь, чем пахнет? О тебе он хорошо знает, и тебя встретят. За версту обегай эти институты — там и честные ребята будут тебя бить, потому что верят в своего бога, он им всем заправил мозги. Попробуй найти блокировку с заводской публикой. Понял? — закричал вдруг Араховский, наваливаясь на стол. — Молодой человек, вы идёте в бой с монополией Василия Захарыча Авдиева, запаситесь сухарями!.. А этот товарищ... — Араховский поднялся и ушёл в полумрак, — это будет ваш спутник. — Он вернулся и положил на стол книгу. — Это Лагранж. Первоклассный математик и механик. Настоятельно рекомендую поддерживать дружбу с этим великим человеком. Он вам будет заменять Кирилла Мефодьевича, кхе-кхе-кхе! Пишите мне письма почаще. Я что-то верю в вас.

Через два дня Дмитрий Алексеевич уехал в полупустом холодном вагоне в Музгу. Вагон скрипел, качался, останавливался и снова трогался. Сутки спустя Дмитрий Алексеевич вышел из него на мокрую от дождя музгинскую платформу. Продав около станции несколько часов, он перевалился в кузов комбинатского грузовика на круги толстой проволоки. А когда стемнело, уже вытирал ноги у дверей домика Сьяновых.

С улыбкой, закусив губу, он открыл плотно замкшую дверь. Окунулся в приятное избяное тепло, пахнущее капустной кислотой и просыхающими в печурках шерстяными носками. Хором закричали ребятишки и, соскочив с печи, с кроватей, бросились на дядю Дмитрия. И не ошиблись: каждый получил по кустарной ярко раскрашенной конфете.

Последним подошёл здороваться дядя Пётр. До этого они уже поздоровались радостными глазами — и главное было сказано.

— Как дела? — спросил Пётр.

Дмитрий Алексеевич молча показал ему папку с проектом.

— Что же, теперь в Москву?

— Да. Теперь в Москву.

За ужином Дмитрий Алексеевич неторопливо рассказывал о том, как разрабатывали и переделывали несколько раз его проект. Поставив на стол сковороду с жареной картошкой, Агафья вдруг вспомнила что-то, вытерла руки и, взяв с подоконника сложённое треугольничком письмо, подала его Дмитрию Алексеевичу. Он развернул треугольник, положил на стол рядом со сковородой и, продолжая свой рассказ и запивая картошку мутным морковным чаем, стал читать.

«Дорогой Дмитрий Алексеевич, — читал он урывками, успевая при этом отвечать на вопросы Сьянова. — Пишу я вам, может быть, в последний раз

потому, что мы уезжаем из Музги. Но я не могу не написать вам. Я теперь всегда буду чувствовать себя виноватой...»

«Нет спасения, всё кается»,— подумал Дмитрий Алексеевич и, прервав чтение, отхлебнув из стакана, пояснил Сьянову, что Урюпин был не только главным конструктором его группы, но и начальником отдела.

«Не знаю,— продолжал он читать,— поможет ли вам то, что я сообщаю. Я обязана сделать для вас всё, что могу, хотя могу-то я очень мало. Но всё-таки. Вы, наверное, знаете, что на нашем заводе делают машину Авдиева. На всякий случай описываю вам её. Она разбирается на части — трубы, которые называют изложницами. В эти трубы рабочие вручную набивают формовочную землю. А потом изложница опять вставляется в машину, и туда заливают металл. Рабочие ругают её, говорят, что из-за неё цех лишится премий. Потому что, как говорил у нас один специалист, Галицкий, в этой машине плохо используется машинное время и много ручного труда. Муж считает, что Галицкий — правая рука Авдиева, он приезжал на завод от НИИЦентролита, и это как раз удивило у нас всех: он говорил, что это не машина, а приспособление для ручной отливки. Теперь самое главное: мой муж, чтобы не подводить Авдиева, решил не шуметь и приостановил официальное испытание. А делаются ещё четыре штуки. На них Ганичев будет отливать трубы. И на него-то падают хлопоты о списании убытков. Убытки ожидаются не меньше как в миллион — на зарплате и на металле. В конце концов будет колоссальная катастрофа. Я твёрдо теперь знаю, что машину Авдиева построили на те деньги, которые были ассигнованы для вас. Это сделал заместитель министра Шутиков, но он вряд ли вам скажет. Это так и есть, как я говорю».

«Ишь ты!» — подумал Дмитрий Алексеевич, нанизывая на вилку несколько кружков картошки. Прервав чтение, он подал Сьянову папку с проектом и стал рассказывать ему историю о чертеже, сделанном на цементной боковине крыльца.

«Дорогой Дмитрий Алексеевич,— косясь на письмо, прочитал он последние строчки.— Теперь, когда Вы победили, я многое пересмотрела и поняла. Я глубоко уважаю Вас, я ни у кого не встречала ещё такой стойкости и такого удивительного терпения, как у Вас...»

«Ну-ну, даже с большой буквы писать стала»,— улыбнулся Дмитрий Алексеевич.

«...я прошу Вас, не поминайте меня лихом. Я и так наказана за своё легкомыслие. С меня хватит и того, что есть. Между прочим, я встретила Галицкого. Он интересуется Вами, ходил к Сьяновым. Желаю Вам полного счастья. Н. Дроздова».

— Так вот,— продолжал Дмитрий Алексеевич, складывая письмо.— Это случилось в последний день. Я забыл свой проект в загородке у этого Урюпина. Прихожу...

И он рассказал об этом последнем свидании с Урюпиным.

Утром, по старой привычке, Дмитрий Алексеевич, засучив рукава своей красноармейской нижней рубахи, колот у сарайчика дрова. Ставя поленья и так и этак, крепко ударяя по ним колуном, он думал о том, что ждёт его в Москве. Дмитрий Алексеевич колот дрова мелко, чтобы удобнее было разжигать уголь. Час или два прошло — он не заметил. Но он вдруг почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину. Он обернулся. На улице, у столбиков, опутанных колючей проволокой, стояла Валентина Павловна в своём серо-голубом пальто с воротником из фиолетового песка.

Бросив колун в кучу дров, разгорячённый Дмитрий Алексеевич вышел к ней.

— Это правда? — спросила она, поднимая на него беспечные глаза. И Дмитрий Алексеевич сделал такие же беспечные глаза и спросил:

— Что «правда»?

Хотя он-то знал, о чём спрашивала Валентина Павловна и что она хотела сказать.

— Вы завтра уезжаете? Верно?

— Еду.

Она начала краснеть. Отвернулась. Опять посмотрела на него. Повернулась, как девочка, на одной ноге.

— В Москву? — сказала наконец. — Вот хорошо как!

— Плохо ли! Мы наступаем!

— Вы когда едете?

— Утром.

— Вы не замёрзли в одной рубашке?.. А знаете, мы больше не увидимся...

Дмитрий Алексеевич ничего не сказал. Помолчал, потом вспомнил что-то и радостно сообщил:

— А ведь проект готов! Я вам говорил? Пять экземпляров, всё как полагается. Едем отстаивать.

— Какие вы все мужчины односторонние, — сказала Валентина Павловна. — Вы все какие-то, гм... немзыкальные..

Они опять замолчали. В морозном воздухе между ними медленно проплыла снежинка. Валентина Павловна проводила её беспечным взглядом.

— Ну что же, — она вздохнула, — давайте прощаться? Вы мне будете писать?

— Валентина Павловна...

— Вы обязаны, вы должны мне писать. Теперь вот... наклонитесь, и я вас поцелую.

Наклоняясь, он хотел ответить ей с шутливым рыцарством. Но она сказала:

— Не нужно говорить, все слова — ложь. Молчите.

Она поцеловала его несколько раз, повернулась к нему спиной и сразу как бы уменьшилась. И так, больше не поворачиваясь к нему, ускоряя шаг, она пошла через улицу, нанаскось, на ту сторону.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

1

В Москве, в одном из множества переулков, окружающих Арбат, — а именно в Спасопоклонном, — есть четырёхэтажное здание из темносерого бетона. Все квадратные окна его одинаковы, и внизу, посередине первого этажа, врезан вход — вместо одного из окон. На чёрных щитах из толстого стекла, привинченных по обе стороны подъезда, издали видно большое серебряное слово «Гипролит». А если подойти поближе, можно прочесть и то, что написано мелким шрифтом: оказывается, в этом темносером прочном здании поместился институт, где проектируют литейное оборудование.

Стоял январь, но асфальт был чист, как летом, с крыш падали редкие капли, где-то чирикали воробьи. Здесь, в центре Москвы, в полдень, среди множества набегающих автомобильных запахов скользили чуть заметные, радостные струи — намёк на далёкую весну.

Дмитрий Алексеевич, держа за спиной папку с проектом, неторопливо шёл по переулку и рассматривал старинные и новые московские дома. Он, конечно, уже уловил тонкий и отдалённый запах оживающей в январе природы и был радостно насторожен: не обман ли это? И душа его приветствовала каждый новый порыв живого ветра. Голубое небо с надутыми, как паруса, облаками быстро плыло над ним. Тяжёлая капля упала ему на воротник, обрызгала, и он улыбнулся. «Спасопоклонный, — подумал он. — Старинна! Наверно, здесь есть где-нибудь церковь». И тут же

увидел её — маленькую московскую старушку. Из трещин между обожжёнными кирпичами лезли кривые деревца с коричневыми сухими листьями. Железо с маленьких куполов было сорвано, в ржавых клетках стропил перелётывали голуби.

Это был редкий день, когда всё вокруг Дмитрия Алексеевича говорило об удаче. Он жил в Москве уже полтора месяца. Почти каждый свой день в течение всего этого времени он начинал с прогулки к телефону-автомату. Он опускал пятнадцать копеек, и за эту недорогую плату получал беседу с секретаршей директора проектного института. «Позвоните через два дня», — говорила она. Дмитрий Алексеевич звонил через два дня и получал ответ: «Обсуждение назначено на двадцать третье». Он звонил двадцать третьего, и ему говорили: «Обсуждение перенесено. Позвоните позднее». Сегодня он позвонил, и ему сказали: «Обсуждение начнётся ровно в час».

В один из первых дней после приезда Дмитрий Алексеевич побывал в Ленинской библиотеке и там перелистал комплект журнала «Металл». В мартовском номере была помещена статья кандидата технических наук Воловика о новой машине для центробежной отливки труб, разработанной в НИИЦентролите. Воловик и его друзья где-то познакомились с чертежами Дмитрия Алексеевича, должно быть во время рецензирования. Соединив его безжёлбонный ковш-дозатор с рабочим органом машины Пикара, они «пришли к удовлетворительному решению задачи, которая выдвинута сегодня перед целым рядом ведомств». Дмитрий Алексеевич, улыбаясь, перечертил себе в тетрадку эти «плоды двухгодичных изысканий». Ему и здесь повезло: Воловик не понял или побоялся украсть главное в его машине — принцип сменности изложниц.

Срок его командировки истёк, но он не печалился, потому что ему подвалила неожиданная удача: вскоре после его переезда из Музги в Москву была отменена карточная система и введены новые деньги. Все сбережения, в том числе и командировочные, — всё это лежало на сберкнижке, и теперь Дмитрий Алексеевич получил две тысячи новыми деньгами, которые имели вес и цену. С этими деньгами он мог прожить в Москве ещё три месяца, включая плату за гостиницу и ежедневные пятнадцать копеек на телефон-автомат.

Вспомнив об этом, Дмитрий Алексеевич ещё выше поднял голову и оглядел переулочек, освещённый весенним январским солнцем. Все дома ответили ему понимающей весёлой улыбкой. Дмитрий Алексеевич выбрал прохожего посolidнее и спросил у него, который час. До начала обсуждения проекта оставалось сорок две минуты. «После обсуждения куплю часы», — решил Дмитрий Алексеевич. Он пересек мостовую, толкнул дубовую дверь, поднялся по ступенькам в вестибюль, отдал в гардеробе пальто и шапку и, одёрнув китель, легко взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь его встретила громадная стенгазета, и он улыбнулся, увидев её название «Конструктор» и почтовый ящик, нарисованный в углу листа.

На втором этаже в коридоре была мягкая ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич почувствовал близость начальства. И действительно, он сразу же увидел табличку из толстого стекла: «Директор».

Немного дальше был небольшой уютный конференц-зал с коричневой классной доской на стене. Несколько человек сидели со скучающим видом в этом зале. По коридору прохаживались шеренгой басистые, энергичного вида мужчины в серых коверкотных кителях с серебряными погонами — инженеры. Небольшая группа собралась в пролёте лестницы, у входа в курилку. Среди серых кителей мелькнули два или три безукоризненных чёрных костюма. Это были учёные, должно быть приглашённые на обсуждение.

Дмитрий Алексеевич направился в курительную комнату. Кители и чёрные костюмы раздвинулись, повернулись к нему. Но, кажется, впечат-

ление он произвёл слабое. Все опять занялись своим интересным и весёлым разговором. А Дмитрий Алексеевич, пройдя в курилку, достал было свой госпитальный кисет, но опомнился и вынул новенькую, специально для этого дня купленную пачку «Беломора».

— А-а, вы уже здесь, товарищ Лопаткин! — раздался из дальнего угла курилки голос Урюпина. Инженеры у дверей пристально посмотрели на Дмитрия Алексеевича. — Привет уважаемому автору! — продолжал Урюпин своим звонким стальным голосом и вышел из сизой, дымной глубины — статный, одетый в новый китель и словно задушенный стоячим воротником. — Здрате, здрасте, дорогой. Скоро начнётся!

В эту минуту у входа остановился седой, нахмуренный и какой-то морщинистый инженер с зелёными генеральскими лампасами на брюках. Несколько человек в кителях и чёрных костюмах поспешно шагнули к нему пожать руку. Урюпин, протянув руку генералу, подался всем корпусом, как бы упал вперёд. Генерал сказал ему несколько слов, Урюпин заулыбался, развёл руками и проводил его до невысокой двери, которая вела из курилки дальше, в более интимные покои. Там Урюпин повернулся, и лицо его приняло обычное жёсткое выражение седого спортивного деляги. Он остановился около Дмитрия Алексеевича, закурил и, взяв Лопаткина за руку, подвинулся — ему нужно было стать так, чтобы была видна лестница.

Через минуту генерал решительным мягким шагом, держа руку в кармане, прошёл через курилку к выходу. Урюпин, прищурился глазу ему вслед и подбоченясь, сказал:

— Замечательный человек. Патриот института!

— Вы о директоре? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Да-а. Сумел создать институту авторитет в министерстве. Конечно, не обошёл при этом и себя, но нюх у него на нужное большой! Деловитый мужик.

Дмитрий Алексеевич промолчал, и они задымили папиросами. Урюпин хотел ещё что-то сказать и вдруг жёстко схватил Дмитрия Алексеевича за руку.

— Смотрите скорей туда! Вот идёт наш корифей. Академик Саратовцев. Через три года будет восемьдесят лет. Хорошо?

Мимо курительной широкоим. изогнутым фронтом неторопливо двигалась процессия. Шли боком улыбающиеся статные инженеры и красивые учёные в чёрном, а в центре — полный старичок генерал. Розоволицый, гладко выбритый, но при отличных, отогнутых вверх усах.

— Мاستодонт, — сказал Урюпин, и в глазах его Дмитрий Алексеевич впервые увидел дремучий свет восхищения. — Вы знаете, он с самим Врангелем дрался на дуэли! И притом здорово его пырнул! Он вообще у нас всё делает основательно. Говорят, если бы наш старикан взял чуток пониже, барон не встал бы. А красив старичина, а? Как держится! Это мастодонт. Законодатель!

— Како-ой он законодатель! — возразил и развёл рукой незаметно подошедший к ним низенький небритый инженер. — Это вы, Анатолий Иванович, того... Математический аппарат у него прекрасно развит, это да. Но какой же он законодатель! Это английский король! Вот он кто. А лидер консервативной-то партии всё-таки их сиятельство Василий Захарыч Авднєв.

— Всё кажешь кулак небесам? — с усмешкой обернулся к нему другой инженер, сухощавый, седеющий, с массивным золотым кольцом на пальце.

— Ну и кажу! Ты, Крехов, конечно, кинешься защищать. Верный, старый слуга. А всё-таки если взять последнюю машину Авднєва...

— Что бы ни говорили... некоторые недовольные, а Василий Захарович — самородок. Умница. Это суметь так надо, — инженер с кольцом

на пальце повернулся к Дмитрию Алексеевичу. — Пришёл человек в науку, как Ломоносов. В лаптях. Упёрся лбом и раздвинул всё и вся. Вы не читали, товарищи, его первую кандидатскую диссертацию? — У Крехова даже глаза заблестели. — Вот достаньте. У Ольги Ивановны попросите в библиотеке. Усиленно рекомендую.

— А что, хорошо? — спросил небритый.

— Мало сказать «хорошо», — с запальчивым видом вмешался третий инженер и зашипел: — Блестяще! Блестяще!

— Ого! Вот идут тигры! — шепнул небритый и придвинулся к Дмитрию Алексеевичу.

Урюпин оттолкнулся от стены, быстро вышел из курительной и там, на лестнице, остановил двух солидных мужей в чёрных костюмах и с портфелями. Потряс руки одному, другому, рассмеялся. Но те, разговаривая с ним, вели себя сдержанно, то и дело посматривали друг на друга, как сообщники.

— Авдиева нет — признак не очень хороший, — вполголоса сказал Дмитрию Алексеевичу небритый инженер. — По-моему, вы автор? Я вам хочу сказать, чтоб вы знали. Если бы проект шёл на одобрение, Авдиев был бы здесь. Он это любит — ручку пожать! А если надо поломать проект, у него на это есть вот доктора, товарищи Тепикин и Фундатор. Цезарь только даёт команду: выпустить тигров на гладиаторов! И тигры выскакивают. Вы только не думайте, ради бога, что это жёлчь во мне... Это просто многолетняя практика. Ведь всё здесь происходит так, как происходило пять и двадцать лет назад. Одинаково! Однообразно!

— Будет бой. Галицкий пришёл! — громко и весело сказал кто-то, и сейчас же молодой голос отозвался из сизой от дыма глубины курительного зала:

— «Будет буря, мы поспорим и побо-о-оремся мы с ней!»

Дмитрий Алексеевич оглянулся по сторонам.

— Это о ком говорят? — спросил он у небритого инженера.

— Да вот же прошёл. Галицкий — разве вы его не знаете? Падший ангел! Он недавно ушёл из НИИЦентролита. По поводу авдиевской машины у них вышел спор. А Василий Захарыч, он ведь не любит...

Между тем оба доктора поклонились Урюпину почти одними глазами и, войдя в курительную, достали портсигары. Один из них был серьёзный, с красивым лицом полной брюнетки. Длинный чёрный пиджак свободно облегал его талию и женственные формы.

— Это доктор наук Фундатор, — негромко сказал Дмитрию Алексеевичу сосед. — Его у нас называют «черкешенка младая». Этот берёт мягко, наукообразно. Он вас пожалеет, прольёт слезу и скажет вам верный «аминь». А второй — «ни тудыкин, ни сюдыкин, кандидат наук Тепикин». — Инженер засмеялся: — Он теперь доктор. Этот будет подпевать. Будет больше нажимать на «кто его знает». На сомнениях выедет. Вот, так сказать, ваши противники. А что они противники, можете быть уверены...

Далеко в коридоре залился звонок. «Начинается», — подумал Дмитрий Алексеевич, нетерпеливо доставая из пачки ещё одну папиросу. Он тут же сломал эту папиросу, отбросил и взял вторую. Курильщики один за другим бросали свои окурки в большую никелированную урну и выходили в коридор. Вот не спеша вышли и оба «тигра». Фундатор — осанисто, с высоко поднятой головой, а Тепикин — кражисто ковыляя. «Пора», — подумал Дмитрий Алексеевич. Он нерешительно кивнул на прощание своему собеседнику и спокойный, с холодным, как ему казалось, безразличием на лице вышел. Незнакомый инженер догнал его, взглянул сбоку.

— Возьмите себя в руки. У вас белое лицо! Не доставляйте им удовольствия...

Маленький зал был почти пуст. На заседание пришли человек двадцать специалистов, из которых Дмитрий Алексеевич никого не знал. Но они, должно быть, знали друг друга хорошо. Они по-домашнему, небрежно сидели на стульях, обменивались поклонами, наклонялись к уху соседа, передавали один другому записки. Впереди, около председательского стола, stenографистка раскладывала бумаги. Кто-то суетился, передвигал стулья. Кто-то вручил Дмитрию Алексеевичу коробку с кнопками, сказал: «Давайте, автор, работайте» — и он стал развешивать около коричневой классной доски листы своего проекта, прикалывая их кнопками к деревянным планкам на стене. Закончив эту работу, он оглянулся. Все смотрели на бледного автора в кителе с короткими рукавами. Кто-то уже сидел на председательском месте — это был директор института, седой, морщинистый инженер с генеральскими погонами. За ним в кресле словно бы дремал, опустив веки, академик, и только остроконечные усы его бодро смотрели вверх. Там же, придерживая на коленях свой новый портфель, откинулся к спинке стула Фундатор. Скрытый за его мощной фигурой, что-то шептал ему на ухо Тепикин. Фундатор слушал, возведя глаза к потолку.

— Так вот, товарищи, есть предложение начать, — сказал твёрдым басом генерал и посмотрел на ручные часы. — Сейчас ровно десять минут второго. Пора, по-моему. — Он выждал немного, покосился на Дмитрия Алексеевича. — Вы готовы?

Дмитрий Алексеевич шагнул вперёд, хотел сказать «да», но генерал уже не смотрел на него.

— Товарищи, мы решили обсуждение центробежной машины поставить первым. Вопрос этот ясен, много времени не отнимет и не утомит наших почтенных гостей. Слово имеет автор проекта, инженер Лопаткин. Прошу...

Дмитрий Алексеевич взял в руки указку. Он вдруг почувствовал себя преподавателем, поднял голову, лицо его просветлело, и *класс* сразу затих.

— Эта машина предназначена для отливки центробежным способом чугунных труб, — с каждым словом он чувствовал себя всё легче и увереннее. — Вам, должно быть, известно, что мы испытываем острый недостаток в различных трубах...

Генерал нетерпеливо стукнул карандашом, открыл было рот, но удержался и не сказал ничего.

— ...а между тем, как ни странно, трубы, которые мы должны щёлкать в автоматах, как папиросы, во многих местах отливают вручную или на таких машинах... по существу, не машины, а лишь *приспособления* в ручном труде. И это при наличии огромных возможностей, которые даёт нам чугун. Чугун течёт, как вода, и мы не используем этого...

— Простите, — генерал брезгливо поморщился и вздохнул. — Нужда в трубах, чугун жидок, сталь густа — право же, мы не дети, и всё это знаем! Прошу ближе к существу проекта, к его основным особенностям.

— Пожалуйста. Наша машина имеет два коренных отличия, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Первое: она является не приспособлением, а истинной машиной, в ней полностью используется машинное время. На всех известных нам машинах вспомогательные операции выполняются рабочими вручную, и в это время главный орган — собственно литейная машина — стоит. У меня все вспомогательные процессы выполняются специальным механизмом, который работает параллельно с литейной машиной и не задерживает её. Это обеспечивает повышение производительности машины для начала в пять раз. Вторая особенность состоит в том, что машина занимает места в чегыре раза меньше по сравнению с существующими приспособлениями, например, машиной НИИЦентролита, проект которой опубликован в журнале «Металл». Уменьшение габ-

ритов достигается применением безжёлобной заливки металла. НИИЦентролит применил такой же, как у меня, ковш-дозатор, но при этом сохранил старые габариты машины. Для чего же тогда было вводить безжёлобный ковш!

Весь технический совет дружно рассмеялся. Люди задвигались, загремели стулья. Потом наступила новая, дружественная тишина.

— Таким образом,— сказал Дмитрий Алексеевич,— мы можем построить вместо четырёх один завод и поместить в нём столько же машин, сколько сейчас планируем для четырёх заводов. Это принесёт экономию...

— Вы нам дайте в руки эту конкретную пользу,— добродушно сказал генерал.— А уж сосчитать-то мы её сосчитаем.

Дмитрий Алексеевич не ответил ему. Водя указкой по листам проекта, он коротко объяснил работу всех узлов конструкции. Потом взял мел и перешёл к расчётам. Стуча мелом, он быстро исписал всю доску основными расчётами, доказывая, что машина будет производить пятьдесят труб в час, затем — что каждая труба будет легче на полкилограмма, что нужны для работы машины всего двое рабочих, а впоследствии можно будет полностью автоматизировать все процессы. «В идее машины,— сказал он,— заложена возможность создания автоматизированного цеха, работающего без участия людей». Он закончил доклад и отошёл в сторону.

— Как там будет с цехом, это мы ещё посмотрим,— заметил генерал, взглянув на часы.— Но пока вы сэкономили пятнадцать минут времени. Это уже недурно. Ну-с, какие будут вопросы к докладчику?

— Я хотел бы спросить автора,— затянул каким-то плавным голосом Фундатор и благожелательно посмотрел на Дмитрия Алексеевича.— Скажите, пожалуйста, товарищ... Лопаткин. Что это у вас, томильная камера наверху? Как у Пикара?

— Это конвейер охлаждения. Но он не имеет специального подогрева. Туда будет направляться отлитые трубы — это обеспечит плавность остывания, снятие напряжений.

После тягучей паузы было задано ещё несколько, словно бы невинных, безразличных вопросов. Потом наступила особая тишина, которую никто не решался нарушить. Молчали все. Фундатор глядел в потолок. Тепикни будто заснул, положив ему сзади на плечо свою простоватую мордочку, — но нет, он что-то шептал ему на ухо. Генерал смотрел то в окно, на ясное, голубое небо, то на листы проекта, то в потолок и, переворачивая карандаш, постукивал им.

— Что ж, товарищи... начнём судоговорение? — спросил он, подняв седую бровь.

— Разрешите? — Фундатор словно проснулся. Он встал, держа перед собой маленький листок бумаги.

— А-амм... работа, положенная здесь,— начал он с простодушным и наивным видом и взглянул на потолок.— Работа, которую мы... о которой нам здесь так интересно,— он нагнулся вперёд,— так обстоятельно доложил докладчик, весьма значительна и, я бы сказал, весьма результативна. Но в то же время она характеризует товарища Лопаткина,— он улыбнулся Дмитрию Алексеевичу,— характеризует его как изобретателя, который надеется решить все вопросы с помощью вдохновения. Право, мне даже как-то неудобно говорить это, но товарищ Лопаткин оказался здесь в теоретическом отношении совершенным банкротом, да простит он мне это резкое выражение. У него не было достаточной теоретической подготовки, и он хотел построить совершенно новую машину кустарным способом, путём нащупывания,— Фундатор выставил руку вперёд и мягко схватил воздух,— путём нащупывания технических решений, то есть проявил отсутствие инженерного подхода. А когда ему указывали на это, как это мне достоверно известно, он не соглашался и отвергал необходимость

более компетентного вмешательства как работников НИИ, так и со стороны...

— Видите, Александр Борисович,— перебил его генерал,— это произошло потому, что самая идея была очень заманчива и со стороны некоторых товарищей была вера в творческие способности автора... ну и наших... филиальцев. На риск пошли!

— Ну и получайте все выгоды такого риска! — шутливо ответил Фундатор.

— Я не слышу настоящей критики проекта,— сурово прозвучал в зале голос Дмитрия Алексеевича.— Прошу критиковать конкретно, с указкой и мелом в руке.

— Ну что же, в самом деле, ну, пожалуйста, вот вам критика,— Фундатор подошёл к листам.— Ну вот вы ввели томильную камеру. Сами же вы сказали: для снятия напряжений. Значит, вы не уверены в том, что подобная технология даст вам трубу без отбела! Или вы всё-таки уверены?

— Камеру я ввёл для того, чтобы использовать тепло остывающих труб и сделать процесс их охлаждения не зависящим от зимних сквозняков. Но и без этой камеры отбела не будет.

— А где же расчёт, подтверждающий эту вашу уверенность? — Фундатор развёл руками и улыбнулся в пустой зал.— Государство ведь на веру денег не даст. Вы уверены? Но спросите высокоуважаемого Петра Венедиктовича, и он вам скажет, что нет не только расчётов, нет ещё теории, которая помогла бы нам сделать эти расчёты!

При этих словах академик, не поднимая век, несколько раз солидно кивнул.

— А вы говорите...— продолжал Фундатор, водя круглыми глазами.— Вот вам конкретное возражение. Мы не против такой машины, но мы считаем, что прежде всего должны быть найдены теоретические предпосылки для её создания. Наш институт в этом направлении сделал уже несколько шагов, но ведь товарищ Лопаткин не признаёт никаких доводов и авторитетов... Да, вот ещё. К вопросу об износоустойчивости изложниц... Ведь вы же, дорогой, совсем не обосновали ваше утверждение. Да что там говорить...

Фундатор повернулся, показав всем, как прекрасно облегает его фигуру чёрный костюм, пожал плечами и вернулся к своему стулу. И сразу же поднялся, вышел вперёд Тепикин.

— Выслушав до конца изложенные мысли товарищем Лопаткиным, я попробовал, товарищи, найти в *этом* деле рациональное зерно. Жилищный вопрос, нужда в трубах — это всё верно. Но вот, так сказать, конструкция. Хороша ли она или должна быть *изменена* — опять-таки вопрос этот есть второстепенный, и он даже, может, отпадёт, ежели мы пристально проверим научную обоснованность данной машины. В чём дело? Нельзя не согласиться с Александром Борисовичем, который...

Тепикин, рисуя в воздухе белым, словно отмороженным пальцем, говорил долго и уныло и поставил под сомнение все стороны машины.

— Пятьдесят труб в час? — спрашивал он и, достав платок, сморкаясь и смеясь, отвечал: — На бумаге это всегда так получается. Как в «Войне и мире» у Толстого: «Ди ерсте колонне марширт, ди цвейте колонне марширт». А дойдёт до дела, хватъ, получилось не пятьдесят, а десять труб, да и те, чуть стукнешь — бьются, как горшки, потому что, конечно же, будет отбел! Вы и сами это знаете, уважаемый автор.

Под конец Тепикин, загибая пальцы, подсчитал все сомнительные стороны машины, смеясь, показал всем, что пальцев не хватает, умолк, стал вдруг серьёзным и сказал с чувством:

— Дорогой товарищ Лопаткин. Ради бога! Не пойми меня превратно. Если бы вопрос о литье труб решался так просто, поверь, мы давно бы предвосхитили тебя и как-нибудь сообща, со скрипом сделали бы та-

кую машину. Ведь не боги горшки обжигают! Да и мы, честное же слово, не даром едим хлеб наш насущный.— Здесь он приложил руку к груди.— Мы тоже немножко патриоты, товарищ Лопаткин!

Кто-то подставил Дмитрию Алексеевичу стул, и он сел, сам того не замечая, и стал перебирать пальцами пуговицы на кителе. Тепикин почесал затылок, что-то вспомнил, но махнул рукой и враскачку проковылял к своему месту, за спиной Фундатора.

— Разрешите,— услышал Дмитрий Алексеевич обиженный и медлительный бас.

— Товарищ Галицкий, Пётр Андреевич,— сказал генерал, посмотрел на стенографистку и перевернул карандаш.

«Где же я слышал о нём раньше?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

Этот Галицкий оказался очень высоким, вялым, длинноносым мужчиной в сером костюме. Он взглядом отыскал Лопаткина, чёрные брови у него поползли на лоб, чёрные глаза и большие ноздри осуждающе округлились — он лобно четырьмя острыми зрачками посмотрел на Дмитрия Алексеевича.

— Прежде чем скрещивать оружие с инженером Лопаткиным,— пробасил он,— я хочу сказать несколько слов критики в адрес почтенных представителей НИИЦентролита. Не далее, как год тому назад, государство построило для них прекрасный жилой дом, и это обстоятельство, как я вижу,— здесь Галицкий торжествуя кашлянул,— не замедлило сказаться на науке. Учёных перестала интересовать ближайшая практика в трубных делах. Они углубились в более глубокие тайны теории. Им подавай дно океана, батисферу!

Все рассмеялись. Фундатор слегка порозовел.

— А если бы!.. — воскликнул Галицкий и длинным пальцем словно бы поймал что-то над собой.— А если бы товарищ Фундатор посмотрел на дело с практических позиций, с точки зрения задач сегодняшнего и даже завтрашнего дня, он увидел бы много ценного в предложении инженера Лопаткина. Что, скажите, лучше — пищаль, заряжающаяся с дула, или пулемёт? Конечно, пулемёт. А ведь инженер Лопаткин предлагает нам как раз пулемёт! Он устраняет оружейную прислугу, которая заряжает сегодня ваши пищали, товарищи центролитовцы! Он заменит её пулемётной лентой, даёт нам экономию и скорострельность. А? Разве не так, товарищ Лопаткин?

Дмитрий Алексеевич, радостно удивлённый, поспешно закивал.

— Погодите радоваться, автор, до вас ещё не дошло,— сказал Галицкий и повернулся к Фундатору.— Да-альше. Вы говорите, отбел. Вы говорите, теория. Да разве не видно каждому, что предложена гибкая схема, которая позволяет нащупать практически нужный температурный режим! Лопаткин нащупает его гораздо быстрее, чем вы, товарищи теоретики. Потому что решение-то рядом. Он даст нам трубы, а вам — исходные данные, и вы по ним напишете диссертации!

Все захохотали. Генерал, развеселясь, обмяк, чертил на листе карандашом и качал головой. Когда в зале затихли, Галицкий направил на Дмитрия Алексеевича острые чёрные глаза, хищно округлил ноздри и шагнул к нему.

— Однако есть в вашей идее, товарищ изобретатель, жестокое «но», результат вашего, так сказать, отшельнического образа жизни. Мысль обязательно надо скрещивать, иначе она вырождается. Я имею в виду ваш безжёлбный ковш-дозатор. Он эффектен, и его доцент Воловик не замедлил «творчески преломить». Он сразу же «оттолкнулся» от него, попросту говоря, слямзил. А ведь вытащил он, товарищи, пустой кошелёк!

В зале засмеялись.

— Почему пустой? А вот почему.— Галицкий схватил мел, присел перед доской и, стуча, стал писать громадные цифры и буквы.— Ферростатический напор,— приговаривал он при этом,— температура полученного из вагранки металла... время заливки металла... скорость вращения... Вы знаете, что получится с вашим коротким жёлобом и с наклонной формы? Металл не дойдёт до конца формы, начнёт твердеть, и мы получим неправильную геометрию трубы.

— Неверно! — закричал Дмитрий Алексеевич чужим, визгливым голосом.

Галицкий успокаивающе растопырил пальцы.

— Вот-вот. Вот вы даже кричите на меня. Успокойтесь. Читайте вот формулу и вникайте. Ваши расчёты не увязаны с представлениями науки о пластичности металла. Разверните-ка путь, который проходит чугунок, вращаясь в вашей трубе. Минимум двадцать пять метров. Двадцать пять — и при этом он отдаёт тепло. Это и школьник вам скажет. Металл у вас кристаллизуется на полпути!

— Разрешите. — Дмитрий Алексеевич вскочил. — Разрешите же! Три справки!

— Товарищ Лопаткин,— сказал генерал.— У нас есть определённый порядок...

— Говорите! — приказал Галицкий.

— Первая справка,— голос Дмитрия Алексеевича был уже спокойнее.— Я не инженер, а учитель средней школы. В нашей школе никто, кроме меня, не задумывался о центробежном литье, поэтому мне не с кем было «скрестить мысль», как того требует товарищ Галицкий.

Зал громко вздохнул, и наступила тишина.

— Поймите хоть вы меня, товарищ Галицкий. Неужели это правильно, по-вашему: каждого человека, который натолкнётся на что-нибудь новое и захочет это новое передать народу, неужели это верно — объявлять его антисоциальным явлением? Остричь вот так...

Пока Дмитрий Алексеевич говорил это, Галицкий несколько раз в раздумье поднимал на него чёрные горячие глаза и тотчас их опускал, как только встречался с усталым-спокойным взглядом изобретателя.

— Я пытался было скрестить мысль,— продолжал Дмитрий Алексеевич с чуть заметной усмешкой. — Я всё время чувствую свою слабость как конструктор и как металлург. Но профессор Авдиев не пожелал. «Фикция», и только.

— А что же, конечно, фикция,— явственно прозвучал в тихой паузе ленивый голос Фундатора.

— Вторая справка,— сказал Дмитрий Алексеевич.— На заводе в Музге до сих пор льют трубы ручным способом. Вы это, наверно, тоже знаете все, как и то, что чугун жидок, а сталь густа. Это обстоятельство заставило меня, учителя, бросить работу и заняться изобретательством, в чём я сейчас запоздало раскаиваюсь. А третье — вот...

И Дмитрий Алексеевич, став рядом с Галицким у доски, взял у него мел и застучал им, выводя цифры и буквы.

— Вы разрываете процесс на части, забыв о том, что части эти взаимодействуют. Забыли о центробежной силе, о том, что потери тепла в металлической нагретой форме будут иными, чем в форме холодной. И главное то, что в результате наклона формы и её вращения металл будет мгновенно распределён по всей её длине. И равномерно! Наоборот, у меня остаётся ещё вот — видите? — запас времени на формирование трубы в горизонтальном положении! — Дмитрий Алексеевич громко стукнул мелом по доске и отошёл. А Галицкий в последний раз, словно бы изумлённо, глянул ему в глаза, облокотился на доску и заморгал, задумался. Так в тишине прошла минута, вторая. В зале возник, стал незаметно расти весёлый шум. Раздались неуверенные хлопки.

— Товарищ Галицкий, — сказал генерал, постучав карандашом, — мы ждём...

— Сейчас, сейчас... — Галицкий, не отрываясь от доски, сделал рассеянное движение рукой и испачкал мелом весь бок пиджака.

— Не понимаю, что там думать, всё ясно, как божий день, — послышался голос Фундатора.

— Математика доказала, что божий день не очень ясен, — возразил Галицкий, не отрываясь от доски, стуча мелом.

— Пётр Венедиктович, вы не хотели бы? — спросил генерал, привстав.

— Что же, собственно, тут говорить, — академик открыл свои старческие мутноглазые глаза. — Дело-то ясное. Действительно, как божий день. Если строить машину, значит триста тысяч отвалить на эксперимент. А наше дело не экспериментировать, а строить. Я бы рекомендовал научный спор перенести в стены соответствующего института. Там можно проделать все эксперименты на существующих установках. Не следует пренебрегать и имеющимися на сегодня данными. Лично я склонен думать, что безжёлбное литьё — фикция. Да... — Он покачал головой. — Очередная попытка решить сложную задачу с налёта, не больше.

— Разрешите дополнить. — Фундатор поднялся. — В отличие от товарища Галицкого, мы в институте более серьёзно и более объективно отнеслись к обсуждению данной машины и готовы отстаивать свои научные позиции без колебаний. Не желая затягивать и без того затянувшийся разговор, я передаю техническому совету вот эти наши тезисы, где подробно анализируются плюсы и минусы машины... товарища Лопаткина.

И он положил на стол генерала эти тезисы — отпечатанные на машинке несколько листов.

— Товарищ Фундатор! — послышался от доски обиженный бас Галицкого. — Принципиальность не в том, чтобы всю жизнь стоять на одном месте...

— Мы немного задержались, — сказал генерал, просматривая тезисы Фундатора. — Ещё кто-нибудь выступать хочет? Нет? Я думаю, товарищи, выводы ясны. Строить машину нецелесообразно — к этому склоняется большинство товарищей. Сырая идея не может быть основой для серьёзной работы. Однако и теперь это становится очевидным — проблема центробежного литья труб должна быть каким-то образом решена. На это надо направить усилия учёных и инженеров. Я полагаю, что министерство в ближайшее время даст нам соответствующее техническое задание. Согласны вы с таким решением? — спросил он у Дмитрия Алексеевича.

— Я не согласен, — твёрдо сказал у доски Галицкий. — Машина простая. Может быть, её надо по-другому завязать... Более работоспособные узлы... Но главное ясно. Надо посадить около автора хорошего конструктора и расчётчика и делать машину. Доводы товарища Лопаткина мне представляются серьёзными и оправдывающими необходимость эксперимента.

— Кто ещё не согласен? — спокойно сказал генерал. — Нет? Объявляю перерыв. Товарищ Лопаткин... Лопаткин, вы слышите меня? Копия протокола вас интересует? Так вот, зайдёте на днях в секретариат, и вам дадут...

Дмитрий Алексеевич вышел в коридор и закурил. Вокруг него деиались люди, толкали его справа и слева, а он, окружённый облаком дыма, стоял, время от времени тяжело вздыхая и с каждым вздохом затягиваясь папиросным дымом.

— Товарищ, курить идите в курилку, — сказал ему кто-то, и ноги сами двинулись и потащили его вперёд.

Неестественно весёлый Урюпин встретился ему около лестницы, сказал: «Провалили-таки, черти!» — и исчез. Дмитрий Алексеевич спустился вниз, и около раздевалки кто-то вдруг твёрдо пропустил пальцы ему под руку и взял за локоть.

— Товарищ Лопаткин,— услышал он над ухом бас Галицкого и мгновенно обернулся, готовый к бою.

Этот пристально глядящий черноглазый человек с тонким носом и крупными губами приблизился к нему вплотную и некоторое время рассматривал его в упор.

— Я бы хотел, чтобы вы меня не считали с ними, с этими... В общем, в числе своих противников,— сказал он.— Я действительно допустил... Это верно. Позволил несколько выражений. Вот так говоришь по инерции и считаешь себя правым... А потом оказывается... Я только сейчас понял одну простую правду. Действительно, с Авдиевым и с этими не скрестишь... Да и не всякий захочет с ними скрещивать. И вы не виноваты, что у вас своя мысль появилась. Да что я говорю — это очень хорошо, что появилась! И ведь хорошая мысль, грех её выбрасывать! Но вы всё-таки кое в чём не правы.

Дмитрий Алексеевич чуть-чуть нахмурился, чуть заметно сжал губы, поднял на него глаза.

— Вы не правы,— Галицкий засмеялся.— Вы не только учитель, вы приличный инженер! С вами опасно спорить.

Галицкий, должно быть, торопился. Всё время оглядываясь на Дмитрия Алексеевича, он надел чёрное пальто, облезлую рыжеватую ушанку, бросился к выходу, но вдруг остановился и погрозил пальцем.

— Улучшайте машину, невзирая ни на что. Работайте над ней. Мы ещё увидимся с вами.

2

«Работайте»,— подумал Дмитрий Алексеевич, выходя из подъезда на яркую улицу, чувствуя на этот раз ещё отчётливее молодой запах весны. И тут же он вспомнил, что у него есть всего две тысячи и что их хватит не больше, чем на четыре месяца. А бумага? А место для работы? «После обсуждения куплю часы»,— вспомнил он, и рассеянная, туманная улыбка мелькнула на его лице. Он поддал ногой ледышку. «Ботинки надо купить, вот что»,— подумал он вдруг и прибавил шагу. Он привык всё делать сразу, без колебаний.

Выйдя на Арбат, он тут же нашёл универсальный магазин и выбрал себе в обувном отделе простые чёрные ботинки сорок третьего размера на кожаной подошве. Касса зажужжала, шёлкнула, звякнула колокольчиком, и у Дмитрия Алексеевича стало на триста рублей меньше. Примерять ботинки он не стал, его испугали бархат и никель примерочного кресла, поставленного на самом виду.

Он отправился домой — в гостиницу, поднялся к себе в номер, на шестой этаж. Здесь стояли пять кроватей. Дмитрий Алексеевич сел на свою и переобулся. После этого он съел плавленый сырок с большим куском хлеба, взял в рот кубик сахара и выпил стакан воды из графина. Он начал экономить с этого же дня.

Затем он побрился перед круглым зеркальцем, положенным на подушку, опять оделся и вышел на улицу побродить и подумать о своих делах. Спускаясь по лестнице, он оглянулся и, видя, что никого кругом нет, положил в большую красавицу-урну для окурков свёрток со старыми, в заплатках, ботинками.

На улице шёл снег — коротенькая январская весна окончилась. «Надо купить калоши,— подумал Дмитрий Алексеевич,— это сохранит ботинки». И через двадцать минут он шагал по жидкому снегу уже в новых калошах, и денежный запас его уменьшился ещё на сорок рублей. По

пути он останавливался перед всеми щитами «Мосгоррекламы» и жадно прочитывал объявления о найме рабочей силы. Он нашёл не меньше шести объявлений о найме квалифицированных рабочих на завод и внутренне просветлел. Одиноким предоставлялось место в общежитии — это как раз то, что нужно! Ведь он когда-то работал на автомобильном заводе.

— Не дамся,— тихо сказал он, грозно темнея.— Нет, товарищи! — И прибавил шаг.— Не получится! Не выйдет! Не-ет! Вот два месяца ещё повоюю и поступлю на завод, это будет моя крепость!

Как всегда, оказалось, что он шёл по знакомому маршруту — так же, как он шёл и вчера. Поэтому Дмитрий Алексеевич круто свернул в переулок, пересек несколько улиц и оказался опять на знакомом месте. Сюда он тоже приходил не раз. Это была Метростроевская улица. Дмитрий Алексеевич вышел как раз к тому старому пятиэтажному дому, где жила Жанна. Он задумался, притих и побрёл было по Метростроевской, но спохватился и поскорее свернул в переулок: а вдруг она сейчас попадётся ему навстречу! Что он сможет ей сказать? По внешности ведь он никак не похож на победителя...

Но и уйти, не повидав её, он уже не мог. За месяц ему только два раза удалось подкараулить Жанну. Оба раза он, как мальчишка-десятиклассник, проводил её издали до подъезда.

Дмитрий Алексеевич взглянул на себя и увидел, что он весь занесён снегом. Счастливое обстоятельство! Он поднял воротник повыше, сунул руки в карманы, нахохлился и неторопливо пошёл по Метростроевской к Крымской площади: в тех двух случаях она шла домой от станции метро.

Он прошёл туда и обратно и ещё раз туда. За это время снег словно ещё больше побелел, а небо потемнело — это выползли из переулков сумерки. «Зачем я хожу?» — подумал Дмитрий Алексеевич, решительно останавливаясь, и тут увидел Жанну. Она шла ему навстречу, в чёрном пальто, узко перехваченная ремешком, не вынимая рук из карманов, наклонив мишугу голову в зелёной вязаной шапочке с кошачьими ушками. Она шла не одна. Её вёл под руку молоденький капитан в новой шапке, в новой шинели с блестящими пуговицами — вёл и смотрел сбоку на её шапочку.

— Понятно? — услышал Дмитрий Алексеевич его отрывистый тенорок.— Колька сидит, и Мишка сидит, а я сдаю карты. Четвёртого не было, ясно? А Колька в преферанс не умеет...

Они медленно прошли, стараясь попасть в ногу. Взгляд Жанны спокойно скользнул мимо Дмитрия Алексеевича, который в эту минуту был похож на обсыпанного снегом часового.

— Вам по строевой ставлю единицу! — сказала Жанна.— Не умете в ногу ходить...

Дмитрий Алексеевич медленно двинулся за ними. Он отставал всё дальше. Потом остановился. А те, впереди, попали наконец в ногу, довольные, ускорили шаг. «Нет, посмотрим на тебя ещё раз!» — Дмитрий Алексеевич перебежал на другой тротуар, обогнал их, опять перешёл улицу и, припав грудью к крашеной трубе перед витриной, принялся с неожиданным интересом рассматривать пуговицы и расчёски.

Вот опять слышен голос капитана: «Колька не умеет в преферанс, ни черта не смылит, понятно? — капитан даже похлопал рукой по голенщику, и Жанна засмеялась.— А я ему сдаю чистый мизер! И он не знает! Беспомошен! Ясно?»

Дмитрий Алексеевич обернулся, и у него сразу замерло дыхание: Жанна смотрела ему в глаза. Там, в глубине, у неё что-то вздрогнуло. Но нет, она не видела эту засыпанную снегом фигуру, между нею и Дмитрием Алексеевичем был Колька и блестящий капитанский сапог.

Лицо у неё было такое же, как и три года назад,— белое, с монгольскими выпуклостями под тёмными, далеко расставленными глазами. Выставив плечо в сторону капитана, она улыбнулась, коварно опустив глаза.

— Что же вы этим хотите сказать? Я — Колька, а вы — этот счастливый мизер, который мне привалил и которого я не могу оценить? А вы знаете, что такое по латыни «мизер»?.. Не скажу! Посмотрите-ка в словарь иностранных слов.

«Хо-хо-хо! — всё засмеялось внутри Дмитрия Алексеевича.— Молодец! Отбрила! Разыграла мизер!»

Не шевелясь, он проводил их острым, пристальным взглядом. Потом перешёл на ту сторону и, оглядываясь, побрёл к Кропоткинским воротам.

И вдруг увидел — те двое неуверенно замедлили шаг. Вернее, Жанна отстала, и капитан остановился. Она посмотрела вниз, вспоминая что-то, а спутник её в ожидании, вдалеке, участливо наклонил голову. Жанна вспомнила — торопливо идёт назад, проталкивается между прохожими с отчаянным упорством. К витрине! Подошла к крашеной трубе, постояла, быстро оглянулась, прижала руки к груди. Вбежала в магазин и сразу же показалась в дверях. Капитан с заинтересованным видом приблизился к ней. «Постойте, я сейчас»,— показала она ему рукой и вдруг бросилась бежать дальше, к Крымской площади. «Будь, что будет,— подумал Дмитрий Алексеевич и уже повернулся, чтобы обогнать её и неожиданно выйти ей навстречу.— Но что же я ей скажу? Опять придуывать? Обманывать?» — И он поскорее спрятался за столб. Издалека он увидел: Жанна медленно шла назад. Остановилась около витрины, потрогала трубу...

Уже стемнело, жёлто засветились окна, замигали, потекли красные и жёлтые огоньки машин. Дмитрий Алексеевич шёл бульваром к Арбату, вдоль ряда скамеек, занятых Любовью, Отдыхом и Материнством, и думал о том дне, когда, проверяя тетради учеников, он сделал на обложке одной из них первый неуверенный чертёж своей машины. Только прикинул — и увлёкся. И пошло! «Вот и нашёл судьбу! — подумал он с тихой улыбкой, качая головой, разводя руками.— Выпустил беса из бутылки, теперь не откупиться! А почему бы не обмануть беса — ведь сумел же Араховский! Вернуться в школу, куда-нибудь в уютный уголок, стать нормальным человеком, как эти вот, что сидят на лавочках. Всю переписку, все чертежи, весь этот «индивидуализм» — в огонь. И Жанна придёт — тишина её вполне устроит... За чем же дело стало!»

И он шёл дальше, к Никитским воротам, чувствуя, что выпущенный бес надтреснуто смеётся рядом с ним, подслушивая эти мысли. «Нет, нет, нет,— говорил этот бес.— Раньше ты бы ещё мог бросить свою тетрадку в печь. Раньше, но не сейчас, когда ты понял, что в руках у тебя настоящее открытие, за которое вот эти, сидящие здесь на лавочках, скажут спасибо... Если оно, хе-хе, увидит свет!»

Два дня спустя Дмитрий Алексеевич получил протокол заседания технического совета, в котором нашёл привычные уже для него выражения: «Ввиду сложности и громоздкости», «Менее рентабельна по сравнению с более простой машиной конструкции проф. Авдиева», «Ряд существенных недостатков», и много других в таком же духе. Протокол заканчивался фразой: «Постановили признать нецелесообразным...» — дальше шли такие же знакомые слова.

Всю формулировку Дмитрий Алексеевич знал заранее, он встречал её не раз, она уже повторялась в музгинских письмах, и потому сейчас не произвела на него впечатления. Дмитрий Алексеевич не остался в долгу. Тут же, в приёмной директора института, он привычной рукой написал жалобу на имя начальника технического управления министерства. Указав на конверте адрес своей гостиницы, он сдал жалобу в экс-

педицию министерства — на первом этаже того двенадцатиэтажного здания, которое занимает половину Пашутинского проезда.

На следующее утро его вызвали в гостинице к телефону. Мирный женский голос сказал: «Товарищ Лопаткин? Товарищ Дроздов вас примет сегодня в пять часов. Возьмите с собой паспорт, пропуск заказан». Отойдя от телефона, Дмитрий Алексеевич подумал: «Какой Дроздов? Неужели тот? Да, ведь она что-то писала насчёт отъезда из Музгн...»

В три часа Дмитрий Алексеевич побрился, почистил ботинки, по привычке отшлифовал щёткой пуговицы на кителе, собрав их все в ряд на специальной дощечке. В половине пятого он вышел из троллейбуса около бюро пропусков министерства и остановился, рассматривая цоколь министерского здания, который был облицован чёрным камнем с зеленоватыми кристаллами, холодно мерцающими под полированной поверхностью. В пять часов он сидел на диване в светлокремовой приёмной, перед дверью с мягкой коричневой обивкой. Рядом с дверью была прикреплена чёрная табличка из толстого стекла, на ней строго играли золотом слова: «Начальник технического управления Л. И. Дроздов».

В стороне за столом секретарша, белолицая, с детским румянцем девушка, опустив глаза, снимала телефонные трубки, вполголоса отвечала: «Леонид Иванович занят...» Её толстые жёлто-белые косы, уложенные на затылке в калачик, словно бы распространяли свет. «Русская заря», — подумал с улыбкой Дмитрий Алексеевич.

Вот за спиной Зари рявкнул электрический сигнал. Секретарша встала, выждала паузу, посмотрела себе на кофточку, на руки и затем спокойно вошла в кабинет. Тут же вернулась и учтиво сказала:

— Пройдите.

Кабинет начальника технического управления был поменьше размером, чем кабинет директора комбината. Но зато сам начальник был строже и холоднее директора. На нём был серый китель и полковничьи погоны. Он неподвижно сидел за своим громадным столом, нахохлившись, соединив перед собой руки в большой жёлтый кулак, и на его умном, худощавом и нервном лице Дмитрий Алексеевич прочитал: «Мы с вами знакомы. Но для государственного человека знакомство не имеет значения». В стороне на диване полулежал человек с высоким челом, в золотых очках и в дорогом костюме цементного цвета. Он пристально, с интересом смотрел на Дмитрия Алексеевича и играл на диване белыми жемчужными пальцами. Шутиков! Лопаткин узнал его и поклонился.

На столике рядом с Дроздовым чуть слышно пискнул электрический сигнал. Начальник управления поморщился, снял трубку телефона и, показав Дмитрию Алексеевичу на кресло, сонным голосом сказал: «Да...»

Дмитрий Алексеевич сел, как всегда закинув ногу на ногу. Дроздов посмотрел на него и закрыл глаза, показывая, что ему приходится выслушивать по телефону всякие глупости.

— А кто же? — закричал он в трубку. — Пушкин Александр Сергеевич будет за вас делать? Вот теперь вы начинаете... звонить... Что делать? Делайте то, что я сказал.

Он положил трубку, вышел из-за стола и протянул руку.

— Ну, здравствуйте. С приездом. Познакомьтесь, Павел Иванович, это наш изобретатель...

Шутиков встал, сияя золотом очков, с извиняющейся доброй улыбкой подал мягкую руку и сказал сквозь улыбку: «Мы уже знакомы с товарищем Лопаткиным», — и опять повалился на диван.

Открыв серебряный портсигар, Дроздов протянул его сначала Шутикову, затем Дмитрию Алексеевичу. Все задымили. Дроздов вернулся на своё место, уселся, закрыл глаза и затем медленно их полуоткрыл:

— Н-ну... Как дела? Жалуешься?

— Да, Леонид Иванович. Жалуюсь.

— Что ж, правильно делаешь. Значит, не устраивает тебя решение совета?

— Ни в малейшей степени.

— Даже ни в малейшей! — Дроздов скосил глаза в сторону Шутикова. — Ить ты, понимаешь, какой несговорчивый!

— Не могу согласиться ни с одним пунктом.

— Даже так! А ведь решение-то содержит аргументы...

— На техническом совете высказывались и иные мнения. В мою пользу.

— Это кто — Галицкий? Один человек — меньшинство. У них, у учёных, не больно развернёшься. Чуть что — сразу голосовать. Демократия.

Сказав это, Дроздов опять посмотрел на Шутикова.

— Видите ли, Леонид Иванович, собрание не было в достаточной степени представительным, — сказал Лопаткин. — Если бы был приглашён академик Флоринский, уже было бы два голоса в мою пользу.

— Вы ничего не знаете, — сказал Шутиков, сняв доброй улыбкой. — Этих стариков никто ещё не мог пригласить обоих на одно заседание. Всегда один вежливо откажется или заболит, как только узнает, что приглашён и другой.

— Обстоятельство удобное, — заметил Дмитрий Алексеевич, оборачиваясь к нему. — Но ведь можно же насчитать ещё добрый десяток учёных, которые положительно отзывались о моей машине. Почему их не пригласили? Почему только эти шестнадцать человек?

— Я просматривал список присутствовавших. Там авторитетные имена...

— А подбор был явно тенденциозен.

— Ну, дорогой мой, — Шутиков, улыбаясь, встал, — в такой плоскости я никак не могу поддерживать серьёзный разговор. Центральный институт — авторитетная организация. И мы не можем ей, вот так, запросто, не верить. Если они коллективно говорят, что машина не годится, то это вывод, самый близкий к истине. Вы, Леонид Иванович, ответьте товарищу... коротенько, в том духе, как я сказал... Ответьте ему. А теперь, разрешите...

— Не можете вы меня принять на несколько минут? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Пожалуйста. Звоните. Я всегда готов побеседовать с вами... А сейчас, разрешите пожелать вам...

Шутиков просил своей скромной, извиняющейся улыбкой, мягко пожал Дмитрию Алексеевичу руку и вышел, играя складками костюма.

Когда дверь за ним закрылась, Дроздов потянулся, упёрся ногами во что-то и отъехал от стола.

— Вот так, брат. Таково наше мнение. Кури, кури давай. Практически это мнение министерства.

— Попробуем оспорить и это мнение, — сказал Дмитрий Алексеевич, беря папиросу из портсигара. Он встретился с давно знакомым, весёлым взглядом Дроздова и почувствовал, что упустил какую-то возможность, о которой Дроздов никогда первым не заговорит.

— В данном случае, — сказал Дроздов, — вы потерпите фиаско. И обнаружите, я бы сказал, политическую несостоятельность...

Он вышел из-за стола и, держа руки в карманах, глядя на носки ботинок, прошёлся по ковру.

— Видишь ли, товарищ Лопаткин, если бы я был писателем, я бы написал про тебя роман. Потому что твоя фигура действительно трагическая... Ты олицетворяешь собой, — тут Дроздов повернулся к Дмитрию Алексеевичу и с шугливой улыбкой заложил руку за борт кителя, — целую эпоху... которая безвозвратно канула в прошлое. Ты герой, но ты — одиночка. — Сказав это, он умолк и заходил по ковру кривыми кругами. —

Мы видим тебя, как на ладони, а ты нас не понимаешь. Ты не понимаешь, например, того, что мы можем обойтись без твоего изобретения, даже если бы оно было настоящим, большим изобретением. Обойдёмся — и представь! — не понесём ущерба. Да, товарищ Лопаткин, ущерба мы не понесём в силу строгого расчёта и планирования, которое обеспечивает нам поступательное движение вперёд. Допустим даже, что твоё изобретение гениально! Когда по государственными расчётам встанет на повестке дня задача...

— Она давно стоит, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— ...которую стихийно пытаешься разрешить ты, — продолжал Дроздов, — наши конструкторские и технические коллективы найдут решение. И это решение будет лучше твоего, потому что коллективные поиски всегда ведут к быстрейшему и наилучшему решению проблемы. Коллектив гениальнее любого гения.

— Надо бы конкретнее, ближе к профессору Авдиеву... — начал было Дмитрий Алексеевич. Но Дроздов не услышал его. Он приблизился, глядя в упор весёлыми чёрными глазами.

— И получается, товарищ Лопаткин, непонятная для вас вещь! Мы — строящие муравьи... — Когда он сказал это слово, в весёлых глазах его, на дне, шевельнулось холодное чудовище вражды. — Да... мы, строящие муравьи, нужны...

— Один из этих муравьёв... — перебил его Дмитрий Алексеевич, но Дроздов не дал ему договорить, возвысил голос:

— А ты, гений-одиночка, не нужен с твоей гигантской идеей, которая стоит на тонких ножках. Нет капиталиста, который купил бы эту идею, а народу ни к чему эти дёргающие экономику стихийные страсти. Мы к нужному решению придём постепенно, без паники, в нужный день и даже в нужный час.

— Один из этих муравьёв, — монотонно заговорил Дмитрий Алексеевич, сдерживаясь, чувствуя, что и в нём закипает вражда, — один из этих муравьёв забрался всё-таки на берёзу, повыше, и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему... Я тоже муравей! — заревело вдруг в нём что-то. — Притом на берёзу не лезу, а ташу в муравейник гусеницу, которая раз в десять тяжелее меня. Извольте...

— Писать вам ответ по всей форме? — Дроздов сел за стол и замолчал, растирая пальцами жёлтый лоб, выжидая. — Или вы удовлетворитесь этой 3-задушевной беседой?

— Пишите по всей форме, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вы хотите бороться за свою г-гусеницу? — Теперь он был холоден. — Давайте, давайте. Поборемся.

Он торжественно встал и протянул Дмитрию Алексеевичу руку.

Через два дня Дмитрий Алексеевич получил письмо от заместителя начальника технического управления, подписанное лихим и неразборчивым росчерком: «Ваша жалоба доложена заместителю министра тов. Шутикову и отклонена, как неправильно освещающая ход и решение Технического совета Гипролитом».

Дмитрий Алексеевич знал заранее, что ответ будет именно таким, но всё же, прочитав его, побледнел и, выйдя в уборную гостиницы, полчаса курил там свой сибирский самосад. Потом он вернулся и, злобно поглядывая по сторонам, угрожающе шепча, написал два письма — ответ Шутикову и жалобу на имя министра.

И с этого момента у него словно бы началась новая жизнь. С утра, подрезав бахрому на рукавах кителя и — в который раз уже — выругав себя за то, что отказался в Музге от дроздовского костюма, наметив заранее маршрут, он отправлялся в поход. Широким, нервным шагом он почти бежал через всю Москву на приём в какой-нибудь комитет или комиссию, или в управление. Мозг его при этом не дремал, а наоборот, усиленно

работал, вызывая к изобретателю на расправу то улыбающегося, ласкового, одетого в золотое сияние Шутикова, то самодовольно закрывшего глаза Дроздова, то наивно удивлённого, женственного Фундатора. И Дмитрий Алексеевич мгновенно уничтожал их всех. «Что же они говорят между собой обо мне?» — думал он и шептал: «Неприспособленный, труха! Нет пробивной силы!» «Хотел бы я хоть на час превратиться в кого-нибудь из них, посмотреть, что они думают. Видят ли, понимают ли, от чего могут гореть у человека глаза? Неужели видят, что я прав? Но тогда это — преступление!.. А если они не видят — значит дураки? Как же они сидят там, этот Шутиков, этот Дроздов?»

Иногда Дмитрий Алексеевич вдруг останавливался на улице, словно налетев на столб. Это выросло перед ним неожиданное сомнение. «Неужели неправ я?» — думал он, бледнея, и лез в карман за кисетом. Закурив, с опущенной головой он медленно шёл дальше, обдумывая все стороны своего дела. «Но ведь академик Флоринский с самого начала был за мою машину. И ещё ведь были отзывы... А Галицкий — это же известный, серьёзный работник! Во всяком случае опытный образец построить должны. Должны! Почему же они не строят? Государственную копейку жалеют?» — и, подумав об этом, Дмитрий Алексеевич неожиданно начал смеяться, удивляя прохожих. Он не мог удержаться от этого горького смеха, потому что вспоминал машину Авдиева, которая была построена, чтобы принести миллионные убытки. Не машина, а первобытное приспособление — и даже пятнышка не посадила на солидное имя этого «Колумба»!

Мысли его всего яснее были ночью. Он ворочался на своей кровати и по несколько раз — в полночь и под утро — выходил покурить. Он привык себя записывать мысли, и к концу каждой недели составлял из своих записок одно или два письма с ядовитыми намёками на некоторых особ, «превративших аппарат государственного учреждения в бюрократическую крепость», или с разоблачением *круговой поруки монополистов*, «уничтожающих живую мысль, рождённую в народе». Написав на конвертах адреса всё тех же комитетов или редакций, он бросал их в почтовый ящик, и тут же разгорячённый ум подсказывал ему новый верный ход, новое письмо.

Бросая в лицо воображаемым Шутикову или Дроздову свои лучшие, логически связанные доводы, Дмитрий Алексеевич всё чаще останавливался, чтобы перевести дыхание, и с удивлением шупал грудь там, где сердце, и на спине — где лопатка. Чем ярче была его мысль, тем сильнее давила его сзади в сердце незнакомая, растущая боль.

Он записался в поликлинике на приём к врачу и однажды утром, испуганный, вошёл в белый кабинет, пахнущий валерьяновыми каплями. Он сразу же торопливо и подробно начал рассказывать врачу о своих болях. Две медсестры оглянулись на него, а врач, старая женщина с жёлтыми крашеными волосами, заполняя карточку, несколько раз сказала ему: «Не надо волноваться! Товарищ, успокойтесь!» Прослушав его сердце и лёгкие, она обернула его голую руку чёрной полоской материи, от которой шли трубки к манометру и резиновой груше. Стала накачивать воздух, красная жидкость поднялась в трубке манометра и затем мягкими толчками стала опадать.

— Молодой человек, — протянула женщина, следя за жидкостью, — у вас повышено давление. Вам надо спать и гулять, гулять и спать и ни о чём не думать. Кушайте фрукты, мяса и вина не употребляйте ни в коем случае. Эта вещь может кончиться очень плохо, не шутите с ней.

И Дмитрий Алексеевич с этого же дня приказал себе забыть и забыл о том, что он автор чего-то. Теперь он два раза обходил город по определённому маршруту — каждый раз по пять километров. После прогулки

он глотал несколько пилюль и ложился спать, а если его ждало письмо, то письмо это летело нераспечатанным в чемодан, под кровать.

Этот режим продолжался дней десять, и дело с лечением, быть может, благополучно растянулось бы до месяца, но один случай многое изменил в судьбе Дмитрия Алексеевича. Однажды утром он шёл по своему маршруту и просматривал по пути свежие газеты, расклеенные на деревянных щитах. Всё было, как и вчера, все статьи проходили мимо его сознания, жёстко заторможенного на время неожиданной болезни. Он переходил от газеты к газете, рассматривал по пути дома, читал вывески. И если ему попадалось что-нибудь вроде «корсеты, грации и полуграции», он улыбался, потому что весёлым вещам разрешено было входить в больной дом. Так он шёл, бездумно повинувшись своей новой ленивой привычке, останавливаясь около газет и ничего не читая, и вдруг увидел на безразличном газетном фоне заголовок: «Шире дорогу новаторам!» Это была огромная статья, целый газетный подвал, и подписал её не кто иной, как заместитель министра Шутиков!

Дмитрий Алексеевич удивлённо улыбнулся, бегло просмотрел статью, сказал: «Ну-ну!» — и покачал головой. Он стал читать статью сначала и после первого же абзаца нахмурился и угрожающе зашептал: «Ч-чёрт... Ах, подлец... Нет, нельзя так оставить!» Потом он перебежал улицу, купил в киоске эту газету и широким шагом понёсся в гостиницу, останавливаясь время от времени, чтобы записать удачную мысль.

В номере он сел за стол и весь день, до позднего вечера, писал письмо редактору газеты.

«Почему, — писал он, — почётная возможность обобщать достижения нашей техники на страницах вашей всеми уважаемой газеты, почему эта роль предоставлена тов. Шутикову? Может быть, статья была заказана ему как руководителю одного из больших разделов новой техники? Но опросите тысячу изобретателей — тех, кто имел дело с тов. Шутиковым, и я уверен, 95 процентов из них скажут, что тов. Шутиков им не помогал, а лишь топил изобретения. Большой мастер напускать туману, он обманул и вас, тов. редактор! «Только за прошлый год, — пишет он, — на предприятиях министерства было внедрено более четырёх тысяч изобретений и рационализаторских предложений». А спросите его, сколько им внедрено собственно *изобретений*, то есть таких новинок, которые в корне ломают старые процессы и требуют особого внимания со стороны начальства? Задав ему этот вопрос, вы сразу поймёте, почему он объединил рационализацию с изобретениями: он поступает, как интендант, который заменил мясо сухарями и прикрыл эту операцию словом «продовольствие». Автор хорошо сказал в статье о преимуществах поточного производства и центробежного литья. Но ведь ещё с 1944 года...» — дальше на двенадцати страницах шло подробное описание мытарств Дмитрия Алексеевича.

«По его вызову я оставил работу, — писал он поздно вечером, — и приехал в Москву. И здесь от него же я получил отказ: на средства, отпущенные для постройки моей машины, он строит машину Авдиева, которая ничего, кроме убытков, не принесёт. Сейчас я снова по его вызову нахожусь в Москве. Недавно тенденциозно подобранный совет забраковал мой проект, я написал *шесть* писем тов. Шутикову, подробно сообщая о всех безобразиях, и не получил *никакого* ответа. Он обещал принять меня, я сделал уже 16 попыток добиться этого свидания, но принят не был, не был также соединён и по телефону».

Дмитрий Алексеевич решил сам отнести письмо в редакцию. Начиная пуговицы и ботинки, он точно в два часа дня вошёл в розоватое здание газетного комбината. Он сразу почувствовал здесь особый запах типографии, похожий на запах керосиновой лавки. Вместе с двумя фоторепортёрами и курьершей, которая несла мокрые газетные листы, он вошёл в лифт и поднялся на пятый этаж. Отдел писем был ещё заперт. Дмитрий Алек-

сеевич спросил у курьерши, когда его откроют, и получил непонятный ответ: когда окончится *летучка*.

Он решил подождать и пошёл куда глаза глядят, с интересом читая таблички на дверях. Коридор привёл его в просторное помещение с овальными колоннами и стеклянной стеной-окном. Здесь у круглого столика для посетителей редакции были поставлены тяжёлые кресла, обитые лиловым, беспокойно мерцающим бархатом. Дмитрий Алексеевич сел в одно из них. Через минуту из коридора быстро вышел седой изнурённый старик с грязнобелыми усами, одетый в обвислое серое пальто, связанное, как чулок, из толстых ниток. Держа за спиной серую кепку, помахивая ею, он осмотрел помещение, быстро оглядел Дмитрия Алексеевича сквозь очки умными, лихорадочно сияющими глазами и, чуть заметно поведя плечом, отвернулся, сел в соседнее кресло.

Наступила тишина. Через полчаса Дмитрий Алексеевич мельком взглянул на своего соседа. Старик нервно играл носком чёрного ботинка с заплатой. «Саботаж,— вдруг шепнул он.— Какая-то злая направленность!» — и обернулся к Дмитрию Алексеевичу.

— Вам, товарищ, не приходилось быть литератором?

— А вы литератор?

— Вы представьте, статья была набрана,— проговорил старик, не отвечая на вопрос.— Стояла в номере! И редактор её снял! — он зло покривился и покачал головой.— Всё получилось, как у Шуберта в песенке: «Он снял её с улыбкой, я волю дал слезам». Хотя вы этого не понимаете... Попробуйте придумать что-нибудь серьёзное, какую-нибудь вещь, машину, например. Сдайте. Пойдёт на консультации. Вы увидите взоры, направленные на вас,— он затряс головой, забасил,— как на проходимца и жулика! Вот тогда поймёте...

— Вы, наверно, изобретатель?

— Дорогой мой, не надо спрашивать... Что это у вас, письмо? Дайка сюда...

Он ловко выхватил из рук Дмитрия Алексеевича его листки и поднёс их к очкам.

— Понятно! Значит, вы имете авторское свидетельство! — приговаривал он, читая.— Значит, Лопаткин? Дмитрий Алексеевич? — он прямо на глазах добрел, менялся с удивительной быстротой.— Вы написали дельное письмо, Дмитрий... Дмитрий Алексеевич. Будь я начальником,— он усмехнулся,— я сразу наложил бы резолюцию: «к исполнению». Только я посоветовал бы вам учесть мой опыт и не тратьте сил.

— Но ведь слушайте... Я же не в НИИЦентролит пришёл, я в газету!..

— Дорогой мой! Дорогой мой! Кто же здесь сможет разобраться в том, кто прав: вы или вэш Шутиков? Пока прав Шутиков: он — лицо, облечённое доверием государства, а вы — улица многоликая. Вопрос ваш сугубо специфический. Это не жилищная тяжба... Чтобы решить вэш вопрос, надо послать письмо на консультацию к знающим. А много ли их? А где они? В том же вашем Центролите! Вы только переменяли иглу, Дмитрий Алексеевич — так, кажется, вас звать? А пластинка старая-престарая, и она будет петь одно и то же: «отказать, отказать, отказать...»

Дмитрий Алексеевич нахмурился.

— Вы на меня-то не сердитесь! — старик стал ещё мягче, повернулся к нему. — Вы посудите: письмо поступает к самому заму отдела писем. Он хочет вам помочь, он хороший человек. А письмо непонятно: какой-то ферррстатический напор, какие-то свойства чугуна... Надо послать для апробации. Кому? Тут вы предупреждаете, что в Центролите — монополисты. Но кто возьмётся это расследовать и, главное, кто сумеет доказать? А без авторитетного доказательства здесь не обойтись. Разве Красная Шапочка может знать, что в бабушкиной кровати лежит волк? По-

пробуйте, назовите почтенную бабушку волком! Вы ещё не выступали в роли клеветника?

— Н-нет...

— Это всё закономерно. Вы даёте новое, а на консультацию это новое пойдёт к старому!

— А почему не к новому?

— Потому что околю новорождённых всегда хлопочут старухи. Ведь вы же, вы — новое!

— В общем, всё это мне понятно. Я особых надежд на это письмо и не возлагаю. Вот если бы вы мне сумели на основании своего опыта предсказать...

В это время коридор наполнился быстро идущими, жестикующими людьми — «летучка», видимо, окончилась. Старик встал.

— Предсказать нетрудно, товарищ. Давайте через полчаса встретимся. Здесь!

Он быстро ушёл, по-молодому стуча ботинками, свернул в коридор. Дмитрий Алексеевич подождал немного, потом поднялся и с равнодушным, даже беспечным видом прошёл в отдел писем. Пожилая женщина, должно быть заведующая, усадила его против себя, внимательно выслушала, прочитала письмо.

— Будем проверять, товарищ, — сказала она, задумчиво, словно бы издалека, рассматривая его. — Пока ничего не скажу... Мы найдем вам.

Когда он вернулся к своему бархатному креслу, там уже сидел старик в очках, закусив кулак, напряжённо думая о чём-то.

— Куда ни пойдёшь, словно чёрт перед тобой бежит, — басисто шепнул он, глядя в сторону. — Гоните, мол, его в три шеи! Нет приёма!

Потом старик поднялся, и они молча пошли по коридору.

— Одно время я применял неправильную тактику, — заговорил старик на лестнице. — Шумел, врвался в кабинеты. Теперь спохватился, но поздно — везде меня знают, как облупленного. Учтите это. Да... так вы спрашивали, что вас ждёт. Слушайте, вот ваш путь: вы будете бегать, хлопотать и добегаются — ваше изобретение упорхнёт за границу. — Последние слова он прошептал, таинственно блеснув глазами.

— Ну-у, этого как раз я меньше всего боюсь. Чепуха.

— Не зарекайтесь! — старик приблизил свои усы к уху Дмитрия Алексеевича. — Перед вами человек, который недооценил экономический шпионаж и пострадал от этого.

— Да ну! — говоря это, Дмитрий Алексеевич невольно осмотрел своего нового знакомого, его обвислое пальто, похожее на вязаную кофту, его серое лицо, водянистый нос и изжелта-седые усы. — Даже пострадали? Скажите пожалуйста!

Старик показал глазами: «выйдем на улицу». Они молча спустились по лестнице вниз, прошли через зеркальный лабиринт подъезда, и на тротуаре этот странный человек схватил Дмитрия Алексеевича под руку.

— Я не спрашиваю у вас документов, — сказал он, бегло взглянув по сторонам. — Я изучил ваше лицо. Это прекрасный паспорт изобретателя, в котором зарегистрировано всё, в том числе и стаж. Так вот я вам расскажу. Я всю жизнь нахожусь под наблюдением иностранной разведки. Но они действуют очень грубо. Одно моё лучшее изобретение им удалось выкрасть. Остальное я надёжно сохраняю.

— Вы разве не литератор?

— Вы же видите, какой я литератор! Я попробовал, написал сюда обзор технических журналов. Чуть не стал было литератором, но редактор спохватился во-время — послал на консультацию к моим друзьям. Да... Так давайте сначала познакомимся, раз на то пошло. Меня зовут Бусько, профессор Бусько, Евгений Устинович.

Дмитрий Алексеевич, предчувствуя интересную беседу, свернул цыгарку и протянул кiset профессору — закурить по случаю знакомства. Но тут они поровнялись с ларьком, около которого в свободных позах стояли пьяницы. Старик попросил прощения, подбежал к окошку, сосчитал деньги на ладони, помешкал темного, уплатил и быстро что-то выпил.

— Знаете, добежался! Всё там простужено, хрипит, — сказал он, возвращаясь к Дмитрию Алексеевичу и держась за грудь. — С чего же мы начнём? Да, так вот: моя специальность — огонь...

Так он начал свой обстоятельный рассказ. И, так же неторопливо, как текла их беседа, они двинулись в свою первую прогулку по городу.

В шесть часов вечера, когда Дмитрий Алексеевич уже узнал третью часть истории своего спутника — как был найден двадцать пять лет назад порошок, мгновенно гасящий пламя, как это изобретение начали браковать консультанты и рецензенты, и о том наконец, как за границей появились огнетушители с этим порошком, — в шесть часов оба собеседника брели по тёмному от сумерек, узкому Ляхову переулку, что возле Сивцева Вражка. Дмитрий Алексеевич мог бы подумать, что сюда их завели ноги, которые во время беседы учёных или мыслителей сами выбирают маршрут. Но, пройдя несколько домов, профессор Бусько, умиротворённый рассказом о своих страданиях, вдруг остановился, протянул руку к двухэтажному облупленному дому, зажатому с двух сторон серыми каменными громадами, и сказал:

— Вот этот дом был построен ещё до московского пожара. Не сгорел, хотя и деревянный. Ну, а сейчас и подавно не сгорит, — старик засмеялся. — Потому что в нём живу я.

3

Обе стороны Ляхова переулка были застроены громадными домами и маленькими оштукатуренными по дереву домиками. Старая Москва тихонько и упрямо жила рядом с новой Москвой, у подъездов которой стояли блестящие автомобили, с Москвой, построенной из стали, железобетонных блоков, одетой в сухую штукатурку и блистающей полированным гранитом цоколей. Дмитрий Алексеевич и профессор подошли к высокому дому с несколькими десятками обелисков на крыше и над подъездами. На боковой стене этого дома Лопаткин увидел громадный плакат с надписью: «Страхование имущества». Там была изображена пара — прилично одетые мужчина и женщина, неуверенно сидящие на диване по обе стороны открытого патефона. Слева и справа были нарисованы радио-приёмник и зеркальный шкаф.

— Клавдию Шульженко слушают, — сказал Бусько, смеясь, беря своего гостя под руку. — Несколько лет всё у патефона сидят. У нас в квартире есть такая пара.

Старик провёл Дмитрия Алексеевича под высокой аркой во двор, и они очутились в старой Москве — среди флигелей и сараев с голубятнями. Они сделали ещё несколько поворотов и опять увидели тот же ветхий барский дом, его колонны и каменные ступеньки, вросшие в землю. Поднялись на второй этаж, и, пока старик звенел в кармане ключами, Дмитрий Алексеевич в раздумье осмотрел высокую изрезанную дверь, облупленную без малого десятком кнопок для звонков. «Звонить только Петуховым», «Синицкому», «Только Завише и Тьямянскому», «Бакрадзе», — читал он надписи на бумажках под кнопками. «Газеты — Петуховым», — было написано на железном ящике для писем.

Наконец старик открыл дверь, и Дмитрий Алексеевич, озираясь, вошёл в длинный сумрачный коридор с очень высоким потолком. Только этот высокий закопчённый потолок и остался от господских покоев. Всё здесь было разгорожено на комнатки и комнатушки. Старая Москва была больна, и жильцы, переполнившие её, даже те, кто любит старину, откры-

то мечтали о новых, хоть и с низким потолком, но зато отдельных квартирах.

— Между прочим, моё первое изобретение было посвящено этому, — сказал старик, угадав мысли Дмитрия Алексеевича, — кирпич и керамика.

— Между прочим, и моё... — Дмитрий Алексеевич вздохнул. — Моё тоже имеет отношение к строительству домов — трубы...

— Вы не обратили внимания на потолок? — сказал профессор. — Это ведь старинная лепка.

И. пока Дмитрий Алексеевич силился рассмотреть эту лепку, профессор ловко выхватил что-то прямо из стены, оклеенной жёлтыми обоями. Дмитрий Алексеевич заметил только, как мелькнул в руке Бусько крюк из толстой проволоки. Старик повернулся спиной к своему гостю, что-то таинственно сделал этим крюком, и низенькая дверь открылась. На внутренней стороне её был прилажен громадный деревянный запор с винтами и пружинами.

— Снип-снап-снурре... — страшным голосом сказал Дмитрий Алексеевич, разглядывая этот механизм.

— А?.. — профессор опешил, затих. Потом растерянное лицо его дернулось, неуверенно улыбнулось. — Это вы, кажется, из Андерсена? По моему адресу? Смейтесь! Это мой надёжный сторож, а здесь есть что сторожить.

Профессор зажгёт яркий свет, и они вошли в комнатку, холодную и запущенную, как будто бы в ней никто не жил. Прежде всего Дмитрий Алексеевич увидел большую фарфоровую ступу на столе посреди комнаты, а рядом со ступой — сковородку с голубоватым салом. К этому салу пристыла обложка раскрытой книги с латинским шрифтом, брошенной на сковороду. Тут же, на столе, около немытого стакана лежали листы рукописи, развёрнутые веером и придавленные тяжёлыми керамическими плитками и кубиками — это были, видимо, изделия профессора. На полу и на стульях пылились сваленные и сложенные стопами книги, на подоконнике тускло блестели грязные пробирки, причудливо изогнутые склянки, тарелки, чайник и были сложены пирамидкой такие же обоженные плитки и кубики. Половину стены закрывал большой чугунный станок — «чертёжный комбайн», а за ним на длинном сундуке была смятая, неубранная постель хозяина комнаты.

Дмитрий Алексеевич, как в музее, рассматривал все подробности этой комнаты, а старик включил тем временем электрическую плитку, зажгёт керогаз и повесил на гвоздь пальто. Теперь он был в чёрном коротком пиджачке, с блеском на спине и локтях. Он остановился против своего гостя, быстро потирая руки, мелькая желтоватыми манжетами и старинными запонками.

— Вот и тепло. Садитесь. Дайте-ка вашего табачку, мы сейчас закурим и продолжим нашу беседу. Да, так вот...

И положив Дмитрию Алексеевичу в руку тяжёлый керамический кубик, он стал рассказывать о своём втором открытии — о керамике, не требующей специальных глин. Можно было надеяться, что открытие это ещё не попало за границу, — во всяком случае, у автора не было таких сведений. Но зато как были похожи все эти истории одна на другую!

— ...пишу потом на него жалобу в высшие инстанции, она, конечно, возвращается к Фомину, и тот организует техсовет, чтобы окончательно угробить. Тридцать послушных Фомину человек без меня принимают решение — всё под его диктовку. «Бусько — хулиган, Бусько должен научиться разговаривать с людьми». Так ты же государственный человек, у тебя должен быть и подход! Изобретатель не нравится, но изобретение-то может понравиться? А они вместо *ad rem* — *ad hominem* — не «что изобрёл», а «кто он?». А потом те же члены совета растащили мою технологию по кускам...

— Да,— сказал Дмитрий Алексеевич, неопределённо вздыхая, больше для порядка. Он и верил и не верил старику.

— Вижу, что вы ещё ничего не знаете.— Профессор выхватил у него из рук кубик и с досадой бросил на стол.— Здоров, талантлив, жизнерадостен! Разбираетесь вы хоть немножко в людях?

— Надо активнее разоблачать ловкачей,— сказал Дмитрий Алексеевич шутивым тоном, всё ещё с удивлением посматривая по сторонам.

— Активнее! Учёный не всегда приспособлен к такой борьбе. Иного за уши тащи бороться, а он не может...

— Евгений Устинович, а вы куда-нибудь писали? Не о журналах, а о себе?

Не ответив, в тишине старик прошёл в угол, порылся там в книгах и бросил на стол пачку конвертов с чёрными и цветными штампами.

— Вот, пожалуйста. Здесь, кажется, восемь писем, я не считал. Милый, ведь это только штампы! Вы не на штампы смотрите, а вот сюда, кто подписывает. Кто такой, например, вот этот Минаев? Я его не знаю. А по ответу видно, что это юноша, который только и может сообразить, что это по такому-то ведомству, такому-то отделу — значит послать туда! Все письма возвращаются на круги своя. Текут реки в океан, и он не переполняется. И не возмущается. К тому месту, откуда реки начались, они возвращаются, чтобы опять течь. К тому, на кого жалуясь!

Он остановился. В его тёмных, словно бы плавающих за очками глазах сияло что-то большое — не то огромный и грустный ум, не то сумасшествие.

— Вы не верите! Вам нужны документы! Пожалуйста!

И, отбежав в угол, он начал бросать оттуда на пол, к ногам Дмитрия Алексеевича голубовато-зелёные испачканные листы с красными печатями на шёлковых ленточках. Дмитрий Алексеевич невольно ахнул. Это всё были авторские свидетельства. У Лопаткина было одно такое свидетельство, а здесь к его ногам летели шесть... восемь твёрдых голубовато-зелёных листов! Дмитрий Алексеевич бросился их собирать.

— Вот он, народ, идёт по улице,— кричал старик, всё больше напрягаясь, стуча в окно,— и не могу ему отдать! Даром! Жизнь в придачу отдаю и... не могу!

Он отвернулся, украдкой поднёс рукав к лицу, смахнул что-то, шмыгнул носом.

— Я сейчас, как дикарь,— сказал он, утихая.— Ум живёт, мечтать могу о самолёте, а сделать — средств нет. Всё время терплю поражения. У меня нет лабораторной техники, нет сотрудников. При одном техническом сотруднике я утроил бы производительность! Вот видите, даже разревелся. Погодите, и вы заплачете. Побегаете к ним!

— Евгений Устинович! Я, например, если бы у меня не было заявлено, предложил бы им соавторство. Пусть берут себе девять десятых, даже все десять — чёрт с ними! Ведь не в этом же дело!

— А у меня не заявлено? Заявлено и у меня, сделал такую глупость! Они будут теперь искать только *своё* решение. «Никто на вас работать не станет» — это их девиз. А во-вторых, чего вы хотите? — Голос старика оттвердел. — Фоминых кормить? Чтобы моя люлька досталась проклятым ляхам? Нет. Лучше я сгорю вместе с ней, как Тарас Бульба, — и он стал кривляться, как сумасшедший. — Они бы взяли всё, что у меня лежит вот в этом сундуке, и продали бы за границу. Им подай! Только я теперь не заявляю о своих находках. Слава богу, я уже пять лет, если выхожу куда, то только на разведку. Хватит. Бессмысленно иметь лишних врагов! Теперь я складываю всё в сундук — сюда хоть шпионы не проникнут.

— Может, эти изобретения уже, так сказать... — начал было Дмитрий Алексеевич.

Старик посмотрел ему в глаза, угадал его сомнения. С неожиданной и удивительной силой, одной рукой, он отодвинул тяжёлый чертёжный станок и сбросил с сундука постель. Отпер массивный замок и, подняв крышку, с хищным удовлетворением заулыбался, глядя на дно сундука, молчаливо приглашая Дмитрия Алексеевича взглянуть на его сокровища. Подойдя к нему, Лопаткин удивился: в сундуке был строгий порядок, сияла, белела и поблёскивала чистота. Богатство Евгения Устиновича состояло из нескольких десятков книг и папок, уложенных стопами на выстланном свежими газетами дне сундука. В картонных коробках блестяли пробирки, отдельно были сложены малиновые, жёлтые и темно-коричневые керамические кубики, а вдоль стенки выстроились по ранжиру стеклянные банки с белыми, жёлтыми и серыми порошками.

— Я скупой рыцарь. Вот моё богатство. Миллионы! Вы думаете, они никому не нужны? — сказал профессор, с видом хозяина опираясь о крышку сундука. — Не нужны? Это вы хотели сказать? — Взяв из строя стеклянных банок самую маленькую, он встряхнул в ней белую тонкую пыль. — У меня украли порошок, гасящий пламя, и продают во всех странах мои огнетушители. А у меня сегодня в руках новое открытие, и о нём никто не знает. Этот порошок в три раза активнее того, чем Америка гасит пожары на нефтяных промыслах. Хотите продемонстрирую?

Сказав это, он проворно достал из сундука широкую кисть, которая называется у художников «флейц», и густо посыпал её пылью из банки. «Это закуска», — проговорил он чуть слышно и, положив кисть на стул, взял из сундука большой пузырёк с прозрачной жидкостью. «А это выпивка...» — И не успел Дмитрий Алексеевич сообразить, о какой выпивке идёт речь, как Евгений Устинович, решительно нахмурясь, тряся пузырёком, облил весь стол бензином — это был бензин, его острый запах! Скатерть быстро потемнела. «Отойдите», — приказал старик. Оттолкнул Дмитрия Алексеевича, и весь стол глухо пыхнул и светло, весело запылал — профессор бросил туда горящую спичку.

— Ну вот, видите? Пожар, — сказал старик, неторопливо беря в руки флейц с порошком.

Он подошёл к огню, выставив впереди себя согнутую руку, как бы закрывая лицо. Ударил кистью по руке, пламя хлопнуло, как хлопает под ветром простыня, и исчезло. Бегло взглянув на Дмитрия Алексеевича, старик молча, торопливо завернул свою кисть в газету, положил её на дно сундука, запер сундук и бросил на него свою скомканную постель.

— Ну как? — спросил он, передвинув на место чертёжный станок и выходя к столу. — Как вы говорили? Слип-снап-снурре? Не смотрите на стол! Всё это сейчас высохнет. Это Б-70, авиационный. Не останется и следа. Вы мне скажите лучше: есть смысл экспериментировать над этой вещью? В более широком масштабе. Есть?

— Евгений Устинович, я считаю, что нужно немедленно...

— Ах, даже немедленно! Ну и прекрасно. А теперь забудьте обо всём, что вы видели. А то начнёте думать, как я — днём и ночью, — и сойдёте с ума. И давайте-ка расскажите о себе. Если я по глупости отнесу это, заявлю — сейчас же пойдут экспертизы, меня назовут проходимцем, вымогателем, любителем пожить за государственный счёт и прочая, и прочая, и прочая. Я не могу тягаться с ними в выдумывании таких слов.

Он открыл форточку, чтобы проветрить комнату. «Ага, на улице мороз. Очень хорошо», — прогудел он, доставая из-за окна подвешенный на шнурке чулок. Высыпал из чулка десять или двенадцать керамических кубиков и сделал отметку в записной книжке.

— Это я испытываю их. Всю зиму замораживаю и оттаиваю. А потом будем на механическую прочность... Так вот, слушаю вас. Давайте-ка расскажите о себе.

Дмитрий Алексеевич, немного смущённый, не сводя глаз с этого полусумасшедшего мудреца, рассказал свою историю, которая получилась очень короткой и бледной. Евгений Устинович перестал её слушать уже на середине — он задумался, неподвижно замер, глядя на свой стол. Дмитрий Алексеевич поскорее закруглил свой рассказ. Наступила тишина, было слышно только задумчивое сопение старика.

— Да,— сказал он, стряхнув оцепенение.— Так где вы живёте? Ах, да, вы не москвич. Что же вы — в гостинице? Два месяца жили? — Он задумался на миг.— Послушайте-ка, переезжайте ко мне. Тысяча рублей, которая у вас осталась,— это же каптал! Он позволит нам работать до лета, а там я вас научу добывать деньги! Так и сделаем! — С этими словами он вскочил и начал быстро перекладывать вещи в комнате.— Помогайте, помогайте! Надо быстрее очистить этот угол. Как можно скорее. Надо всё делать быстро! Механическая работа отнимает у нас время. А временем измеряется жизнь. Надо всё механизировать, чтобы человеку достался максимум времени для размышления...

Вдвоём они быстро очистили половину комнатки от ящиков с глиной и цементом, книг и мусора. После этого Евгений Устинович передвинул чертёжный станок на середину, разгородив им комнату на две части.

— Это будет ваша половина,— сказал он.— И не благодарите. Мне будет с вами веселей. А это вот — чертёжная доска... Прекрасная немецкая машина. Видите, с противовесами, всё сбалансировано. Очень легко передвигается. Я вам её дарю — мне на ней больше не работать. Ну-с, что ещё...

Есть ещё люди, которые не поняли бы ни профессора, ни Дмитрия Алексеевича, потому что первый, не имея денег, подарил незнакомому человеку вещь, которую мог продать за три тысячи, и притом постарался сделать это как можно незаметнее. А Дмитрий Алексеевич не бросился благодарить старика за этот царский подарок, а повёл себя в том же духе: щёлкнул пальцем по громадной чертёжной доске: «Хорошая вещица».

Проделав всю работу, они сели и опять закурили, поставив свои стулья на «общей территории», у стола.

— Когда-то, лет пятнадцать назад, я был профессором,— сказал старик.— Преподавал, был учёным, заседал в советах. Потом стал строптивым изобретателем, стал оспаривать мнения, и меня изгнали из рая. Директор НИИ сказал: «Может, вы перемените климат, Евгений Устинович?» Дал мне зарплату за два месяца вперёд, и я ушёл. Числился на работе, но уже не ходил. Да, братцы,— сказал он задумчиво.— А в общем, надо жить. Надо жить, обязательно жить! Иначе появятся странности, как у всех чрезмерно и односторонне сосредоточенных людей. Я вижу, вы как раз об этом думаете. Я всё вижу. У меня глаз верный. Но вы всё-таки наматывайте на ус. Может, вам что-нибудь пригодится. У меня главным образом неудачи. Вы должны будете найти другой путь. Но прежде всего — жить! Занимайтесь гимнастикой. Ходите в театры — на галёрку. Читайте книги. Найдите знакомых, девушку, которая на всё смотрит с детской улыбкой и верит каждому слову. Эти люди не дадут вам окостенеть. С ними, в их обществе, вы будете делать открытия: оказывается, есть солнце, лесная прохлада, весёлые именины, цветы... С этими людьми вы будете отдыхать, приходить в себя.

Наступила пауза. «Любо, братцы, любо. Любо, братцы, жить, — затянул вдруг Евгений Устинович, с грозным весельем глядя на Лопаткина, — с нашим атаманом не приходится тужить!»

(Продолжение следует)



ЛЕВ КВИТКО

★

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСТРОВОК

В Ледовитом океане —
Островок.
Как он — цел ещё, не сбит ветрами
С ног?

Круглый год они в затылок хлещут,
В лоб.
Шторм из льдин ему сколачивает
Гроб.

Навалясь на плечи, давят
Мрак и ночь.
Здесь медведям-силачам
И тем невмочь.

Но не страшно островку
В такой дали.
Крепко держится он
Матери-земли.

Домик выстроен на этом
Островке,
Печь пылает, провода
На потолке.

Люди к ночи собрались
В тепле жилья —
Неразлучная зимовщиков
Семья.

В этом домике покой
И благодать,
Точно с суши до него
Рукой подать.

МАЛЬЧИК С ГОР

Мальчик у самой вершины живёт,
 Что головою ушла в небосвод.
 В школу спускается он по утрам
 Тропкой, открытой весёлым ветрам.
 Через потоки, ручьи напрямик
 Мальчик шагает со связкою книг.
 Горный орёл над ущельем кружит.
 Ниже и ниже тропинка бежит.

Справа — скала, нависающий свод.
 Скоро достроят здесь новый завод.
 В трещинах горных, в глубинах земли
 Целые груды сокровищ нашли.
 Их извлекут, их очистят в огне,
 Чтобы мы стали богаче вдвойне.
 Думает мальчик: «У этих печей
 Стать бы на вахте, чтоб жгли горячей,
 Чтобы огонь чудотворный не гас,
 Чтобы сияла руда, как алмаз.
 Клад у меня под ногами лежит!»
 Ниже и ниже тропинка бежит.

Дальше — кустарник, косматые мхи,
 Дальше ещё на плечах у ольхи
 Плети развесил свои виноград,
 Светятся в воздухе кисти, горят.
 Ветви и лозы сплелись, не пройти,
 В добром содружестве легче расти!
 Дальше — сады вдоль неровных дорог,
 В персиках солнцем насыщенный сок.
 Мальчик задумался: «Время придёт —
 Выращу миру невиданный плод!»

После занятий идёт паренёк
 Тихо домой на далёкий дымок.
 В гору шагает задумчиво он,
 Знанья сокровищем отягощён.
 Первая звёздочка в небе зажглась,
 Не оторвать от серебряной глаз,
 Так бы до самых далёких дойти,
 Ясных созвездий распутать пути!

Мальчик выходит чуть свет на порог,
 Мир у его простирается ног.
 Солнце встаёт. Над морской синевой
 Выгнулся гребень его огневой.
 Мальчик по склону спускается вниз,
 Солнце по склону взбирается ввысь.
 День завершён, им пора отдохнуть,
 Каждый в обратный пускается путь:
 Медленно мальчик идёт в вышину,
 Солнце же в море сползает, ко дну.
 Так, обменявшись местами опять,
 Солнце и мальчик расходятся спать.

РЕМОНТ

Когда в квартире трактор,
В ней страшный шум и стук!
Стать трактористом как-то
Решил мой младший внук.
Нас мучит грохот, душит дым,
Но тракторист неумолим!

Вдруг оборвались
Стук и свист...
Куда девался
Тракторист?

Лежит под креслом в спальней
Наш мастер на спине —
Ремонтом капитальным
Он занялся к весне.

В порядке ли колёса?
Не кривы ли, не косы?
Нет ли в пазах чего?
Трудись, дружок, до пота,
Хоть тяжела работа,
Добейся своего!

Разобраны все части
До одного винта,
Проверены, промаслены
Все нежные места.
Запаяно где надо,
Прочищено до дыр.
Спешите, ведь ждёт бригада,
Товарищ бригадир!

Поля торопят: — Братцы,
Скорей пашите нас! —
И вот уж заправляться
Машинам дан приказ.
Вот двинулись колоннами,
Пыхтя, рыча, пыля...
— Скорей бы стать зелёными! —
Мечтают вслух поля.

Хоть только из ремонта
Наш трактор, погляди —
Он всех быстрее,
Он всех мощней,
Он всюду вперед!

ВОРОНА И ЛАСТОЧКА

В гнезде устроившись чужом,
Раскаркалась ворона:

— Кра, кра,
Вот это дом так дом!
Кра, кра,
Теперь и я с гнездом!

Я прутьев
Не носила,
Я глины
Не месила,
Не замарала я —
Кра, кра —
Ни коготка
И ни пера.
И всё ж в тепле, в уюте
Живу в гнезде из прутьев!

Вот я, ворона,
Какова,
Всем здешним птицам
Голова! —

Хоть здесь я посторонний:
— Стыдись! — кричу вороне.—
Нашла чем похвалиться,
Бессовестная птица! —

А ласточка,
А ласточка,
Смотри-ка на неё,
Из глины лепит ладное,
Добротное жильё.
Когтями, клювом
Месит, мнёт.
Искусно лепит,
Прочно вьёт!
Весь день летает
Вверх и вниз —
То в ров,
То снова под карниз;
С реки на пруд,
Где берег крут...
Не страшен ей
Тяжёлый труд!

Я из кармана завтрак выну:
— Бери, пичужка, половину!

Переводы с еврейского Т. Спендиаровой.

ДОЖДЬ В СУМЕРКИ

На землю притихшую ливень седой
С небес низвергается
Серой водой,
Вода на пороге,
И город в окно

Чуть виден,
Как стёртый рисунок убогий.
— Ты болен! —
Ребёнку промолвила мать.
Ребёнок послушно
Садится играть.
Как тихий котёнок, глядит на игрушку...

Внизу, в подворотне, присев в уголок,
Котёнок мяукает:
Страшно котёнку,
Боишься покинуть сухой островок.

И мнится, наверно, обоим одно,
Что солнце в дожде захлебнулось давно.

Перевод с еврейского Павла Шубина.

ЛИВЕНЬ

Всклокоченные орды туч
Друг друга сталкивают с круч,
И машет молния мечом,
И с грохотом въезжает гром.
Идёт сражение! Могуч,
Несётся ливень напролом,
Воды ушаты сверху льёт —
Земле купанье задаёт...

Потом
Горячий золотистый луч
Вдруг ринулся с небесных круч,
Дуга возникла в вышине,
Как вышивка на полотне.
Дымится влажная земля...
Ну, с лёгким паром вас, поля!

Будь вам во здравье та вода,
И вы, колхозы, будьте здоровы!
...Пасутся на лугах стада,
И влагой тяжелеют травы...

Перевод с еврейского Ел. Благиной.



Речь о высоких и светлых идеях.

И что ж?

Ты, позабыв о сегодняшнем голосовании,
К принципиальности, к честности всех призовёшь?
...Я возвращаюсь домой.

Уже в окнах соседних

Гаснут огни, и прохлада спускается с гор.

И ветерок

— благодушный такой собеседник —

Хочет услужливо переменить разговор.

Это ему не удастся, я знаю заранее.

В дом я вхожу, неотступные мысли гоня,

Нет, не закончилось тайное голосование.

Совість моя

голосует

против меня!

Перевод с армянского Веры Потаповой.



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Иной твердит с утра до вечера:
«Люблю, люблю!» — в который раз! —
Преуспевая в красноречии
И не жалея громких фраз.
Пусть пылки все его признания,
Пуускай и вправду он влюблён,
Но чем охотней и пространнее
При всех шумит об этом он,
Тем недоверчивее слушаю
(Надолго ли такой запал?),
Тревожусь, как бы чувства лучшие
Он под шумок не растрепал.

Другой — тот даже другу близкому
Всего не выскажет сперва
И жар своих признаний искренних
Не сразу облечёт в слова.
Он лишь улыбкою застенчивой,
Сиянием смущённых глаз
Расскажет о любимой женщине.
Но как правдив его рассказ!
И вспыхнет пламень, скрытый ранее,
Нас убеждая вновь и вновь —
Здесь не случайность, а призвание,
Здесь не влюблённость, а любовь.

Прости, что я стихов лирических
Тебе не много посвятил,
Но дело, право, не в количестве,
И не в словах — сердечный пыл.
А коль не в каждой строчке встретятся
Признаний жаркие слова,
Пусть между строк звенит и светится
Всё, чем душа моя жива.
Но если пышными речами я
Вдруг увлекусь — останови,
Вели молчать. Ведь и в молчании
Я весь — признание в любви.

В ДАЛЕКОМ АУЛЕ

В дагестанском далёком ауле
У друзей коротали мы ночь.
Облака на пороге уснули —
Видно, выше подняться невмочь.

Повлажневшие листья набрякли,
Птицы пили спросонок росу.
За открытыми окнами сакли
Где-то в бездне кипела Койсу.

Мы сидели в просторной кунацкой,
Где в коврах и кинжалах стена,
Запевая по-русски, по-лакски,
Подливая друг другу вина.

Уступая желанью хозяев
И достойно встречая восход,
Встал с бокалом Юсуп Хаппалаев,
Уроженец Кумухских высот.

По дорогам, где горное эхо
Грохотало машине вослед,
Он из города нынче приехал
В свой аул на побывку, поэт.

Над вершинной подоблачной ширью
Стих, вдвойне нам знакомый, возник —
Зазвучали и «Парус» и «Мцыри»
В переводе на лакский язык.

Те, что вышли дышать на терраску,
Сразу хлынули в комнату вновь,
Услышав, как бушует в кунацкой
Чья-то молодость, чья-то любовь.

А плечистый старик, что на свете
Прожил сто удивительных лет,
Произнёс: — Этот Лермонтов, дети,
Самый лучший кавказский поэт.

Затмевая горящую лампу,
Посветлело большое окно.
Нестареющей музыкой ямба
Было всё в этом доме полно,

Непривычным звучанием строчек,
Обаянием русских стихов.
Всё читал и читал переводчик,
Одаряя своих земляков.

В это время в просветах тумана,
За обрывистой кромкой тропы,
За скалою взметнулись внезапно
Ослепительные снопы.

Поднялись лучевые колонны,
И кремнистые камни зажглись.
Облака раздирая, над склоном
Воздвигалась прозрачная высь.

Всё опять возникало сначала
Между скал, над кипящей рекой.
Снова дальнее эхо звучало,
Повторяя строку за строкой.



Д. ГРАНИН

★

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Рассказ

Заносчивое упорство молодого инженера раздражало и в то же время странно привлекало Минаева. Ни на одно из требований Ольховский не соглашался. Нервными тонкими пальцами он поминутно хватал крышку чернильницы на столе у Минаева и водил ею по стеклу. Неприятный пронзительный скрип сливался с неприятным смыслом слов, произносимых Ольховским, и впечатлением от его статьи, такой же неприятно резкой. В сущности, статья больше всего раздражала своей неопровержимой правотой: Ольховский убедительно доказал неэкономичность новых двигателей конструкции академика Строева. Такую статью Минаев не мог разрешить печатать. Бесполезно было объяснять этому мальчишке, что критика академика Строева вызовет множество осложнений и в работе института и для самого Минаева, ещё не утверждённого в должности директора.

— Дружески прошу: выкиньте всё насчёт Строева, — мягко сказал Минаев. — И в критической части там тоже амортизация нужна, тогда легче будет напечатать.

Ольховский вскочил, бледное лицо его порозовело, маленькие руки сжались в кулаки.

— О чём же тогда будет моя статья? Ни о чём! — воскликнул он тонким голосом. — Поймите, ведь это поведёт к пережогу тысяч тонн горючего. Как же вы так... — Прямые брови его недоуменно поднялись. — Нет, нет, никаких переделок. Ни за что. Это же беспринципность!

«Молодец», — подумал Минаев. В позе Ольховского было что-то удивительно знакомое... И вдруг перед глазами Минаева возникла давняя, забытая сцена, когда он вот так же, сжимая кулаки, кричал звенящим ломким голосом... Были и у него когда-то лохматые волосы и на лацкане потрёпанного пиджачка такой же комсомольский значок. Воспоминание было трогательным, но оно никак не отразилось в притушенном взгляде его глаз, устало полуприкрытых тяжёлыми веками. Грузное, энергичное лицо его прочно хранило в углах губ ту неопределённость выражения, которую вольно было разгадывать по-всякому.

— Любите вы все брэнчать этим словом — принципиальность, — холодно сказал Минаев. — А вы попробуйте реализовать её. Заработайте-ка право и средства реализовать её. Да, товарищ Ольховский, — со злым удовлетворением повторил он, — осуществляйте, а не объявляйте. Ради этого приходится кое-чем жертвовать.

Ольховский наклонился над столом. Из-под лохматых волос на Минаева презрительно смотрели чёрные глаза.

— А вы как, Владимир Пахомович, добились вы уже права быть принципиальным?

Вопрос возмутил Минаева мальчишеской наглостью. Улыбнувшись той благодушно-дружелюбной улыбкой, которая выручала его в трудные минуты, он снисходительно сказал:

— Осторожнее, вы опрокинете чернильницу.

Ольховский покраснел и отодвинулся.

— Ну, вот видите, — продолжал Минаев, — важно во-время остановиться.

От этого разговора у Минаева осталось тягостное ощущение. Ладно, сейчас важно одно — приказ об утверждении, тогда можно будет помочь Ольховскому, тогда не страшен и Строев; перед кем угодно можно отстаивать своё мнение. Недостаточно иметь это самое мнение, к нему надо иметь ещё и соответствующее положение... Мысли эти привычно успокаивали, они услужливо появлялись всякий раз после неприятного выража.

Вскоре по поводу статьи Ольховского пришёл запрос, подписанный инструктором горкома партии Локтевым. К запросу было подколото письмо Ольховского. Прочитав письмо, Минаев рассердился: «...трусливая политика Минаева укрепляет строевскую аракачевищину... На такой должности пора позволить себе «роскошь» защищать своё мнение...» — молодкос, наглый мальчишка из породы умников!

Минаев сам написал ответ, лаконичный, корректный и в то же время убийственно-ядовитый, до отказа используя хорошо известную ему подозрительность Локтева. Ольховский предстал склочником, клеветником, отнимающим у людей время своими домогательствами, работа его — абсурдной, клеветнической. Местами получалось голословно, но Минаев знал: чем голословнее, тем убедительнее. Подписывая бумагу, он неловко царапнул пером, и от этого скрежещущего звука поморщился... Ну и что ж, не мог же он накануне свершения всех своих надежд рисковать из-за упрямства этого мальчишки. Ольховский сам вынуждает его писать такое. Ничего, ничего, потом он всё это исправит. И он присоединил дело Ольховского к серии дел, отложенных до назначения.

*
*
*

Петрищева, заместителя министра, Минаев глубоко уважал, и, вероятно, поэтому его приезд в институт не обрадовал Минаева. В присутствии Петрищева Минаев всегда испытывал непонятное и стесняющее чувство какой-то вины. Правда, это совершенно не нужное чувство несколько не мешало Минаеву улыбаться, шутить, порой его даже изумляло, с какой налаженной независимостью от него самого действовали мускулы его лица, голос, руки.

Минаев водил Петрищева по лабораториям, знакомил с тематикой их работы, выслушивал замечания, и хотя те же самые замечания Минаев сам высказывал своим подчинённым, тем не менее, просил референта записать их, считая, что такое внимание приятно Петрищеву.

В одной из лабораторий, показывая вибратор, Минаев увидел, как Ольховский протолкался к заместителю министра. Он был бледнее обыкновенного. Острый подбородок вздрагивал. Широко открытые чёрные глаза его смотрели с надеждой и страхом. Каждая минута ожидания убавляла решимость Ольховского, и, понимая это, Минаев включил установку. Воющий гуд фонтаном взметнулся к потолку и осыпался, затопив комнату плотным шумом. Минаев угрожающе посмотрел на Ольховского, пытаясь остановить его, показать, как не во-время он суётся со своей просьбой. Ведь осталось подождать всего какую-нибудь неделю. Эгонизм Ольховского возмутил его, но, когда Ольховский наконец заговорил, Минаев успокоился.

Вместо того чтобы сразу изложить суть дела, Ольховский, путаясь в длинных заготовленных фразах, начал про истоки консерватизма, систему ответственности, — никто не мог понять, чего он хочет. Во взгляде

заместителя министра Минаев поймал сочувственное внимание, и ему вдруг стало стыдно за Ольховского. «Ну чего он тянет, теоретик сопливый, балда, — мысленно выругался Минаев. — Какая бестолочь! Сейчас его прервут».

— Простите, — сказал Петрищев, — что, собственно, вы просите?

Ольховский растерянно умолк, продолжая беззвучно шевелить сухими губами. Минаев опустил глаза. Господи, какой неумелый мальчишка! Ольховский полез в карман, рывком выдернул затрёпанную на сгибах рукопись и стал совать её Петрищеву. Заместитель министра расправил свёрнутую рукопись, внутри лежал измятый, в табачных крошках рубль. Кто-то прыснул, заместитель министра не выдержал и, протягивая рубль Ольховскому, рассмеялся. И сразу кругом засмеялись. Ничего обидного в этом смехе не было, в таких случаях надо засмеяться вместе со всеми, пошутить, но Ольховский мучительно покраснел, нелепая застенчивая улыбка перекосила его лицо, казалось, он сейчас разрыдается.

— Я вас прошу, разберитесь сами, — быстро заговорил Ольховский с тем отчаянием, когда уже всё равно — осталась последняя минута и можно говорить всё. — А то вы пошлёте... Вот я Владимиру Пахомовичу...

— Обязательно разберёмся, — подчёркнуто спокойно и неторопливо сказал заместитель министра.

Когда вернулись в кабинет Минаева, Петрищев спросил, что за рукопись дал ему этот молодой инженер.

Раскрывать свои опасения относительно Строева было бы неразумно, поэтому Минаев начал так:

— Рукопись... — потом сделал паузу. — Пожалуй, лучше меня может оценить её начальник отдела, где работает Ольховский.

«Я не могу иначе», — оправдываясь, подумал он, заранее представляя всё, что произойдёт.

Начальник отдела отметил интересные методы расчёта, сделанного Ольховским, и тут же оговорился — нужна тщательная проверка, без зсей этой фронды, шумихи, жалоб, писем... Он старался ничем не повредить Минаеву и в то же время соблюсти объективность по отношению к Ольховскому.

— Вот уж никак не ожидал, что он такой скандалист, — удивился Петрищев.

— Я с ним учился в университете, — сказал референт Минаева. — Он всегда был какой-то... — Референт повертел пальцем у виска.

Минаев знал, что референт говорит так, потому что считает, что Минаев хочет, чтобы он говорил так, но всё же это было слишком.

— Есть, конечно, у нас такая категория, — сказал заместитель министра. — Строчат, требуют комиссии, идут на таран. А потом оказывается — форменный бред. Но есть люди, которых подводят под категорию бредоносцев... — Он нахмурился, вспоминая, очевидно, что-то своё.

— Как бы там ни было, самая проблема стоит того, чтобы ею заняться, — поспешно сказал Минаев с той грубоватой независимостью, которую Петрищев любил.

Петрищев согласился, как бы вручая ему судьбу рукописи. И хотя это доверие было приятно Минаеву, оно вызвало у него смутное чувство вины. Минаев успокаивал себя: никакого морального долга перед Петрищевым у него нет, Петрищев согласился вынужденно, не мог же он высказать недоверие к человеку, которого собрался утвердить директором. Ничего не поделаешь, вы заставляете, но и вас заставляют, такие обстоятельства пока что встречаются.

Теперь, когда вопрос был решён, ему вдруг стало жаль Ольховского. В сущности, Петрищева убедили, что Ольховский — скандалист и вредный чужак. Это нехорошо. Губим парня только за то, что он так неумело отстаивает свою правду. Так нельзя.

С каким удовольствием он отшвырнул бы к чёрту всякие свои расчёты и соображения и сказал бы всё, что думает. Но губы его оставались твёрдо сжатыми; сидя в кресле, он слушал рассуждения заместителя министра, и грузное лицо его изображало невозмутимое внимание.

* * *

Став директором, Минаев за ворохом новых дел забыл про Ольховского, и лишь запрос из главка напомнил ему эту историю. К запросу опять было приложено письмо Ольховского — ожесточённо и неумело он продолжал свою безнадёжную борьбу. По своему простодушию Ольховский пренебрегал пишущей машинкой, и поэтому даже внешний вид этих писем, на листках ученической тетрадки, исписанных детски круглым почерком, настраивал читателя несерьёзно.

Первые абзацы Ольховский выводил тщательно, затем буквы ложились всё более косо, строчки торопливо загибались, и Минаев был уверен, что никто, кроме него, не дочитал этого письма.

С яростной наивностью Ольховский обрушивался на систему публикации научных работ. «У нас воцарилась пагубная «ответственность с одного бока», — писал он, — какой смысл печатать острую или спорную научную статью, за неё может нагореть, придётся отвечать, а отклони эту статью — и никто тебя к ответу не притянет...»

«Подмечено правильно», — думал Минаев. Судя по всему, парень старался добраться до сути вещей. Ольховского возмущала уже не столько судьба его собственной работы, сколько природа той вязкой, непробиваемой преграды, на которую он наткнулся впервые в жизни. Гнев делал его мысли более зрелыми и глубокими. С раскаянием Минаев улавливал в них нотки озлобления и порой отчаяния. Он медлил отвечать в главк, собираясь на досуге продумать способ как-то помочь Ольховскому. Выработанное годами чутьё удерживало его от преждевременного выступления против Строева. Следует укрепиться... Доводы эти удивили Минаева — вот наконец он стал директором, и, выходит, ничего не изменилось...

На партийном собрании Ольховский выступил с критикой инструктора горкома Локтева — за полное непонимание характера научной работы, за «трупное равнодушие к живой мысли...» Безрассудство Ольховского встревожило Минаева — всё, что говорил Ольховский, было правдой, только Ольховский не учитывал, что именно в силу своей бездарности Локтев не оставлял безнаказанным ни одного выступления против себя. Рано или поздно он находил удобный момент подставить ножку, нашёптывал, распространял слухи, не гнушался никакими средствами.

Слыша, как Ольховский бесстрашно атакует явно сильнеешего противника, Минаев испытывал жалость и сочувствие. Он даже досадливо крикнул: жаль-то жаль, а пособить вроде и нечем. Слишком далеко в своей борьбе зашёл Ольховский, открыто поддержать его — означало вступить в конфликт со многими влиятельными людьми. В глубине души Минаев остро завидовал безоглядной свободе Ольховского — терять ему было нечего, расчётливость, вероятно, казалась ему малодушием, а терпение — слабостью.

На следующий день после собрания Минаев положил запрос и письмо Ольховского в папку — «референту, для ответа». Вечером референт, гладко причёсанный молодой человек с бледножёлтым лицом, в очках с такой же бледножёлтой оправой, бесшумно ступая на толстых каучуковых подошвах, вошёл в кабинет и дал ему на подпись бумагу, отпечатанную на бланке с красивым штампом института. Туманно доброжелательный стиль ответа лишал всякого повода к протесту и оставлял право тянуть с решением неопределённо долго.

Минаев с любопытством посмотрел из-под усталых полуприкрытых век в бесстрастное лицо референта.

— Какого вы мнения об Ольховском? Всё же он способный парень?

— Да,— сказал референт, наклонив гладко причёсанную голову,— он способный.

«А что бы ты, друг любезный, написал, сидя в моём кресле?» — хотелось спросить Минаеву. Но он умел разбираться в людях и поэтому сказал, сохраняя вопросительную интонацию:

— Сейчас-то вам просто, а будь вы на месте академика Строева...

Впервые Минаев увидел, как его референт оживился и как-то по-молодому лихо почесал голову, нарушив блестящий пробор.

— Владимир Пахомович, я бы напечатал не задумываясь... Ведь такая экономия...

— Ага, почему же вы готовите мне такие ответы,— быстро спросил Минаев,— ведь это расходится с вашим мнением? Почему вы поступаете, как Молчалин?

Референт медленно, с силой пригладил растрёпанные волосы.

— Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным,— и он твёрдо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся Минаев. Вынув из стаканчика толстый синий карандаш, он размашисто подписал бумагу.

Ольховский больше ни разу не обращался к Минаеву. Несколько раз Минаев встречал его в коридорах института, Ольховский проходил, угрюмо опустив голову, длинные руки его висели, словно чужие. Минаева тянуло остановить его, поговорить по душам, кое-что посоветовать, надо набраться терпения, вот скоро Минаев поедет на коллегию министерства, там будет случай кое с кем потолковать... Но он чувствовал, что Ольховский не поймёт его, и это было обидно: Минаеву хотелось доказать, что он не виноват, что от него зависит немного.

Накануне отъезда на коллегию Минаева вызвали в горком. Он знал, что Локтев добивается увольнения Ольховского. В конце концов, кто такой Локтев? Всего лишь инструктор горкома. Какое он имеет право вмешиваться в мои дела? Если бы нужно было уволить Ольховского, я бы сам это сделал. С какой стати я должен потакать мелкому уязвлённому самолюбию этого деятеля? Нет, хватит. Локтев мне не начальник, и не ему мною командовать. Другое дело, если бы секретарь горкома, а то инструктор! Вышел я из того возраста, товарищ Локтев, да и положение не то... Так он и скажет: и положение не то — более чем ясно. Он мысленно повторил последнюю фразу — многозначительно, с лёгкой усмешкой. Подъезжая к зданию горкома, он машинально провёл рукой по гладко выбритому подбородку, поправил галстук и тут же спохватился, негодуя на себя за этот привычный жест. Довольно, пришла пора, когда он может позволить себе самостоятельность, он ничем не хуже других директоров. Особенно в этом случае он может, он должен вывести Локтева на чистую воду. Поднимаясь по широкой лестнице горкома, идя по просторному длинному коридору, Минаев высоко поднимал голову, в чертах его грузного лица вместо привычной затаённости проступала жёсткая решимость.

* * *

Он вышел из горкома через час. Начинался дождь. Мелкие капли покрыли рябью асфальт. Минаев долго стоял возле машины. Бесчисленные влажные крапинки вспыхивали на сером асфальте. Капли падали на летнее пальто Минаева, он ощущал плечами их лёгкую дробь.

— Садитесь, Владимир Пахомович,— сказал шофёр.

Минаев поднял голову, удивлённо посмотрел на него.

— Вы поезжайте,— сказал он и захлопнул дверцу машины.

«Зим» отъехал, место его стоянки чётко отпечталось на асфальте. Минаев смотрел, как дождевые капли пятнали светлый сухой прямоугольник.

— Поезжайте,— повторил он, прислушиваясь к своему голосу.

Он пошёл вперёд. Куда бы он ни шёл, это всё равно считается вперёд. Он мог итти к площади, мог свернуть на набережную. Единственное, что он не мог, это вернуться в горком. Что бы он себе ни говорил, как бы он себя ни убеждал... Редко выпадали в его жизни случаи, когда ему приходилось оглядываться на самого себя. Нет, не то: о себе он думал достаточно, он старался предусмотреть каждый свой поступок, контролировал свои слова, но думать о том, почему он делал так, а не иначе, ему было некогда. Начинается тягостная психология... Натренированная ловкость, с которой он и сейчас увлекал себя прочь от опасных размышлений, позабавила его. «А что произошло в горкоме?» — неожиданно в упор спросил он себя. Локтев грубо и откровенно предложил перевести Ольховского на опытную станцию в Николаев. Слушая Локтева, он спрашивал себя, по какому праву этот серый недоучка, туповатый чиновник, с мертвенным, каким-то прошлогодним лицом, никогда ничего не создавший и не способный создать, сидит здесь и распоряжается судьбами таких людей, как Ольховский. И даже для вида не спросил про строевские двигатели, в чём тут суть проблемы,— плевать ему на это! Он был твёрдо уверен, что Минаев сделает так, как хочет он, Локтев. Откуда взялась у него эта гнусная уверенность?

По реке густо шёл последний лёд. Местами река была вся белая, как замёрзшая. Льдины напоздали на гранитные быки моста и мягко трескались, угловатые обломки, кружась, исчезали в пролётах. Перегибаясь через перила моста, Минаев смотрел вниз. Казалось, льдины стоят на месте, а движется мост. От чёрной воды тянуло холодом, искристые длинные кристаллы льда звенели, ломаясь о гранит, и, мерцая, уходили под воду. Сделав над собой усилие, Минаев оттолкнулся от перил. В груди у него закололо, и сразу стало жарко. Сняв шляпу, он рукавом вытер пот. Холодные капли дождя обжигали горячую кожу.

Он почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший лысый мужчина, с отёчным лицом, идёт по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как быстро он состарился! Когда же это случилось? Он, Володя Минаев, запевала школьного хора, секретарь факультетской ячейки... Ему вдруг стало страшно — неужели он уже старик?

С пугающей явственностью возник перед ним Володя Минаев, яркоглазый, с тонкой цыплячьей шеей, таким, каким он пришёл на Сельхозмаш. Ты помнишь ту историю с подвеской мотора? Пожалуй, с этого началось? Он помнил. Начальник цеха сказал ему: «Тебе, Минаев, ещё рано высовываться. Куда ты лезешь со своими силёнками против главного конструктора? Он тебе всё будущее закроет. Что ты есть? Мастер. Таких глотают не разжёвывая». Он помнил своё унижительное бессилие, когда главный конструктор, прихлёбывая чай, выслушал его страстную речь и сказал, умышленно перевирая фамилию: «Послушайте, вы, Линяев, если вы сунетесь ещё раз с этим абсурдом, я вас выкину с завода. Идите». Вместе с друзьями он ещё пробовал сопротивляться, ходил, доказывал. Всё было напрасно. Они могли убить на эту безнадежную борьбу три, пять... десять лет и ничего бы не добились. Их было трое. Сперва уволили с завода одного, потом другого. Очередь была за Минаевым. Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов. Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя терпеть и молчать. Во имя того дня,

когда он сможет сделать то, что надо. Он поклялся себе — всё стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал «за», когда совесть его требовала голосовать против. Он говорил слова, которым не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось совсем нестерпимо, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас. Не в должности начальника цеха и не начальником техотдела и не главным инженером завода. И не на защите диссертации. Ещё рано. Всякий раз было ещё рано! А список его долгов рос. Жизнь рождала новые идеи, сталкивала с новыми препятствиями. Сколько таких Ольховских осталось позади!.. Неустанно, как муравей, он возводил здание своего положения, стараясь сделать его ещё крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше он становился самим собой. Тем труднее было ему рискнуть. Что мешало ему? Почему другие могли?.. Почему Петрищев мог, — его несправедливо наказывали, понижали, снимали, а он всегда шёл напролом, своим путём и побеждал? Нет, ему, Минаеву, ничего не мешало, просто так ему было легче. Он считал, что так легче. И когда Локтев, помахивая копией его ответа на запрос горкома, упрекнул его в двоедушии — «пишешь одно, а говоришь другое, что ж, прикажешь докладывать секретарю?» — он понял, что Локтеву нечего стесняться, он имеет право быть откровенным, и сейчас надо уступить, так легче.

Всё то, что предлагал Локтев, было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел. Локтев и Ольховский. Все остальные люди, связанные с этим делом, — все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по-своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать.

«Какой подлец! — с ненавистью думал он, глядя в пустые глаза Локтева. — Гнать его в шею из горкома! Не то что из горкома, из партии надо гнать таких. Злобное ничтожество. Ведь если его выгнать отсюда, его даже завмагом не возьмут». Чем сильнее он ненавидел и презирал Локтева, тем спокойнее он отговаривал его, а когда Локтев стал настаивать и угрожать, он попросил отложить вопрос на несколько дней. Трезво оценив всю сумму неприятностей, которую способен причинить ему Локтев, он надеялся в Москве заручиться поддержкой.

— Только ты не тяни, — сказал Локтев, прощаясь. — Сам писал, что Ольховский — склочник. Надо очищать институт, оздоравливать атмосферу.

«Ах, какая сволочь!» — подумал Минаев и крепко пожал руку Локтева.

В Москве, на коллегии, институту досталось за невыполнение плана, и хотя в большинстве претензий виновато было само министерство, возражать не имело смысла, поскольку Минаева считали человеком новым, и все упреки списывались на прежнее руководство. Зато благодаря такой тактике Минаеву удалось выпросить дефицитное оборудование. В этом щекотливом вопросе просьбу института поддержал академик Строев, и после этого Минаеву было неудобно заговаривать о деле Ольховского. Суматоха московской командировки отеснила это дело, ставшее здесь, в Москве, каким-то маленьким, и всплыло в памяти оно только в поезде, когда Минаев остался один в купе полупустого спального вагона. Виноват, наверное, был дождь. Он начался незаметно, покрывая окно косыми мелкими блёсками. Крохотные капли зигзагами пробирались вниз, вбирали в себя накрапы, сливались такими же каплями и рывками всё быстрее скользили вниз. Вспомнив обещание, данное Локтеву, Минаев вздохнул — вероятно, он там рвёт и мечет, ничего не поделаешь, придётся переводить Ольховского в Николаев. Времени, пока улягутся страсти.

На фоне густой черноты ночи двойное зеркальное стекло отразило грузную фигуру в полосатой пижаме, отёчное лицо с папиросой в углу твёрдо сжатого рта и ещё одну, более смутную фигуру всю в блёстках дсжда. Папиросный дым, касаясь холодного стекла, стлался сизыми лънущими завитками. Сквозь них, из чёрной глубины окна, там, за вагоном, на Минаева смотрел тот, молодой, в намокшей кепке, в потёртом пиджачке студенческих времён. Струйки воды стекали по его бледным щекам, по тонкой цыплячьей шее. «Вот видишь, ты опять откладываешь, чепуховая ты личность. Просто жалко смотреть на тебя». — «Надо считаться с реальными обстоятельствами, легко фантазировать, не зная жизни, а я изучил её». — «Ты обещал стать самим собой. Вот, мол, назначат директором, вот укреплюсь, а теперь...» — «Наивный мальчик! Как будто директор это бог. Если бы я работал в министерстве, тогда бы я не зависел от Локтева. Я смог бы...» — «Подумаешь — Локтев, плевать тебе на его угрозы, надо было пойти к секретарю горкома, в ЦК». — «Я честно делал и делаю всё, что могу. И с Ольховским тоже всё обойдётся, верну его». — «Нет, ты предал не только своих друзей, тогда и не только Ольховского, ты предал меня, свою молодость. Как я мог поверить тебе?» — «Это громкие слова, терпеть не могу громких слов. Если я сейчас уступаю, так это только для того, чтобы иметь возможность помочь не одному Ольховскому. На моих плечах большой институт, и там я могу поддержать десятки таких, как Ольховский...» .

И был ещё третий Минаев, который слушал, как старый ловко успокаивал молодого, уверенно доказывая неизбежность случившегося, обещая помочь Ольховскому, как только сложится нужное обстоятельство, и который знал, что никогда этого не будет. Он всегда будет хитрить с самим собой, вести эту бесконечную игру, не имея сил вырваться из плена собственного двоедушия. У него всегда будут оправдания. Он всегда будет стремиться стать честным завтра...

Сизые волокна дыма затуманивали мокрое лицо там, за стеклом, оно уплывало в черноту ночи вместе с прошлым. Куда уходит прожитое? Единственное, что осталось, — это ощущение ожидания, казалось, все эти годы были заполнены бесконечным ожиданием.

Утром на вокзале Минаева встречал референт. Несторопливо одеваясь, Минаев выслушивал институтские новости.

— Да, кстати, — спросил он, — Локтев, из горкома, не звонил?

— Звонил несколько раз.

— Понятно, — сказал Минаев.

Они медленно двигались в толпе по перрону, мимо вагона, в котором приехал Минаев. Он посмотрел на окно своего купе. Запылённые стёкла ничего не отражали, сквозь них в сумрачной глубине были видны смятая постель и грязная пепельница, полная окурков.



В. ФИРСОВ

★

ВОЙНА

Уже гремел салют побед
Над торжествующей страной,
Уже войны по сути нет.
Нет?.. Но она жила с тобою.
Она сидела за столом,
Где крошки хлеба не отыщешь,
Она входила в каждый дом
И сторожила пепелища.
Она, где инвалид без ног,
Стыдясь, просил кусочек хлеба,
Ползла, не разобрав дорог,
Под русским потемневшим небом.
Она за гробом гроб несла
Под плач детей к сырой могиле.
Она хозяйкою была,
Она жила, она жила, —
Но мы её похоронили.

О ЛИСТЬЯХ

Всегда листва по-своему шуршит:
Весной, совсем усталости не зная,
Она минуты не живёт в тиши,
Она звенит, поскольку молодая...

А летом глуше слышен шум её,
Ведь молодость ушла с весенним громом.
Она уже по-новому поёт
И думает о жизни по-иному...

А осень принесёт крутые дни,
И листья загрузят и пожелтеют:
С глухим ворчаньем упадут они
И на земле под утро поседеют...

Придёт зима, и вслед за ней — весна,
И от ручьёв, искрящихся под солнцем,
Пробудится уснувшая Десна...
И вновь знакомый шорох донесётся.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИВАН ФРАНКО

★

СТИХОТВОРЕНИЯ

В августе 1956 года исполняется сто лет со дня рождения Ивана Франко — одного из величайших писателей украинского народа. Даже неполный библиографический список произведений Ивана Франко включает в себе свыше четырёх тысяч номеров. Франко был одинаково самобытен и как поэт, и как прозаик, и как драматург, теоретик литературы, общественный деятель. Поэт-гражданин, он всё своё творчество посвятил борьбе за раскрепощение обездоленного и угнетённого украинского народа. «Разнообразие тем, сюжетов, мотивов, настроений в творчестве Франко поистине изумительно,— писал Максим Рыльский.— Мы видим у него и страстные, глубоко напряжённые и предельно искренние стихи на гражданские мотивы, и неподражаемые по простоте бытовые зарисовки, и острые, в гейневской манере сделанные сатиры, и мягкие, тёплые идиллии, и полные отчаяния страницы «Увядших листьев», и своеобразные разработки библейских, средневековых, древнерусских, древнеиндийских, древнеавилонских сюжетов».

Юбилей Ивана Франко, революционера-демократа, по решению Всемирного Совета Мира отмечается во всех странах.

Ниже мы печатаем стихи Франко, на русский язык переводящиеся впервые.

МАЙСКИЕ ЭЛЕГИИ

1

Ты меня мучишь, весна! Рассыпаешься блёстками солнца,
Тёплым дыханьем пойшь, манишь в простор голубой!
Лёгкие шарики туч погоняя по ясному небу,
Шёлковой пряжей из них дождик струишь на поля.
Горсточку серой земли ты подбросишь, играя, на воздух —
В воздухе вмиг из неё птичья рассыплется трель.
Криком своих журавлей ты наводишь сердечную смуту,
Сон о привольных краях — счастье далёком моём.
Ты лебединым крылом поднимаешь хрустальные волны —
Слышу их радостный плеск в даях лазурной реки.
Вижу, как чайкою ты над глубокой трепещешь воюю,
Как над широким Днестром гнёшься упругой лозой.
Ты меня мучишь, весна! Миллионами красок и линий,
Всё своим видом кричишь: «Воля, движение, жизнь!»
Словно былинку, меня увлекаешь ты в эту стремнину,
Новые чувства родишь в сердце увядшем моём.
Ты освещаешь пустырь и бесплодные будишь желанья,
Нежно качаешь в ветвях птички пустое гнездо;
Голову низко склонив, раздуваешь погасшее пламя,
Посвистом в рощу зовёшь, словно мой друг молодой.
Нет, уж не мне там гулять, в этой роше, любимый мой сокол!
Зайцем весёлым не мне в яркую зелень нырять!
Сердце трепещет ещё и в груди ещё кровь не остыла,

Но под конец моих лет тягостно жизни ярмо.
 Грѣз безрассудных табун по ширскому носится полю,
 Гривы по ветру,— и ржѣт, звонко копытами бѣт.
 О эти грѣзы мои, легкокрылые пѣстрые дети,—
 Надобно твёрдой рукой их за поводья держать.
 Миг лишь — и посвист бича и жестокое слово: «На место!»
 К делу! И чары ушли... Ты меня мучишь, весна!

2

Видел рисуночек я и забыл уже, где его видел,
 Чей он, я тоже забыл,— Беклина иль Мейсонье.
 Лѣгкая ракушка там на четвѣрке кузнечиков мчится,
 Два шаловливых божка правят жемчужным возком.
 Пурпуром, златом светясь, темносиним сапфиром сверкая,
 Ввысь от земли устремлѣн, праздничный стелется путь.
 Тут же и поле внизу, прошлогодним бурьяном покрыто,
 Пара измученных кляч тянет там плуг за собой.
 Пóтом и пылью покрыт, всюю грудью на плуг налегая,
 Тащится следом за ним сгорбленный пахарь-бедняк.
 Но уж амуры его за одежду, смеясь, ухватили,
 Тянут, влекут и зовут в свой быстрокрылый возок.
 С ужасом смотрит бедняк на свою сиротливую ниву,
 На лошаде́нок своих и на мозоли свои,
 А уж нога поднялась и не слушает больше рассудка,
 Глупая, то и гляди вступит в жемчужный возок.
 Вот экипаж твой, весна! Ты одна виновата, коль сердце
 Снова, не внемля уму, с верной доро́ги свернѣт.
 Видно, пленилось оно светозарным полѣтом Икара,
 Словно забыло оно, чем он окончил — Икар!

3

Нет, боженята, уж вы в провожатые мѣ не годитесь:
 Слишком уж вы горячи, слишком вы скоры в езде.
 Слишком в вас страсти кипят: на минуту засветится пламя,
 Вам же в уплату за то бурю и гром подавай.
 Слишком, голубчики, вы патетичны и слишком, пожалуй,
 Замкнуты в собственном «я». Разве мне это к лицу!
 Я ведь бывалый моряк — каковы эти громы и бури
 Знаю довольно! Пускай ищет себе их Зевес!
 Чтó в этом собственном «я» человечество часто скрывает —
 Где-то глубоко на дне,— знаю, голубчики, я:
 Тени утраченных грѣз и стремлений напрасных осколки,
 Мелких желаний следы, трупы разбитых надежд.
 Там же вдобавок живут слизняки самолюбыя, медузы
 Зависти, черви злодейств, кефалоподы вражды.
 Нет, боженята, не вас в провожатые я приглашаю,
 Пусть меня солнце ведѣт, ясность и радостный смех.
 Пусть уж какой-нибудь дед, смехотворец, старик бородатый,
 Гонит упряжку мою — юмор, сияющий нам.
 Некуда нам поспешать — не уйдѣт от нас яма-могила,
 Некого нам проклинать, некому слать нам укор.
 Страсти уж в нас улеглись, скороспелки иллюзий остыли,
 Зажили раны судьбы, шрамы лишь только болят.
 Но из житейской борьбы мы не вышли калеками: сердце
 Не разучилось любить, искры не тухнут в глазах.

Ну-ка, дедусь, натяни лучезарные эти поводья,
 Пусть романтизма возок в край реализма махнёт!
 Солнышком майским пускай наше слово вокруг заиграет,
 Горести майским дождём вновь упадут на поля.
 Наша любовь, словно май, пусть же греет она и голубит,
 Гнев наш пусть будет как гром, уничтожающий мразь,
 Но не к лицу нам вражда и не к лицу нам неверье —
 Пусть вместо скорби звенит смех, орошённый слезой!

4

Быстро исчезли снега, растопила оковы мороза
 Речка и вниз понесла — шум половодья вокруг.
 Мёрзлая шкура земли отопрелась, и шёлковой шерстью
 Солнце одело её, сладко смеясь в вышине.
 Ожил и лес, и хотя ещё голыми машет ветвями,
 Но уже, полные сил, почки набухли на них.
 Только в селеньях зима полновластная правит: не слышно
 Радостных криков детей и понуканий крестьян.
 Мокро ещё на полях, для скотины не видно поживы;
 В стойлах скотинка стоит, с горя солому жуёт;
 Дети у окон сидят, побледнели они и ослабли,
 Только глазёнки горят, словно во тьме угольки.
 Грустно из окон глядят на дорогу печальные дети,
 Молча пытаются они, скоро ли высохнет грязь?
 Солнце, когда ж ты осушишь поля, и луга, и овраги?
 С треском бутоны раскрыв, выпустишь гладыша цвет?
 Солнце смеётся, и небо смеётся лазурью и манит —
 Бедных из хаты на свет манит коварно детей.
 Вот в рубашонках одних выбегают на улицу дети,
 Небу и солнцу несут светлую стаю надежд.
 Но ещё тянет с горы ледяное дыхание ветра —
 Злобное жало зны тщётно скрывает весна.
 Жалкие тельца детей, измождённых сиденьем за печкой,
 Голодом и духотой наглухо замкнутых хат,
 Клонятся, стонут, дрожат под дыханием злобного ветра
 И исчезают опять, окоченевшие вмиг.
 Личики стали бледней, посинели и руки и ноги,
 Только головка горит, только пылают глаза.
 Ночью же новость в селе: ковыляют от хаты до хаты
 Горе и скорбь: дифтерит, тиф, скарлатина, коклюш.

5

Вот уж исчезла с горы снеговая блестящая шапка —
 Победоносец Егор злого дракона сразил.
 Шепчут в стодоле кусты и с зелёных лугов под застрехи
 Ласточки, строя гнездо, в клювиках глину несут.
 Вышла скотина на луг, босоногие бегают дети —
 Те, что весной дифтерит чудом смогли одолеть.
 Медленно, как муравьи, разрывая разбухшую землю,
 Лезут коняки, с трудом тягостный плуг волоча.
 Ныне впервые и я, уплатив свою дань нездоровью,
 Вышел на свет и едва ноги мои волочу.
 Кругом идёт голова, и трясутся колени и руки,
 Словно сквозь сито гляжу на воскресающий мир.

Но как целебный бальзам, расцветающей жизни дыханье
Льётся в усталую грудь и воскрешает меня.
И в изнемогшей душе — изнемогшей при виде болезней,
Горя и слёз — что досель русским зовётся селом —
Снова растёт теплота, и встречаешь, как братьев родимых,
Всех, кто живёт на земле, любишь и пестуешь их...

.....
*Перевод с украинского
Н. Забслоцкого.*

ПРИТЧА О ПОДЛИННОЙ ЦЕННОСТИ

Асока, царь премудрый, милосердный,
К совету призывать имел обычай
Отшельников, пустынников, аскетов
И со вниманием их слушал речи.

Да было не по вкусу генералам,
Советникам, вельможам и министрам
Сидеть в одном ряду со всякой голью.
И стали на царя они роптать.

Однажды царь поставил перед ними
Два ларца. Первый, чисто золотой,
Сверкал камнями весь дорогими;
Второй же был из дерева простого
И чёрною смолою осмолённый.

И молвил царь: «Скажите мне, министры,
Какой из этих ларцев драгоценней?»

И все согласно отвечали так:
«Конечно, драгоценней — золотой!
Как можно даже сравнивать, владыка,
Его с тем, осмолённым, чёрным ларцем!»

Тогда царь повелел открыть их оба,
И что же? В золотом лежала падаль,
Такая смрадная, что поневоле
Все стали зажимать скорей носы.

А в чёрном ларце жемчуга лежали
Чудесные, камения дорогие
И благовонья редкие. И крайне
Все изумились царские вельможи.

А царь сказал им так: «Ну, что ж, друзья,
Какой теперь, по-вашему, ценнее?»

И, строго поглядев на них, сказал:
«Тот золотой ларец — он с вами сходен!
Снаружи — благолепие и роскошь,
Внутри — гнилые распри и измена.

А этот, чёрный,— те анахореты,
Те нищие, аскеты, богомольцы,
Что отrekliсь от внешней красоты,
Зато из душ своих повырывали
И ненависть и зависть, как бурьян,
А опытом и размышленьем мудрым
Свой прояснили ум подобно солнцу».

Вот вам наука, золотые ларцы:
Не презирайте тех простых и чёрных,
В которых, может быть, в тиши таятся
И благовония и драгоценный жемчуг.

*Перевод с украинского
Леонида Хинкулова.*



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

В КИТАЕ

В марте—мае 1955 года советские писатели Ванда Василевская и Александр Корнейчук по приглашению Китайского Комитета защиты мира побывали в Китайской Народной Республике.

Ниже мы публикуем очерки Ванды Василевской о новом Китае.

На пороге.

В же остался позади Отпор — наш пограничный пункт, и скоро поезд останавливается снова. Станция Маньчжурия. Продолжительная стоянка. С бьющимся сердцем выходим из поезда. Это уже Китай.

Девушка с блестящими чёрными косами, молодые парни в ватных куртках приглашают нас в зал ожидания. Жестами просят сесть за длинный стол, кладут перед нами и раскрывают журналы. «Москва, Москва», — по многу раз повторяют они известное им слово, которое мы безусловно должны понять, и показывают нам прекрасные фотографии Москвы в китайском журнале. Симпатичный паренёк в шапке, чем-то напоминающей нашу «будёновку», во что бы то ни стало старается заинтересовать меня журналом. «Руска», — твердит он, показывая на снимок, а потом: «Девочка, девочка», — словно боится, что я не пойму, кто изображён на нём. «А это наоборот», — говорит паренёк и показывает играющего на снегу мальчика. Его запас русских слов, как видно, исчерпан. Запас китайских слов — мой и Корнейчука — просто никакой, так что наш дружеский разговор ограничивается улыбками, кивками, бесконечным повторением «Москва, Москва».

Нам предлагают кипяток из стоящего на столе самовара, хлопчут. Не знаю, кто эти молодые ребята — наверно, члены Союза демократической молодёжи. Но работают ли они на станции постоянно или же только приходят сюда встречать иностранцев, выполняя общественные поручения, понять трудно. А может, ни то, ни другое — просто местные жители и хотят оказать гостеприимство советским людям.

С первого же момента пребывания на китайской земле мы попадаем в какую-то тёплую, сердечную атмосферу, и она сопутствует нам всё время нашей поездки по стране. Встретившая нас улыбка молодёжи была как бы предвестницей всех тех добрых, дружественных улыбок, которыми так щедро одарил нас Китай.

Здесь же, на станции Маньчжурия, сами ещё того не подозревая, мы познакомились с той так пришедшейся нам по сердцу великолепной китайской организованностью, которую мы встречали буквально на каждом шагу. Работники Советского Комитета защиты мира — пожелаем им всяческих благ, — помогая нам устроить дела, связанные с поездкой в Китай, помнили обо всём, но забыли об одной мелочи — сообщить кому-нибудь в тот же Китай, что мы выехали. А ведь можно было очутиться в Пекине в довольно затруднительном положении. Но — мы в Китае! И хотя нас никто ни о чём не спрашивал, потом обнаружилось, что в Пекин сообщили, и когда мы пересекли границу, и каким поездом, и в каком вагоне едем. Поэтому нас и встречали на пекинском вокзале.

Вот это и есть та самая китайская предупредительность или вежливость, как хотите, не назойливая, не бросающаяся в глаза, не кричащая. Всё происходит как-то так, что вы в сущности ничего не замечаете, но повсюду вас окружают внимание, забота, доброжелательство, ваши желания выполняются, едва вы успеваете их высказать, словно читают ваши мысли.

Но это и китайская организованность — она тоже не подчёркнутая, всё совершается без шума, без командования, без долгих разговоров, но всё идёт, как по часам. Срок — это срок, точность — это точность до минуты, обещание — это уже его исполнение, порядок — это порядок в мельчайших деталях. Ничего не приходится ждать, никто ни о чём не забывает. Достаточно было мне перед поездкой на конференцию в Дели заметить невзначай в разговоре с переводчиком, что было бы интересно потолковать с китайским поваром, как после трёхнедельного отсутствия при встрече на аэродроме в Пекине он тут же сообщил мне:

— Повар гостиницы «Пекин» просил передать, что он в вашем распоряжении и ждёт, когда вы назначите время для разговора.

Но об этом ещё будет речь впереди. Пока же мы только едем. Снова садимся в поезд. Обслуживающий персонал теперь китайский, наш вагон-ресторан отцеплен, вместо него — китайский. Вечером с любопытством изучаем меню. Здесь есть европейские блюда и есть китайские. Названия блюд на двух языках — китайском и русском. Читаем: «Суп разным по-русски», «Суп набора с курицей». Нет, это нас не интересует. Переходим к списку китайских блюд. «Томительная курица с перцами». Это уже заслуживает внимания. «Устрица с яичницами и мясом», «Трепанги в соке».

Останавливаемся на трепангах и едим их в полной уверенности, что приобщились к китайской кухне. Искося поглядываем, как рядом за столиком наши соседи ловко орудут палочками, и боремся с соблазном, чтобы не попросить себе такие же. Но лучше научиться пользоваться ими сначала без свидетелей, иначе, пожалуй, осрамишься.

Итак, едим трепангов вилкой и не подозреваем, что, пожелав съесть настоящий китайский ужин, мы должны были бы заказать и эту «томительную курицу» и ещё множество других блюд. Одновременно наблюдаем за персоналом вагона-ресторана. Кругом образцовая чистота. Еду подадут с молниеносной быстротой, бесшумно, ловко, без суеты, без окриков, без задержки. Всё это похоже на скатерть-самобранку. Наш попутчик, возвращающийся после отпуска советник в Китае, предупреждает нас:

— Только никаких чаевых! Смертельно обидите людей.

Нас обслуживает очень милый мальчик. Долго спорим, сколько ему лет. Четырнадцать? Пятнадцать? Наконец решаемся спросить, жестами, разумеется. Оказывается, мальчику двадцать четыре. Это только начало тех ошибок, какие будут так часто случаться с нами в Китае. Сперва все китайцы кажутся нам удивительно молодыми. Только спустя некоторое время начинаем различать, кто юноша, а кто зрелый человек. Хотя всегда, определяя возраст, ошибались и причём всегда уменьшали годы. Зная понаслышке, что в Китае считается комплиментом сказать кому-нибудь, что он выглядит солидно, и невежливостью — подчёркивание молодости, мы вначале постоянно опасаясь, что не угадаем и допустим бестактность. Но скоро узнаём, что подобные комплименты уже вышли из обихода так же, как обычай бинтовать ноги у женщин и другие старинные обычаи.

Ложимся спать, досадуя, что ночь отнимает у нас китайскую землю, мелькающую за окнами поезда. Зато с раннего утра следующего дня стоим у окон, не отрывая глаз, приплюснув носы к стеклам.

Слегка волнистая равнина, возделанные поля, селения с глинобитными домиками. Везут воз кукурузных стеблей лошади, запряжённые не парами, как у нас, а цугом. Плетутся волю в ярме, совсем как на юге Украины, только здешние возы-арбы — двухколёсные. Вдоль полотна, пониже насыпи, вьётся дорога. Шагают дети с сумками через плечо — видно, идут в школу.

На тропе пять или шесть верблюдов. Ступают медленно, важно, покачиваясь. Их головы на изогнутых шеях посажены как-то так, что придают им не только гордый, но и презрительный вид.

Домики похожи на домики нашей Херсонщины. И здесь, видно, дуют сильные ветры, потому что на крышах лежат камни, прижимая соломенные стрехи. **Кирпичный завод,**

вокруг — штабели кирпича. Степь везде вспахана. Большие поля и совсем крохотные. Снега уже нет, хотя сейчас только первые дни марта. Лишь чуть-чуть белеет он кое-где в оврагах и балках. Зато пыль какая! Земля тёмная, почти чёрная.

У дороги режутся две собачки. Приглядываемся. Оказывается, вовсе не собачки, а две свинки, чёрные, лохматые, как пудели, с короткими мордами. Медленно движется караван высоко нагружённых арб, тянут их ослики с разноцветными флажками на загривках. Всюду на полях кучи навоза.

На станциях образцовый порядок. Много складов, напоминающих негритянские хижины, — круглых, как цилиндр, с соломенными или тростниковыми крышами. Грузы везде аккуратно сложены и прикрыты брезентом или льновками. Ничего не валяется, не разбросано, не мокнет под дождём. И так всюду — у вокзалов, на складских дворах, на платформах, на товарных вагонах.

Переезжаем через реку Нонни. Уже позади Харбин. Пейзаж постепенно меняется. За Мукденом земля жёлто-красная. Множество речек, некоторые из них высохли, остались лишь русла. Через речки переброшены большие мосты — видно, в пору дождей воды широко разливаются. Справа горы — зубчатые, пологие, как курганы. Слева — наверное, Ляодунский залив, сквозь деревья пробивается серебристый блеск воды. Всё чаще деревья. На полях бугорки — нам объясняют: это могилы предков. Почти на каждом поле несколько, иногда и до двадцати могильных холмиков.

Из окна вагона, с высоты железнодорожной насыпи, как из низко летящего самолёта, успеваем заглянуть внутрь окружённых гладкой глиняной стеной дворов. Необыкновенно чисто. Никакого мусора; солома, дрова, сухой навоз уложены аккуратно, как товары на витрине.

Показываются сосны, уже непохожие на наши, с плоскими широкими шапками ветвей на вершукше.

— Как на китайских рисунках! — радуемся мы ещё одному доказательству, что мы и взаправду в Китае.

И вскоре на одной из станций — новое доказательство.

— Отсюда можно увидеть Китайскую стену, — слышим мы и поспешно выходим вместе с другими нашими попутчиками. Взабегаем на мост, поднимающийся над железнодорожными путями.

— Где? Где?

Далеко, далеко проступают волнистые полосы желтоватых холмов. Их опоясывает какая-то тёмная линия.

— Где? Ничего не вижу.

— Видите ворота? Ведь это ворота!

Да, действительно похоже — ворота с крышей, выгнутой, как крыши пагод на картинках. Честно говоря, пока что вижу очень мало. Стена слишком далеко и сливается с фоном гор. Только потом, всмотревшись, начинаю различать ворота и стену, похожую больше на вал или на толстую змею, извивающуюся по склонам.

Более двух тысяч лет назад была возведена Великая Китайская стена, предназначенная для защиты от нападений кочевников, обрушивавшихся с севера, с просторных степей и равнин. Прошло больше двух тысяч лет, а стена существует, стоит, хотя Китаю уже давно не угрожают набеги кочевников. Теперь, в эту весеннюю пору, только густые облака жёлтой пыли атакуют с севера Пекин.

— Увидите, как это выглядит. Улицы словно в жёлтом тумане.

Но мы не увидели. Весна в этом году не только у нас, но и в Китае холодная и дождливая. Вместо жёлтого тумана мы застали в Пекине дождь с мокрым снегом.

Постукивает поезд. За Шальхайгуанем ненадолго показалось море, совсем близко. Видно, как волны бьются гривой о берег.

Все девять дней пути мы не перестаём спрашивать наших спутников. Буквально засыпаем их вопросами. И изучаем толстенный том Большой Советской Энциклопедии от «Кинестезии до Коллизии», который взяли с собой. Внимательно читаем все главы — историю, географию, экономику, стараясь упорядочить наши не очень глубокие сведения о Китае. И чем ближе Пекин, тем больше путаются названия и имена, века и местности, цифры и даты. Из прочитанного не встают ещё образы. Из разговоров с людьми,

уже более или менее хорошо знакомыми с Китаем и китайцами, приходим к заключению, что было бы самоуверенностью считать наши познания солидными. Везём с собой запас, каким располагает каждый более или менее образованный человек: множество подробностей, разнообразных сведений, почерпнутые из литературы о Китае. Ну и, правда, сверх того — огромный заряд дружбы, симпатии, доброй воли, любопытства. Что делать со всем этим?

Избираем, как нам кажется, наилучший путь — решаем: мы ничего не знаем о Китае. Завтра на вокзале в Пекине мы начнём с азов.

Только потом убеждаемся, что это не так легко сделать. Человек не может вдруг сказать себе, что его мозг — это просто контурная карта, на которую все знаки будут нанесены только непосредственными наблюдениями и впечатлениями. Получается как на древнем пергаменте, с которого стёрлись старые письмена: когда на нём пишут заново, снизу проступают плохо смытые знаки старой рукописи, старые и новые наслоения путаются, мешают читать. Мы привыкли по-своему думать и пользоваться определёнными готовыми понятиями или суждениями. Но это помогает на той почве, на которой они возникли, из которой выросли, а на новой, столь отличной, столь особой, хотя в то же время и такой близкой, это мешает.

Сходя с поезда в Пекине, мы даже не подозреваем, что через два месяца в этом же городе при прощании у нас на глазах будут слёзы, и что у себя дома не раз почувствуем щемящую тоску по китайскому пейзажу, по китайской улочке, по какой-нибудь китайской песенке, и что этот незнакомый, далёкий Китай станет для нас близким и дорогим краем. И что встретим здесь столько людей, которых навсегда сохраним в памяти...

Моя книжка — это просто мои мысли, переживания и впечатления. Вернее, следовало бы сказать «наши», потому что нас было двое, двое смотрели на всё, двое делились друг с другом на каждом шагу. Эти мысли, переживания и впечатления ограничены временем и пространством. Мы видели только небольшую частичку Китая, видели его недолго. Но этого было достаточно, чтобы наша симпатия переросла в любовь к чудесной стране чудесных людей.

Если сумею хотя бы часть этой любви перелить в страницы книги и читатель почувствует её, пусть даже в небольшой степени, и разделит её со мной, книга выполнит своё назначение, и я буду счастлива.

Гей, сдвинем!

...В зной и в холод, в дождь и в ветер, вздымающий тучи пыли, бредут грузчики, таща тяжело гружённые тележки. Идут, сгибаясь от непосильной тяжести. С трудом вытаскивают босые ноги из густой, липкой грязи. Струями течёт пот по худым, искажённым усилием лицам. А надо всем — песня, мрачная, страшная, идущая из самых глубин людской неволи. Песня о проклятии непосильного труда, который пожирает жизнь человека, но не даёт возможности накормить голодного ребёнка, прикрыть тело лохмотьями, хоть бы раз поесть досыта...

Так начинается фильм «Ворота № 6» — история грузчиков, эксплуатируемых подрядчиками-гангстерами, связанными с гоминданом. Я не видела этой картины у нас и впервые смотрела её в Шанхае. Может быть, раньше я восприняла бы её по-другому. Здесь же она глубоко потрясла меня, рассказывая уже не о чём-то далёком и неизвестном, но о знакомых местах и людях, это делало её более понятной и близкой.

В создании картины участвовали сами грузчики. Они сыграли в ней много ролей и сыграли прекрасно, не хуже профессиональных артистов.

Сюжет картины прост и безыскусен: тяжёлая жизнь рабочего человека, попавшего в лапы эксплуататоров, обращающихся с ним, как с рабом, стачечная борьба, солидарность трудящихся. Армия-освободительница занимает город. Контора подрядчика переходит в руки профсоюза, ещё некоторое время длится борьба — наконец происходит суд и наказание преступника.

Всё это могло бы сделать фильм шаблонным, схематично-назидательным, но он не стал таким. Всё в нём дышит, жпёт человеческой жизнью. Мы чувствуем, как тяжела судьба угнетённых, верим этому, боремся вместе с ними, радуемся вместе с ними.

В картине мы увидели знакомые места — действие происходит в Тяньцзине, в Новом порту, в котором мы недавно побывали. И когда фильм завершается победной песней свободного труженика, мы чувствуем такую радость, будто смотрели не на экран, а были очевидцами исторических событий, сорвавших оковы с рук китайского рабочего, сделавших эксплуатируемого, нищего хозяином страны.

Есть в фильме растянутасть, есть некоторая наивность, но на это легко и не обращать внимания. Простота актёрской игры сближает этот фильм с известными итальянскими фильмами, галерея интересных образов и массовые сцены напоминают наши картины времён «Потомка Чингисхана» или «Броненосца «Потёмкина», когда советский фильм на экранах Европы был событием и переживанием, придающим силы в борьбе, когда от него веяло горячим дыханием революции.

...Волны реки. Через мели и перекаты, по колено, по пояс в воде тащат против течения бурлаки тяжёлые лодки. И снова мрачная, полная отчаяния песня, удивительно похожая на нашу «Дубинушку». Она рождена той же судьбой и тем же трудом, хотя слова другие: «О Янцзы, как безжалостны твои волны!..»

Это тоже отрывок из кинофильма, на этот раз из документального — о форсировании Янцзы, где вначале в нескольких потрясающих кадрах показано, как работал на берегах великой китайской реки человек до освобождения.

Грузчики из фильма «Ворота № 6», бурлаки с берегов Янцзы рассказывают нам с экрана о том, чем раньше был их труд.

А как работают сейчас?

Легче всего представить себе это в виде простой схемы: исчезла эксплуатация, появились машины, освободившие от нечеловеческих физических усилий; подъёмные краны, грузовики, машины переносят и перевозят тяжёлые мешки, каменные блоки; грузчик распрямил спину, бурлак бросил в воду лямку и — конец.

Но это было бы неправдой. Может, даже не столько неправдой, сколько опережением действительности. А действительность такова, что свободному Китаю всего шесть лет. У же шесть лет и только шесть лет. Глядя, как работает китайский рабочий, мы отчётливо видим и это «уже» и это «только».

Разумеется, из всего, что можно увидеть в Китае, мы видели только небольшую частицу. Но как-то так получилось, что мы совсем не видели Аньшаньского металлургического комбината — славу и гордость страны, не видели новых заводов, уже работающих, и тех, что изо дня в день входят в строй, не видели нового оборудования на шахтах, не видели, как добывается нефть из сланцев, не видели новых гидроэлектростанций. Даже в Кантоне, который мы осматривали довольно обстоятельно, мы не побывали как раз на новых больших верфях. Мы читали обо всём этом, видели фильмы и фотографии, но не смотрели на это «своими глазами».

Это произошло не случайно. Индустриализация Китая идёт быстро, с огромной силой. Если бы мы захотели даже бегло всё осмотреть, это заняло бы у нас всё время. А время нужно было на очень многое и очень разное. Хотелось увидеть китайскую деревню, познакомиться с жизнью и бытом людей нового Китая, открыть для себя замечательное китайское искусство.

Безусловно, во всём этом некоторую роль сыграли мои личные интересы и влечения.

Конечно, если бы я ставила перед собой цель — дать по возможности полную картину сегодняшнего Китая, то получился бы недопустимый пробел. Но я хочу рассказать только о том, что видела своими глазами, что слышала своими ушами, что пережила сама. И поэтому, говоря о труде, я буду говорить не о высших его достижениях, не о вершинах, а только о самом пока распространённом, наиболее массовом, чаще всего попадающемся на глаза. Возможно, теперь кое-что из этого уже ушло или исподволь уходит в прошлое и через несколько лет станет только прошлым...

Из окна поезда, везущего нас в Шанхай, мы видим, как строят новое железнодорожное полотно. Сотни людей в одежде синего цвета. Издали это похоже на всколыхнутое ветром поле васильков. Подъезжаем ближе. Поезд останавливается, и теперь можно рассмотреть всё, что тут происходит.

Люди, разделённые на звенья или бригады, работают быстро, деловито. Всё делается вручную. Лопаты, длиннозубые грабли. Землю носят в корзинах — плоских, открытых с одной стороны, похожих на совок. Они привязаны верёвками к коромыслу.

С огромной тяжёлой бабой для трамбовки земли управляют шесть человек. Четверо тянут за боковые шлеи, двое сверху — за петли. Никаких грузовиков, никаких экскаваторов, никаких бульдозеров, никаких повозок. Каждый килограмм земли выбран руками, каждый килограмм земли перенесён на плечах в корзинах.

Смотрим на уже готовый участок нового пути и начинаем понимать, сколько сюда вложено труда. Мелкими шажками, раскачиваясь из стороны в сторону, бегут рабочие с корзинами земли на коромыслах. Высоко в воздухе мелькают длиннозубые грабли. На наших глазах кусок холмистого пустыря в колдобинах в несколько минут превращается в железнодорожную насыпь.

В Чунцине от порта к городу ведёт крутая отвесная дорога. Из баржи выгружают на берег обтёсанные каменные блоки. Грузчики прикрепляют их к своим коромыслам и теми же мелкими шажками, слегка раскачиваясь, идут вверх, по крутой улице, в город... Ни кранов, ни машин, ни лошадей. Только человеческие руки, только человеческие плечи, хотя трудно поверить, что худой, на вид щедушный грузчик сможет даже сдвинуть с места такой массивный каменный блок. Каким-то неуловимым ловким движением он подсаживается под камень, и вот уже две серые призмы ритмично покачиваются на концах коромысла, и грузчик бежит вверх быстрее и легче, чем если бы на его коромыслах покачивались два ведра воды.

Мы уже знаем тайну этого ритмичного бега с тяжестями. И знаем также и другую, гораздо более важную тайну. Мы открыли её в Нанкине, наблюдая за строительством нового шоссе, которое отделялось от веранды нашей гостиницы только маленьким садиком.

Несколько человек носили в корзинах и высыпали на дорогу щебень. Маленький человек — и две огромные корзины. Казалось бы, тяжесть должна задушить, раздавить его. И вот маленький человек, подняв корзины на плечи, приводит их в ритмичное, маятниковое движение. Они слегка покачиваются, и бег человека вторит этому покачиванию. Человек, коромысло, корзины превращаются как бы в одно целое; раскачивающийся груз не пригибает человека к земле, не дёргает его из стороны в сторону, как это было бы, если бы он просто шёл. Шагая, человек использует движение тяжести вперёд и этим делает её легче для себя, амортизируя рывки.

С раннего утра слышим восклицания грузчиков:

— Гей-о-гоо! Гей-о-гоо!

Ими сопровождаются поднятие и переноска тяжестей, и они так же ритмичны, как бег, и звучат, как песня, но в этой песне нет мрачного отчаяния песни грузчиков, которую мы слышали в фильме, нет жалобы, звучащей в песне бурлаков на Янцзы. Если бы закрыть глаза и не видеть, что делают эти люди, не подсчитывать, сколько могут весить камни в обеих корзинах, могло бы показаться, что идёт спортивная игра, весёлое соревнование, так, для развлечения.

Другие носят корзины вдвоём — на палке, опирающейся на плечи, и тогда восклицания помогают координировать движения. Оба человека, их палка и висевший между ними груз выглядят, как великолепный слаженный механизм, действующий в едином ритме.

Вот насыпано на дорогу нужное количество щебня. И тогда приходит в движение каток. Он не имеет двигателя, это просто огромный цилиндрический вал. Впрягаются в него человек тридцать. Один идёт сзади, за катком, и, натягивая канат, придаёт ему нужное направление.

И мы слышим ту же песню, которой завершается картина «Ворота № 6». Песню, которая навсегда останется в памяти и десятки раз будет возвращаться, как ответ, как провозглашение, как утверждение того, что является, пожалуй, самой сутью нового, свободного Китая.

Пока мы не знаем ещё слов, это выглядит так: направляющий как бы спрашивает что-то певуче. И ему бодро отвечает хор. Согнувшись почти вдвое, они тянут тяжёлую махину, и ритмические вопросы и ответы следуют один за другим, сливаются в великолепный гимн, радостный и возвышенный.

— А слова?

— Ничего особенного, просто так, чтобы легче было удержаться в ритме.

Всё же просим перевести. Действительно, слова простые:

— Гей, братья, товарищи, стронем ли, сдвинем ли с места тяжесть? Гей, потянем! Навались! Сможем ли сдвинуть тяжесть? — спрашивает направляющий каток.

И тридцатиголосый хор отвечает ему с молодецкой удалью, с молодым задором:

— Гей, сможем, гей, сдвинем! Пошли! Пошли!

И снова вопрос:

— Гей, братья, не тяжело ли? Сдвинем ли, товарищи? Сдвинем ли с места тяжесть?

И хор отвечает:

— Гей, сдвинем! Гей, потянем! Гей, потянем!

Тяжёлый каток утрамбовывает дорогу. Дробит щебень. Метр за метром тянется всё дальше гладкое, укатанное шоссе. И несётся над ним лёгкая, дерзкая, полная сил и веры песня с простой и безыскусной, но вместе с тем захватывающей мелодией:

— Гей, сдвинем!

Мы долго смотрим на дорогу и рабочих. Вслушиваемся в их голоса. Да, сдвинут. Нет тяжести, которую бы эти люди не подняли, не сдвинули с места. Ведь это они всколыхнули половину Азии и сбросили цепи, сковывающие руки шестисот миллионов. Это они подняли победоносное красное знамя над страной, где тысячелетиями лились кровь и пот угнетённых. Это они не испугались силы, которой им угрожали и продолжают угрожать. Это они строят новый Китай — чудесную свободную страну чудесных людей.

И когда мы видим на строительстве дорог и железнодорожных линий сотни рабочих, быстро передвигающихся с коромыслами на плечах,

и когда мы видим в Чунцине грузчиков, бегущих вверх с каменными блоками, и крестьян, бредущих по пояс в грязи за плугом,

и когда проходим по узким улочкам старых, обветшавших посёлков,

и когда видим трудности и то, что ещё не сделано, и то, что ждёт своего решения, и то, что преграждает путь, казалось бы, непреодолимой стеной, — как припев звучит у нас в ушах эхо песни строителей дорог:

— Гей, сдвинем! Потянем!

Эта песня — как бы ответ всем тем, кто стал бы сокрушаться, сомневаться, не верить. Это не пустое обещание, а заявление, решительное и непреклонное. Да, эти люди стронут, сдвинут, сметут все препятствия, устранят все трудности. Пройдут годы, быть может недолгие, потому что в Китае время летит, как на крыльях, и механические катки будут укатывать дороги, и подъёмные краны будут выгружать грузы, и автомобиль заменит труд рикши, и тракторы вспашут поля. И легче станет человеку трудиться.

Тем, что придёт, тем, что уже в пути, тем, что осуществляется на наших глазах, дышит здесь всё. Необыкновенно ясно ощущается здесь самое важное — перспектива. Это чувствует здесь каждый. Поэтому умерли мрачная песня грузчиков и угрюмая песня бурлаков, песня непосильного труда ради чужого богатства и чужой роскоши. Теперь их труд другой — для себя, для своих братьев, для своей родины. И поэтому с первого до последнего дня нас восхищает то, как радостно трудятся китайцы, хотя физическое усилие иногда так велико, что, казалось, должно убить всякую радость. Однако не убивает. И повсюду самая тяжёлая работа сопровождается весёлым возгласом, радостной песней, улыбкой.

В Шанхае осматриваем две фабрики. Большая шелкоткацкая фабрика возникла в июне 1953 года, когда слились три маленькие фабрики. Двумя из них, производившими трикотажные изделия, заправляли гоминдановские «деятели», которые изрядно доили государственную казну, третья, шелкоткацкая, была частной собственностью. Сразу после освобождения она находилась в ведении военного ведомства и изготавляла армейское сукно, потом её влили в строй государственных предприятий, работающих на нужды населения. Сперва на фабрике работало девятьсот рабочих, теперь их тысяча двести — около двадцати процентов мужчин, остальные женщины.

Проходим через все цехи фабрики. В первом женщины сортируют коконы, поровно отбрасывая негодные — с дырочками, надорванные. Их пальцы мелькают так быстро, что трудно уловить движения. Глаза как будто не участвуют в работе, но повреждённые коконы отбираются молниеносно и безошибочно. Дальше — цех, где

в чанах с кипящей водой коконы отпариваются. Отсюда они поступают в желобки мотальных машин. Быстрые пальцы выхватывают из горячей воды коконы, отматывают начало шёлковой паутинки и по девяти шелковинок зацепляют за катушку. Теперь уже машина разматывает и ссучивает нить. Пальцы женщин, вымокшие в горячей воде, белые и сморщенные, как у профессиональных прачек. Катушки, на которые машина намотала нить, идут на другую машину, которая перематывает шёлк в пасмы. Их вручную перевязывают и свёртывают в мотки. Мотки складывают по пять—десять штук и прессуют ровными большими пачками. Аккуратно заворачивают. Пряжа готова.

В ткацком цехе мы видим, как изготавливают постельные покрывала, парашютный шёлк, разноцветный газ для свадебной фаты. В последнем цехе проверяют готовые изделия, чистят пятна.

На этой фабрике наглядно убеждаемся в существовании такой реальной трудности, на которую нам часто жаловались китайские товарищи: недостаток хорошо подготовленных руководящих работников. По цехам нас водит заместитель директора. Он явно смущён нашим посещением и нашими вопросами. Краснеет, ищет ответы в бумажках, и часто безуспешно. Он почти ничего не может рассказать о рабочих фабрики, их быте, организациях. Даже производственный процесс молодая работница объясняет нам гораздо лучше. Смело, разумно отвечает она на любой наш вопрос. Но когда мы просим её быть и дальше нашим гидом, она, улыбаясь, говорит:

— Нет. Этого я не смею. Свой цех знаю, ведь работаю здесь. Но там* нужно, чтобы кто-нибудь другой показывал.

Выясняем, что собой представляет заместитель директора. Оказывается, старый специалист, до освобождения был директором одной из трёх фабрик, влившихся в эту. По всему видно, мало души вкладывает он в свою работу. Явственно чувствуем, как веет холодком от стен его конторы, от него самого. А может, впрочем, этот холодок относится только к нам?

Возможно, и так. Но вот мы знакомимся с Шэнь Мяо-фа — заместителем директора другой фабрики в Шанхае. Ему двадцать девять лет. Он высокий, худощавый, со смеющимися глазами. Пять минут — и нам кажется, что мы знаем его уже много лет. Он из тех, кого называют «свой парень», и такой обаятельный и симпатичный, что трудно удержаться, чтобы не обнять его. Шэнь Мяо-фа не краснеет и не ищет ничего в бумажках. Всё держит в голове — касается ли это организации производства или жизни рабочих. Сам он когда-то работал здесь слесарем, теперь замещает директора-женщину. Её нет сейчас, она уехала в Пекин. Как жаль, что не можем познакомиться и поговорить с ней. Женщина-директор — всё это что-нибудь да значит! Но тогда, возможно, нам не пришлось бы столько разговаривать с Шэнь Мяо-фа, а разговор с ним — настоящее удовольствие!

Фабрика изготавливает одноцветные и набивные ткани, работает в три смены. Тысяча триста восемьдесят шесть рабочих, в их числе сто двадцать женщин, в сутки вырабатывают триста шестьдесят тысяч метров ткани. После освобождения продукция возросла на сто сорок процентов, брак с двадцати пяти процентов снизился до двух процентов. Партийная организация насчитывает двести семь коммунистов, из них семнадцать человек из технического персонала. Тридцать три коммунистки. Двести двадцать членов Демократического союза молодёжи, из них пятьдесят девять девушек. Много новаторов.

Старый рабочий Су Лун-цин — отличник труда Шанхая. Он работает тридцать шесть лет, а на этой фабрике — с первого дня её существования. Со времени освобождения выдвинул тридцать три рационализаторских предложения, из них двадцать восемь были применены на производстве. Он тоже пошёл в гору — раньше был мон-тёром, теперь заведует электрооборудованием всей фабрики. Ему пятьдесят девять лет, у него четыре сына, трое из них тоже рабочие, один вместе с женой работает на этой же фабрике.

Отличники труда есть и среди интеллигенции. Один из инженеров фабрики — отличник труда Китая.

— Наши интеллигенты вначале были несколько растеряны, поддавались различным влияниям, колебались. Но потом втянулись в работу — ведь труд самый лучший

воспитатель — и стали хорошими, честными работниками. Прославиться на весь Китай — не шутка! — весело смеётся Шэнь Мяо-фа.

Осматриваем фабрику. Наш провожатый с гордостью показывает герметические кабины, где ткань проходит через камеры с анилином. Охрана труда, охрана здоровья рабочего — это достижение нового Китая. Фабрика имеет столовую, диетическую кухню, ясли, небольшие, правда, так как женщин здесь работает немного, свой дом отдыха, санаторий. Работающие во вредных цехах ежедневно получают дополнительное питание — стакан молока и два яйца.

Везде чисто — и внутри фабричных зданий и вокруг. На больших щитах стенгазеты, афиши, сводки.

— До освобождения у нас было двадцать пять процентов неграмотных, — объясняет нам Шэнь Мяо-фа. — Теперь осталось всего лишь пять процентов. Все учатся. И самые прилежные — старики. Купили себе очки и учатся.

Переходим из цеха в цех. Идём по благоухающему цветами, чистенько подметённому фабричному двору. На скамейке под высокими кустами, словно иллюстрация к словам Шэнь Мяо-фа, сидят два старика. В очках. На коленях книги и тетрадки. Это рабочие из второй смены — пришли пораньше и, ожидая гудка, не теряют времени. Переписывают что-то из книжек и с головой ушли в своё занятие.

— Все учатся. Кто не умел читать и писать, учится чтению и письму. Кто умел, учится дальше.

— А вы?

Шэнь Мяо-фа удивлён.

— Разумеется, учусь. На вечерних курсах. Как же, я ведь слесарь, а стал заместителем директора. Надо учиться.

Да, учатся все — дети и старики, молодёжь и взрослые. И учатся всюду — в парке, на улице, на пороге дома. Сосредоточенные, не обращая внимания на уличный шум, на прохожих, погружаются в книгу, старательно выводят кисточкой иероглифы.

На пороге одного дома мы увидели сценку, достойную кисти художника, а может, пера историка. Маленькая девочка и старушка. Каждая углубилась в свою книгу. Только девочке учение, видно, давалось легче. Старушка медленно водила пальцем по столбикам иероглифов, вздыхала, не раз возвращалась назад, к прочитанному. Видно, запуталась и не могла справиться. И вот обратилась за помощью к девочке, возможно своей внучке, а может и правнучке. И девочка объясняла, жестикулируя маленькими ручонками, толкуя убедительно и наглядно. Старушка слушала внимательно, как ученик слушает учителя. И наконец сморщенное лицо её просветлело. Поняла. Трудность преодолена. И она снова наклонилась над своей книгой и стала водить по ней пальцем.

Да, старики купили очки, чтобы помочь ослабевшим глазам, чтобы поспеть за молодыми. И не хвастовство, а глубочайшая радость звучит в словах, когда разговариваем с простыми людьми стольких городов и деревень, от севера до юга великой страны:

— До освобождения я был неграмотным. А теперь знаю уже столько-то иероглифов...

В этом простом утверждении — доказательство великой правды, какую несёт новый Китай. И доказательство большой силы, большой целеустремлённости всего народа. То, что учатся дети, молодёжь, что учатся те, кому знание открывает ещё большие жизненные перспективы, возможности роста, для нас просто и само по себе понятно. Но эти старые, измученные жизнью женщины, занятые домашними делами, воспитывающие кучи внучат, которые находят желание и время для того, чтобы разгугивать тайны иероглифов, но старые рабочие, которые вместо того, чтобы отдыхать после работы, надевают очки и углубляются в книжки и тетрадки, — это явление более убедительно прославляет новый Китай, чем любая поэма.

И снова, как эхо, как отголосок, звучит в наших ушах мощная, радостная песня рабочих, волочивших огромный каменный каток по щебню новой дороги:

— Гей, сдвинем! Гей, потянем!

Да, поистине нам дано было увидеть, как китайский народ строит «свой новый мир». И эти учащиеся грамоте старики становятся для нас как бы символом величия

нашего времени, молодости нашего времени. Течение жизни так стремительно, что все, кто понимает это, не хотят оставаться вне его быстрины. И старость перестаёт быть старостью, и страна, насчитывающая тысячелетия истории, страна, о которой так долго твердили, будто она состарилась и заостенела, предстаёт перед нами страшной молодости, радостной и преисполненной веры, молодости, которая ни перед чем не отступает и умеет всё преодолеть...

Шелкоткацкая фабрика в Ханчжоу — скорее мастерские, чем фабрика. Видя раньше вытканые на шелку картинки в магазинах, в домах, мы не представляли себе, что все они изготовлены в одном месте — на этой небольшой фабрике в Ханчжоу. Мы думали, что их делают повсюду в Китае. Оказывается, что только она одна снабжает ими всю страну и работает на экспорт.

Фабрика существует с 1920 года. В довольно большом здании, расположенном в прекрасном саду, четыре или пять помещений. До освобождения здесь работали исключительно вручную, теперь имеется уже несколько механических станков. Продукция увеличилась в шесть раз. Вырос спрос на изделия и в стране и за границей. Втрое возросло количество рабочих. Фабрика производит ткани с изображениями известных людей и пейзажей, зонтики, скатерти.

Знакомимся с очерёдною стадий производственного процесса. Вот помещение, где художник пишет картину, которую потом перенесут на ткань. В следующем — рисунок переносится на картон путём накалывания: из точек возникает трафарет. Дальше по этому трафарету, подбирая шёлк, ткут на ручном или механическом станке. Самые простые и дешёвые изделия — из белых и чёрных шёлковых нитей. Подороже — те же белые и чёрные нитки, но на готовой ткани вручную дописываются цветные детали. Наконец, самая сложная работа — тканное изображение из разноцветного шёлка. Здесь приходится иметь дело чуть ли не с двадцатью восьмью цветами и оттенками. Чем больше тонов, тем толще, «мясистей» ткань и, конечно, дороже. Мы видели в магазинах картинки, просто напечатанные на шелку, они самые дешёвые. Но делают их, видно, где-то в другом месте, не здесь в Ханчжоу.

Мы наблюдали, как расцветают под пальцами мастеров розовые кусты, встают над водой журавли, вырисовываются нежные контуры усыпанных цветами веток, виды Ханчжоу во все времена года, обезьяны, взбирающиеся на деревья, пагоды, мостики, озёра и горы, островки бамбука. Природа та же, что и на картинах китайских художников, прелестная, радостная, передана тонко и с любовью.

Вся фабрика скорее похожа на большую мастерскую художника. Много света и воздуха. Машины работают тихо, ещё тише работают склонившиеся над мотками шёлка люди. Не знаю, что думают об этих изделиях те, кто считает себя знатоком искусства и обладателем тонкого вкуса, я лично отказалась бы от тканых портретов, хотя в них, несомненно, много жизни и сходства. Но цветы и животные, но деревья в золоте осенних листьев и розовой дымке весенних бутонов мне определённо нравятся.

Когда бываем на фабриках или разговариваем о них, нам часто приходится здесь слышать: «отсталый рабочий», «отсталый мастер», «отсталый инженер». Мы попросили подробно объяснить, что содержится в этом определении, как понимать его. Правда, мы и сами догадываемся, что это не просто слова, а, видимо, действительно актуальная для Китая проблема. Отсталые люди затрудняют процесс развития, становятся помехой на пути вперёд.

Нам объясняют:

«Отсталый рабочий» — неграмотный, аполитичный, весь круг его интересов — семья и работа как источник заработка. Раньше он был предан хозяину, на всю жизнь связан тем, что владелец фабрики оказал ему когда-то в детстве или в юности милость, дав работу.

«Отсталый мастер» не хочет делиться своим опытом с другими. Он враг всяких рационализаторских предложений и усовершенствований, потому что боится потерять свою «чашку риса». Удивительно, как язык отражает бытие: «чашка риса» — это то,

без чего не может прожить китаец, и это означает: работа, заработок. Хороший мастер получал «золотую чашку риса», владелец угрожал рабочему «отнять чашку риса» или «разбить его чашку риса». Старый мастер или рабочий, привыкший с юности к тому, что рационализация приносит пользу владельцу и влечёт за собой увольнение, с прежней меркой подходит к ней и сегодня — он боится её, смотрит на неё недоброжелательно, подозрительно.

Нельзя забывать, что жизнь китайского рабочего до освобождения имела помимо общих, присущих всем капиталистическим странам черт, свои особые, чисто китайские черты. Гоминдановские профсоюзы — ещё одна форма и орудие эксплуатации — были тесно связаны не только с полицией, но и с бандитскими шайками. Нередко владелец предприятия, его директор или управляющий были заправилami и в профсоюзе и в гангстерской организации. Мастер и рабочий чаще и непосредственнее соприкасались с управляющим и почти всегда ненавидели его, называли «прохвост», «собачья нога» и больше всего боялись.

«Отсталый инженер». С ним дело обстоит несколько иначе. Тут трудно разобраться, не зная роли и положения инженера в старое время.

Инженеры прежде были совершенно оторваны от рабочих, относились к ним свысока и составляли совершенно другую общественную прослойку. Особенно те, кто получил образование за границей. Лучшими специалистами считались те, которые кончали учебные заведения в Соединённых Штатах, затем те, которые учились в Англии, и потом уже те, кто — в Японии. Ниже всего ставили тех, кто учился в Китае. Инженерами на предприятиях, почти как правило, были родственники владельца, если не его собственные сыновья, то зятья — инженер вступал в брак с дочерью фабриканта и таким образом становился представителем интересов владельца на предприятии.

В среде технической интеллигенции, особенно получившей образование за границей, было модным говорить по-английски, называть детей иностранными именами. В последние годы молодёжь особенно увлекалась американскими гангстерскими и ковбойскими фильмами, перенимала образ жизни их героев. Молодые люди одевались на американский лад, проводили время в ресторанах, танцую буги-вуги и другие модные американские танцы, посещали игорные дома. Они зачастую даже не умели писать по-китайски. Ясно, что для инженера, принадлежащего к такой среде, освобождение не было освобождением, и его «отсталость» имела особый характер. Здесь речь шла уже не о «чашке риса», а о несравненно большем — о мировоззрении, о принципиальном отношении к великим переменам, к новому строю, к новым порядкам, к новым методам труда. И даже для тех, кто не был связан с фабрикантом родственными узами, ломка и преодоление старых навыков и взглядов требовали больших усилий и времени.

Понятно, зная уже всё это, мы с большим интересом ожидали встречи не с инженером даже, а с фабрикантом. С настоящим фабрикантом, владельцем нескольких предприятий, на которых работает больше пяти тысяч рабочих. Правда, теперь, когда книга моя готовится к печати, социалистические преобразования мирным путём привели к созданию в Китае государственно-частных предприятий, в управлении которыми ведущую роль играют теперь представители государства, рабочие и служащие. В стране происходит невиданное идеологическое перевоспитание буржуазии, которую готовят к тому, чтобы она постепенно превратилась в граждан, получающих доход не от эксплуатации других людей, а за свой собственный труд.

Вот какими невиданными темпами движет китайский народ историческое развитие своей страны!

Но вернёмся к нашей встрече с фабрикантом...

Нас знакомят с интеллигентного вида пожилым господином. Как он примирился с новым строем, с новыми порядками в Китае? Ему, видно, это удалось без особого труда — он не только предприниматель, но и депутат Всекитайского собрания народных представителей, член Общекитайского политического консультативного совета, участник движения за мир. Объясняется это просто: он не был связан с иностранным капиталом, принадлежал к патристически настроенной буржуазии, той, которая сотрудничает сегодня с народным государством и правительством.

Наш гость рассказывает о положении фабрикантов в китайской промышленности до освобождения.

Главными врагами китайской текстильной промышленности были японские коммерсанты. Они прибрали к своим рукам рынок хлопка. У китайских промышленников не было достаточно капиталов, чтобы делать большие закупки. Средств хватало лишь на месячный запас. Когда на рынке появлялся хлопок высокого качества, японцы скупали полугодовалый запас. Поскольку у китайских промышленников был ограниченный оборотный капитал, им приходилось срочно реализовать свою продукцию — хлопчатобумажную ткань. Покупательная способность крестьянина зависела от урожая, от времени года. Когда спрос уменьшался и цены на ткани падали, этим пользовались спекулянты и иностранные фирмы — они скупали дешёвый товар. В конечном итоге это было в убыток и промышленникам и крестьянам. Китайские промышленники разорялись, их фабрики переходили в руки японцев. Приходилось брать займы у компраторов (китайских капиталистов, игравших роль посредника между иностранными монополиями и местным рынком), которые делали это отнюдь не бескорыстно и использовали любую зависимость от них. Большинство банков в стране находилось под иностранным контролем. Их политика также приводила в упадок китайскую промышленность. Во время войны с Японией китайская текстильная промышленность потерпела большие убытки — японцы специально бомбили и разрушали фабрики. А после капитуляции Японии пришли американские империалисты. Американцы начали ввозить свой хлопок по демпинговым ценам и разорили этим китайских крестьян. Крестьяне прекращали выращивать хлопок и переходили на другие культуры. Американцы ввозили хлопок, а готовые ткани вывозили в Юго-Восточную Азию и в другие страны, наживаясь на низкой заработной плате китайского рабочего. Торговля хлопком на шестьдесят процентов сосредоточилась в руках американцев. Если они не доставляли того, что нужно, фабрики стояли. Кроме того, американский хлопок был низкого качества. А цены на товары росли. Наступила инфляция. В 1948—1949 годах магазины были пусты. Крестьянин не мог купить себе хлопчатобумажной ткани. Свирепствовала спекуляция.

После освобождения всё изменилось. Увеличилось производство хлопка, улучшилось его качество. Вначале промышленники совместно с государством создали специальные организации — учреждения по скупке хлопка. Потом необходимость в них отпала — хлопок заготавливает кооперативная организация, сдающая его в трест, и промышленники получают сырьё по заранее запланированным заявкам. Трест же и забирает готовую продукцию, отчисляя фабрике определённую прибыль.

— И это выгодно?

— Безусловно, выгодно. Не надо заботиться ни о сырье, ни о сбыте. Можно спокойно работать. Раньше были постоянная боязнь, постоянный риск, вечный страх перед угрозой банкротства. Теперь главная забота — улучшение качества продукции и снижение себестоимости, на это направляем всю энергию, которую расточали раньше на безрезультатные усилия и неравную борьбу с сильным иностранным капиталом.

— А как же доходы владельца предприятия?

— Теперь у нас существует определённый заработок, не подверженный вечным колебаниям. У нас теперь нет страха перед завтрашним днём. Производительность труда рабочего на моём предприятии выросла за последние годы на сорок процентов. Но вместе с тем повысился и уровень жизни рабочих; значительно изменились условия работы, соблюдаются инструкции по охране труда, имеются баня, амбулатория, столовая, ясли, выдаются премии. Владелец предприятия охотно идёт на это, ибо он теперь не зависит от компраторов, за спиной которых стоял японский, английский, американский и французский капитал, от спекулянтов и гангстеров, с которыми раньше, желая этого или нет, должен был делиться доходами.

Опять гангстеры? Постоянно наталкиваемся на упоминание о них, независимо от того, говорим ли мы с крестьянином, рабочим, интеллигентом или, как сейчас, с фабрикантом. Но больше всего говорят о бандитских шайках в Шанхае. Не удивительно, ведь это всегда был самый населённый город Китая; большой порт, где перекрещивались и сходились пути международной торговли и международных колониальных интриг, и недаром старый Шанхай так часто фигурировал в детективно-авантюрных романах многих европейских авторов.

— Расскажите нам наконец, что собой представляют или, вернее, представляли эти гангстеры? Каждый раз нет-нет да и помянут о них.

— Не удивительно. Гангстеры были кошмаром Китая. Они имели свой тайный союз (тайный, правда, только до некоторой степени, потому что действовал отнюдь не тайно), связанный с капиталистами, банкирами, правительством, полицией. Своей паутиной он покрыл всю страну, проник во все её углы, накладывал свою лапу на всё. Влияние его и возможности были огромны. Говорят, что Чан Кай-ши тоже состоял членом этого союза.

Выясняем дальше. Главарь союза имел в своём распоряжении несметное количество помощников и вооружённых агентов, готовых на любое преступление. Внутри банд, на которые делился союз, действовали свои строго соблюдаемые законы, своя суровая дисциплина, свои суды, беспощадно каравшие непослушных или нерадивых членов организации. Бандитские шайки имели свои рестораны, театры, кино, публичные дома, игорные притоны. Держали в своих руках пристани и рыбный промысел, беря дань с рыбаков и обитателей джонок.

В самом Шанхае действовали две большие банды: Цин-бан и Хун-бан — Голубая и Красная банды. У них были свои филиалы и в других городах. Поделив между собой город, эти банды грабили, вели торговлю женщинами, похищали девушек, собирали с торговцев и домовладельцев назначенные ими же «налоги». Собирали дань с перевозчиков и крестьян, везущих на рынок продукты, занимались контрабандой. Они буквально терроризировали население. Жители городов и сёл смертельно боялись их и, будучи полностью беззащитными, чувствовали себя целиком во власти бандитов.

Но «деятельность» шаек не ограничивалась грабежами и бандитизмом. Они играли и немалую политическую роль, были вооружённой рукой реакции в борьбе с рабочим классом и революционным движением. Во время забастовок они убивали активистов, громили их жилища, вырезали их семьи. Они устраивали покушения на революционных деятелей — рабочих, интеллигентов, студентов. Действовали револьвером и ножом, дубинкой и кастетом. Они всячески деморализовали, разлагали рабочих, заманивая их в игорные притоны, в публичные дома, кабаки. Когда выпадал случай, не отказывались от услуг не только китайским банкирам и капиталистам, но и японским интервентам и американской разведке.

Главарь банд в большинстве одевались по-европейски, разговаривали по-английски, подражали своим заокеанским собратьям. Это была их «аристократия». Рядовые члены банд хоть одевались по-китайски, но всё же их легко было узнать по чисто внешним приметам: шапка набекрень, засученные рукава, расстёгнутый ворот. На теле татуировка — драконы, обнажённые женщины. Из чулка выглядывал нож.

Когда в 1949 году Шанхай был освобождён, городские власти начали борьбу с бандитами. Она продолжалась несколько лет. Население самоотверженно помогало властям избавиться от этого кошмара, во власти которого долгие годы был город. Тогда гангстерская организация изменила тактику и стала в основном опорой контрреволюции.

В апреле 1952 года в течение одной ночи ей был нанесён решающий, долго готовившийся удар. Были арестованы главарь банд, гоминдановские шпионы и диверсанты, которые все вместе составляли ту «адскую машину», с помощью которой контрреволюция вела тайную войну против нового Китая. Начались общественные суды. На огромных радиофицированных митингах в присутствии тысяч людей допрашивали негодяев. Со свидетельскими показаниями выступали их уцелевшие жертвы, публично выносились приговоры. Пятьдесят второй год разгромил банды, вывел их из жизни китайского народа.

Но до конца ли? Нет, и не может быть иначе, пока действуют Чан Кай-ши и его клика, пока правительства далёких государств ассигнуют миллионные суммы на подрывную деятельность в странах народной демократии. Уцелевшие от разгрома члены банд, избежавшие правосудия, и засланные агенты Чан Кай-ши ушли глубоко в подполье, но не отказались от своей деятельности, хотя сегодня, по логике вещей, она должна выглядеть иначе.

В Тяньцзинь и в Шанхае мы видели на улицах плакаты, оповещающие население о поимке преступника и о наказании, какое он понёс. Чем больше город, чем он гуще

населён, тем легче скрыться врагу. Но сегодня это только быстро и окончательно истребляемые остатки, пережитки старой, мрачной жизни, с которыми успешно борются китайские власти, поддерживаемые населением.

Как о чём-то давно прошедшем, нам напомнил о гангстерах один кантонский рикша.

— Я был батраком. Жилось тяжело, и я решил пойти в город. Думал, что там будет легче с работой. Но оказалось, что в городе было слишком много таких, как я, и найти работу было трудно. Наконец устроился на лесопилку. Вскоре я заболел, но хозяин заявил, что я притворяюсь, и прогнал меня. Когда я выздоровел и пришёл к нему снова, меня не приняли обратно — у него было достаточно других, здоровее и сильнее меня. Это было в сорок пятом году. Тогда я и стал рикшей. Но стать рикшей тоже не так просто. Чтобы получить разрешение, нужно было дать крупную взятку гоминдановскому чиновнику, и притом ганкоинскими долларами. И за коляску надо было платить — её сдавали в аренду за три с половиной юаня в день в пересчёте на нынешние деньги. А заработать в лучшем случае можно было пять юаней. Приходилось занимать у ростовщика. Ростовщик брал сорок процентов в месяц. Как же заплатить проценты, если от дневного заработка остаётся всего полтора юаня? Как вернуть долг? Как содержать семью? Мы ели отруби, и это было ещё не так плохо, когда были отруби...

Когда в коляску садился гоминдановский офицер, он никогда не платил, а если попросишь плату, бил револьвером. На людных улицах, там, где могло бы быть больше пассажиров, всем заправляли бандитские шайки. Если ты не «их», не платишь им, поломают велосипед, прогонят. Ночью работать было опасно. Привезёшь, бывало, пассажира, а он говорит: «Зайдём ко мне, там расплачусь». А в доме уже ждут, схватят и ушлют в армию. Мы боялись работать ночью и теряли возможность заработать лишний грош...

Маленький кантонский рикша Шу Бин рассказывает свою историю, жестикулируя красивыми, как у всех китайцев, руками. Он пришёл к нам на девятый этаж гостиницы босой, в рабочем костюме — чёрные штаны и куртка.

— Существуют ещё рикши в Китае? — часто спрашивают нас земляки.

Существуют. Их очень много. В одном Кантоне их больше шести тысяч. И будут существовать ещё долго.

Рикши — это тоже одна из проблем в народном Китае, и она вовсе не такая простая, как может показаться.

С давних времён рикши считались в Китае презираемой профессией. Пассажир мог ударить рикшу, обругать его, полицейский мог избить его до полусмерти. Никто никогда не вставал на защиту рикши. Издеваться над ним было вполне обычным, нормальным делом. Профсоюз при гоминдановцах не столько защищал, сколько обирал рикш. С них взимали такие высокие взносы, что попросту это было данью, в которой нельзя было отказать из опасности лишиться не только велосипеда или коляски, но и жизни.

Только после освобождения был создан настоящий профсоюз, который заботился об условиях труда и быта рикш. Рикши впервые получили все гражданские и политические права наравне с остальными. Наш гость, например, является одним из членов районного комитета профсоюза. Есть в Кантоне рикша — депутат городского правительства, двенадцать рикш — депутаты районных правительств.

Для рикш организовали курсы, где они обучаются грамоте. Шу Бин раньше не умел даже расписаться, теперь он знает больше двух тысяч иероглифов и продолжает учиться. Арифметикой он овладел настолько, что ему поручили вести финансовые дела в профсоюзе.

Кроме профсоюза, рикши имеют свой комитет взаимной помощи, нечто вроде кассы взаимопомощи. Работают теперь они восемь часов в день. Рикш без велосипедов, бегающих, осталось совсем мало, и они перевозят не людей, а только грузы.

Действительно, мы почти не встречали рикш без велосипедов, их можно изредка увидеть только в маленьких городках или посёлках.

— Как вы достаёте велосипеды теперь? — спрашиваю Шу Бина.

И слышу совершенно неожиданный ответ:

— Арендуем у капиталистов.

Раскрываем от удивления рот. Да, нельзя забывать, что мы в Китае, что совсем недавно разговаривали с фабрикантом, что здесь есть ещё капиталисты. А ведь об этом так легко забыть, так легко не заметить, когда вокруг бурлит такой стремительный поток нового...

Выясняем у Шу Бина, что же это за капиталисты, которые по-старому живут арендой велоколясок?

— Разные. Есть богатые. У них по несколько десятков, даже до сотни колясок. А есть и такие, которые имеют несколько или всего пару.

— Сколько приходится платить за аренду?

— Сразу после освобождения был подписан новый договор. Все расчёты определялись в переводе на рис. В течение дня можно было заработать два с половиной цзиня риса (цзинь — два килограмма.— В. В.), а за аренду надо было платить полцзиня. (Читатель, не вздумайте только приниматься за подсчёты — в Китае рис то же, что у нас примерно ржаной хлеб.— В. В.) А в пятьдесят втором году поставили новые условия: плата за аренду — третья часть дневного заработка в два юаня.

— А сколько стоит велосипед?

— Двести юаней, — говорит рикша, и в его тёмных глазах вспыхивают весёлые огоньки.

Быстро подсчитываем. Если «капиталист» получает за свой велосипед примерно две третьих юаня в день, то когда же возместится стоимость велосипеда? Подсчёт довольно простой — на это потребуется примерно год. Сколько же ещё выдержит велосипед, если по восемь часов в день крутить педали? Какова будет прибыль «капиталиста»?

— И не надоело ещё капиталистам брать с вас аренду?

Шу Бин сразу улавливает смысл шутки и отвечает, смеясь:

— Что ж, договор — это договор. Нравится им или нет, должны считаться.

Да, оказывается, то, что нас смутило вначале, на самом деле выглядит несколько иначе.

Шу Бину тридцать восемь лет. Его семья состоит из четырёх человек — мать, жена, двухлетняя дочка и он сам.

— Только одна дочка и такая маленькая? — удивляюсь я, привыкнув слышать обычно ответ: «девять детей», «двенадцать».

Вопрос по меньшей мере бестактный, но я это делаю умышленно и получаю ответ, которого ожидала:

— До освобождения я был слишком беден, чтобы обзаводиться семьёй. Многие из нас, рикш, не могли жениться. И я женился только недавно.

Угощаем его чаем и фруктами. Этот весёлый босой рикша держит себя за столом, как вполне светский человек. Ест и пьёт красиво, не медлит и не отнекивается. Его не приходится уговаривать, и в то же время он сдержан и тактичен. Вспоминаю, что в чемодане у меня лежат московские конфеты в цветных обёртках. Достаём конфеты и коробку папирос с видом Москвы. Шу Бин принимает наш подарок с радостью. Прощаясь, просит передать привет рабочим Советского Союза, советским людям. Уходит сияющий.

— Теперь он поспешит домой, даст дочке конфеты, сам закурит, — говорю я, но переводчик поправляет:

— Нет. Он сказал мне, что идёт в свой союз. Попросит созвать собрание, расскажет о встрече с советскими писателями, покажет всем подарки и только потом отнесёт их домой.

Ну да, это ведь не «отсталый рабочий»! Это профсоюзный активист. Он хочет поделиться своей радостью и своими впечатлениями с товарищами по союзу, с товарищами по работе. Он не просто человек, выполняющий ту или иную работу, а член нового общества, нового Китая. Ведь недаром несколькими минутами раньше на вопрос: «Как относятся рикши к новому строю и к новым порядкам?» — этот маленький смуглый человек гордо выпрямился и сказал:

— Рикши Кантона поддерживают новое правительство, потому что это их собственное правительство.

Тут же он объяснил, что «поддерживают» не только на словах, но и на деле. Рикши помогают соблюдать порядок на городском транспорте, на улицах, следят, чтобы на стоянках всегда было достаточное количество колясок, сами наблюдают за тем, чтобы плата взималась по установленной таксе. Теперь они чувствуют себя хозяевами города, хозяевами улиц, которые они меряют из конца в конец своими велосипедами по восемь часов в день. Но нужно учесть, как ещё мало в китайских городах машин, чтобы понять, насколько внутреннее сообщение в городе действительно зависит от исправной работы рикш.

Автомобилей мало, очень мало, такси нет. Человек, прибывший даже в Пекин, выйдя из вокзала, видит только десятки рикш. Но для советского человека психологически невозможно сесть в коляску рикши. Я никогда не задумывалась над этим раньше, но здесь почувствовала это сразу.

То, что никто из советских людей не пользуется услугами рикш, вызывало вначале даже недоразумения. Представители профсоюза обращались в наше посольство, почему так происходит? Почему бойкотируют рикш? Ведь они-то на этом теряют.

Да, конечно, теряют. Они правы, предъявляя претензии. Но и мы правы. Моя реакция, возможно, была особенно остра — я вспомнила фотографии варшавских улиц во время гитлеровской оккупации. Два развалившихся в маленькой колясочке гитлеровских офицера, нога заложена за ногу, папиросы в зубах, наглые физиономии, их везёт согнутый над рулём велосипеда польский паренёк.

И в то же время ясно, что профессия рикши не скоро будет отменена. Чтобы это могло произойти, должны появиться десятки тысяч автомобилей, автобусов, троллейбусов в тысячах китайских городов. Должны потечь реки нефти из новооткрытых скважин. Должны найти новую работу те десятки тысяч людей, что сегодня крутят педали, везя обитые белой материей коляски в Пекине, обитые красной материей коляски в Кантоне.

Впрочем, до конца мы поняли, что такое рикша не в новом Китае, а в Гонконге, где всё сохранилось так, как было здесь до освобождения. Но Гонконг — это уже совсем особая статья, это резервация, где мы увидели живым и существующим старый Китай, который ушёл отсюда и никогда не вернётся.

Прощаясь с рикшей Шу Бином, мы пожелали ему, чтобы поскорее наступил день, когда он сядет за руль автомобиля. Он улыбался. Он не просто верит, он убеждён, что такой день наступит. Когда не только он, но все рикши Китая перестанут быть рикшами, и рассказ о том, как они бегали босиком по раскалённой мостовой, везя в колясках жирных дам и угрожавших револьверами гоминдановских вояк, или же по восемь часов в день вертели педали, станет для их детей чем-то таким далёким и нереальным, как сегодня для наших детей рассказ о крепостной жизни их прадедов. И это наступит скоро, скорее, чем сегодня можно предполагать, потому что жизнь Китая мчится, рвётся вперёд, как большая бурная река, преодолевая в один день то, на что раньше понадобилось бы несколько лет.

Мчится, как река, и подчиняет реки.

В Тяньцзине дует холодный ветер и идёт дождь вперемежку со снегом. Один из первых мартовских дней. Чтобы мы могли осмотреть Новый порт, нас облачают в шубы.

Вдоль дороги, по которой мы едем, всё бело.

— Столько снега! — удивляемся мы.

Но это вовсе не снег. Это соль.

Соль белым кантом окаймляет края луж, широкой полосой лежит по берегам водоёмов. Горы по левой стороне дороги оказываются горами соли. Их поверхность как бы покрыта застывшей лавой, но это не лава, а тоже соль, только тёмная от глины и грязи.

В порту несколько длинных, врезающихся далеко в море дамб. Рядом — устье реки Хайхэ, несущей огромные массы ила. Дамбами защищают порт от наносов ила.

Тяньцзинский порт — детище нового Китая. Тяжёлый труд человеческих рук, вечная борьба с илом, который неумолимо прибывает, оседая на дно, вытесняя воду, стараясь завладеть морским побережьем. Кое-где видим краны, машины. Но их ещё мало,

Человеческие руки насыпают дамбы и возводят плотины, человеческие руки вычерпывают ил, человеческие руки всё дальше и дальше протягивают молы, углубляя и расширяя гавань, и всё дальше и дальше отодвигают устье реки Хайхэ. Человеческие руки нагружают и разгружают пароходы.

У пристани два советских судна. Одно — огромный теплоход-цистерна, прибывший за растительным маслом, другое — маленькое. Дальше пришвартовался французский пароход. Море жёлтое, илистое. Вдали время от времени пролетают крупные буревестники.

Идём куда, где ведутся работы по расширению порта, а потом в контору начальника порта, где нам показывают планы и диаграммы. Так выглядел порт ещё недавно. Так выглядит сегодня. А так будет выглядеть завтра. Начальник порта рассказывает о работах, которые уже ведутся, и о планах на будущее. И мы знаем, что он нам показывает не только план на бумаге. Он уже видит полное обуздание реки Хайхэ, видит окончательную победу над илом, видит, как разрастается порт, видит лес подъёмных кранов в гавани и десятки и сотни судов, причаливающих к каменному молу Нового порта.

И слушая его, мы слышим, как звучит, вьётся над всем этим, словно припев, песня, которая навсегда запечатлелась в нашей памяти и сердцах, — песня-призыв: «Гей, сдвинем! Потянем!»

Да, Новый порт расширится, станет ещё больше. Окончательно подчинится человеку своенравная Хайхэ. Подъёмные краны будут грузить тяжести, которые ещё сегодня носит на плечах грузчик. А может, уже и не носит сейчас, когда я пишу эти слова? Новый Китай растёт так, как растёт деревце манго в рассказах об индусских факирах: на глазах людей факир сажает в горшок семечко, на их глазах оно прорастает, выпускает стебель, листья, тянется вверх и становится с человеческий рост.

Я не видела «колдовства» факиров с деревцем манго, но видела, что в несколько коротких лет сделано в Кптае. И потому не уверена, соответствует ли действительно сти то, что я, увидев в Новом порту несколько месяцев назад, описываю сегодня. Начальник порта не был краснобаем или мечтателем, наслаждающимся нереальным видением далёкого будущего. Он был именно из тех людей, кто это видение воплощает в жизнь, и в его словах присутствовала уверенность, которая звучит здесь в голосах многих и многих людей, людей-созидателей, людей-строителей, та уверенность, которая стала и нашим глубоким убеждением: сегодня светлее и лучше, чем было вчера. Завтра будет светлее и лучше, чем сегодня. И поэтому то, что мы видим в марте, становится историей уже в сентябре.

Но хотя за это время многое могло измениться, наверняка осталось неизменным: упорный, созидательный труд, вера в силы народа, вера в силы государства. Та вера, о которой христианское евангелие говорит, что она сдвигает горы. Но сдвигать горы сегодня кажется детской игрой. Вера выдвигает огромную китайскую страну из мрака недоли и нищеты в ряд стран, возглавляющих силы прогресса не одной только Азии.

На суше и на воде.

— Как живут китайцы? Как обстоит там жилищная проблема? Изменилось ли что-нибудь по сравнению с прошлым?

Не так просто ответить на вопросы, которыми нас засыпают по приезде на Родину. Невозможно ответить коротко, в нескольких словах.

Но в самом деле, как обстоит с жилищной проблемой в Китае?

Самый исчерпывающий ответ дал нам Шанхай. Шанхай — ведь именно так назывался в дореволюционном Донбассе самый страшный горняцкий посёлок, где в лачугах, в бараках, в норах ютились шахтёры.

Едем в западную часть города, в район Панцзявань. Трудно себе вообще представить такое скопление людей. Один к другому жмутся крохотные домики. Между ними узенькие улочки-проходы спутались в лабиринт. По населению это целый огромный город.

При виде нашей машины из домишек высыпали люди. Множество людей. Прежде всего дети, потом и взрослые. Буквально толпы. Высыпают из открытых дверей,

стоят шпалерой в несколько рядов. Непонятно, как они до того вмещались в этих домишках. А ведь там их осталось ещё много — теснятся у входов, голова над головой, почти от порога до самого косяка.

Машина движется медленно, почти касаясь бортами людей. А когда улочки становятся для неё слишком узкими, мы выходим, чтобы пройти пешком. Но как пробраться сквозь это скопище людей? И тут же перед нами открывается узенький проход, будто текущий впереди ручеёк прокладывает себе дорогу в чаще. Всё это происходит совершенно самопроизвольно, без всяких знаков, без всякой команды.

Ещё раз убеждаемся в изумляющей нас на каждом шагу дисциплинированности и организованности китайцев. Собственно, это уже не толпа, когда каждый следует порядку, и каждому внутренне присуще глубокое чувство этого порядка.

— Суленины! Суленины! (советские люди), — слышится кругом, передаваемое из уст в уста голосами детей, мужчин и женщин.

На нас смотрят тысячи чёрных приветливых глаз, нам улыбаются тысячи лиц.

Заходим в одну из хижин, пожалуй, только так можно назвать это строение с ветхими стенами и крышей в заплатках. Здесь живёт рабочий мельницы, его жена работает на ткацкой фабрике, сейчас её нет дома. У входа нас радушно встречает старушка — мать хозяйки. Она семенит мелкими шажками, весело улыбается, наливает обязательный чай из большого термоса.

Рассаживаемся в маленькой комнатке за столом. У стены — нечто вроде буфета, на нём несколько термосов, картинки, фотографии. На выбеленных стенах — бумажные украшения, оставшиеся от праздника Нового года, который здесь бывает не зимой, а весной. Цветные картинки, бумажные цветы, вырезанные из бумаги изображения. Рядом кухонька — над печкой, или точнее на печке, краснолицый бог домашнего очага, кухонная утварь; по глиняному полу разгуливает курица. За комнатой, в которой находимся мы, ещё одна, наполовину тёмная, — это спальня. Широкие лежанки — каны — прикрыты циновками. У стен свёрнутые валиками одеяла. Всё крохотное, просто микроскопическое. Всё это жилище, готовое в любой момент рухнуть, — настоящая избушка на курьих ножках. И здесь живёт рабочий с большой семьёй: жена, мать и шестеро детей — от маленького, который ещё на руках, до тринадцатилетнего школьника.

Другой домик. Нас приглашает туда молодая красивая женщина. Комната больше той, что мы видели раньше. В ней больше бумажных украшений под потолком и на стенах. И по одежде, мебели, постели заметна разница в достатке. Живёт их здесь пока двое — они недавно поженились, муж работает в аптеке.

Да, внутри немного иначе, но и это жильё тоже избушка на курьих ножках. Как и все остальные. Маленькие, припёртые друг к другу лачужки образуют бесконечные улицы, улочки, закоулки. А каково в них, в этих почти светящихся насквозь домиках, в холод и в дождь? Как они сопротивляются ветру? Как вмещают в себе несчётную ребятню и взрослых? Как вообще здесь можно жить?

— Мы показываем вам всё, не собираемся ничего скрывать, — говорят нам китайские товарищи.

Действительно, они показывают нам всё таким, какое оно есть. Ведь сами мы бы сюда никогда не забралась. Ужасный район. Мы видели в Риме бездомных, укрывающихся от солнца и дождя под куском мешковины на охапке соломы. Но это были бездомные. Здесь рабочий мельницы говорит о своей лачужке даже с оттенком гордости. (Кстати, она — его собственность.) Картинки на стенах, бумажные украшения подтверждают, что для него это не просто крыша (весьма сомнительная) над головой, а и впрямь человеческое жильё. Но самое жалкое жильё, какое только пришлось мне видеть. И вот так живут тысячи и тысячи людей. Только...

Только и здесь стало уже не так, как было. И здесь магическое слово «освобождение» звучит гордо и повторяется всеми. Потому что после освобождения были вымощены улицы. Раньше в дождь эти улицы превращались в русла грязных потоков, а в сухую погоду на них клубилась густая пыль. Сооружены колодцы. Осматриваем один из них. Большой, старательно оцементированный, вода в нём чистая. А раньше не было ни одного колодца, и люди черпали воду из луж, гнилую, грязную, зловонную.

Проведено электричество — все домишки освещены. Открыты амбулатории. Они расположены так, что добираться до них не больше пяти минут.

Кто они, обитатели Панцзяваня? Рабочие, мелкие торговцы, кустари. Много всяких лавчонок, на крошечных площадях — базарчики, где продаются овощи, фрукты, разная мелочь. В ресторанчиках, устроенных в таких же продуваемых ветром, словно на скорую руку сколоченных или уже вконец обветшалых домиках, варят, жарят, пекут. Как и всюду, жизнь здесь проявляется бурно.

Нас сопровождают члены поселкового правления — мужчина и женщина. И снова слышим: смертность детей до освобождения и после освобождения. Случаи эпидемических заболеваний до освобождения и после освобождения. И это не сухие официальные цифры, не просто статистика. Об этом же говорит всё — и румяные, улыбающиеся личики детей, стоящих вдоль нашего пути и почти хором выговаривающих слово «суленинь», и весёлые взгляды толпящихся вокруг женщин и мужчин.

Из Панцзяваня едем в Новый район. Его начали строить весной 1951 года. Теперь здесь живёт 6 398 семей, свыше тридцати тысяч человек. Кто они? Рабочие. Кто в первую очередь получил здесь квартиры? Те, кто жил в шалашах, под лестницами, на джонках.

Огромный посёлок разделён на шесть секторов. Здесь находятся кооператив, большой магазин, нечто вроде нашего универмага, Дом культуры, две средние школы с 2 270 учениками, четыре начальные школы, четыре детских сада, двое яслей, амбулатория, рынок, отделение народного банка, почтовый киоск (почта ещё строится), восемь киосков, выдающих кипяток, пять телефонов-автоматов, три бани. Разбит парк. Уже отведено место под строительство театра и кино. Три автобусные линии связывают жителей посёлка с их работой, в ближайшее время будут пущены в ход и следующие. Плата за квартиру равна в среднем пяти — семи процентам заработка и идёт в фонд ремонта домов.

Все эти сведения нам сообщают в поселковом правлении. Члены правления спрашивают, что мы хотим посмотреть.

— Только квартиры. Чтобы осмотреть всё, у нас не хватит времени.

Члены правления соглашаются с нами. Хорошо, только квартиры. С обычной китайской вежливостью, не имеющей ничего общего с пресловутыми «китайскими церемониями», легенда о которых живёт в Европе. Впрочем, они, возможно, когда-то существовали, но сегодня китайская вежливость далека от церемоний. Она — результат большой внутренней культуры, результат уважения к человеку.

Китаец, если он выступает в роли хозяина, — будь это крестьянин в своей фанзе, или рабочий в своей квартире, или прохожий на улице, — думает прежде всего о вас, о госте, и незаметно исполняет ваши желания. Но в то же время китаец умеет, не навязывая своей воли, не споря, столь же незаметно и деликатно сделать всё же то, что он считает нужным. И потому член правления посёлка, который встретил нас здесь, не уговаривает: «Ах, невозможно! Вы должны всё посмотреть. Побудьте ещё полчаса, взгляните хотя бы и то. Как же так, мы вас просим!» и т. д. и т. д. Нет. Только квартиры? Хорошо, раз у дорогих гостей нет времени, значит только квартиры. Но он ведёт нас так, что волсий-неволсий мы видим весь посёлок и все здания и стройки, о которых шла речь.

Широкие улицы, перед домами палисадник, скверики. Много воздуха, много зелени, чисто. Жилые дома в три этажа. Стены многих обвиты до самой крыши вьющимися растениями. Вместо того чтобы идти по одной из улиц, мы сокращаем путь и идём через двор Дома культуры. Ох, и хитёр же наш провожатый! Он знает, что тут мы уж и сами захотим пройти по стеклянной галерее, опоясывающей здание, и посмотреть — потерпел ли времени никакой, а будем знать, как выглядит Дом культуры Нового района. Опрятные светлые залы, большой сад. В коридоре нам кланяется старичок. Не знаем, кто он такой, видно, кто-то из жителей посёлка. Он пожимает нам руки, что-то говорит с улыбкой. Переводчик куда-то запропастился, но мы почти догадываемся, о чём рассказывает этот старый человек. Не то о своём прежнем жилье под лестницей, не то о своей нищете и невзгодах в прошлом и наверняка о своём счастье, что дождался на старости лет дня, когда стал жить в красивом солнечном доме. И вот

приходит он сюда, в Дом культуры, свой второй дом, где можно почитать, где можно услышать интересные вещи, где можно отдохнуть.

— Здесь будет кино, здесь театр, — указывает на ходу рукой наш провожатый, мафеврируя в то же время так, чтобы через витрину мы увидели, что можно купить в их магазине.

Смотрим на то, что есть, представляем себе, что будет. Понимаем гордость и радость этих людей.

Умно поступили китайские товарищи, что не побоялись показать нам Панцзяваня, кусок старого, кошмарного Китая, который остался бы, наверное, в нашей памяти гнетущим, невыносимым, не будь там круглых мордочек детей и жизнерадостных лиц взрослых.

Умно поступили китайские товарищи. Приведи они нас сразу сюда, мы восприняли бы всё, как должное, — ну что ж, хороший, красивый посёлок, образцовый рабочий посёлок, ничего необычного, ничего удивительного.

Только теперь мы можем оценить, какое это достижение — Новый район! Только теперь понимаем, что получили эти люди. Ведь их вытащили из страшных нор — здесь дали квартиры тем, для кого даже лачуги старого района были мечтой. Тем, кто ютился в норах и шалашах, кто никогда не имел даже самой жалкой крыши над головой. Впервые за много, много поколений они обрели достойный человека кров. Впервые за много, много поколений у них есть всё необходимое, что облегчает повседневную жизнь человека.

В Шанхае после освобождения выстроено уже сорок тысяч квартир для рабочих. Если принять во внимание жилищные условия тысяч людей в этом многомиллионном городе, то это, конечно, пока ещё не решение проблемы. Но Шанхай продолжает строиться. Если даже Новый район — капля в море, то это капля, переливающаяся радужным блеском надежды. Изо дня в день сокращаются в стране старые районы, изо дня в день разрастаются новые. Жизнь идёт вперёд, и я знаю, что сейчас, когда я пишу эти строки, Новый район стал больше, чем тогда, когда я смотрела на него несколько месяцев назад, и знаю, что новые сотни и тысячи семей переехали за это время из лачуг и хижин в светлые уютные комнаты в светлых уютных домах с палисадниками.

Вот что ощущается в Китае на каждом шагу, вот благодаря чему так легко и радостно там дышится: идущая вперёд жизнь, идущие вперёд люди. Там нет слепых тупиков, всё — большая, широкая дорога.

Строится Шанхай, строится страна. И есть для кого.

В Новом посёлке нас приглашает к себе в чистую солнечную комнату невысокий, смуглый, невероятно худой человек. Великолепные чёрные горящие глаза, седые волосы, красивая улыбка. Никак не решим, кем он может быть, что с нами здесь, впрочем, часто бывает. Наш хозяин выглядит интеллигентом и говорит, как образованный человек. Точно так же, как и молодая женщина, пришедшая из квартиры напротив и севшая вместе с нами за стол. Хозяин показывает свою комнату. Разговор идёт о домах, о Новом посёлке. Но мне не терпится узнать, просто мучает вопрос: почему он так худ? Почему при нестаром лице у него седые волосы, так редко здесь встречающиеся?

И вдруг узнаём, кто такой наш хозяин.

Ян Фан-ли пятьдесят девять лет. С двадцати четырёх лет он член коммунистической партии. Сорок лет назад начал работать на табачной фабрике и работает там поныне. Пятнадцать лет он просидел как политический заключённый в английской тюрьме, в Шанхае. Его пытали восемнадцать раз на стуле — сначала переводят — «электрическом», потом «тигровом», видно, какой-то особый род пыток. Пятнадцать раз его подвешивали за руки с тяжестями на ногах, принуждая выдать товарищей, — тшкетно. Много раз японцы истязали его, на теле у него шрамы от восьми японских пуль. Он так просто рассказывает обо всём, словно это случилось не с ним, а с кем-то другим. Удивительны в этом неестественно худом, истерзанном седом человеке глаза — выразительные, радостные, полные огня.

История жизни этого рабочего так невероятна и так героична, что трудно слушать её, сидя за столом, на котором, как всегда, дымятся чашки чая. Хочется встать и как-то выразить этому человеку своё восхищение, уважение, признательность. Но как?

Поклониться до земли? Поцеловать руку? Обнять? Всё это не то. Сказать? Но что? Слова покажутся искусственными, патетичными, они никак не будут вязаться с его простыми, обыкновенными словами, с его героической жизнью. Рабочий, один из тех, кто жизнью и кровью завоевал сегодняшний и завтрашний день Китая, но рассказывает об этом так, словно совсем не помнит, что это именно он ценой пыток и мук добывал освобождение своему народу.

А напротив него за столом сидит представительница нового поколения. Её мы тоже причислили к людям интеллектуальной профессии. Выглядит она и ведёт себя, как прирождённая интеллигентка. Между тем это работница той же табачной фабрики. До освобождения была неграмотна. Она тоже член коммунистической партии. Начала работать на фабрике ещё совсем маленькой девочкой — не доставала даже до стола, — и для таких, как она, подставляли скамейки, чтобы могли выполнять работу взрослых.

Удивительны биографии здешних людей — и в городе и в деревне! Такое впечатление, что, если по очереди спрашивать на улице или на дороге случайных прохожих, в течение одного дня можно составить целую картотеку фантастических, небывалых человеческих судеб. Люди Китая вместе со своей страной пережили и переживают великодушную, героическую эпопею. Миллионы из них — это живая история. Становится неловко, когда часто незначительным вопросом вдруг неожиданно вторгаемся в гущу событий, болезненно переживаемых, в сплетение драматических судеб, и перед нами обнажается живое сердце человека, живое сердце Китая, пульсирующее горячей красной кровью.

Снова идём по улицам Нового района среди зелени, среди уютных домов. И смотрим на них уже как-то иначе. Вот разговаривают на крылечке две женщины, сидят в скверике два старика. Вот один за другим заходят в магазин молодые и старые люди. Кто они? Какая необычная судьба выпала на их долю? Какой кровавой, мученической дорогой шли они из темноты эксплуатации, несправедливости и неволи к тем светлым домам, к тем широким улицам, к жизни в этом посёлке, завоёванной сотнями лет страданий и труда? Сколько таких Ян Фан-ли живёт здесь сегодня?

В Шанхае мы видим ещё одно свидетельство старого мира, минувшей эпохи, жившее бок о бок со старым районом, хотя ни в чём его не напоминающее. Но оно как раз и позволяет понять одну из причин существования таких старых районов. Это дом жены Чан Кай-ши. Один из многих, какие строили или оборудовали для неё в различных китайских городах. Для удобства. Чтобы, путешествуя, везде можно было остановиться в собственном доме. Этот дом был её основным местопребыванием.

В нём есть и кинозал и театральный зал. Множество комнат отделано панелями из ценных пород дерева, а мебель в них более дорогая, чем драгоценные камни. Сколько великолепных изделий из бронзы, золота, нефрита! Её ванная комната светлозелёная, где всё сделано из почти прозрачного фарфора или полудрагоценного шлифованного камня. Мы видели тайный ход из спальни в сад, через который можно было незаметно выпускать и впускать любовников и шпионов, поскольку госпожа Чан Кай-ши с одинаковой страстью занималась политическими и любовными интригами, за что простые люди Китая называли жену диктатора кратким выразительным словом, обозначающим отнюдь не почётное для женщины занятие.

Ноги утопают в коврах пушистых, как лесной мох. Мягко льётся свет, устроенный так, чтобы не резал глаза, а может, и чтобы не изобличал морщин на лице не очень уже молодой хозяйки. Весь этот огромный дом предназначен для одной женщины, для её удобств, капризов, для её тёмных дел!

Так жила жена Чан Кай-ши. Вот так обстоял «жилищный вопрос» в старом Китае — дом госпожи Чан Кай-ши и Панцзявань. И не только дом госпожи Чан Кай-ши. Такие дома имел, так жил целый, хотя численно и небольшой класс угнетателей, на которых работали тысячи и тысячи обитателей старого района Шанхая и сотен других китайских городов, сотен тысяч китайских деревень. Из крови, нищеты и пота китайского крестьянина и рабочего вырастал сказочный цветок невероятной роскоши и богатства. Должны были существовать районы лачуг, чтобы построить роскошный дом для одного «избранного».

Так было и до госпожи Чан Кай-ши. На сказочную роскошь императорских дворцов, на дома-крепости помещиков, апартаменты мандаринов и банкиров сотни лет работал пригнанный к земле китайский народ.

В Китае существует ещё один вид жилищ, характерный, пожалуй, только для него.

В Шанхае мы побывали на пристани на реке Хуанпу, вдоль которой растянулся город. Вокруг на набережной, кроме людей, нет, собственно, ничего китайского. Строгими рядами стоят огромные европейского или американского типа здания, бывшие банки, таможни и учреждения, принадлежавшие некогда англичанам, американцам, французам, японцам, многоэтажные гостиницы. Но пристань китайская, и катер, на который мы садимся, китайский. Называется он «Феникс пристани».

И сразу нас окружают джонки. Мы видим только их. Джонки большие и маленькие, старые и поновее, самых разнообразных форм и раскраски. Стоят у пристани, плывут мимо нас по реке, виднеются у другого берега. У больших нос вырезан и расписан, как пасть рыбы, пасть дракона. По бокам большие глаза. На некоторых пасти нет, нарисованы только глаза.

— Лодка должна видеть,— объясняют нам.

На бортах одних джонок — кайма из пёстрых рисунков, издали похожих на мозаику. Другие украшены флажками. Большая джонка берёт до ста тонн груза. Есть джонки с одним парусом, с двумя — посередине громадный, впереди поменьше, с тремя — тогда этот третий сзади совсем маленький. Плывут джонки, плывут пароходы, стоят у причала танкеры, проплывают мимо военные корабли, длинные вереницы плотов. Но больше всего и прежде всего — джонки, джонки, джонки. Среди них время от времени пробирается сампан — совсем маленькая лодочка.

Приближаемся к устью, где Хуанпу соединяется с Янцзы. Место слияния их вод называется Усун. Хуанпу — большая река. Янцзы — огромная. А там, где они соединяются, перед нами открывается необъятный, безбрежный водяной простор. Вдали чуть виднеется Утинный остров. Хотя нет ветра, катер сильно покачивает на коротких остро-конечных волнах.

На границе реки и моря, точнее двух морей — Жёлтого и Восточно-Китайского, — знак. Поворачиваем. За нами на просторе двух морей, куда впадают две реки, где-то у Утиног острова, остаются джонки, целый лес мачт.

Из Тяньцзина в Нанкин едем поездом. До города не доезжаем, сходим возле Янцзы. Поезд будет перевозить на пароме, а мы, чтобы выиграть время, пересекаем на маленьком пароходике быструю всю в волнах реку почти жёлтого цвета. На противоположном берегу нас ждёт машина, на ней мы едем в Нанкин. И здесь, проезжая по мосту над каналом, вдруг видим множество джонок. Не те, чьи паруса и мачты мы видели на реке, большие, проплывавшие вдали. На мелкой болотистой воде канала — маленькие джонки-жилища. С моста видно: там готовят еду на маленьких печурках, женщины стирают и развешивают бельё, моют посуду, резвятся ребятишки, совсем как если смотреть сверху на маленькую, густо заселённую улочку.

Вода канала грязная, берега скользкие — наверно, начинается отлив. Ведь здесь из-за близости к морю на всех реках бывают приливы и отливы.

С моста жизнь на джонках, несмотря на царящее внизу оживление, кажется тяжёлой и грустной. Одна джонка снимается с места; видно, как, с трудом упираясь веслом в вязкое дно, гребец проталкивает её в тесном узком коридоре, образуемом между двух рядов джонок, стоящих одна к другой у обоих берегов.

Из окна поезда мы часто видим такие джонки на болотистых каналах, на мелкой воде каких-то заливчиков. Выглядят они так, будто вообще служат не для плавания, а лишь пристанищем для людей, которым не хватило не столько крова над головой, сколько земли под ногами. В Шанхае джонки кажутся другими — может погому, что их покачивают воды большой реки. И иначе выглядят джонки возле кантонской пристани, полные движения и жизни. Из окна гостиницы в Кантоне днём и ночью можно глядеть на пристань и не соскучиться.

Под нами поблёскивает река Жемчужная, точнее, только маленькие частички её глади, не занятые пароходами и всякого рода лодками.

Огромные баржи стоят у набережной, совсем как древние галеры. Их перёд — потому что трудно назвать его носом — широкий, ровно срезанный. Палуба огромна. Не представляем себе, как они могут плыть. Оказывается, они не передвигаются самостоятельно. Их тиет маленький буксирный пароходик, производящий невероятное много шума. Он свистит, гудит, как большой пароход. С баржи ему отвечает пронзительный колокол разным количеством ударов. Наверное, специальные сигналы. Пароходик берёт баржу на буксир и как-то боком тащит её, словно маленький мальчик, уцепившийся за руку толстой, неповоротливой няньки. Буксиры плывут вверх и вниз по реке, причаливают к пристани, тянут за собой эти большие неуклюжие баржи, нагружённые ящиками, мешками, корзинами.

Снова пароходик притащил баржу-галеру, и снова поспешно, стремглав происходит разгрузка. Грузчики, среди них есть и женщины, бегут мелкой быстрой трусцой.

У пристани постоянно жмётся несколько таких огромных барж. Некоторые украшены гирляндами цветных, развевающихся на ветру маленьких флажков.

А дальше на воде — целый город небольших джонок. Стоят рядами с двух сторон перпендикулярно к длинным мосткам, уходящим далеко в реку, образуя ряды улочек. Тут своя жизнь: громко орут петухи, мелькают огоньки, слышен всплеск вёсел. День и ночь на мостках и на асфальте набережной не утихает стук деревянных подошв.

Гостиница выситя над всем этим, как неуклюжая каменная башня среди бушующих волн живой, кипящей жизни. Это уродливое высотой в двенадцать этажей сооружение странным треугольником торчит на стыке двух улиц. Его выстроил когда-то китайский капиталист, сбежавший потом в Америку. Гостиница удобна, как все здешние гостиницы, но выстроена, пожалуй, в самом шумном месте мира. Голоса снизу слышны и на нашем десятом этаже так, словно мы живём на одной из лодок. Но мы скоро привыкаем к ним. В этом неумолчном шуме кроется какая-то своеобразная прелесть. Кроме того, мы имеем возможность вдоволь наблюдать за жизнью джонок. Обитатели джонок интересовали нас задолго до приезда в Китай, а сейчас, когда мы здесь, — тем более.

...Около шестисот лет назад, во времена династии Юань, люди, отданные в наказание за провинности в солдаты, сбежали и поселились на единственном месте, которое было ничьей собственностью, — на воде реки Жемчужной. Так говорит предание.

Но предание объясняет, как появились «водяные люди» на реке Жемчужной в Кантоне, а ведь мы видели бесчисленные джонки-жилища не только на реке Жемчужной. Видели их в Шанхае, в Нанкине, в Гонконге, на больших реках и в маленьких речках, в заливах, на озёрах и озёрцах, соединённых с рекой только узкой протокой. И что же, все они потомки солдат-беглецов? Нет, это недостаточное объяснение.

Джонки-жилища — тоже одна из проблем нового Китая. Обитатели джонок — это люди, для которых не нашлось ни клочка земли, ни самой худой крыши над головой и которые из поколения в поколение рождаются, живут и умирают на этих утлых лодочках.

На маленьком катере плывём по реке Жемчужной. Вместе с нами три представителя «водяных людей». От них узнаём: в черте Кантона, только на реке Жемчужной, живут на 13 356 джонках больше шестидесяти тысяч человек. Кто эти люди? Матросы, работающие на больших лодках и баржах, — их около двадцати тысяч, — портовые грузчики, черпальщики песка, перевозчики. Около пятисот человек занимаются торговлей, доставляют на джонки продукты и товары.

Прежде местные власти запрещали «водяным» переселяться на сушу. Этот запрет существовал до самого освобождения, гоминдановцы строго его соблюдали. «Водяным» нельзя было вступать в брак с жителями суши. При всех династиях запрещено было допускать их на любую государственную службу. До освобождения грамотными среди них были только владельцы больших лодок, которые в свою очередь по отношению к более бедным выступали как эксплуататоры.

«Водяные люди» жили кочевой жизнью, потому что стоило им чуть дальше остановиться у берега, как с них требовали плату. Они боялись ночевать там, где стояли днём, и проводить день на месте ночёвки. Плыли дальше, всё время меняя место пребывания. Лодкам, выходящим в море, было ещё труднее — с них брали дань и чиновники, и бандитские шайки, и владельцы пристаней.

«Выходящие в море» не следует понимать буквально. Маленькие джонки-жилища — судёнышки слишком утлые, чтобы довериться морским волнам и ветрам. В данном случае имеются в виду три рукава реки Жемчужной — западный, восточный и южный.

Сопровождающий нас житель джонок — старый рыбак. Ловит рыбу, креветок, ракушки. Он рассказывает:

— До освобождения жить было трудно. Я ловил рыбу и никогда не ел её. Я вынужден был продавать её за гроши. С нас требовали большую плату за место лова. А где взять деньги? «Водяные» были вне закона. Нас сгоняли с ловищ, стреляли в нас, часто бандиты отнимали у нас всё, что попадало в сети. Но человек всегда надеется на удачу, и я снова отправлялся на ловлю. Тиф и холера свирепствовали среди нас — мы пили плохую воду, прямо из реки, и её не на чем было вскипятить.

Жители джонок, несомненно, были своего рода париями, лишёнными прав. Теперь всё изменилось.

Джонки имеют постоянные причалы, матросы получают постоянную зарплату. «Водяные» впервые стали пользоваться теми же правами, что и все граждане. Было создано специальное районное правительство (с этим термином у нас постоянно возникают недоразумения — как это перевести? Всё слышим: правительство района, правительство провинции, правительство города!); оно занимается жизнью населения джонок. Был ликвидирован институт арендаторов, которые хозяйничали на пристанях, становясь господами жизни и смерти обитателей джонок.

«Водяные» имеют теперь амбулатории, два родильных дома и восемь начальных школ. Всё это находится на суше, в городе. В школах обучается несколько тысяч детей. При школах существуют интернаты, где во время учёбы дети могут жить. На многочисленных вечерних курсах обучаются грамоте взрослые. Есть у них Дом культуры и два его филиала на джонках, на воде. Существует комитет жителей джонок, женская организация и молодёжная. Одна из жительниц джонок — член Центрального комитета союза демократической молодёжи Китая.

Большинство мужчин работает матросами, черпальщиками песка и грузчиками на пристанях, поэтому на маленьких джонках мы видим почти всегда одних женщин.

С нами едет акушерка Чэнь Дин. Она живёт на джонке и обслуживает обитателей джонок. Один её сын — матрос, другой — грузчик, семнадцатилетняя дочь учится. Мужа угнали японцы, и с тех пор о нём нет ни слуху ни духу. Их старая джонка пришла в негодность. Недавно они купили новую. Чэнь Дин — председатель женского комитета, окончила курсы акушерок. На лодках сейчас работает сорок девять акушеров, до освобождения там знали только бабок-повитух.

— Сорок девять акушерок... Но ведь у вас же есть родильный дом?

Наша собеседница смеётся:

— Конечно, есть. Но женщины предпочитают рожать у себя дома. Привыкли. Пока ещё предпочитают на джонках. Я с апреля прошлого года приняла сотню новорождённых.

Наш катер останавливается у живописного островка. Цветут розово-лиловыми цветами большие деревья, стоят опрятные домики. Мимо нас всё время проплывают джонки. Стройные женщины-гребцы перевозят ездивших за покупками хозяек. Почти рядом с нами стоит маленькая джонка, в ней женщина вяжет на спицах, возле неё ребёнок спокойно играет какими-то лоскутками.

На многих джонках висят нанизанные на верёвки — сушатся на солнце — большие красные цветы. Спрашиваю спутницу, что это и для чего используется. Выясняется, что это цветы тропического дерева «бомбак малабарика», которые здесь называют «красная вата». Их собирают и сушат; часть продают в аптеки, часть оставляют себе — ими лечат корь у детей (не ручаюсь, действительно ли речь идёт о кори, потому что перевод происходит через двух переводчиков: здесь говорят на кантонском диалекте, и местный товарищ переводит на пекинский, наш переводчик — с пекинского на русский), используют как жаропонижающее при высокой температуре. Из сухих цветов готовят лепёшки и суп и в таком виде дают их больным.

Вверх и вниз по реке непрерывно движутся джонки. Большие, нагруженные тюками и корзинами, и маленькие. Малыш на соседней лодке ест рис из мисочки, ловко

орудуя палочками. Подъезжает старик с большим, похожим на ковш сачком. Он что-то ловит между прибрежными камнями, но пока безуспешно. Оказывается, старик ловит креветок — он показывает нам уже пойманных раньше, открывая продолговатую валнкообразную, суженную к концам плетёную корзину; привязанная к лодке, она плавает в воде. Совсем как наш днепровский «садок», только несколько иной формы, более удлинённой.

Рыбак объясняет, что из-за засухи вода в реке становится всё более солёной (мы испытали это на себе, когда пили чай) и рыба уходит вверх по реке, подальше от моря. Но креветки не имеют ничего против солёной воды, и их даже больше, чем обычно, уловы очень хороши.

— В пятидесятом году, — рассказывает старик, — здесь был создан рыболовецкий кооператив, в пятьдесят четвёртом — рыболовецкое товарищество. Но рыбы становится всё меньше. Раньше...

Улыбаюсь. Ну точно-в-точь как днепровские рыбаки! Видно, все они такие, старые рыбаки, и все они знают свои давние уловы сквозь увеличительное стекло.

Не могу оторвать глаз от китайских лодочниц. Они гребут стоя, два весла в уключинах на высоких палках, вделанных в борта лодки, или даже на одной, торчащей посередине. Маленькие джонки имеют только по два весла, большие ещё одно сзади — руль. Красивым движением лодочницы нажимают всем телом на весла, красивым движением выпрямляются, и хотя у них тёмная одежда, чёрные головки и смуглые лица, всё же они чем-то напоминают стройные берёзки.

Чэнь Дин приглашает нас на свою джонку. Подплываем. Да тут настоящий городок на воде! Выходим на мостки. Это как бы тротуар из поперечно уложенных досок, вначале широкий, потом всё больше суживающийся, потом переходящий в узенький мостик из двух вдоль положенных досок, который сменяется наконец шаткими и гнущимися под ногами бамбуковыми стволами. По бокам, как перила, бамбуковые прутья, используемые больше для развешивания белья, потому что «водяные» так уверенно и ловко ходят по своим раскачивающимся мосткам, что перила им просто ни к чему.

Отсюда джонки кажутся домиками, низко осевшими в землю в тесно застроенных улочках. Вода выдаёт себя только лёгким всплеском о бока лодок, и если бы не блики в щелях мостков, можно подумать, что мы на суше.

На всех «тротуарах» — на дощатых и на бамбуковых — ровно, парами стоят деревянные туфли. Никто не входит на джонку в обуви.

Джонка Чэнь Дин большая. Пол иатёрт до яркого блеска. Наша хозяйка садится на него, скрестив ноги, мы устраиваемся на крохотных скамеечках высотой в семь-восемь сантиметров и тоже пытаемся скрестить ноги, что нам не очень-то удаётся. Стены джонки светлозелёные, расписаны порхающими бабочками и цветами. Под толчком висит свёрнутый рулоном москитник, дверь засунута за поперечные бамбуковые прутья. Дверь — это просто тонкая доска или кусок фанеры; когда она не нужна, её убирают под потолок. Перегородка, разделяющая джонку поперёк, служит чем-то вроде буфета. Здесь висят фотографии, картинки, диплом нашей хозяйки, стоит огромный яркий термос (как выясняется в дальнейшем, премия за образцовую работу), всякие безделушки. За перегородкой находятся спальня и кухня. Помещение, где находимся мы, служит столовой и гостиной. В чуланчике под полом складываются постель и домашняя утварь.

Чэнь Дин угощает нас кипячёной водой из маленьких хорошеньких чашечек.

— Пейте, вода не солёная, сын ездил в соседний район и привёз хорошей, без соли.

Соседняя лодка тоже принадлежит их семье. Она меньше, но такая же опрятная. На этих двух лодках живут: наша хозяйка, её дочь, два сына, две невестки и внучек.

Спрашиваем, не болеют ли они ревматизмом, постоянно живя на воде? Все смеются. Какой там ревматизм? Ведь на джонках сухо. Другое дело раньше — тогда их косили болезни, умирали пятьдесят процентов новорождённых. Теперь у них есть всё необходимое и главное — чистая питьевая вода, которую они берут из кранов на пристанях. О, они даже здоровее тех, что живут на суше!

Глядя на Чэнь Дин и её семейство, мы готовы этому поверить. Вообще наши понятия о жизни на джонках становятся с ног на голову. А может, как раз наоборот? Насколько здесь лучше, чем в скученном, тесном старом районе Шанхая! Каждая лодка — отдельный домик одной семьи. Всё время на воздухе. Гребля на джонке — это гимнастика для всех мускулов, и, пожалуй, не случайно мужчины здесь такие складные, ловкие, а женщины такие красивые. Пожалуй, нигде в Китае мы не видели столько стройных, красивых женщин, как на кантонских джонках. Они маленькие, тонкие, как фарфоровые статуэточки, с длинными чёрными блестящими косами. Движения их уверенны, плавны, свободны, ходят они красиво, с естественной грацией.

Переселяются ли на сушу? Очень редко. Прежде всего потому, что не хватает квартир. И ещё потому, что прижились на воде и трудно расстаться с нею. Неохотно идут на сушу.

Разумеется, особый образ жизни, сложившийся на протяжении столетий, выработал привычки, традиции, навыки. Жители джонок чем-то напоминают мне цыган. Даже в мелочах — на ноге десятилетней девочки видим медный браслет; внучек нашей хозяйки, толстенький двухлетний карапуз, носит на ножке металлический обруч и серьгу с цветным камнем в ухе. Спрашиваю, не от дурного ли глаза? Поспешно заверяю (тройной перевод!), что нет, нет, это просто так, украшение. Я не очень уверена. Но если даже так, всё равно эти украшения очень напоминают цыганские.

Идя по улочкам-мосткам между джонками, видим, что все они, независимо от величины, похожи на лодку нашей хозяйки. Везде блестящие натёртые дощечки пола, везде чистенькие, затейливо плетёные циновки. Стоят цветы в горшках, висят клетки с птичками. Аккуратно сложенные вещи занимают не много места.

Ксе-где видим кур, привязанных за ногу. На одной из джонок сидит пушистый большой кот и разглядывает нас прищуренными золотистыми, как янтарь, глазами.

Из большой лодки долетают звуки патефона. Где-то дальше поют хором песню. Проплывает огромная джонка, вся в трепыхании разноцветных флажков. Всплещкивают вёсла. Навдвигается вечер. Возвращаются домой работающие на берегу мужчины. На джонках зажигаются огни. Женщины укладывают ко сну детей, которые днём разбредались по набережной или по мосткам. Детишки ведут себя здесь бесстрашно, да и матери спокойны — у каждого за спиной прикреплена связка бамбука. Если ребёнок упадёт в воду, бамбук держит его на поверхности, пока не подспеют взрослые.

Поздно вечером выходим прогуляться по бульвару над рекой. Одурающе пахнет незнакомыми цветами, река таинственно поблёскивает. Вдоль бульвара на чёрной воде колышутся маленькие джонки. Горит огонёк, тускло освещая лодочниц. Протяжным, звучным голосом они зовывают:

— Провезу по реке! Провезу по реке!

Садятся в джонки влюблённые парочки, до того гулявшие в тени больших деревьев бульвара. Нагибается и распрямляется стройная, как берёзка, черноволосая девушка-гребец. Мелькают огоньки на реке, туда и обратно плывут маленькие джонки в бархатной, благоухающей темноте.

Ночью с десятого этажа нашей гостиницы мы продолжаем наблюдать незатихающую жизнь джонок. Густо горят огоньки, в полночь громогласно кричит петух. Стук-стук-стук... дробно стучат по набережной деревянные подошвы, словно частый дождь по подокознику. Маленькие парходики не отдыхают — и теперь, как днём, плывут, пронзительно гудя, вниз и вверх по реке. При свете фонарей грузят и разгружают большие Саржи-галеры, похожие теперь в ночном мраке на огромные дома. Скрипят лебёдки, напевно, жалостливо хвалит свой товар продавец горячих лепёшек. Когда же, собственно, спят в Кантоне?

Мы покидаем город на рассвете, и опять дробный стук сандалей заполняет улицы. На джонках движение, но видно, что это утреннее оживление и что перед рассветом жизнь всё-таки замирала здесь на короткое время.

Когда, миновав пристань, наша машина проезжает несколько сот метров дальше, перед нами вдруг открывается удивительное зрелище: джонки на суше. Они стоят на вязком блестящем болоте.

— Что это такое?

— Отлив.

Верно, мы всё ещё не можем привыкнуть, что недалеко отсюда простирается океан, и все реки, которые мы видим в этой части страны, ведут себя, как море, уходя и возвращаясь обратно в определённое время суток, осажая на мокрой земле не только моллюсков и креветок, но и целые городки джонок.

Вид этого болота снова наводит на мысли, развеявшиеся накануне, когда нас изумили чистота джонок, их красиво плетёные циновки, натёртые полы, неплохо одетые люди, румяные деги.

Да, сейчас прекрасная пора — весна! Но как живётся на этих лодочках в осенний ветер и дождь, в зимний холод? Нам рассказывали, что раньше, когда налетал тайфун, джонки гибли тысячами — их уносило в море вихрем или выбрасывало на берег, и они разбивались вдребезги. Теперь метеорологическая служба заботится о судьбе водяного населения. Когда надвигается тайфун, перемена ветра, когда жителям джонок угрожает опасность, радио объявляет тревогу. Предупреждённые джонки уходят из главного русла реки, прячутся в затоках, каналах, маленьких рукавах, где им уже ничто не страшно.

Но ещё остаются обыкновенный пронзительный ветер и муссоновые ливни, льющие как из ведра, и палящее солнце почти тропического здешнего лета.

В Кантоне, возможно, зима не так даёт себя чувствовать. Кантон лежит на юге. Но как живётся на джонках дальше к северу, где зима всё же зима, хотя и не такая суровая, как у нас?

Вспоминаем, что нам сказали в Шанхае, показывая Новый район: квартиры получили в первую очередь бездомные и жители джонок. Вспоминаем, что мы видели джонки на маленьких илистых речках, на озёрцах, похожих на гниющие лужи, и хотя издали мы не могли их разглядеть, но вряд ли там были натёртые полы или цветы в горшках.

Конечно, там не так, как в Кантоне — огромном портовом городе, с большими пристанями, где много работы и легко заработать, где жителей джонок столько, что можно было создать для них самоуправление, и учреждения, и организации, необходимые для обеспечения нормального быта. Поэтому трудно судить по Кантону, как живут обитатели джонок по всей стране. Но, видно, не случайно в Шанхае, более крупном и более людном, чем Кантон, люди, которые лучше нас знают, каково жить на джонках, при распределении квартир на втором месте после бездомных поставили жителей джонок. Даже привязанность к пловучим домикам их обитателей ни о чём не говорит. Цыгане тоже не хотят поселиться на одном месте, но сомнительно, чтобы многие из нас согласились вести цыганскую, кочевую жизнь в покрытом брезентом фургоне.

Джонки-жилища — это всё же пережиток старых времён, и по мере развития жилищного строительства всё больше их обитателей будет переселяться на сушу, пока они не исчезнут окончательно.

Но пока что они существуют. И на тех, что мы видели в Кантоне, теперь вырастает люди с крепкими мускулами и лёгкой походкой, с исполненными грации движениями, смелые и предприимчивые, весёлые и жизнерадостные. Да, если хотите влюбиться в китайку, езжайте в Кантон и идите прямо на набережную. Поглядите на стройных гребцов с длинными чёрными косами — и, не сомневаюсь, вы будете покорены.

Самый красивый ковёр мира.

«А когда уже совсем нельзя было выдержать и они поняли, что если так будет продолжаться, все погибнут от голода, нищеты и пыток, они решили убежать от жестокого хозяина. Тёмной ночью погрузились в лодки и поплыли по реке искать лучшей жизни. Думали, что так они вырвутся из неволи и нищеты. Они плыли долго, пока не приплыли сюда, где теперь стоит наша деревня. Им понравились злешние места — берег реки, плодородная равнина, им казалось, что жизнь здесь может быть такой же прекрасной, как всё кругом.

Эти люди были тёмные, неграмотные и не знали, что в Китае нет ничьей земли, что воду и землю всюду во всём Китае захватили помещики, феодалы, что будь их воля, они присвоили бы себе даже небо и звёзды.

И вот эти прекрасные места для многих и многих из тех, кто приплыл сюда в поисках лучшей жизни, стали могилой. Здешние помещики сделали их своими батраками. Работали они от зари до зари и почитали это за счастье. Потому что, когда шёл дождь — работы не было и когда кончалась уборка — работы не было. И тогда они ели кору и древесину дынного дерева. Умиралаи дети, умирали старики. Люди потихоньку выкрадывали с помещичьих полей кокосовую копру, которую туда вывозили для удобрения. Для голодающих это была еда. Пятнадцать лет назад здесь умерло от голода тридцать крестьян, я видел собственными глазами. У члена нашего кооператива Фан Цю-и из шести членов семьи умерло тогда трое. Вымирали целые семьи.

За работу в поле жнецы получали немного зерна. За сбор фруктов в саду помещик не давал ничего, он только разрешал есть повреждённые плоды. Когда в садах поспевали плоды личжи¹, ещё до рассвета крестьяне становились в очередь, чтобы получить работу, чтобы наполнить желудок. Но людей было много, не для всех находилась работа. Быстро спеет личжи, быстро собирают её — и снова нет работы.

Помещик ценил свои фрукты дороже человеческой жизни. Один крестьянин ранним утром пришёл в сад просить работу. Его заподозрили в том, что он хотел украсть фрукты, и заколотили насмерть бамбуковыми палками. Погиб кормилец, и некому было содержать семью, жена и дети умерли от голода. Крестьянин Фан Чу проходил мимо плантации. Его тоже обвинили в том, что он намеревался украсть бананы. Он говорил, что невиновен. Тогда его подвесили за связанные руки на дереве, и так он висел под пальшим солнцем. Не выдержав пытки, Фан Чу сознался в несовершенном преступлении. На него наложили штраф — пятьдесят юаней. Чтобы уплатить эту сумму, он продал двух дочерей в публичный дом. Сам ушёл из деревни, и неизвестно, что с ним стало. Одни говорили, что утопился с отчаяния, другие — что ушёл в армию и погиб.

Помещик-тиран Ли Ху не позволял летом в перерывах между работой даже присесть под деревом, чтобы спрятаться от жары. «Тень моих деревьев — не для вас», — говорил он. Больше 1 600 му земли было собственностью помещика. А среди нас только у одного было три му земли. У остальных — ничего, ни клочка. За аренду одного му помещик брал 230 килограммов зерна, а с одного му нельзя было получить больше трёхсот килограммов. Если же учесть, что надо было землю удобрять, то при такой плате прокормить семью было невозможно. Поэтому никто и не арендовал землю.

Оставшись здесь работать, пришельцы втащили на берег свои лодки, на которых они жили, чтобы не гнили в воде. Местные жители не очень-то дружелюбно отнеслись к пришельцам. Они пустили слух, что это дракон засухи выполз на сушу. Дело известное: работы мало, рабочих рук много, а каждому хотелось жить. Лодки на берегу истлели, рассыпались со временем, и жить стало негде. Тогда люди соорудили себе шалаши и жили в них до самого освобождения.

Когда шёл дождь, в шалаше приходилось сидеть в шляпе, потому что вода лилась на голову; нельзя было варить еду — заливало огонь. Когда начинались ливни и в реке поднималась вода, шалаши заливало, а иногда даже сносило. Дети ходили голышом, взрослые прорезали в старых мешках дыры для головы и рук и надевали на себя. Каждую приглянувшуюся женщину помещик забирал к себе в наложницы. И никто не мог протестовать — ни муж, у которого отнимали жену, ни брат, у которого отнимали сестру, ни отец, которого лишали дочери. Помещик и его холоуи распоряжались жизнью и смертью людей. Крестьянин для них был ничто. Им ни в чём нельзя было перечить, некому было на них жаловаться.

Когда пришло освобождение, крестьяне не верили вначале, что могут получить землю, не верили, что победил народ. Слишком долго были помещики всепильными хозяевами над ними. Крестьянам казалось, что это вечный порядок, что иначе быть не может. Помещики сбежали, земля осталась, но крестьяне боялись её брать. Наш помещик был братом крупного гоминдановского офицера. Вся деревня на собственной шкуре узнала, что такое гоминдановцы, и боялась, что отомстят они жестоко, если вернуться.

Но в конце концов всё же нашлось несколько отважных семей, которые начали обрабатывать землю. А теперь из ста семи дворов нашей деревни сто состоит в коопе-

¹ Личжи — сочный ароматный плод, по форме напоминающий нашу клубнику.

ративе. Шесть семей мы не приняли, потому что они были связаны с контрреволюцией и помещиком. Семья одного крестьянина сама не захотела вступить. Жена этого крестьянина — родственница какого-то расстрелянного помещика — отговаривает мужа.

Всё это рассказал нам председатель кооператива — небольшой подвижной человек с замечательными огненными глазами. Он рассказывает живо, помогая себе жестами.

Мы сидим в конторе правления кооператива в деревне Модэша, неподалёку от Кантона. Раньше это было складское помещение на помещичьем дворе. Четырёхугольный каменный сарай с бойницами в стенах: помещик боялся не только своих батраков, не только крестьян, но и своих соседей-помещиков. Между помещиками часто разгоралась борьба, нападали те, что побогаче и по сильнее. Теперь на стенах этого бывшего склада-цитадели висят плакаты, лозунги. За столом рядом с нами сидят члены правления, среди них молодая девушка Фан Тин-хо — заместитель председателя.

Течёт рассказ о деревне, о страшных старых временах. И чтобы понять то, что благодаря аналогиям кажется нам таким далёким, что в нашей памяти затянулось уже дымкой забвения, а здесь совсем недавно было реальной действительностью, нужно просто припомнить даты.

Это не рассказ о судьбе дедов и отцов — в Китае граница между старым и новым пролегла всего шесть лет назад. Люди, к которым мы приехали, рассказывают нам не о слышанном, как у нас может рассказывать старый крестьянин передаваемую в семье быть о временах барщины. Их глаза сами видели, как мучился подвешенный за руки на дереве Фан Чу, как умирал под палками крестьянин, несправедливо обвинённый в краже фруктов. Это их сестёр и жён уводил в свою спальню помещик, это они сами ели кокосовую копру, беря её тайком, с опасностью для жизни, это им отказывали даже в тени дерева. И деревня их возникла здесь только после освобождения — до того это был лагерь из шалашей, где ютились бездомные батраки.

А деревня красивая. С одной стороны её отделяет от реки высокая дамба, возведённая недавно вместе с крестьянами соседней деревни на средства, выделенные государством. Дома стоят ровными линиями, они образуют открытый со стороны реки квадрат, замыкающий в себе часть полей и небольшой заливчик, где покачивается несколько небольших джонок. С дынных деревьев тяжело свисают большие зелёные плоды. Председатель срывает один, уже начинающий желтеть. Угощает. Что-то среднее между дыней и тыквой, хотя, пожалуй, ближе к тыкве. Мякоть нежная, жёлтая, мало сочная, почти без аромата. Банановые деревья с плюмажами широких яркозелёных листьев. Над заливом — птицеферма. Тысяча двести уток плавают, копошатся, поднимают страшный галдёж. Их кормят отрубями и всякой зеленью. Ферма обнесена плетнём из прутьев. В одном углу соломенный навес на столбах, с боков, прикрытых щитами, тоже сплетёнными из прутьев. Здесь утки, сбившись в кучу, прячутся от солнца. В двух сараях рядом — хлев. Свиньи небольшие, пятнистые, чёрные с розовым. У всех, даже у маленьких поросят, смешные обвисшие животы. Возле дома председателя тёмные огромные буйволы жуют что-то в зарослях. Неподалёку на траве сидят дети с чашечками и едят. Мы заглядываем в чашечки, в них рис, мясо, овощи.

Председатель рассказал нам, что в 1951 году, когда завершилась земельная реформа и было проведено орошение, урожай увеличился с 300 до 400 килограммов зерна с му.

— И мы могли есть теперь даже три раза в день! — сказал он.

Даже три раза в день... Нет, если не знать, как было, нельзя по-настоящему понять, какой смысл имеет в этой стране великое слово «освобождение».

Часто меня спрашивают: каков уровень жизни в Китае — в деревне, в городе? Как живёт крестьянин, рабочий, интеллигент? Ответить не так просто. Для человека, который ежедневно завтракал, обедал и ужинал, этот завтрак, обед и ужин — явление настолько обычное, что он и не представляет себе, как их может не быть. Но в Китае до освобождения на протяжении столетий большинство народа вообще не знало, что значит быть сытым. На протяжении многих поколений часть китайских тружеников умерала от истощения, а часть жила тем, чего едва хватало, чтобы не умереть. В Европе долго имела хождение — да и сейчас, наверное, имеет — теория о «дозволовании малым», о «малых потребностях» китайца, о том, что кули может целый день работать за горсть риса и этой горсти ему достаточно. Уже после нескольких дней

пробывания в Китае мы не удивляемся тому, что простой человек так часто, как похвалу новому времени, говорит:

— А теперь мы можем есть, сколько хотим. Теперь можем есть досыта. Теперь можем есть даже три раза в день...

Шесть лет прошло со дня освобождения, а этим шести годам предшествовали сотни лет недоедания. Сотни лет, когда наесться досыта было только мечтой, неосуществимой для миллионов. Нет, у китайского кули и у китайского крестьянина был не какой-то особенный желудок. Он вовсе не был сыт горстью риса, но он не имел ничего, кроме этой горсти, и никто его не спрашивал, что ему нужно. А теперь он сыт, сыт впервые в истории, и поэтому нас так радует мясо в чашечке у крестьянского ребёнка. И мы это видели в деревне, ещё недавно бывшей даже не деревней, а шалашным посёлком, в деревне, где даже щепотка земли не была собственностью крестьянина.

— Помещичьей земли было 1 600 му, а нас, крестьян, только триста сорок человек. Поэтому мы отдали часть земли крестьянам соседней деревни. Теперь на каждого, считая стариков, детей, грудных младенцев, приходится по полтора му земли.

С этими «му» у нас никак не ладится. Сколько это, собственно? Наш вопрос мы возим неразрешённым по всему Китаю и неразрешённым привозим обратно в Пекин, в министерство сельского хозяйства. Там выясняется, что дело не в нашей непонятливости, а «му» в разных районах страны разное. Однако в официальных расчётах обычно принимают му за одну шестнадцатую гектара, в среднем так и получается. Значит, полтора му на человека? Нет, здесь нельзя ни сравнивать, ни подсчитывать согласно нашим нормам. И вообще остерегайтесь делать выводы, высказывать суждения, прикидывать. Потом окажется, что вы безнадежно запутались и ваши выводы неверны. Вот так и с этим — полтора му. Много это или мало? Для наших хозяев это, видно, много, раз они больше не захотели и отдали соседям. Достаточно небольшой прогулки по полям кооператива, чтобы убедиться, до какой степени относительно количество земли.

Почти всю свою землю кооператив отвёл под разведение овощей. Длинные широкие ровные гряды — это кочанная капуста и разные сорта китайской листовой капусты. Горох посажен так, что между двумя его рядами проходит как бы решётка воткнутых под углом в землю бамбуковых прутьев, а протянутые вдоль верёвки прижимают к ней побеги. Горох стоит ровной стенкой, узенькой, прямой, занимая очень мало места.

На участках, где растёт рис, по краям посажена кочанная капуста. Батат, фасоль разных сортов, салат — всё высажено густо, на равных промежутках. Нигде ни пяди пустующей земли. Собран один урожай, но уже всходит другая культура, посаженная с таким расчётом, чтобы сразу же заменить предшествующую. Используется каждый сантиметр, и ни на мгновение не даётся земле бездействовать. Урожай собирается за урожаем, на смену созревшему подрастает новое. Уборка урожая на этих овощных полях происходит непрерывно. И нигде, ни на одном поле мы ни разу, буквально ни разу не увидели сорняка. Спрашиваем председателя, всегда ли так было? Тот смеётся. Когда работали на помещика, росли такие сорняки, что в них мог укрыться тигр. А теперь люди работают на себя. Урожай увеличивается из года в год. В 1952 году собрали 450 килограммов с му, а в 1954 — уже 540 килограммов. Откуда такой быстрый рост урожая по сравнению с теми тремястами килограммами, которые давала земля до освобождения?

Председатель, загибая пальцы, перечисляет по порядку:

— Во-первых, работаем для себя. Во-вторых, правительство дало нам возможность провести орошение. В-третьих, мы ввели новую систему посадки риса, советскую.

Вот не думали, что здесь, за тысячи километров от Родины, не на заводе и не на строительстве, а в деревне бывших батраков, в стране древней сельскохозяйственной культуры, услышим эту высочайшую похвалу, так просто высказанную! Труд наших учёных, мысль и работа советского человека дали простым добрым и великим в своих усилиях и прошлых страданиях людям добавочные килограммы риса. Помогли накормить тех, для кого возможность утолить голод — всё ещё новое, великое достижение, радость, какую ещё не успела притупить привычка.

Смотрим, как едят рис дети, и радуемся — радуемся так, как нам приходится радоваться на каждом шагу в этой стране, которая растёт, поднимается, расцветает, идёт

вперёд ошеломляющими темпами. И как во многих местах, во многих случаях мы радуемся, что в этом есть немного нашей помощи, что недаром те же дети так радостно встречают нас криками: «Суленины!»

— В этом году урожай тоже хороший, даже засуха ничего не могла повредить, хотя в наших районах уже пять, а кое-где и шесть месяцев не было дождя. А всё орошение! Приходится только бороться с засоленностью воды, из-за засухи река мелеет и морская вода поступает в её русло.

Да, мы знаем об этом. В Кантоне нас угощали несолёным кипятком, как лакомством. И мы знаем, какие опустошения вызывает отсутствие воды. Мы видели их по дороге в Кантон.

Председатель показывает, как они собирают воду для поливки: глубокие ямы, в которых скапливаются подпочвенные воды. Когда вода отстоится, её берут для поливки. О том, что воду нужно черпать и носить, не говорится, словно это не работа. В другом месте мы видели, как крестьяне носили воду из реки на отдалённое поле и поливали каждый кустик пшеницы. Они брели в гору с полными вёдрами, пот заливал им глаза, но они не хотели оставить всё на милость природы. Каждый стебель пшеницы был полит.

В холодные ночи овощи на кооперативных полях прикрывают соломой, на день, когда начинает пригревать солнце, солому снимают, но и теперь она лежит на некоторых грядках.

И поливка и бережный уход за растениями, да и обработка почвы скорее похожа на парниковые, чем на обычные полевые работы. Здесь удивляют не масштабами. Здесь выхаживают каждое растение в отдельности, подкармливают, окапывают, поливают каждый стебель злака.

Этот «парниковый» способ выращивания растений особенно поразил нас в первой увиденной нами китайской деревне около Пекина, в кооперативе «Первое мая». В холодный день начала марта здесь сажали огурцы. Грядки окружены или защищены с северной стороны высоким плетнём из тростника. Плетень, наклонённый к югу, оберегает растения от холодных ветров. Сверху вместо стеклянных рам соломенные или тростниковые маты.

Работают два старых крестьянина. В мисочке лежат пророщённые семена. По грядке проложена едва заметная бороздка. Один старик осторожно берёт пинцетом пророщённое семечко, проверяет, цел ли корешок, и бережно кладёт в бороздку. Другой, который несёт корзину с просеянной через решето землёй, идёт следом и насыпает над каждым зёрнышком маленький бугорок. Расстояния от семечка к семечку ровные, словно отмерены циркулем, маленькие бугорки земли совершенно одинаковые, будто только что вынуты из формочек. Можно без конца смотреть на эту ювелирную работу. Грядки на большую часть суток прикрывают матами, их снимают всего на несколько часов — с одиннадцати до четырёх. В мае огурцы созреют.

Дальше на грядке зеленеет шпинат. Посеяли его осенью, осенью же он, видно, и взошёл, потому что первые листочки немного прихвачены морозом. Такими же ровными густыми рядами вылезает посаженный осенью лук. Под самым плетнём растения выше, зелень их ярче.

Ну чем это не парники? Но здесь они играют иную роль, чем у нас. Прежде всего их здесь великое множество. Это не отдельные грядки, на которых выращивают рассаду или немного ранних овощей, здесь в парники превращены целые поля. Мы видим их повсюду — из окна поезда, из машины, с приземляющегося и поднимающегося самолёта. Они занимают огромные пространства вокруг каждого города. Здесь не только отвоёвывают у земли всё, что она может дать, — здесь даже времена года бессильны перед неустанным муравьиным трудом китайского крестьянина. Зима на его полях кончается раньше и начинается позже, чем это определяется календарём. Когда на полях должно бы быть совсем голо, земля здесь покрыта свежей молодой зеленью, выпестованной и выхоленной на грядках, укрываемых цыновками, подогреваемых навозом, старательно поливаемых, пусть даже воду приходится носить издалека.

На залитых водой рисовых полях вырисовываются как будто очертания колодцев: ровный круг, низкий валик земли. Круги и эллипсы, в зависимости от местности, рав-

номерно расположены на полях. Там выращивается рисовая рассада. Когда молоденькие растения достигнут нужной высоты, их пересадят отсюда, каждое в отдельности, ровными рядами, снова как будто с циркулем и линейкой в руках. Поэтому китайские поля точно покрыты вышивкой, тонкой, искусной. Причём используется даже самый что ни на есть крохотный клочок земли. Вокруг телеграфных столбов, бегущих вдоль железной дороги, вы не увидите поросших травой островков — всё вскопано до последней крупницы земли. Между скалами, где только найдётся кусочек почвы, хотя бы в несколько квадратных метров, виднеется микроскопическое поле. Мало того, мы видели в горах невесть откуда принесённую и насыпанную в расщелины скал землю, и на голой скале, в такой рытвинке, наполненной парой пригоршней земли, зеленеет несколько десятков колосьев пшеницы, несколько кустиков фасоли или других полезных растений. Такой миниатюрный огородик старательно поливают, принося воду по горной тропинке, по обрывистому склону, по осыпающимся острям камням.

Я не могла не вспомнить, глядя на взбирающихся по скалам людей с ведрами в руках, одного разговора в одной нашей деревне, одним жарким летом:

— Печёт, палит. В прошлом году посадил я три яблоньки, да такое выдалось лето, что они вконец засохли. Я смотрел, уже и корни мёртвые. Выкопать надо — только и пользы, что в печке сжечь.

В пятидесяти, буквально в пятидесяти шагах от хаты блестела вода речки. Три саженица — ну сколько ведер надо было принести за всё лето, чтобы спасти яблоньки? Однако не принесли, и деревья погибли.

Я не рассказала об этом случае китайским крестьянам, таскавшим ведра с водой за километр и за два, и не для фруктовых деревьев, а чтобы полить пшеницу или фасоль. Я подумала только, слыша здесь, на китайской земле, многократно повторяемое людьми в деревне и в городе: «Мы учимся у вас», что эта наука должна быть взаимной. Нам есть чему поучиться в этой стране необыкновенных людей.

В той деревне, под Пекином, где мы видели, как сажали огурцы, мы впервые ознакомились с жизнью китайского крестьянина. Мы смотрим во все глаза, чтобы ничего не упустить, ничего не прозевать.

Нас принимают в правлении кооператива. Большая усадьба, окружённая кольцом низких сараев и скотных дворов. В сараях сложен инвентарь, хранится крупно рубленая сечка из разных сортов соломы, сыпанная в плетёные корзины. В конюшнях, открытых, как и сараи, с одной стороны стоят лошади и ослы. Лошади мелкие. Рядом большая куча земли — ею засыпают стойла, а потом пропитанную навозом вывозят на поля. Во дворе стоит несколько двухлемешных плугов.

Заходим в дом. Длинный стол, на столе, как всегда, везде, где появляются гости, чай. На тарелочках варёные с солью и перцем арахисовые орешки, крутые яйца.

Нас встречает председатель кооператива, два старых крестьянина — передовики труда, бригадир и девушка, руководитель местной женской организации. Разглядываем надписи и плакаты на стенах, не очень уверенно начинаем разговор. Китайская деревня, китайский крестьянин... Не такой, как наш? Несомненно, не такой. Но в то же время такой же. Находим общий язык, и вдруг выясняется, что понять друг друга совсем не трудно. Через пять минут чувствую себя, как в каком-нибудь из наших колхозов. Почва здесь другая, и климат другой, но земля всегда остаётся землёй, и работа на земле — всегда работа на земле, урожай — везде урожай, и засуха — везде засуха. Этот китайский старик говорит, как старый украинский крестьянин, и думает похоже.

Разговор льётся свободно и живо. Наши собеседники откликаются на каждую шутку, весело смеются, сами шутят, рассказывая нам о серьёзных делах, о создании кооператива, о работе.

Кооператив создан в 1953 году, в него вошло триста четырнадцать дворов из четырёхсот насчитывающихся в деревне. По китайским условиям, кооператив огромный. Они выращивают чёрную фасоль, арахис, гаолян, кукурузу. Для фруктовых деревьев почва неподходящая, потому у них нет садов. Нам показывают кукурузные початки, мелкие зёрна чёрной фасоли, семена гаоляна.

Возвратившись в Киев, я посадила на своём огороде зёрна китайской кукурузы из початка, подаренного мне в кооперативе «Первомай». Кукуруза была посажена на две

или три недели позже нашей. Росла на той же земле, в тех же условиях и выросла вдвое выше нашей, со стеблем в несколько раз более толстым и листьями в два, а то и в три раза длиннее и шире. Позже посаженная, она немного позже поспела, но початки были большие, плстные, а когда мы их сварили ещё молодыми и мягкими, оказались необычайно вкусными — очень сладкими и сочными.

Зато опыт с фасолью не удался. Росла она буйно, кусты были крепкие и достигали шестидесяти — семидесяти сантиметров в высоту, разрослась вширь, но не успела зацвести до зимних заморозков. Члены кооператива очень хвалят свою фасоль. Они сеют её между кукурузой — два ряда кукурузы, ряд фасоли, потому что она боится жаркого солнца, хотя и не любит излишней влаги. Фасолью кормят свиней, считают, что от неё они прибавляют в весе лучше, чем от кукурузы. Лошади, ослы тоже едят чёрную фасоль, это, пожалуй, единственный из всех сортов фасоли, который едят животные. Её дают в сыром виде или варят и смешивают с сеном, но от кормления сырой фасолью прирост в весе бывает большой.

Но вот в ровно текущем разговоре начинают появляться трудности: никак не можем уяснить себе величину урожая. Переводчики пытаются перевести китайские меры веса на наши. Пошли в ход авторучки и карандаши, но это мало помогает, потому что и тут, как это было с мучившим нас «му», имеются местные, а не общие для Китая меры. Общими усилиями стараемся справиться с этой задачей, но справляемся пока не очень-то удачно. Путается также и председатель, сообщая нам то какую-нибудь необычно высокую цифру, чтобы тут же исправить её, если она нам кажется очень низкой или наоборот. В конце концов оказывается, что мы говорим о разных вещах.

Спрашиваем, например, сколько молока даёт корова?

Никто не может толком ничего сказать. Не разрешается всё просто. Рогатый скот в кооперативе используется только как тягловая сила. Ни председатель, ни разговаривающие с нами крестьяне никогда в жизни не имели дела с дойной коровой. С таким же успехом мы могли бы обратиться к нашему украинскому колхознику, прося у него данные, например, об удое кобыл.

Потом мы убеждаемся, что молочного скота в тех районах, которые мы видели, вообще очень мало. А часто его нет совсем. Наши вопросы об удое коров оказываются вопросами непосвящённых, как, впрочем, наверное, большинство вопросов, которые мы задавали на протяжении почти двух месяцев нашим гостеприимным и терпеливым хозяевам. Хотя планы кооператива «Первое мая» предусматривают разведение молочных коров, но это в будущем.

Недоразумение выясняется, смеёмся и мы и члены кооператива.

Идём смотреть свиней. Они чёрные, как фасоль, которой их кормят, обросшие длинной густой щетиной. Щетина очень ценная, используется не только в стране, но идёт и на экспорт. Свиньи небольшие, самый высокий рекордный вес — восемьдесят килограммов.

И тут снова недоуменный вопрос, который остаётся для нас неясным много дольше. Привыкшие к виду огромных боровов, больших бело-розовых маток с гладкой чистой кожей, мы критически оглядываем этих чёрных и пятнистых небольших юрких животных. Мелковаты, надо бы улучшить породу, высказываем мы свои впечатления... В нескольких деревнях, где говорим об этом же, нам поддакивают. Да, да, порода не из лучших...

Но потом в нашем посольстве неожиданно узнаём, что это как раз очень хорошая, можно сказать, знаменитая порода свиней. Небольшие, но необыкновенно выносливые, они не болеют, дают великолепное мясо, ценную щетину, в еде не привередливы, быстро растут, хорошо размножаются. И теперь мы уже не знаем, то ли с нами соглашались из любезности, когда мы критиковали свиней, то ли работник нашего посольства плохо информирован? Как же всё-таки в действительности обстоит дело с этими свиньями? По возвращении домой книжная справка разрешает все сомнения: это хорошая, очень хорошая порода свиней, и она многократно использовалась для улучшения европейских пород.

Но до всего этого мы дойдём позже, пока же мы равнодушно глядим на весело хрюкающих чёрных свинок, уверенные, что всё просто, ясно и понятно — породу надо улучшать. Это происходило на третий день нашего пребывания в Китае, и мы даже не по-

дозреваем, сколько ещё раз будем стоять в нерешительности, не зная, кто прав, или, что ещё хуже, не зная, что мы не правы. Так бывало каждый раз, пока следующий разговор или следующий день не открывал нам глубины нашего незнания и нашего заблуждения.

Идём по деревне. Повсюду глиняные стены, образующие узкие улочки. Заглядываем в ворота — угольный склад. Из смоченной водой угольной пыли женщины делают маленькие круглые катышки и ссыпают в небольшие кучки. На улице жернова — большой круглый камень, по нему женщина катит другой, укрепленный на палке, размалывая кукурузные зёрна. Вокруг женщины и дети. Тут нечто вроде деревенского клуба или вечерних гулянок у колодца в нашей деревне. Увидев нас, все хлопают в ладоши. Дети галопом мчатся за нами. Они сопровождают нас повсюду весёлой непоседливой воробьиной стаей. В каждом дворе, куда мы заглядываем, полно кур и голубей. Дворы удивительно чистые — подтверждается наше первое путевое впечатление. Ведь тут всюду глина — казалось бы, после каждого дождя здесь должна липнуть густая рыжая грязь, стоять лужи, а в сухие дни тучами подниматься пыль. Но дворы, где бродят куры и ослы, лежит инвентарь, аккуратно собранные в кучки навоз и земля для подстилки, чисты, как пол комнаты. Вопреки тому, что писалось в старых романах, не только деревенские дворы, весь Китай необыкновенно чист, несмотря на большую плотность населения, несмотря на тесноту помещений.

Возле зелёных грядок колодец. Маленькая лошадка размеренным шагом ходит по кругу, двигая привод, поднимающий воду с небольшой глубины. Вообще воды здесь достаточно, председатель говорит, что в прошлом году урожай в кооперативе был лучше, чем у единоличников. Эта фраза выясняет одно из недоразумений, потому что перед тем мы спрашивали, достаточно ли было у них дождей, привыкнув к тому, что в наших местах их часто бывает слишком мало. А здесь, в этом районе Китая, оказывается, боятся их избытка.

Заглядываем в амбулаторию. Женщина пеленает младенца, которого только что осмотрел врач. Заходим в магазин — нитки, мануфактура, одежда, керосин, рис. Мы думали, что хорошо знаем, что такое рис. Ну, рис и рис. А здесь в мешках и корзинах стоит чуть ли не до двадцати его сортов. Мелкий и крупный, белоснежный и желтоватый, продолговатый и почти круглый. Разные цены, разные сорта, некоторые совсем не похожи на тот рис, к которому мы привыкли и считали его единственно существующим. Вообще в магазине есть всё необходимое.

Можно ли зайти к кому-нибудь в дом?

— Конечно, вам будут рады!

Навстречу нам выбегает маленькая, совсем как девочка, молодая женщина, улыбаясь, здоровается, приглашает в комнаты.

За дверью широкие сени, в них по обеим сторонам входа вмазаны два больших котла с деревянными крышками. Дальше, справа и слева, двери в комнаты. В одной под окном, вдоль всей стены, широкий кан, накрытый красивой циновкой, сплетённой из тонкой соломы, под ним трубы — дымоход от котла в сених для обогрева. Топится маленькая железная печурка, на ней кипит чайник. На столике стоят фарфоровые вазочки, большие яркие расписные термосы. Теперь мы больше не удивляемся, как удивлялись в первый день пребывания в Пекине, когда как доказательство растущего достатка деревни услышали: «Крестьянин покупает термосы». Мы успели усвоить, какую роль играет в Китае чай и просто кипяток и как это важно, не разжигая постоянно печку, иметь кипяток благодаря термосам в любое время.

В доме так же чисто, как и на дворе. Интересуемся детьми.

— Дети? — переспрашивает наша молодая хозяйка и смеётся немного смущённо, теребя в пальцах розовую ленту, которой завязаны её короткие чёрные косички. — Нет, детей ещё нет. Мы недавно поженились. О, вот как раз идёт муж...

Муж, пожалуй, не старше жены — ему двадцать лет. Он хорош собой и так же весёл, как она. Стараемся быть возможно менее назойливыми, но любопытство берёт верх. С интересом разглядываем всё в этом первом для нас китайском деревенском жилище. Но наши хозяева понимают нас, не обижаются, и сами объясняют, показывая своё добро, поясняют устройство обогревающего кан котла, показывают посуду.

А что по другую сторону сней? Там тоже живёт молодая пара, у них недавно родился ребёнок. Не хотим ли зайти к ним? Нет, не хочется беспокоить мать и новорождённого. Покидая гостеприимный дом, ещё раз оглядываем полный кур и голубей двор. Собака, того же цвета, что и стены дома и двор, совсем не обращает на нас внимания.

На улице опять нас окружает толпа ребятишек. Круглощёкие личики с тёмным, смуглым румянцем. Пухлые, толстые ручки и ножки. Сердце радуется, так хорошо они выглядят. По улочке идут женщины с младенцами на руках. Младенцы завёрнуты в ватные одеяла, чаще всего огненно-красного цвета. Все женщины в штанах. В Пекине, не часто, но попадались всё же женщины в платьях. В деревне мы не видели в платье ни одной.

Ещё раз заходим в правление. Расспрашиваем с умным видом о механизации. Да, у них был трактор, значительно повысил урожайность. На какую глубину пахали? Называют. По нашим условиям, глубина минимальная, но для этих мест вполне достаточная. Глубже просто нельзя, пласт плодородной почвы здесь незначителен. Ратуюм за механизацию, не подозревая ещё, что этот вопрос тоже станет для нас впоследствии камнем преткновения. И как многое другое, всё в нём окажется гораздо сложнее, труднее, чем мы думали. Осторожно расспрашиваем ещё об одном. Повсюду в Китае используют каждый, самый крохотный клочок земли, и никогда не видно того, что так часто встречается у нас, хотя бы на приусадебных участках,—собран горох, выкопан лук или чеснок, и до самой зимы этот кусок земли зияет пустотой или зарастает бурьяном. И одновременно здесь много совсем не обработанной земли. И на без того крохотных участках иногда высятся пять или шесть поросших травой могил предков. Почти нигде, кроме как в городах, мы не видели кладбищ. Каждый хоронит умерших близких на своём поле, и иногда треть или даже половину поля (там, где земли особенно мало, а население велико) занимают зелёные холмики могил.

В Китае свято чтут предков, охраняют могилы не только отцов, но и прапрадедов. Так возникает ещё одна проблема — проблема невозделываемых могильных холмиков. Века веры, привычек, религия, обычаи, предрассудки сплелись в крепкий узел. Хотя, наверное, если бы можно было спросить предков, они охотно согласились бы лежать на кладбище, освобождая гектары такой нужной, такой необходимой земли. Мы начинаем издали, деликатно, чтобы не задеть ничьих чувств и в случае чего сразу ретироваться. Но, оказавшись, здесь тоже подумывают об этом — в кооперативе уже переносит останки умерших на общее кладбище. Должно быть, дело подвигается туго, потому что и здесь мы часто видим по нескольку могил на одном поле. В горах всё разрешается куда проще — там хоронят на скалистых склонах, в высеченных в камне или в вырытых в бесплодном гравии могилах. Но на равнине — на плодородной красной, рыжей, коричневой почве — могилы предков занимают очень много места. Позже мы многих расспрашивали об этом. Один из партийных работников, с которым мы часто встречались, сказал нам, что это трудная и важная проблема. Но когда уже к концу нашего путешествия мы задали тот же вопрос в министерстве сельского хозяйства, там отнеслись к нему как-то безразлично. А вообще, кто знает, может, мы поступили нетактично, и с нами просто не захотели говорить об этом.

Кооператив «Первое мая» имеет шестьдесят пять голов рабочего рогатого скота, ослов и лошадей. Опять заводим разговор о механизации. Нам вежливо поддакивают. Да, да, механизация... После полуторамесячного пребывания в Китае мы диву даёмся, как можно было быть такими легкомысленными.

Что состоит в кооперативе? И здесь мы снова удивляемся китайскому своеобразию. Не тот, кто хочет вступить в кооператив, но тот, кого кооператив захочет принять.

— Мы отняли землю у помещика и кулаков. Многие из них хотят теперь вступить в кооператив, но мы их не принимаем. Не принимаем и тех, кто был связан с гоминдановцами, кто был против народа.

Тут следует сказать, что китайский помещик — это не всегда такой помещик, каким мы себе его представляем. При здешнем плодородии почвы и способе её обработки хозяйство, которое мы с трудом назвали бы середняцким, здесь считалось бы уже помещичьим имением. Часто сталкиваемся и с трудностями перевода: в кооперативе в деревне

Модэша мы долго не могли понять, о ком, собственно, идёт речь — о помещике или о его управляющем, потому что помещиками называли и самого землевладельца, и его управляющих, и экономов.

Мы видели несколько домов помещиков. Некоторые из них, по нашим понятиям, совсем скромные и совершенно не дают представления о том, как жили их владельцы. Хотя видели мы и другие — например, дом гоминдаповского сановника, брат которого владел Модэша. Это был уже не дом и не дворец, а настоящая крепость с разводными мостами, с бойницами, крепость в огромном великолепном саду.

В кооперативе «Первое мая», как и везде, где мы бывали позже, мы не устаём удивляться тому, насколько полно используется и всё, что может дать земля, и всё, что можно дать земле. В Тяньцзине почти у всех лошадей и ослов, тянущих всякого рода повозки, под хвостом подвязаны мешочки. Иногда это даже не мешочек, а просто полоса мешковины, которая ведёт к повозке, и навоз падает прямо в повозку. На ярмарках и базарах мы видели огромные глиняные сосуды. Только потом мы узнали, каково их назначение — в деревне их вкапывают в уборной и, когда они наполняются, вывозят на поле.

Мы видели, как выгребают, выскребают из трещин между камнями каждую горсточку хорошей земли, чтобы понести её в поле как удобрение. Мусор, выметенный из дома, каждая щепотка золы, каждая сухая былинка становятся удобрением, всё идёт обратно в землю, которая потом одаривает человека. Мы видели и искусственные удобрения, рассыпанные по полям, но основным являются естественные органические — навоз, ни одна кроха которого не пропадает. Только успел пройти буйвол или лошадь и оставить после себя след, как тут же кто-нибудь подбирает навоз в плетёную корзину и выносит в поле. И снова я невольно вспомнила, как у нас, возле знакомой мне деревни на песчаном берегу реки, я видела горы навоза, перегоравшего, мокнувшего под дождём, пропадавшего впустую, тогда как там даже на приусадебных участках ничего не выращивали, потому что «земля плохая». В Китае нет плохой земли. Человеческие руки всякую превратят в хорошую, всякую заставят давать урожай. Китайский крестьянин за сотни лет до Мичурина привык применять в жизни его принцип — не ждать милостей от природы, а самому её переделывать и требовать от неё как можно больше.

Разумеется, невероятное умение использовать землю и почти нечеловеческая трудоспособность китайского крестьянина были вызваны плотностью населения, трудностью существования — нет фактов без причин. Но умение это замечательно и достойно подражания.

Кооператив в деревне Чжау, неподалёку от Ханчжоу. Здесь главным образом занимаются выращиванием чая.

Мы долго едем по прекрасной дороге вдоль реки, потом сворачиваем в извилистую горную долину. Земля яркая, жёлто-красная, контрастирует с густой зеленью кустов и деревьев. А вот и деревня. Посередине её прорезает поток, быстрый горный поток. Большие добротные дома. Вначале здесь возникла бригада взаимной помощи, в 1954 году образовался кооператив. Вступающие в кооператив вносили как пай землю и крупный инвентарь; мелкий после работы уносили с собой домой. Кооператив платил своим членам за землю. Плата уменьшается, как нам объясняет заместитель председателя, «по мере роста сознательности». Пятнадцатого марта 1955 года они перешли на более высокую ступень кооперирования. Сдельный заработок, трудодни исчисляются по трём показателям: по часам работы, по весу собранного чая, по качеству сбора. Кроме чая, в кооперативе выращивают рис.

И снова, как повсюду, — «до освобождения», «после освобождения». Преломилась история, преломилась жизнь, и эта грань — «освобождение» — такая яркая и чёткая и везде присущая, что ни о чём ни с кем нельзя говорить, чтобы не всплыла сразу в первых же словах.

В кооперативе нам рассказывают историю одной семьи из их деревни. Отец семейства не в силах перенести нужду и страдания покончил с собой. Двое из его детей умерли от голода. Оставшиеся в живых малолетние сын и дочь питались отрубями и травой, но, видно, были крепче и выдержали. Дождались освобождения. Брат вступил в кооператив.

— В пятьдесят четвёртом году он купил себе два хлопчатобумажных костюма. У них теперь есть одеяла, москитники,— живо рассказывает нам смуглый подвижной замститель председателя.

Ну что же ответить, когда тебя спрашивают об «уровне жизни» в Китае? Два костюма, два одеяла, москитник — много это или мало?

Да, надо услышать собственными ушами, что звучит в голосе человека, и не одного этого человека, когда он говорит об этих костюмах, москитниках, одеялах, хотя костюмы, москитники, одеяла — обычные необходимые вещи. Но нельзя забывать, что эти люди ходили не в костюмах, а в мешках, в лохмотьях, в одежде из соломы, свисающей на верёвках от плеч и от пояса, как маленькие стрехи, что им нечем было укрыться в холод, что их много месяцев в году заедали комары.

И выходит, что костюм и одеяло — это много, очень много. Чтобы молодой человек, выросший на мякине и траве, мог их себе купить, много лет должны были сражаться в революционных боях лучшие сыны Китая, его Красная Армия должна была свершить свой Великий поход в двенадцать тысяч километров, должны были вырасти могильные холмы, в которых лежат сотни тысяч героев, вся огромная страна должна была долго, упорно, ожесточённо бороться. Не двадцать юаней стоит костюм, в который оделся голый человек, он стоит миллионы человеческих жизней, и ценой крови миллионов заплачено за то, что мы не видим сегодня в Китае людей в лохмотьях.

Помню китайский фильм, который показывали у нас несколько лет назад. Рабочий начинал после освобождения новую жизнь. Там была скромная, даже бедная комната. На железной печурке кипел чайник, жена накладывала полные чашечки риса мужу и детям, на кане лежали свёрнутые валиком одеяла. Тогда я подумала: как мало! Но теперь знаю, понимаю и чувствую: как много! Самая страшная нищета, известная европейцу, — ничто по сравнению с нищетой, в какой жил китайский народ. И поэтому остаётся только изумляться, что за короткие шесть лет сделано так много, сделано столько, для чего в другой стране и в других условиях потребовались бы десятки и десятки лет.

Кооператив в Чжау имеет ясли, правление выделяет женщин, которые смотрят за детьми. Вечерние курсы грамоты посещают семьдесят два взрослых, имеется начальная школа. Было у них тридцать семь неграмотных, теперь неграмотность ликвидирована. Созданы любительский театр, баскетбольная команда. Открыты читальня и библиотечка.

— Какой урожай даёт у вас чай? — спрашиваем.

И снова слышим: «до освобождения», «после освобождения».

— До освобождения средний урожай был тридцать килограммов с му. Люди не помогали друг другу, каждый сам обрабатывал свой участок, и трудно было бороться в одиночку с природой, поэтому мы не могли получать больше. В 1950 году мы собрали сорок килограммов с му, в 1953 — уже семьдесят два килограмма, хотя была засуха, а в 1954 — восемьдесят пять килограммов с му. Общими силами можно одолеть засуху — пятьдесят дней не было у нас дождя, но мы носили воду и поливали. В прошлом году на чайную плантацию обрушились вредители. Гусеницы съедают листья, потом кору, и куст гибнет — приходится его вырубать. Когда с гусеницами боролись в одиночку, ничего не выходило. А когда за это взялся кооператив продуманно, сразу же и все одновременно, мы победили паразитов. Мы стряхивали гусениц в корзины — их набралось двадцать тысяч килограммов; опрыскивали кусты химическими растворами — кооператив имеет специальные приспособления для этого, — и гусеницы оказались слабее нас. Своим опытом кооператоры делятся с другими, соревнуются.

Кто вступил в кооператив? Бедняки, часть середняков. Бывших помещиков, кулаков, бывших контрреволюционеров не принимают.

Причиняют ли им кулаки неприятности? Конечно. Когда вели борьбу с гусеницами, кулаки не хотели принимать в ней участие. Они шли на то, чтобы гусеницы погубили их плантации, лишь бы повредить кооперативу. Один из кулаков, платя налог, сдавал рис сверху и снизу сухой, а в середине мокрый. Так он не только увеличивал вес и сдавал государству меньше, чем полагалось, но от его мокрого риса могли испортиться запасы на складах, если бы он был туда сыпан. Выходит, не только обман, но и вредительство.

— А тем, кто ещё не вступил в кооператив, мы помогаем. Помогали в засуху и когда боролись с вредителями. Кооператив растёт. Сначала нас было тридцать семейств,

теперь стало девяносто, хотя с марта, с тех пор, как мы перешли на более высокую ступень кооперации, земля не является уже вкладом, а переходит в собственность кооператива.

Председатель улыбается и подтверждает сказанное кивком головы. Он вежлив и мил, но молчалив. Его заместитель, наоборот, разговорчив. Он даёт подробные объяснения, помнит каждую мелочь, сразу понимает, что может нас интересовать больше всего. Он говорит живо, хорошо, как образованный человек. До пятидесятого года был неграмотным. Теперь без труда зачитывает различные данные из своей записной книжки, выписывает на бумажку цифры и расчёты, которые причиняют нашим переводчикам большие затруднения. Эта записная книжка — тоже результат освобождения.

Сколько из тех, с кем мы разговариваем, были шесть лет назад неграмотными! А сегодня в это трудно поверить. Однако это живая, самая что ни есть правдивая правда революции, освободившая человеческие силы, человеческий ум, человеческие способности. И уж если о каком-нибудь народе можно сказать, что это способный, талантливый народ, то именно о китайском. Его подавляемые веками способности вспыхивают теперь с невиданной силой. Так, сохнувшее без воды растение, когда его обильно полиют, распрямляет вдруг повисшие бессильно листья, оживает, преображается. Недавно неграмотные люди разговаривают сегодня с нами языком начитанных. Они знают, что происходит в их стране и что происходит в мире, разбираются не только в наиболее близких им сельскохозяйственных делах, но и в политике, в географии, истории, знают и умеют удивительно много. Исполненными шагами идёт вперёд китайский народ...

— Есть ли в кооперативе агроном?

Нет, агронома нет. Ведут хозяйство на основе многолетнего опыта. Ведь их предки сотни лет выращивали чай. Теперь они обмениваются опытом с другими кооперативами — так можно ещё что-то улучшить, ввести что-то новое.

— Слишком мало у нас, в Китае, агрономов, — объясняет нам заместитель председателя. — Потом будут. А теперь мы сами себе агрономы! — шутит он и весело смеётся.

Да, в стране уже более шестисот тысяч кооперативов. Агрономов для всех не сфабрикуешь в течение года. Ещё и ещё вспоминаем, что только шесть лет прошло с момента, как Китай возродился, как свободный человек стал трудиться на свободной земле.

— В пятьдесят третьем году после продажи урожая наши люди купили сто костюмов. У нас теперь своя амбулатория, свой магазин.

Осматриваем хозяйственные постройки кооператива. Правление размещается в бывшем помещичьем доме. Помещик был настоящим тираном, членом тайной бандитской организации. Крестьяне осудили его на смерть.

Дом не вяжется с нашим представлением о помещичьих домах — это скорее просторный амбар. Здесь теперь происходят заседания правления, состоящего из одиннадцати человек, выбираемых ежегодно. В кооперативе девять коммунистов, двадцать восемь членов Союза демократической молодёжи.

Идём в школу. Это самое лучшее здание в деревне, тоже бывший помещичий дом, только гораздо внушительнее первого. В школе три класса, сто двадцать детей, четыре учителя. Занятия уже окончились, и мы рассматриваем в классах маленькие забавные скамеечки и столики, картинки на стенах. На внутренней веранде со стороны двора сидит группа детей. Оказываются, дети, живущие далеко, получают здесь обед.

Недалеко от школы ясли. В деревянных ящиках-кроватках спят малыши. Другие, что постарше, играют, сидя на полу. За ними присматривают две женщины — старушка и молодая девушка. Воздух здесь нам кажется слишком свежим, и к тому же сквозит. День холодный, а в яслях всё открыто, но ни дети, ни воспитательницы этим не обеспокоены. Впрочем, так принято всюду в Китае — в школе открыты окна, зарядка в холодный ветреный день происходит на воздухе, в любую погоду дети идут гулять. И, видно, им идёт на пользу, что их не кутают, не одевают слишком тепло, не оберегают от пресловутых сквозняков. Даже малыши в яслях и те уже закалены, не тянут носом, не кашляют, у них не мёрзнут ни ручки, ни ножки.

Дети внимательно к нам присматриваются,водя за нами круглыми чёрными глазами. Но когда мы слишком приближаемся к сидящему в кроватке малышу, ребёнок раздражается плачем. Испугался. Поспешно ретируемся, понимая, какими странными и

непонятными должны мы казаться этим маленьким — большие, неуклюжие, в чудной одежде...

В читальне над книгами сидят юноши и девушки. В библиотеке нам показывают маленькую иллюстрированную книжечку. Не сразу понимаем, что это «Фронт» Корнейчука в издании для малограмотных — теперь так издаются многие книжки в Китае. Картинки и под картинками надписи из текста пьесы. Вертим в руках книжечку, которую, видно, уже прочитали десятки и десятки людей здесь, за тысячи километров от нашей страны. И тут находится кто-то, кто говорит:

— Во время войны с Японией мы прерабатывали эту пьесу в армии, она помогала нам бороться с врагом и укреплять армию. Она вошла в список материалов, обязательных для изучения в армии, и поэтому её знает каждый, кто был офицером или солдатом. Но и теперь она нам приносит пользу. С Горловыми приходится бороться и в мирной жизни.

И это мы слышим в маленькой горной китайской деревушке... Да, стоит быть писателем и переживать все те испытания, которые выпадают на его долю, чтобы услышать потом из уст китайского крестьянина такие слова. Кладём на стол маленькую книжечку, которая нам дороже самого роскошного издания.

Нам показывают, как обрабатывается чай. Огромный сарай, в нём очаг, кругом вмазанные одна возле другой металлические жаровни, на которых сушатся чайные листочки. Дальше ещё какие-то приспособления, правда, совсем примитивные. Вообще вся эта «чайная фабрика» выглядит очень неказисто. Но члены кооператива показывают её с гордостью. Ведь только при кооперативном хозяйстве стало возможным и соорудить эти огромные очаги, и построить сарай для топлива, и приобрести тележки для перевозки сырья. Это — достижение. И вот наше первоначальное впечатление исчезает, мы начинаем постигать, что это — действительно достижение, и большое достижение. Нет современных машин? Да, конечно, но ведь несколько лет назад чай обрабатывался здесь просто руками, на обычных сковородах, на железных пещурках. Каждый делал это сам, в своём домишке. А теперь делают всё сообща, при урожае втрое большем, чем раньше, и покупают на вырученные деньги сто костюмов и едят досыта, и учатся, и лечатся, и выращенный ими чай пользуется заслуженной славой.

Председатель и его заместитель ведут нас далеко за деревню. Ходим по чайной плантации и учимся различать сорта чая. С верхушек веточек председатель срывает молодые, светлозелёные листочки и предлагает отведать их. Они душистые и горькие, надолго остаётся во рту терпкий характерный привкус.

Тепло распрощавшись, покидаем гостеприимных жителей Чжау. Оглянувшись назад, видим, как они машут нам вслед руками. Потом поворот горной дороги скрывает их окончательно.

С правой и с левой стороны оврага, на склонах, на всей этой яркой, пламенеющей земле — шарообразные, кудрявые чайные кусты. Внизу журчит прозрачный ручей. Всё ещё чувствуем во рту освежающий, горьковатый вкус чайных листочков. И как повсюду в Китае, после каждой встречи с людьми — радостное спокойствие на сердце. На горной извилистой дороге далёкой китайской провинции мы, люди другой национальности, другого языка, другой истории и другого воспитания, с такой же силой, как и они, переживаем радость их освобождения.

Деревня Цэнгуань под Куньмином, на юго-западе Китая, лежит в стороне от обычных туристских маршрутов. В этих краях не бывает зноя, и ещё с самолёта мы видим внизу волнующееся поле пшеницы, хотя сейчас всего лишь конец апреля. Здесь собирают два урожая: один — риса, другой — пшеницы.

Кооператив называется «Авангард». В него вступило девяносто три семьи из девяноста девяти живущих в деревне. Кооператив существует три года. Основные культуры — рис, пшеница, бобы, овощи.

За столом правления сидят два молчаливых человека со знаками отличников труда на груди и загорелый, словно бронзовый, старичок с редкой бородкой клянышком.

— Это наш технический советник, — говорят передовики труда, и старичок добродушно улыбается.

— Молодые... А я уже старый. Успел набраться опыта за свою жизнь. Вот и помогаю. Ведь надо помочь кооперативу...

В сопровождении этой тройки и других присоединяющихся по дороге знакомимся с деревней.

— Урожай после освобождения увеличился в полтора раза. Раньше полученного с земли хватало в лучшем случае на восемь месяцев. Чтобы продержаться остальные четыре месяца, приходилось наниматься батраком к помещику или зарабатывать каким-то другим способом. А теперь хватает. Когда кооператив развернётся, как намечено, будет ещё лучше.

Рогатого скота кооператив не имеет. Мы агитируем: надо создать молочную ферму. Соглашаются. Да, конечно... а под конец разъясняют нам, легкомысленным советчикам, что на каждого человека в кооперативе приходится по одному му земли. Какие там коровы? Чем их кормить? Они правы. Мы слишком привыкли к нашим огромным земельным угодьям, к пастбищам, лугам, нам трудно освоиться с тем, что в кооперативном хозяйстве китайских крестьян на человека приходится земли меньше, чем наш приусадебный участок. К тому же большинство кооперативов ещё очень невелико — двадцать, тридцать дворов, а есть и меньше. Так что о молочных фермах пока не приходится говорить.

Зато есть куры, утки, свиньи. Самый высокий вес свиньи в этом хозяйстве — пятьдесят — шестьдесят килограммов. Кормят их рисовой соломой. Мы снова заговариваем о ферме, но... уже не рогатого скота. В этом с нами соглашаются полностью. Заходим в один из домиков, из-под кана хозяйка выгоняет небольшую, как наш поросянок, чёрную свинью. Свиней ещё держат пока в домах, хлевов нет. Кооператив этот нижней ступени, его земля — собственность пайщиков. В планах на ближайшее будущее решено использовать двадцать семь процентов почвы под овощи и заложить рыбное хозяйство в ближнем пруду. Что касается свиней, неплохо было бы иметь их побольше, только от них и вреда много, всё роют и роют.

— На Украине таким свиньям вставляли раньше в нос проволочку, чтобы не рыли, — говорим мы.

Смеются, вероятно, принимая это за шутку. Повторяем, что действительно было так и действительно помогало. Вежливо соглашаются, но видно, что проволочку попрежнему не принимают всерьёз.

Идём в поле. Несколько участков засажено капустой. Дальше крестьяне вскапывают землю. Земля сухая, твёрдая. Рукоятка мотыги свыше метра в длину. Насажённая на неё большая прямоугольная мотыга весит добрых пять килограммов. Крестьянин заносит её высоко над головой, отклоняясь назад, выпрямленными руками описывает ею большую дугу, усилием рук и тела вбивает в землю и отваливает целую глыбу, которую тут же ловко, одним движением выворачивает низом вверх.

Пытаюсь проделать то же, рассчитывая на свою огородную практику. С усилием поднимаю тяжёлую мотыгу и с размаху опускаю её на землю. Но остриё уходит вбок, почти не задев твёрдой, плотной почвы. Пробую ещё раз — и должна отказаться. Пробует наш переводчик — результат такой же. Пробует начальник уездного сельскохозяйственного отдела — то же самое. Из всех нас один Корнейчук справляется с мотыгой и, отхватив большой ком земли, выворачивает её к солнцу. Этот «подвиг» даёт ему повод посмеиваться над нами в течение нескольких дней.

— У нас есть такая шутка, — говорит один из крестьян. — В городе отец спрашивает сына: «Откуда берётся рис?» — «Из мешка», — отвечает сын.

Долго потом за каждой едой Корнейчук досаждает мне и нашему переводчику, хрупкому интеллигенту в очках: знаете теперь, откуда берётся рис?

Шутки шутками. Но ведь это нечеловеческий труд. Когда мы как-то отправились за город осматривать окрестности, мы увидели, как вскапывали поле стоящие в ряд шестнадцать человек. Было раннее утро. Ровными взмахами взлетали в воздух мотыги, сверкая на солнце отполированными остриями, и ритмично падали на землю, отбрасывая тяжёлые комья. Возвращались мы, когда уже заходило солнце. Шестнадцать крестьян приближались к концу небольшого поля. Ровно, ритмично взлетали вверх мотыги, ровно, ритмично опускались на землю.

Много раз мы видели, как вскапывают крестьяне землю, но никогда среди работающих не было ни одной женщины. Этот труд слишком тяжёл, требует большой физической силы.

— Почему руками это делают? Ведь в других местах мы видели, пашут на буйволах?

— Здесь нельзя пахать, плуг не вспашет так глубоко, как нужно, буйвол не потянет плуг. Здесь можно только мотыгой.

Не верим. Но крестьяне повторяют нам это без конца, и то же самое говорят в городе люди, занимающиеся по роду своих партийных и служебных обязанностей сельским хозяйством.

— Во всём нашем уезде именно так обрабатывают землю, только мотыгами. И не только в нашем уезде.

Не знаю, существует ли более тяжёлый физический труд, чем этот. Труд дровосека? Нет, дровосеку всё-таки легче. Пожалуй, только труд шахтёра, но прежний, когда рубли уголь кайлом, а не нынешний, механизированный.

Мороз пробирает по коже при одной только мысли, что так обрабатываются ежегодные огромные площади, во много раз большие, чем некоторые европейские государства.

Понятно, что обычный конный плуг не может так взрыхлить и вывернуть плотный плодородный пласт земли. Но трактор? Снова возвращаемся к механизации. Хотя мы больше не высказываемся на эту тему так категорично, как раньше. Надеемся, что предстоящая встреча с людьми, сведущими в сельском хозяйстве, поможет разрешить все наши сомнения.

Когда мы летим из Куньмина в Чунцин, мы видим под нами чудесный непонятный пейзаж. словно редчайший цветной ковёр в волнистых, как раковина устрицы, узорах. Не сразу можем понять, что это поля на холмах. Маленькие залитые водой поля поднимаются террасами одно над другим, всё выше и выше, невысокие земляные дамбы отделяют одно поле от другого. До самой вершины холма трудолюбивые человеческие руки довели, принесли воду. Отсюда, из самолёта, она кажется совсем синей. На некоторых полях рис уже взошёл — они зеленеют сочной, изумрудной зеленью. Рыжие и красные земляные дамбы окаймляют их узкими гофрированными ленточками.

Это, пожалуй, самый красивый ковёр в мире. Он расстилается под нами на огромном пространстве. Маленьким тёмным пятном движется по нему тень самолёта. Как-нибудь несколько десятков, а иногда и несколько квадратных метров земли — отдельное поле. Каждое на ином уровне, чем верхнее и чем соседние по одну и по другую сторону. Там, где это доступно, воду пропускают через прорытые в дамбах проходы, где нельзя, её носят просто-напросто в ведрах, не считаясь с силами, с расстоянием, с тяжестью. В другом месте эти холмы стояли бы без пользы, поросшие травой. Здесь же они обрабатываются сверху донизу, ни кусочка не остаётся невозделанным. Мотыга, лопата, ведро в руках человека превратили землю в дивный расшитый ковёр, шедевр человеческого трудолюбия, который восхищает наши глаза и заставляет сжаться сердце. Механизация... Конечно, но...

Этих «но» оказывается больше, чем мы предполагаем. И мы уже задумываемся над тем, что видели, что наблюдали по пути из окна поезда, идущего из Пекина в Кантон. Рисовые поля, залитые водой. По этому болоту, жидкому, как сметана, только огненно-красному, рыжему, жёлтому, бредёт буйвол, волооча за собой плуг. За плугом бредёт человек. Грязь доходит буйволу до колен, до живота, человек вязнет иногда по пояс. Трактор? Как тут на нём работать? Как пустить трактор на крохотное поле, где ему негде даже будет развернуться? Как сделать одно общее поле, годное для механической обработки, из этих, как ступени лестницы, высоко взбирающихся вверх участков? А если перепахать дамбы, вода стечёт вниз, земля высохнет и станет непригодной для риса.

Буйвол и человек за плугом на рисовых полях — пока неотъемлемая часть китайского пейзажа. Из окна вагона это выглядит необычайно живописно. Но сейчас холодная пасмурная весна, полуголый человек вязнет в жидкой глине, с трудом вытаскивая из неё ноги, он мокрый иногда до самой шеи. Как и когда его труд заменит машина?

В Пекине нас принимает министр сельского хозяйства. Он молод, энергичен и не ждёт помощи от сидящих рядом с ним сотрудников и не ищет данных в бумажках. Отвечает на наши вопросы живо, с увлечением, видно, любит свою работу и разбирается в ней.

Земельная реформа в Китае завершена была в 1952 году. Только Тибета и Сиканя не коснулась она — проводить её там было бы преждевременно. Ненадолго её сроки были отодвинуты по сравнению с чисто китайскими районами и в районах национальных меньшинств. Первый период земельной реформы приходится на время до 1949 года, то есть до освобождения всей страны. Тогда отчуждались земли не только помещиков, но и кулаков. После 1950 года политика по отношению к кулакам изменилась. У них отбирают лишь ту землю, которую они отдают в аренду, не трогая ту, что они обрабатывали сами, но не допускают их к участию в общественно-политической жизни, подвергают их политической изоляции. Принципом обоих этапов реформы было опираться на массы. Здесь не ограничились разработкой инструкции — были посланы агитационные бригады, созывались собрания, на которых сами крестьяне принимали решения.

Конечно, не обошлось без промахов и ошибок. Сначала думали только о крестьянах, забывая о рабочих и их интересах. Имел место и левый уклон — под напором бедняков зажимались середняки. Случался и правый, когда недостаточно строго обходились с помещиками. Но оба уклона были ликвидированы, и благодаря этому удалось окончательно завершить земельную реформу по всей стране. Крестьяне получили землю, орудия, инвентарь. В первую очередь это коснулось бедняков. Средняк получил политические права и все преимущества, какие принесла с собой новая власть и новый строй.

Кооперирование сельского хозяйства началось в Китае ещё в годы антияпонской войны. В освобождённых районах возникали первые товарищества взаимной помощи, бригады по общей вспашке земли, первые кооперативы высшей и низшей ступени. Но в 1951 году было всего лишь несколько сот кооперативов. К зиме 1953 года количество их возросло до четырнадцати тысяч. Сейчас, весной 1955 года, существуют больше шестисот тысяч кооперативов высшей ступени ещё мало. По плану первой и начала второй пятилетки предусмотрены кооперативы низшей ступени, где крестьянин вносит землю в пай. Восемь, десять лет она будет оставаться частной собственностью с тем, чтобы, как правило, плата за работу была больше платы за землю.

Кооперативы небольшие. Тридцать, пятьдесят гектаров земли. Сто гектаров — это уже много. Разумеется, что при таких размерах кооперативов возникают трудности, почти не известные нашим колхозам, располагающим большими земельными массивами.

И вдруг мы узнаём, что в Китае, в стране, где всегда видели только обработанную землю, — целины почти столько же. Ну да, мы забыли, что путешествуем всё время по наиболее населённой, наиболее плодородной части Китая, и хотя мы и проехали тысячи километров, то, что мы видели, всего-навсего узкая полоска востока и юга. Есть ещё необозримые горные долины и степи, существуют огромные очень слабо населённые районы. Переселение? Конечно, и переселение тоже.

Теперь мы лихорадочно задаём вопросы на тему, мучившую нас всё время. А как механизация? Что ж, подтверждается вовсе не то, что мы думали об этом поначалу, а то, что стали постепенно понимать по мере нашего знакомства с Китаем.

Во-первых, собственные тракторы Китай будет иметь только в шестидесятом году. А сколько их потребуется ему, чтобы возделывать все эти обширные земли, все выращиваемые здесь культуры? Но и это не всё. Сколько нужно горючего для комбайнов, тракторов, сеялок? А с горючим пока что не очень-то благополучно. Оно есть, должно быть. Но раньше никто его не искал, никто им не интересовался. Бурить нефтяные скважины видно, не было в интересах хозяйничавших здесь иностранных капиталистов. Так родилось фальшивое мнение о том, что в Китае нет нефти. Почему должны быть бесплодны морские побережья и горные цепи на таком огромном пространстве? Сегодня ясно одно: утверждение об отсутствии нефти в Китае было только голословным утверждением. Но ясно и другое: до того времени, пока начнётся добыча нужного количества горючего, много воды утечёт в китайских реках, много пота прольёт человек, поднимая взмахом рук тяжёлую мотыгу, но и это не всё. Надо изобрести и применить новую машину или новый способ обработки, надо вообще изобрести новые машины, учитывая своеобразие китайской почвы и специфику возделываемых здесь культур.

Но... как пустить машины по этим бесконечным ступенькам маленьких полей? Но... как пахать, если среди пшеницы уже подрастает соя или другая культура, когда руками,

осторожно, снимают один урожай, потому что другой уже поднимается? Одно зреет, другое растёт, третье даёт побег — разве может машина заменить здесь зоркий человеческий глаз и ловкие, заботливые руки?

Конечно, есть машины, которые сразу смогут облегчить труд человека — все те, что будут орошать поля, заменяя поливку вёдрами, примитивные водочерпательные колёса на речках, работу землекопов, прорывающих каналы и каналчики, покрывающие страну густой сетью их. На это тоже потребуется время и горячее. Для переселения из густо населённых районов на целинные земли тоже нужны машины. Руками не вспаешь испокон веков нетронутую землю.

С механизацией связана ещё одна проблема. Допустим, вдруг выпущено столько машин, сколько необходимо: не надо больше копать, сеять, полоть, поливать руками. И вот освобождаются миллионы рук, и миллионы людей остаются вдруг без работы. Что с ними делать, как их прокормить? Промышленность не впитает сразу такую массу людей.

На всё это нужны годы и годы. Да, но ведь мы в Китае! И, наверное, для этого потребуется времени гораздо меньше, чем нам это кажется сейчас. Потому что разрешать проблему механизации будут талантливые и энергичные китайский инженер и рабочий. И они помогут, мы в этом уверены, китайскому крестьянину полностью физически распрямить свою спину, как он уже распрямил её морально и политически.

Беседа переходит теперь к вопросу о массовом кооперировании крестьянства. Нам вспоминается один случайный разговор. На дороге под Куньмином у нашей машины лопнул баллон. Мы сидели у обочины, ожидая, когда его сменят. Возле нас остановилось несколько проходивших мимо крестьян. Мы разговорились.

— Собираемся организовать кооператив. Тогда жизнь пойдёт по-иному. Одному трудно вспахать поле, даже когда ты молодой и сильный. А что говорить о старых, слабых или подростках?

Мы уже знаем, что это такое «вспахать поле».

— А выйдут все вместе — не зашло ещё солнце, а уж поле вспахано. Хорошо работать сообща. Хорошо жить сообща.

Крестьяне присели рядом на корточки, закурили наши папиросы. Среди них есть молодые и старые. Но у всех блестят глаза, когда говорят о кооперативе.

Кооператив доказал своё превосходство над индивидуальным хозяйством ясно и убедительно. И потому встреченные нами на дороге под Куньмином крестьяне говорят об организации кооператива, как о ключе, открывающем двери в новую, чудесную жизнь.

И не только эти крестьяне. После нашего разговора с министром прошло не много времени, а в Китае уже девяносто процентов хозяйств вошло в кооперативы, и решения Центрального комитета коммунистической партии, поправившие тех, кто считал, что нужно сдерживать процесс кооперирования, развивают гигантские планы сплошного кооперирования и осуществления механизации сельского хозяйства страны в ближайшие пятнадцать лет.

Мы знакомимся не только с кооперативными хозяйствами. Из деревни Модэша мы отправились в находящееся вблизи государственное хозяйство, в государственный плодовый сад, тот самый, где до освобождения крестьянину нельзя было сесть в тени дерева и где хозяйничал гоминдановский сановник, брат помещика, издевавшегося над крестьянами из Модэша.

Сад занимает больше трёх тысяч му. Посередине помещичий дом. Не дом, а окружённая рвом каменная крепость с разводным мостом, который сегодня никто уже не поднимает. В стенах бойницы, на окнах решётки. Нет, видно, ни сановник, ни его предки не чувствовали себя в безопасности в этой беспокойной, всегда готовой к сопротивлению провинции, не раз вспыхивавшей огнём открытой борьбы.

Сад огромный. Старый и молодой, недавно посаженный. Аллен могучих, широко разросшихся деревьев личжи. Сплошной лес бананов. Плантации апельсинов; апельсиновые деревья покрыты пухом нежных, лёгких, как облачко, белых цветов. Трогательно выглядят апельсиновые саженцы — стройные зелёные деревца, чьи листья не приобрели ещё кожаного блеска взрослых деревьев.

Вокруг стволов в старом саду выкопаны глубокие рвы. Из-за этого кажется, что деревья растут на высоких островках или грядах. Рвы наполнены водой, так что корням тянуть её легче, чем если бы она поступала сверху, через толстый слой грунта. Деревья какой-то незнакомой нам породы высоко, почти на полметра, обложены землёй — так предохраняют обнажающиеся корни.

И здесь впервые за всё путешествие мы замечаем неполадки. Вредитель губит банановую плантацию. Он забирается в пазухи листьев, съедает кору, подтачивает ствол. Деревце ломается в повреждённом месте. Разглядываем — древесина в нём гнилая, мокрая и рыхлая, как старый гриб. Обломанные большие верхушки валяются между здоровыми деревьями. Землю покрывают огромные зелёные листья, уже привядшие. В прошлом году из-за этого вредителя сад понёс убытки. Но борьбы с ним не ведут, и разрушение сада продолжается.

Директор — не специалист, он бывший учитель, в садоводстве не разбирается. Агрономов в госхозе нет. Директор объясняет, что с вредителем очень трудно бороться именно потому, что он забирается глубоко в пазухи листьев, но он не может сказать нам, где обитает вредитель в разных фазах своего развития. Не видно, чтобы кто-нибудь собирал, жёг или выбрасывал заражённые стволы, чтобы кто-нибудь оберегал здоровые ещё деревья от заразы.

Но мы гости, и мы стараемся быть вежливыми. Корнейчук всё же не выдерживает и спрашивает, как бы отнёсся бывший владелец, тот самый гоминдановский сановник, к своим работникам, если бы они довели сад до такого состояния. Директор не обиделся. Флегматично, немного сонным голосом ответил, что, пожалуй бы, выгнал Судя по рассказу председателя соседнего кооператива о нравах местных помещиков, директор недооценивает последствия. Может, он просто не знает, как здесь обстояли дела — сам он издалека. Когда спрашиваем его, нет ли среди людей, работающих на плантациях, кого-нибудь из тех, кто работал здесь раньше и сведущ в садоводстве, он отвечает, что возможно и есть, даже наверняка есть. Но по всему видно, не знает точно и совсем не интересовался этим.

Состояние сада портит нам настроение. Тем более после того, что мы увидели в кооперативе в Модэша. И потому, что знаем, как под этими деревьями лился не только пот, но и крестьянская кровь. Что одного подозрения в желании сорвать плод с этих деревьев, которые сегодня безнаказанно уничтожает паразит, было достаточно, чтобы погибла целая крестьянская семья.

И до самого конца нашего пребывания в Китае этот сад остаётся единственным тёмным пятном на всём светлом и прекрасном, что мы видим. Потому что даже там, где ещё плохо, мы знаем, это уже лучше, чем было, и будет ещё лучше. А тут сделали шаг назад, переводя добро, которое досталось в руки народного государства готовым, — огромный великолепный сад под самым городом, сад, откуда рекой должны потечь в город фрукты. Но он даёт убытки и гибнет.

А ведь мы видим и другие сады. Хотя бы по пути из Пекина в Шанхай. Местность здесь так густо населена, что кажется, будто в течение многих часов мы проезжаем по огромной бесконечной деревне. Каждые несколько шагов — если не десятков домов, то по крайней мере один дом. Земля вся изрезана каналами, на полях — пшеница. И множество садов. Порой огромные. Деревья посажены ровными рядами, чаще всего карликовые. Беловатый невысокий ствол с толстыми торчащими сверху веточками. Не знаю, что это за деревья, трудно определить из окна вагона. Деревца окопаны, чистенькие, как вымытые, кругом ни сорняка, ни лишней ветки, посажены очень часто.

И такие же выхоленные сады между Шанхаем и Ханчжоу. В отличие от наших садов, здесь у стволов нет пустующих кругов земли. Всё используется под овощи. Между Ханчжоу и Кантоном — банановые плантации, и ни одна из них не повреждена. Высоко вздымаются султаны широких листьев, деревья стоят прямые, здоровые. Везде в садах — и в маленьких и в больших — у куп деревьев в поле или у дома — ветви подстрижены, стволы подвязаны к палкам, выхожены так же старательно, как поля и гряды пшеницы, риса, овощей. Прекрасно содержатся мандариновые сады, деревья личжи и всё остальное. Часто видим совсем молодые сады, верно недавно посажен-

ные. А тот, готовый и возвращённый, который оставалось лишь беречь и поддерживать...

Да, новому Китаю нужны новые люди, нужно неслыханное количество специалистов. Трудность эта не кратковременна. Когда учитель с севера делается директором огромного сада на юге, это не может принести плодов ни в переносном, ни в буквальном смысле.

Такие заботы причиняют люди. Но мы видели, какие заботы причиняет ещё и природа.

Когда приезжаем в Ханчжоу, дождь льёт как из ведра. Горы затянуло тучами и туманом. Дождь идёт днём и ночью. И так всё время нашего пребывания в Ханчжоу. Проклинаем дождь, не подозревая, что скоро будем раскаиваться в этом и ждать дождь, как спасение.

Из Ханчжоу едем поездом в Кантон. На горизонте горные цепи, а вокруг чудесная широкая долина, жёлтые, зелёные поля. Один за другим мелькают каналы, озёрца, озёра, реки и речки, богатые, солидные посёлки, много каменных домов. Этот край называют «краем риса и рыбы». (По-китайски это выражение — синоним слова «богатый».) На залитых водой полях множество диких уток.

На третий день пути пейзаж меняется. В полях всё больше банановых деревьев, вдоль железнодорожного полотна покрытые цветами кусты, вдали иссиня-чёрная цепь гор. Но по мере приближения к ним синева исчезает. Похоже, что здесь прошёл пожар. На склонах рыжая, местами почти чёрная, выжженная трава, будто опалены пламенем сосенки и бамбук. Вода исчезла. Сухие рисовые поля смотрятся квадратами и прямоугольниками пустой земли. Странное впечатление: едем на юг, но нет примет весны, как будто удаляемся на север.

— Что здесь произошло?

Проводник объясняет:

— Давно не было дождя. Засуха.

Через некоторое время объяснений уже не требуется. Земля изрезана глубокими трещинами. Хлеба высохшие, пожелтевшие, хотя едва поднялись от земли. Пейзаж становится застывшим, зловещим. Особенно после красочности всего виденного, после обилия воды, к которой мы привыкли как к чему-то необходимому, той воды, без которой не растёт не только рис, но и овощи, пшеница, кукуруза. Деревья возле полотна серые, покрытые толстым слоем пыли. Земля мёртвая.

В Кантоне серо, душно. Небо в тучах, точно собирается дождь. Но дождя нет. Земля растрескалась. Высохли водоёмы. Вода солёная. Солёный чай теряет свой великолепный вкус и аромат. Солёный кофе. Нам говорят, что за последние тридцать лет жителям Кантона ни разу не приходилось пить солёную воду. А такой засухи не было уже шестьдесят лет. Газеты заняты борьбой с засухой. Мобилизуют коммунистов. Писательница — милая, красивая женщина, не раз сопровождавшая нас в экскурсиях, — уехала в район, где ведутся работы по проведению речной воды на охваченные бедствием земли.

Душно. Всё время душно и парит, как будто через мгновение должна разразиться гроза. Ах, дожди Ханчжоу! День и ночь, день и ночь потоки, водопады, озёра воды. Здесь земля сухая и твёрдая. Пересохшие бамбуковые листья неприятно шуршат. Серая пыль покрывает всё толстым слоем. А мы досадовали на классических поэтов, воспевающих весенние дожди в Ханчжоу!

— Было чем восхищаться! — ворчали мы под струями, заливающими нам лица.

А оказывается, было! Теперь мы готовы надолго отказаться от солнца, очутиться по пояс в воде, лишь бы не видеть этого опустошения. Да, поэты древности понимали, что счастье падает с неба. А мы поняли это только сейчас, увидев собственными глазами, что такое отсутствие дождя для чудесной природы Китая, для ювелирной работы его крестьянина, для заливных полей. Хвала вам, весенние дожди Ханчжоу, дающие счастье и жизнь!

Может, если бы мы не знали засухи на юге Украины, мы не переживали бы так тяжело всё происходящее. Но мы помним 1946 год. Поэтому, проснувшись ночью, бежим к окну посмотреть, не пошёл ли дождь. Первый утренний вопрос: что говорит сводка

погоды? И постоянно один и тот же ответ: без изменений. Не понимаю, каким чудом в городе так великолепно зеленеют деревья и цветы. Окрестности города напоминают пожарище.

Перед самым нашим отъездом проливается небольшой дождь. Но этого мало, слишком мало. И позже в Индии, в Дели, мы с беспокойством спрашиваем китайских товарищей: «Как в Гуандуне? Был ли дождь?» Товарищи, приехавшие из Пекина, смотрят на нас с удивлением. Но мы видели тамошнюю засуху собственными глазами, и она причиняет нам не меньшую боль, чем если бы случилась у нас дома.

Но и засуху и последовавшее за ней наводнение, даже эти стихийные бедствия легче победить при коллективном хозяйстве. После всего увиденного нам ясно, что, несмотря на все трудности, массовое кооперирование жизненно необходимо Китаю. Только оно даст крестьянину человеческую жизнь, возможность развития промышленности, благосостояние страны.

Поэтому голос крестьян, разговаривавших с нами на обочине дороги под Куньминем о кооперативе, — голос китайского народа. Мы слышим его в голосе Мао Цзэ-дуна и в голосе ЦК компартии Китая.

*Перевод с польского
Е. Василевской.*

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

ЕЛЕНА МИКУЛИНА

★

ГОД ПЕРВЫЙ...

Итак, завтра я вылетаю в Павлодар... В нынешней пятилетке этот далёкий, затерявшийся в степях Казахстана городок становится ареной крупных строительных дел.

Но что представляет собой Павлодар сегодня? У кого бы разузнать о нём прежде, чем увижу своими глазами?

— В таких случаях,— назидательно сказала мне наш библиотекарь Леночка,— лучше всего обратиться к справочной литературе. — И достала с книжной полки внушительный том БСЭ. — Это единственный источник интересующих вас сведений,— добавила она безапелляционным тоном.

Я узнала, что Павлодар существует более двухсот лет, с той самой поры, как в 1720 году на правом берегу Иртыша был образован форпост Коряковский. Затем форпост стал станицей, ещё позже — уездным городком Семипалатинской области, а в 1938 году получил значение областного центра Казахской республики.

И ещё было сказано, что Павлодарская область входит в зоны степи и полупустыни; климат резко континентальный.

«Едиственный источник» мало помог мне. Нельзя, конечно, винить составителей словаря. Разве они могли предвидеть поступь шестой пятилетки? Разве они могли знать, что городок этот, два столетия влачивший тихое, дремотное существование, вдруг неожиданно для себя и для окружающих возродится в совершенно новом качестве?..

Ключом развития Павлодарской области стало движение за освоение целинных земель. За два минувших года на степных просторах области выстроено тридцать новых совхозных посёлков.

Но не только плодородными, гучными землями богата Павлодарская область. Сказочные богатства таятся в недрах Прииртышских степей. Под серебристыми ковылями нетронутым кладом лежат каменные и бурые угли, медь, никелевые и полиметаллические руды, бариты, магнезиты...

В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану сказано: «Ускорить освоение богатых природных ресурсов восточных районов страны. Обеспечить в районах Западной и Восточной Сибири и в Казахской ССР более высокие темпы капитального строительства, чем в целом по СССР».

Чтобы безошибочно строить, надо грамотно планировать. Этим делом занят Государственный институт проектирования городов. Уже разработаны схемы многих экономических районов европейской части СССР и Сибири. Дошла очередь и до Казахстана. Первым оказался Павлодарско-Экибастузский промышленный район.

Экибастуз, находящийся в 120 километрах от Павлодара, — крупное месторождение угля. К 1960 году он станет четвёртым по мощности районом угледобычи в нашей стране и будет давать 15 миллионов тонн угля в год. Для кратчайшего выхода углей проектируется построить железную дорогу Экибастуз—Омск.

Себестоимость тонны экибастузского угля сейчас в два-три раза ниже, чем в соседних Карагандинском и Кузнецком бассейнах. Объясняется это просто. Экибастузское месторождение напоминает огромную чашу, глубиной до ста метров, длиной в двена-

дцать и шириной в три километра. Чаша эта наполнена углем, а сверху прикрыта пластом земли. Снимай эту землю — и черпай, без усталости черпай ковшем экскаватора отличный уголь. Вот и вся техника угольных разрезов Экибастуза.

Не менее мощным является и Майкубинское месторождение бурых, легко газифицирующихся и самовозгорающихся углей. В плане развития Павлодарского экономического района этим углям придается особое значение. Майкубин станет центром газовой и химической промышленности. Его газ пойдёт на нужды промышленности и быта людей, которые будут жить в новых городах Прииртышья — Бозшакуле, Экибастузе, Майкаине, Ермаке.

Бозшакуль — третье по величине месторождение медных руд в нашем Союзе. За счёт его промышленного освоения Казахстан увеличит в шестой пятилетке выпуск черновой меди почти в два раза.

Замечательная судьба выпала и на долю ранее ничем не примечательного прибрежного села Ермак. Оно станет передающей станцией вод Иртыша. Здесь будут построены крупные водозаборные сооружения. Отсюда линии разветвлённой сети подземных водопроводов протянутся через степь в самых различных направлениях. В Ермаке будет построен большой завод. Уже в 1959 году он начнёт выпускать марганцевые сплавы, феррохром и ферросилиций. Рядом с заводом встанет мощная ТЭЦ.

Шестой пятилетний план развернёт производительные силы Павлодарской области, преобразит облик и города Павлодара.

В Директивах XX съезда КПСС есть такие знаменательные строки: «Построить алюминиевый, ферросплавный и комбинированный заводы в Павлодаре». Это решение превращает тихий степной городок в огромную строительную площадку.

...Как ни привычен разъездной корреспондент к перемене мест, обычаев, нравов, но всякий раз, когда собираешься в путь, тебя охватывает волнующее чувство ожидания необыкновенных встреч, впечатлений.

«Что же такое Павлодар сегодня? — думала я, собираясь в дорогу. — Как проходит строительство в глубине Прииртышских степей, где нет ещё ни базы строительных материалов, ни опытных кадров строителей, где многие люди пока что неизбежно должны мыслить и измерять жизнь старыми масштабами?..»

2

...Самолёт идёт на восток. Казань, Свердловск, Омск, Петропавловск и, наконец, Павлодар.

Городская гостиница — одноэтажное здание с железным зонтиком над входной дверью. За столом дежурной, под разлапистым фикусом, сидит маленькая женщина в серой пуховой шали. Выражение лица сердитое, на носу большие очки в роговой оправе.

— Номер? — удивлённо переспрашивает она мужчину в драповом пальто, с чемоданом в руках. — Нет номеров. И коек нету. Вы из Харькова? Ну и что же в этом особенного? К нам вчера прибыли люди из Киева, Свердловска, Ленинграда... Все едут и едут. Отродясь такого здесь не бывало.

Маленькая женщина — директор гостиницы товарищ Афанасьева — в смятении. Что делать, как быть с размещением приезжих?.. Мой взгляд падает на лист бумаги, лежащий перед ней на столе. Это — докладная записка на имя председателя горсовета. Я невольно читаю сползающие книзу строки:

«...И терпеть этого больше нельзя. Гостиница на сорок мест, а каждый день приезжают десятки представителей. И людей жалко и принять их некуда...»

Да, тяжело на сердце у директорши!

..День близится к вечеру. В окнах плоскокрышних мазанок и степенных рубленых деревянных домов зажигаются огни. На центральной улице, сплошь состоящей из торговых каменных лабазов, прямо по мостовой идут люди.

Толпа пёстрая, смешанная. Вот прошла в меховой шубке «под котик» молодая казашка. На смуглом лице поблёскивают щёлочки глаз. Стайкой пробежали школьницы. Возле кино «Ударник» выстроилась длинная очередь. Тут же примостились доточницы в белых халатах, торгующие жареной рыбой «на порции» и пирожками.

И кажется, что город живёт своей обычной, устоявшейся жизнью. Деятельной, но далёкой от предназначенных ему масштабов созидания. И кажется, что все эти люди не ведают, что на окраинах города уже началось сражение за новый облик Павлодара.

...Секретарь горкома партии был очень любезен. Он не только встал навстречу — он усадил корреспондента в кресло, пододвинул пепельницу. Как водится, пошли вопросы, советы, рекомендации.

— Советую познакомиться с Кульшаном — управляющим трестом Павлодаралюминстрой. Толковый человек, очень толковый. Строит замечательно. У него там уже целый городок поднялся.

— А как идут дела на стройплощадке комбайнового завода?

Но товарищу Селиванову явно не хотелось говорить на эту тему. Он ещё и ещё раз похвалил Кульшана за жилой посёлок строителей, рассказал о том, как идёт посадка деревьев в городе, сообщил, что теперь в Павлодаре имеется свой городской архитектор.

И только когда говорить было уже не о чем и пришло время пожать руки, секретарь горкома сказал как-то вскользь:

— Что же касается строительства комбайнового завода, то получите оценку в обкоме партии. Так будет лучше.

Заметив моё недоумение, он добавил:

— У нас, знаете ли, на этот счёт разные точки зрения. Скажу прямо: я не разделяю мнения обкома о том, что дело на площадке ведётся правильно. Я считаю, что товарищи Латышев и Капустянский — руководители стройки — действуют неверно. Возить блоки из Иркутска... Но, впрочем, потом разберётесь сами..

Я вышла из горкома с чувством какой-то неловкости. Как будто передо мной захлопнули дверь, а я всё же заглянула в чужую комнату, что, быть может, и не следовало бы делать постороннему человеку.

Как ни сетовала директор гостиницы на тесноту, всё же в городе нашлось место и для корреспондента. Меня поселили в гостинице. Вернее, во дворе, в низком саманном домике, где помещаются прачечная, бухгалтерия и кабинет директора.

И вот получилось так, что «кабинетик», где меня приютила товарищ Афанасьева, очень помог разобратся в сути местных градостроительных неполадок, впрочем, характерных не только для Павлодара. Обособленность от гостиничной сутолоки, наличие телефона и плиты с вечно кипящим чайником сделали эту комнатку весьма приятельной для проектировщиков, наводнивших в эти дни Павлодар.

Архитекторы собирались здесь вечерами, пили крепкий чай, отчаянно курили и так же отчаянно спорили о будущем городе.

О чём же шёл спор?

О вопросах очень серьёзных. Если сейчас Павлодар — маленький, тихий городок, то пройдёт год-другой, и всё здесь неузнаваемо переменится. Строительство заводов повлечёт за собой коренную перестройку города. За пятилетие в Павлодаре будет возведено около миллиона квадратных метров жилищ и зданий общественного назначения. По существу город будет построен заново.

Как же его строить? Как планировать?

Конфликты возникают и разрастаются из-за противоречий между государственными и ведомственными интересами при застройке городов.

Дело в том, что администрация того или иного промышленного предприятия хочет построить посёлок обязательно в непосредственной близости от своего завода. В защиту этого мнения выдвигается забота о «своих» рабочих, об их удобствах. Для большей весомости доводов обычно ссылаются на хозрасчёт, экономию средств: снос старого жилого фонда потребует, мол, много денег, а возле нового завода всегда пустырь, строительство будет дешевле.

Существо же вопроса в другом. Просто эти руководители не хотят кооперироваться с другим ведомством, которое, дескать, непременно постарается уменьшить свою

долю вложений. Если говорить откровенно, то существенную роль играет здесь и стремление быть полным хозяином, таким «удельным князьком» в новом посёлке.

Так или иначе, но на деле кажущаяся дешевизна оборачивается очень дорогим рублём. Ведь в каждом посёлке надо строить свои коммуникации, дороги и многое другое, без чего можно обойтись при кооперации строительства. В то же время министерства стремятся елико возможно сократить собственные расходы на общегородское благоустройство и всячески урезают сметы на долевое участие в водоснабжении города, его канализации, транспортных магистралях. В результате люди, для которых создаются такие посёлки, ущемляются в самом необходимом. И самое страшное в том что ошибки, допущенные на первом этапе строительства, потом бывает уже невозможно исправить. То, что однажды капитально воздвигнуто, обречено на долгие годы существования.

Тут позвольте сделать небольшое отступление. Недавно мне довелось побывать в Константиновке, крупном промышленном центре Донбасса. Увиденное и услышанное оставило на душе большую обиду за людей, там живущих. До сих пор не могу понять, как можно быть столь чёрствым к насущным человеческим нуждам.

В известной мере повинны в этом оказались... розы. Надо сказать, что некоторые цехи Константиновского завода «Автостекло» окружены розариями. Цветы посажены и во дворе химического завода. Гордость администрации законная. Нелегко заставить цвести розы в Константиновке, где с трудом выживают и не такие нежные растения.

Каждый вечер над трубой химического завода вьётся оранжевый «лисий хвост». За сутки химические предприятия выпускают в воздух массу дыма, кислот, газа.

Иван Данилович Медведев, председатель городского Совета, человек, не лишённый юмора, сказал по этому поводу:

— Думаете, министр химической промышленности товарищ Тихомиров не знает о том, как загрязнён воздух в нашем городе? Знает. Он не раз бывал в Константиновке, но всегда при въезде в неё закрывает окна автомобиля. Выходит из машины только возле завода, а там цветник, розами пахнет...

Потом Иван Данилович вынул из несгораемого шкафа две толстые пачки документов и сказал:

— Вот это — перечень наших нужд и наши запросы, а это — ответы на них министерств. Заметьте, не одного министерства, а ряда министерств. Мы настойчиво просим их исправить ошибки, допущенные при застройке города, создать нормальные условия для жизни рабочих. Увы — с чем приходим, с тем и уходим!

Судьба города справедливо волнует и его жителей и руководителей. В послевоенные годы промышленность Константиновки развилась и окрепла, далеко перешагнув довоенный уровень. Государство вкладывает большие средства в жилищное и культурно-бытовое строительство — только за последние пять лет капиталовложения на эти цели составили 270 миллионов рублей, выстроено 210 тысяч квадратных метров жилья. А города по существу нет.

В Константиновке всё ещё не восстановлен городской кинотеатр, нет родильного дома, недостаёт воды, не проложена канализация. По сей день здесь не построена кольцевая линия трамвая. Чтобы попасть с левой стороны реки на правую, надо сойти с одного трамвая, пройти пешком через железнодорожную линию, пройти по мосту, через реку, а затем снова сесть в трамвай, обслуживающий правобережье.

Весной, осенью и даже летом после небольшого дождя по дорогам города невозможно проехать. Из 205 километров дорог замощено только двадцать километров.

— Так вот, — рассказывал Иван Данилович, — произошло всё это потому, что при строительстве жилых домов каждое министерство не думало о судьбе города, а стремилось строить поближе к своему заводу, отдельными посёлками. Министр цветной металлургии товарищ Ломако на мою просьбу принять долевое участие в благоустройстве города ответил отказом. А ведь в Константиновке трудятся и живут две с половиной тысячи рабочих этого ведомства. Толкнулся я к руководителям Министерства промышленности стройматериалов (в Константиновке два крупных предприятия — завод «Автостекло» и стекольный). Принял меня Иван Иванович Лебедь. Начал я говорить ему о том, что надо, мол, и вам участвовать в строительстве городского водо-

провода, канализации, осветительной сети, трамвая. «Да вы что? — изумился Лебедь. — В Константиновке, в Красном городке при нашем заводе полный порядок. Возле цехов даже розы цветут... А уж о городских нуждах заботьтесь, пожалуйста, сами...»

Такое положение можно наблюдать не только в одной Константиновке. Почти так же обстоит дело в десятках других больших и малых населённых пунктов, где по вине застройщиков-министерств жилые кварталы растягиваются либо на многие вёрсты, либо, сбитые в кучку, разбегаются отдельными посёлками.

На эту же тему мне довелось как-то беседовать с главным архитектором города Челябинска товарищем Чернядьевым.

Челябинск, принявший во время Отечественной войны несколько эвакуированных предприятий, в короткое время оброс самостоятельными посёлками, не связанными между собой. А сам город продолжал оставаться, так сказать, в первозданном состоянии. Лишь в последние годы городскому архитектору при поддержке и помощи местных партийных и советских организаций удалось изменить ход дальнейшего строительства города, направить ведомственные капиталовложения на застройку центра. Сейчас уже видны результаты. Жители заводских посёлков, ещё недавно горячо ратовавшие за жилищное строительство вблизи предприятий, теперь усиленно стремятся переехать в центр города.

— Но какой дорогой ценой далась эта победа, — говорил мне Чернядьев. — Вы думаете, я в своё время выговоров не получал? Получал. Думаете, меня любят директора заводов? Ошибаетесь. Они ждут не дождутся, чтобы я уехал...

Какими же путями пойдёт строительство нового Павлодара?

Ответ на этот вопрос волнует здесь немало людей.

3

Многое зависит от проектировщиков городских кварталов. Они по праву должны быть проводниками государственно-правильной градостроительной политики. Ведь строительство начинается с проекта. К сожалению, проектирование Павлодара, как и многих других городов, поручено различным проектным организациям, принадлежащим к различным ведомствам. Так, Моспроект проектирует кварталы для рабочих комбайнового завода; мастерская имени Веснина — кварталы для нефтяников. Проектирование жилых домов алюминиевого завода ведёт одна из мастерских Ленгипрогора. Другая группа ленинградских архитекторов и инженеров разработала генеральный план нового Павлодара.

Уже в беседах за чашкой чая в моём «кабинетике» можно было уловить чреватое своими пагубными последствиями расхождение во взглядах на застройку города. Но конкретную форму эти противоречия приняли на заседании в обкоме партии, где местные власти Павлодара вместе с проектантами обсуждали генеральный план города.

...Зал заседаний бюро обкома выглядел необычно. На стенах и столах — схемы, чертежи, макеты. Второй час длится обсуждение. Уже давно выступили авторы генерального плана — главный инженер Ленгипрогора Штипельман и архитектор Штример. Убедительно, хотя и не очень спокойно — этому, видимо, способствовали события предшествующих дней — они изложили принципы застройки: начинать строительство четырёх- и пятиэтажных домов в центре, сохраняя старые, исторически сложившиеся транспортные магистрали; проложить кольцо бульваров; использовать реку как украшение города; укрепить набережные...

Затем слово попросил представитель Моспроекта, один из авторов посёлка комбайнового завода. Тихим голосом, внешне вяло, но со скрытой настойчивостью, он стал говорить, что хотя в принципе и согласен с предыдущим оратором и строить-де действительно надо в центре города, но так как Моспроект уже решил вести строительство за чертой города, то поэтому и надо его закончить, а вторую очередь застройки, лет этак через пять—десять, можно будет осуществлять в городе.

Заседание продолжалось много часов. Ораторы подходили к схемам, тыкали в них указками, жестикулировали, горячились. Одни говорили: город надо строить по генеральному плану Ленгипрогора и надо смело идти на снос дряхлых зданий; другие

будто нарочно хотели повторить ошибки прошлого и во что бы то ни стало создать «свои», ведомственные посёлки. объединённые мифическими коммуникациями.

Казалось бы, и предмета для спора нет. Элементарная истина, здравый смысл подсказывают, что экономически нецелесообразно беспричинно расширять территорию Павлодара, перемежать посёлки пустырями и тем самым намного удлинять инженерные сети, искусственно увеличивать число обслуживающих сооружений и обречь большинство жителей на отрыв от общественных учреждений центра города. Ясно, что нужно собрать строительство города в один кулак. Именно так и предлагает Ленгипрогор. Таково было решение и комиссии Госстроя СССР. Наконец это твёрдое мнение городского архитектора.

И всё же кое-кто из участников совещания, опытные работники, десятки лет занимающиеся проектированием городов и посёлков, с упорством, достойным гораздо лучшего применения, доказывают, что белое — рыжее и что новые жилые кварталы непременно нужно забросить в степь, на голое место, далеко от реки. Что это — недомыслие? Попытка защитить честь мундира? Инерция? Видимо, и то, и другое, и третье. А самое главное — по-чиновничьи казённое, равнодушное отношение к тому, как будут жить люди во вновь созданном в степи городе.

С самого начала заседания секретарь обкома Иван Ильич Афанов сидел на стуле как-то бочком, и на смуглом широком и бровастом лице его упорно держалось выражение лёгкого, чуть уловимого раздражения.

И вдруг он порывисто встал.

— Хватит! — сказал он громко и резко. — Решать будут те, кому здесь жить надо. И мы не дадим разорвать город на несколько посёлков, не позволим увести его в степь, лишит реки. А раз так... — тут он оглянул притихший зал и, видимо, стремясь разрядить наступившую тишину, широко улыбнулся. — А раз так, то вы все вместе с нами будете осуществлять строительство города по генеральному плану.

И совсем другим тоном Иван Ильич спокойно и очень задушевно спросил:

— Да разве вам самим, товарищи архитекторы, не хочется создать город, достойный шестой пятилетки?!

...А потом мы сидели с Афановым в его кабинете, и он делился своими мыслями и заботами о судьбе области, неизбежными в таком большом хозяйстве.

Иван Ильич не знает, будет ли он в Павлодаре через пять лет, когда завершится строительство первой очереди нового города, или партия пошлёт его на новый участок. Но это несколько не мешает ему чувствовать себя настоящим хозяином сейчас, когда закладываются основы города. Прошло время, когда руководители областей и районов были по рукам и ногам скованы опекой центра. Сейчас партия сказала им: «Действуйте. Решайте. Вам на месте виднее. Но зато с вас и ответ будет строже!»

— Помните, — говорит Афанов, — слова старой комсомольской песни: «Мы рождем, чтоб сказку сделать былью...»? Нелёгкое это дело — сказку в быль превращать. Нужно умение страстно работать сегодня и в то же время готовить тылы на завтра. Одним это умение вообще не дано, у других — ещё не проснулось. Вот хотя бы у нас в городе. Уже начаты две крупные стройки — комбайнового и алюминиевого заводов. Возводятся жилые массивы. Но идёт строительство на площадках совсем по-разному. Кто прав — сказать ещё трудно. Одно ясно: первые шаги сделаны. Значит, пойдём дальше...

4

Пуск первой очереди Павлодарского алюминиевого завода назначен на конец пятилетки. В нынешнем году должны быть построены жилые дома для строителей, заложена производственная база для строительства завода и ТЭЦ.

Первый год — самое трудное время для строителей. Он чаще всего проходит в «лихорадке» (так называют кривую выполнения плана, скачущую то вверх, то столь же круто падающую вниз). В это время на площадке идёт работа «с колёс». Ещё нет ничего своего — ни полигонов, ни сборного железобетона, ни карьеров. Всё привозное. Но именно в этот отрезок времени и проявляется в полной мере организаторский талант руководителей стройки.

Посёлок, которым так восхищался товарищ Селиванов, являл собою не что иное, как типичное, давно осуждённое «временное жильё». Стандартные, сборные дома-

близнецы поставлены наспех среди поля на неблагоустроенной площадке. А ведь именно строителям принадлежит меткое и хлёткое определение: «Нет более постоянных зданий, чем временные».

Пройдут годы. В центре Павлодара будут воздвигнуты многоэтажные капитальные здания, а эти дома, ветхая, будут стоять на отшибе от города.

Нерадостное впечатление оставил у меня осмотр площадки Алюминстроя. Отсутствие сборных деталей, стук топоров, деревянные каркасы возводящейся ремонтной мастерской и других зданий придавали ей провинциальный, архаический облик. Всё виденное было обвинительным актом не только против Кульшана, но и против министерства, ведущего эту ответственную стройку.

Управляющий Алюминстроем товарищ Кульшан прекрасно знает, что построить в два-три года завод, не создав прочной производственной базы строительных материалов, электроэнергии, невозможно. Видит он, что Министерство цветной металлургии неправильно распланировало по годам пятилетки капиталовложения. Но в tomto и беда, что, зная всю ошибочность этого плана, Кульшан не стремится внести свои поправки, не хочет добиваться в министерстве немедленного исправления просчётов. Почему?

Он сказал откровенно:

— Что я, дурак, что ли, вешать на шею лишние заботы?! Дали мне на этот год план в пятьдесят миллионов рублей — и хватит. Зато строительную программу я вполне уже в сентябре. И буду в числе передовых. Городскому комитету партии это на руку — ещё бы, крупная партийная организация выполнила план досрочно. И нам, строителям, — честь.

Признаться, этот прямолинейный ход меня обескуражил. Да разве такие методы, такие темпы нужны сейчас на площадке Алюминстроя, когда столько даёт Павлодару государство в шестой пятилетке!..

5

Есть у нас «маститые» руководители строек, которые привыкли возводить заводы и посёлки на пустом месте, вдали от больших поселений. Нет слов, эти люди творят большое дело. Строить в степи значительно труднее, чем в большом городе. И за это им всяческая хвала. Но обособленность, связанная с таким строительством, «всеомгущество» руководителя стройки, который один может разрешить все возникающие трудности, который связан прямым проводом с Москвой и к кому порой обращаются за помощью (в виде машин, материалов, людей) местные организации, плюс слабость только что созданной на стройке партийной организации, — всё это нередко приводит к тому, что некоторые товарищи, склонные к зазнайству, отрыву от масс, незаметно для себя начинают веровать в свою исключительность, в незыблемую правоту своего любого, даже необдуманного поступка.

Но опасность не только в этом. Зарвавшегося человека всегда можно одёрнуть. Беда в другом. Очень часто ореол «старого» производственника, длинный список строителств, записанных в его трудовой книжке, вводят в заблуждение окружающих. Смотрят они на такого многоопытного хозяйственника, на его уверенные манеры и верят, что этот человек умеет преодолеть все трудности, обойти все преграды и в конце концов подать, как на «блюсточке», замечательные результаты своего труда.

К сожалению, всё это имеет место в Павлодаре. Сознание своей силы, так сказать, в местном масштабе, неумение, а скорее нежелание кооперироваться с соседями, наконец, активная поддержка секретаря горкома открыли неограниченный простор самостоятельным действиям Кульшана. Болезненная боязнь ущемить своё личное достоинство, прислушиваясь к мнению работников городского отдела архитектуры, уже на первых порах привела управляющего трестом Алюминстрой к серьёзным ошибкам.

Посёлок строителей, состоящий из сорока двухэтажных деревянных домов, сейчас заселён без приёмки зданий. В поисках крова люди вынуждены вселяться в эти дома, хотя в них нет водопровода и канализации, не налажено отопление. Не захотел Кульшан подключиться к существующему водопроводу, не захотел, по его же словам, быть в зависимости от «чужого дяди».

Вместо этого он распорядился поставить «свою» буровую вышку, а вода оказалась солёной. Чтобы получить тепло для домов, надо было добавить в соседнюю котельную два котла. И здесь не уступил управляющий — изуродовал площадку, закопал паровоз, провёл от него временную коммуникацию. Пусть людям тепла не хватает, зато соблюдена полная «независимость» управляющего стройкой.

В апреле, когда я побывала в этом посёлке, автокранами сажали деревья, выкопанные в пойме Иртыша. Этот факт особенно порадовал секретаря горкома товарища Селиванова. А вот тротуаров не было и в помине, и жители, выходя с крыльца своего дома, утопали в вязкой, глубокой грязи. Ещё не все здания посёлка были возведены, но уже ясно видно, как сдвинуты красные линии застройки. Рука, передвинувшая, перемешавшая стропе линии привязки, была рукой управляющего строительным трестом.

Городской архитектор В. Кузнецов потребовал от управляющего Аллюминстроем регистрации строящихся объектов. Товарищ Кульшан, не желая, чтобы контролировали его дела, ответил насмешливо:

— А при чём здесь архитектура? Мало места в степи, что ли? У меня своё ведомство, перед ним и отчитываюсь...

6

У молодого города — молодой архитектор.

Представим себе всё величие задачи, которую предстоит решить архитектору бурно растущего Павлодара — Владимиру Фёдоровичу Кузнецову. Вот он сидит передо мной, устроившись в углу жёсткого дивана, и с весьма озабоченным видом курит папиросу.

Придёт время, уедут представители проектных организаций из Павлодара в крупные центры, приступят к своей работе, будут присылать чертежи кварталов, а ему, главному архитектору, придётся следить за тем, чтобы линии, проведённые на чертежах, воплотившись в кирпич, блоки, железобетон, не только создали целостный ансамбль города — нового индустриального пункта, рождённого в степи шестой пятилеткой, — но чтобы город этот, говоря словами Ломоносова, был застроен зданиями «к обитанию удобными, для зрения прекрасными, для долговременности твёрдыми».

Пожалуй, ни один выпуск Московского архитектурного института не переживал таких волнений, как выпуск однокурсников Кузнецова. Вчерашним студентам предлагали ехать на периферию в качестве организаторовстроек. Но, как со всей честностью признался Владимир Фёдорович, он сам и остальные выпускники не были подготовлены к подобной работе. Более того, само понятие «творческая работа» ассоциировалось у них только с трудом над собственным, индивидуальным проектом. Никто даже и не задумывался над тем, что ведь, окончив институт, придётся ежедневно выполнять обязанности организатора, заботиться об удобствах людей, о водопроводе и канализации, о посадке деревьев и отводе участков для индивидуальных застройщиков. Словом, постоянно сталкиваться со множеством дел, из которых складываются будни городского архитектора.

Сколько вечеров пришлось провести Кузнецову, только что окончившему архитектурный вуз, над учебниками геодезии, чтобы утром разговаривать со своим помощником на профессиональном языке! Ведь в институте речь шла преимущественно о красоте исполнения плана. Где уж там было думать о задачах горкомхозов! А бухгалтерия? Сметы? Оформление нарядов? Всё это было для Кузнецова, как тёмный лес. Сейчас молодой архитектор уже вошёл в курс дела и по мере сил своих осуществляет градостроительную политику.

Строящийся город — непрерывно меняющийся организм. Особенность его та, что на всех стадиях своего развития он должен по возможности полно удовлетворять насущные потребности его обитателей. Эти вопросы приходится решать на месте, ежедневно, при строительстве каждого нового квартала, каждого нового дома. И решать их будут, конечно, не авторы проектов, сидящие в кабинетах столичных мастерских, а те, кто осуществляет эти проекты на месте: городской архитектор, инспектор архитектурного контроля, начальник областного управления по делам строительства и архитектуры. Но беда в том, что в Павлодаре все они, как и Кузнецов, ещё не имеют практического опыта.

И тут, мне кажется, будет уместным выразить некоторое недоумение по поводу позиции, занятой правлением Союза архитекторов. Думается, что такие, как В. Кузнецов, только что покинувшие студенческие аудитории и пожелавшие работать в далёких местах, на целине, вправе рассчитывать на внимание своих именитых собратьев, на их дружеский совет, практическую помощь.

Может быть, кому-либо из руководящих работников правления Союза архитекторов следовало бы приехать в Павлодар, посмотреть, как работает там городской архитектор, помочь советом, если нужно. Ведь и совет и деловая критика всегда являются конкретной помощью.

* *
*

...Самолёт идёт на Москву. Он только что оторвался от Павлодарского аэропорта и стремительно набирает высоту.

Накануне вылета в Павлодар я тщетно пыталась представить себе: каков этот город сегодня? Теперь я увидела его своими глазами.

Завтрашний облик Павлодара во многом зависит от архитекторов. Как велика в градостроительстве их роль, хорошо сказал Юлиус Фучик: «Повар живёт часом, газетчик — днём, сапожник — может быть, годом, но наш архитектор, архитектор-коммунист, должен жить столетиями. Он обязан уже сейчас жить в будущем!» Но для того чтобы жить в будущем, он должен научиться работать в настоящем так, как того требует наша партия, народ.

Он обязан быть непримиримым ко всякой ведомственной узости, ко всем деляческим уловкам отдельных начальников строек. Он должен думать о людях, жизнь, быт которых он призван устроить удобно и на здоровых основах.

Не посёлок при заводе должен интересоваться градостроителя, а город, как центр индустрии, как центр культуры, в котором будут жить сотни тысяч трудовых людей, имеющих право на удовлетворение своих законных потребностей — материальных и духовных.

Огромный размах шестой пятилетки вызывает бурный рост новых населённых пунктов, развитие старых городов. Можно ли допустить, чтобы вследствие ведомственной ограниченности, вследствие нелепой, недопустимой в социалистическом обществе анархии, самостоятельности действий отдельных лиц и ведомств расплылись силы строителей и вместо новых красивых и благоустроенных городов и городских кварталов на советской земле возникали беспорядочные, безобразные, антисанитарные поселения со всеми признаками трущоб и захолустья?

Этого допустить нельзя, этого не будет!



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

ДРАМАТУРГ И Т Е А Т Р

Разговор в редакции

Началось с того, что драматург Алексей Арбузов зашёл в редакцию «Нового мира» со статьёй, написанной на тему о взаимоотношениях писателя с театром.

— Многие, вероятно, найдут мои положения спорными, — предупредил автор. Мы прочитали статью и согласились: да, статья вызывает на спор, и если вынести её на обсуждение, то такой спор мог бы принести пользу.

Но как же вести обсуждение в журнале, выходящем раз в месяц? Если ждать отклика на напечатанные выступления, то такая дискуссия поневоле затянулась бы чуть не на целый год. А нам хотелось, чтобы различные точки зрения литераторов и театральных деятелей на затронутую А. Арбузовым проблему прозвучали бы накануне нового театрального сезона.

И вот мы решили провести обсуждение статьи в стенах редакции, пригласив на «редакционный огонёк» группу драматургов, режиссёров и театральных критиков.

Теперь мы предоставляем суждению наших читателей и статью А. Арбузова и содержание того спора, какой вели с ним его оппоненты в редакции «Нового мира».



Алексей Арбузов: Я драматург и, следовательно, принадлежу театру
ДРАМАТУРГ ДОЛЖЕН С этой позиции и позвольте вести разговор. Когда
ВЕРНУТЬСЯ В ТЕАТР в прошлом столетии Островский ставил свои пьесы
в Малом театре, распределял роли, проходил их с актёрами, это казалось окружающим вполне естественным.

Было ли, однако, положение Островского его привилегией гения? Нет, конечно. Драматург был деятелем театра и являлся не только автором ролей, но и мастером, который, работая с актёрами, создавал традиции исполнения своих пьес.

В ту пору ещё не считали странным обстоятельством, что Эсхил, Шекспир, Мольер, Гоцци, Гольдони, Шиллер, Гёте были не только режиссёрами, но иногда и директорами театральных трупп. Да и мысль о том, что самыми блистательными в истории театра были времена, когда во главе театров стояли драматурги, не казалась чересчур оригинальной.

Появление в конце XIX века на русской сцене фигуры режиссёра безусловно сыграло на первых порах свою благотворную роль — театр стал интеллигентнее, возникло понятие ансамбля и стиля, словом, спервоначалу всё выглядело довольно благопристойно. Однако вскоре пришедшие в театр модернисты и декаденты короновали режиссёра полновластным диктатором, чем тот и воспользовался немедленно, предпочтя драматургу зловещие фигуры декоратора и театрального осветителя. Даже на сцене Художественного театра, возникновение которого мы можем считать классическим, ибо он был вызван к жизни союзом драматурга и режиссёра, даже на его сцене декораторы М. Добужинский и Александр Бенуа впоследствии заставили А. Чехова и М. Горького несколько потесниться. Интерес к театральному зрелищу стал расти в неизмеримо большей прогрессии, нежели интерес к мыслям и идеям, которые предлагал драматический писатель.

С той поры драматург и занял своё нынешнее «господствующее положение» — на плюшевом диванчике у дверей в кабинет завлита. А на сцене на смену мыслям

писателя пришла оригинальность их трактовки. Импровизация, волнение актёра, его страсть стали признаками дурного тона. Живой огонь актёрского темперамента был заменён умничанием и холодной арифметикой мизансцены.

Грешно было бы утверждать, что среди этих театральных узурпаторов не было талантливых мастеров. У людей моего поколения на памяти ряд блестящих спектаклей — они на долгие годы отравили наше бедное юношеское сознание блеском своего опустошительного мастерства.

Русское театральное искусство второй половины XIX века было глубоко душевным и страстным искусством. Высокий интеллектуализм и неудержимая, иступлённая, чисто русская жажда правды — всё, чем отмечен гений Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, — всё это нашло горячий, трепетный отклик в душе русского актёра. Федя Протасов и Аким из «Власти тьмы», Раскольников и князь Мышкин, Треплев и Астров, Сатин и странник Лука — какая стоит за этим громада актёрских работ, работ, которые являлись ярким выражением душевного богатства нашего народа.

И вот всему этому на смену пришла ирония.

Да, ирония, ибо декадентствующий режиссёр постарался прежде всего привить нашему театру этакий иронический, пародийный привкус. В этом смысле «Принцесса Турандот» явилась завершением целой эпохи нашего театра, которая провозглашала, что драматург, собственно, не имеет большого значения, ведь «Турандот» Гоцци — Шиллера, конечно, не имела ничего общего с той хитроумной, по-своему талантливой «Турандот», которую нам показал Е. Вахтангов.

С тех пор прошло много лет. Погасли огни «Турандот», забыты «Принцесса Брамбилла» и «Жирофле-Жирофля», исчезли белоснежные портики «Лизистраты».

Что же пришло на смену этому лукуллову пиру режиссёрской фантазии?

Оглядываясь по сторонам, мы с сожалением замечаем, что выиграли не так уж много, заменив пестроту серостью.

Напуганные своей бурно проведённой молодостью, мастера, решив хотя бы этим взять реванш, воспитали на редкость неинициативное, лишённое творческой фантазии поколение учеников.

Унылая вереница «Хитроумных влюблённых» и «Девушек с кувшинами», вяло и добросовестно поставленная учениками учеников, мирно соседствует с «Двенадцатой ночью» — молодёжным мхатовским спектаклем, в котором, несмотря на его любительский оттенок, так убедительно отсутствует молодость.

Словом, рейд в поисках правдоподобия, мощно предпринятый нашей режиссурой, привёл к тому, что нынче пёстрые одежды «Турандот» вспоминаются с грустью и благодарностью.

Суммируя всё сказанное выше, мы утверждаем, что режиссёры, отняв у автора духовное руководство театром, не оказались способны удержать его.

Ну, а современный автор? Вернул ли он себе место, которое занимал во все времена вплоть до опустошительного набега декадентствующей режиссуры?

Нет, и на этот раз вина во многом ложится на него самого.

Оглянемся на двадцатые годы нашего века — именно это десятилетие были написаны лучшие пьесы советского репертуара. Они были любимы актёрами и зрителями, и некоторые из них до сих пор успешно играют на сценах.

Бесспорно, основой их успеха было то, что новый зритель приветствовал своего современника, который в борьбе добивался права на место под сценическим солнцем. Но ведь эта причина распространялась на всю драматургию тех лет. Почему же именно такие пьесы, как «Любовь Яровая» К. Тренёва и «Разлом» Б. Лавренёва, «Человек с портфелем» А. Файко и «Конец Криворыльска» Б. Ромашова, «Дни Турбиных» М. Булгакова и «Чудак» А. Афиногенова были особенно любимы зрителем?

Мне кажется, причина состояла в том, что пьесы эти были глубоко традиционны для русской драматургии. Однако, оставаясь верны традициям великих классиков нашего театра, именно эти драматурги оказались подлинными новаторами, так как новое содержание не могло не изменить, казалось бы, привычную архитектуру их пьес.

Но вот в начале тридцатых годов в нашу драматургию приходит направление, возглавляемое Н. Погодиным и В. Вишневым.

Эти горячие, талантливые, деятельные люди принесли в театр целительное знание жизни и страстное отношение к ней. Но театр — не очерк, и одним знанием жизни, как бы ни было оно велико, нельзя подменить знание ремесла. Да, ремесла! — не побоимся этого слова.

Погодин был тогда молод, тороплив и очень любопытен, ему не сиделось на месте, и письменный стол не был для него самым привлекательным местом на земле. К тому же, изумившись жизнью, он резко отвернулся от опыта русской драматической школы, но, отрехшись от старой архитектоники — как он тогда говорил, — он не нашёл новой. Вот почему его «Темп» не живёт сейчас, хотя автор не обманывал нас, как многие, — он действительно знал жизнь. Но правда этой жизни так закружила его, что он никак не мог найти достаточно времени, чтобы подумать о единственной и точно найденной форме её выражения.

Иначе сложилась судьба В. Вишневого. После неудач «Последнего решительно-го» и «На западе бой» он прислушался к театру, внимательно оглядел его многовековое великое наследство и, взволнованный прожитым, создал «Оптимистическую трагедию» — сложную и мощную по форме пьесу, которой, на мой взгляд, предстоит пережить многие наши драмы.

Нечто подобное произошло, собственно, и с самим Н. Погодиным, когда он писал «Человека с ружьём» — пьесу, удивительно человеческую и в то же время наиболее строгую по своей архитектуре. Вот почему большой бедой нашей драматургии является то, что только в «Кремлёвских курантах» Погодин пошёл дорогой «Человека с ружьём».

Чем это объяснить? Бесспорно длящимся до сего дня предубеждением драматурга к вопросам формы, традиций и канонов даже тогда, когда эти каноны добыты и установлены собственной рукой. Виновата и наша критика, которая до сего дня наиболее сильной стороной творчества Погодина считает его неряшливость. Правда, она игриво именуется её «взъерошенностью» — так ей легче, по крайности никто не заподозрит в традиционализме и прочих вещах дурного тона.

Бесконфликтность привела наш театр к грани распада, она причинила нам много бед, из которых худшей, пожалуй, была та, что драматург окончательно потерял всякий авторитет в театре. Актёры начали видеть в авторе не друга, а скорее врага. Спокойно и равнодушно лишал он их того, что было воздухом их профессии, — лишал драматического действия. Но если у зрителя был в запасе успешный выход — он мог бежать от этих игр, что он, кстати, и делал, — то актёр, будучи дисциплинированным членом профсоюза, продолжал сгорать от стыда публично и ежевечерне.

Вот к какому печальному положению мы пришли. И сейчас нам, драматургам, нужно очень всерьёз подумать о большом хозяйском месте в театре, которое мы утратили не только из-за «козней режиссёра», но и благодаря нашей собственной невнимательности к законам театра, благодаря нашей нелюбви к актёру, словом, благодаря нашей недостаточной театральности.

Обвиняя драматургов, я, впрочем, вовсе не хочу снять ответственность с наших театров.

Почему бы сейчас не вспомнить о том, что истинное рождение Московского Художественного театра совпало с днём, когда на его подмостках была сыграна пьеса современного драматурга, провалившаяся на казённой сцене в Петербурге. Я спрошу у товарищей из Художественного театра: возможно ли в наши дни появление на вашей сцене современной пьесы, провалившейся в другом театре? Положа руку на сердце, никто из них не ответит мне утвердительно.

Больше двадцати лет не было на сцене МХАТ удачного дебюта советского драматурга. А как начинал Художественный театр? Он предоставил свою сцену для дебюта целой плеяде современных драматургов и в первые же годы дал миру не только И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер, но и А. Чехова и М. Горького.

Вспомним, что за первые три сезона театр, имея одну сцену и труппу в пятьдесят человек, осуществил семнадцать постановок, а за три последних сезона поставил всего пять новых спектаклей. И это на двух сценах при труппе в сто восемьдесят человек!

Трудно понять, как могут жить в искусстве такой равнодушной, такой спокойной жизнью воспитанники К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Коли нет побед, то хоть покажите ваши провалы! Где они? Где те целительные неудачи, за которыми всегда приходят победы? Где ваши раны, полученные в творческих боях? Где сиянки? Где забинтованные головы?

Нередко руководители МХАТ призывают драматургов к дружбе с театром. Увы, к этим словам приходится отнестись с осторожностью. Более десяти лет назад театр поставил «Глубокую разведку» Александра Крона — бесспорно, лучший мхатовский спектакль о современном советском обществе. Основой его успеха было, несомненно, то, что в театре появился свой драматург в самом прекрасном значении этого слова. Почему же, репетируя «Кандидата партии», театр не помог своему другу в очень тяжёлые и трудные для него минуты, почему не поддержал его хотя бы в той мере, в какой обязан был это сделать? С лёгкостью души, забыв недавние восторги, он променял его, по меткому выражению Ренара, на «очень известного в прошлом году писателя».

К счастью, в наших условиях фальшивая слава — предмет шаткий и недолговечный. И вот восторг по поводу «Зелёной улицы», созданный крутыми административными мерами, сменяется неодобрительным недоумением, адресованным мастерам театра, почему-то не заметившим такой грубой подделки.

Искусство не терпит расчётливости — рано или поздно за неё приходится расплачиваться. Не потому ли у подъезда театра чуть ли не ежедневно вывешивают недопустимый для МХАТ аншлаг: «На сегодняшний спектакль в кассу поступили билеты».

Итак, что же нужно нам для нового расцвета нашей драматургии, нашего театра?

Прежде всего следует вернуть драматурга театру, ибо только он, драматург, сможет организовать т е м у театра. К сожалению, прежде чем автор снова сможет стать его центром, его душой, должен пройти немалый срок.

Долгая жизнь в разлуке с театром не пошла на пользу драматургу. Убаюканный прописным щебетанием наших критиков и критикесс о пользе знания жизни, он не сразу поймёт, что знание законов театра тоже стоит немало.

Затем театру нужны новые силы.

Могут они прийти из ГИТИС или театральных школ?

Опыт последних лет заставляет усомниться в этом, ибо театральные школы, как сказал Вахтангов, учат, между тем, как надо не только учить, но и воспитывать.

У нашего театра нарушено кровообращение. Бывший Комитет по делам искусств, очень много занятый организацией различных парадных мероприятий, сделал всё от него зависящее, чтобы за последние пятнадцать лет в Москве не возникло ни одного молодого студийного организма.

Это преступно нерасчётливо.

Вспомним, что студийный путь прошли почти все лучшие театры нашей страны, начиная от МХАТ и кончая одним из самых молельных театров столицы, театром имени Станиславского, которому вскоре исполнится двадцать лет.

Крупнейшие наши педагоги — К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, Е. Вахтангов, К. Марджанишвили, — организуя студии, не только обогатили многонациональный советский театр выдающимися спектаклями, но и воспитали тех, кто является сейчас ведущей силой нашего театрального искусства. А. Попов, Н. Охлопков, М. Кедров, С. Гиацинтова, А. Хорава, А. Лобанов, Рубен Симонов, Ю. Завадский, В. Канцель, И. Судаков, А. Васадзе, Б. Ливанов, Б. Захава, В. Станицын, М. Яншин, М. Горчаков, Л. Баратов, С. Туманов, С. Бирман, П. Марков и, наконец, В. Плучек и Б. Равенских — все они получили своё творческое крещение именно в студии. Двое последних — самые молодые, им скоро будет по пятьдесят. А список заканчивается на них. Заканчивается, потому что они представители последних существовавших у нас студий.

Представим хотя бы на минуту, чем было бы сейчас наше театральное искусство без театров, которые возникли когда-то студийным путём.

Казалось, все эти истины должны быть убеждением каждого человека, работающего на театре, но то, что очевидно любому мастеру, знакомому с историей русского театрального искусства, было, видимо, невдомёк руководящим работникам бывшего Комитета.

Правда, после войны в Москве были организованы два театра. Но можно ли их рассматривать как молодые организмы, которые пришли в искусство со своей темой, со своим видением жизни? Нет. Эти театры были созданы бюрократическим образом: сначала утверждалась смета, а уж потом к этой смете подбирали актёров.

Для нашего театра это почти беспрецедентно.

Оглянувшись на историю советского театрального искусства, мы увидим, что возникшие студийным путём театры раньше, чем получить благословение различных управляющих формаций, создавали спектакли, которые и давали им право на жизнь. Так и сейчас, дело за группами, которые должны своим творчеством привлечь к себе внимание, чтобы впоследствии стать театрами со штатами, вешалкой, гардеробом и всеми прочими, безусловно нужными, но всё же второстепенными атрибутами.

Следует, впрочем, сказать, что содержание пашей жизни вносит существенные поправки в традиционное понятие студийности. Основной задачей студии является ныне не поиски каких-либо формальных новаций, а утверждение новых тем нашей современности. Вот почему студия наших дней должна растить не только актёров и режиссёров, но и драматургов, воспитанных на общности задач всего творческого коллектива.

Но говоря о рождении, следует сказать и о смерти. Нельзя искусственно выдавать за живых тех, кои перестали творчески существовать. Увы, театры, как люди, — они должны рождаться и умирать. Это печально, но необходимо. А делать мёртвому припарки из тех соображений, что в молодости покойник был мил и симпатичен, глупо и нерентабельно. Бессмертны только те, у кого хватает сил стать театральной академией. Не каждому театру это по плечу.

Заканчивая, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Драматург должен вернуться в театр. Он должен вернуться в него творчески и административно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не только производственную, но и свою общественную работу ему следует вести в театре, где ставятся его пьесы. Там же, в театре, он должен заниматься и педагогической работой с молодыми драматургами и актёрами. Ему следует знать и любить театральное производство, ибо это его родной дом.

В нашем ремесле, разумеется, многое сближает нас с романистами и поэтами. Однако производство наше связано не с журналами и издательствами, а прежде всего с театром. Следовательно, актёр есть наш первый друг — содейтель, ему и должен отдать драматический писатель всю свою любовь.

Обсуждение началось с того, что А. Арбузов ответил на вопросы собравшихся.

В. Розов. Как практически вы представляете себе возвращение драматурга в театр?

А. Арбузов. Считаю, что драматург должен максимально «ввязываться» в жизнь театра. Сейчас его участие в жизни театра носит весьма условный и несколько показательный характер.

Пока что наши драматурги не могут — потому что у них нет для этого необходимых навыков — взять на себя то, что брали наши предки, но в идеальном смысле — драматург это директор театра, который будет подбирать репертуар, распределять роли, то есть делать то, что должен делать директор и чего директор сейчас не делает. Он должен быть душой театра, его организатором, как, скажем, Бертольд Брехт.

А. Штейн. Как вы себе представляете организацию студий? Я согласен с тем, что студии нужны, но мне не ясно, как автор статьи представляет себе их появление в Ленинграде, в Москве?

А. Арбузов. Не нужно только им препятствовать, а надо помогать. В последние годы в Москве существовали зачатки студий. Они просто не нашли у нас поддержки. Мы всегда объясняли инициаторам, что их затеи несвоевременны. Одну из студий возглавлял С. Туманов, режиссёр театра имени Станиславского. Когда он руководил студией, он сам ещё учился в ГИТИС или только что окончил его. У него была группа, с которой он работал два года, героически стремясь что-то сделать, но встретил полное неприятие.

Была студия, которую организовал К. Воинов — режиссёр театра имени Ермоловой. Студийцы сами написали пьесу, много работали. Из этой студии вышел талантливый режиссёр А. Эфрос, поставивший «В добрый час» в Центральном детском театре.

В этой области пробовали свои силы и другие люди, скажем, режиссёр С. Микаэлян, который много работал на периферии. Но ни одну из этих студий никто не подержал.

После ответа на вопросы началось обсуждение статьи.

А. Штейн:
О ГРЕХАХ СВОИХ
И ГРЕХАХ ЧУЖИХ

Незадолго до этого обсуждения состоялась премьера «Кремлёвских курантов» Н. Погодина в МХАТ. Мнение всех, видевших этот спектакль, единодушно: это хорошо, это достойно времени и людей, изображённых в пьесе, это достойно Художественного театра. Стало быть, пьеса выдержала строжайший экзамен времени, стало быть, и в МХАТ нашлись силы, сумевшие воплотить замыслы драматурга...

Этот успех погодинской пьесы ставит вопрос о месте автора в театре так же остро, как и памятные всем нам недавние мхатовские провалы...

Алла Константиновна Тарасова, всеми нами любимая народная артистка СССР и ещё недавно директор МХАТ, выступала в прениях на Московской городской конференции КПСС. Из газетного отчёта можно понять, что речь её была произнесена в тоне весьма раздражённом и содержала гневные и тяжёлые упрёки драматургам, единственно виновным, по её мнению, в том, что зрители перестали посещать многие спектакли. На ниве драматургии, если судить всё по тому же отчёту, не произрастает никаких иных злаков, кроме пьес-однодневок. Что же касается театра, то ему А. К. Тарасова отводит роль более нежели скромную в борьбе за создание репертуара — он всего лишь «передатчик пьес зрителю».

Хулить драматургов скопом вообще стало привычным делом для иных театральных работников, которые склонны только нам, драматургам, приписывать все грехи театра, а о себе стыдливо умалчивать. Двинулся, увы, по этой модной, но малопривлекательной и весьма шаткой стезе и режиссёр Г. Товстоногов, чья статья во втором номере журнала «Театр» отдаёт, признаюсь, и лицемерием и изрядной долей ханжества... Слово бы свалившись с самой дальней планеты, Г. Товстоногов обвиняет многих драматургов в грехах, насаждавших именно самими театрами и художественными руководителями театров и им, Товстоноговым, в том числе.

Разве вы, товарищ Товстоногов, и ваши коллеги не требовали от драматургов дописывать пьесы для перестраховки, дополняя их ненужными риторическими монологами и диалогами и грозя, что в противном случае пьеса не увидит света? Такие уж вы смельчаки!.. Какие вы острые проблемы поставили в ваших спектаклях? Рождению каких смелых пьес помогли? Вертели станки, крутили зеркала, в которых «отражалось движение масс»... Разве в этом смелость? Обидно было читать статью Товстоногова, так порадовавшего нас отличной постановкой «Оптимистической трагедии», кстати, по вине руководителей театров пролежавшей без движения около двадцати лет... Да ведь и не по вашей инициативе и эту прекрасную пьесу поставили, товарищ Товстоногов, и не в театре, которым вы руководили... Обидно было, что все современные пьесы, так или иначе в какой-то степени ставившие острые проблемы современной жизни, вы в вашей статье пытаетесь растащить по кусочкам... Зачем это делать? Зачем пилить сук, на котором сидишь? Единственным утешением может служить разве то, что, может быть, эта статья принадлежит к тем, увы, нередко появляющимся статьям наших театральных мастеров, которые пишутся невидимыми авторами, и наши мастера с интересом прочтывают потом, как это у них получается.

Что касается журнала «Театр», то его политика в отношении современной драматургии не может не вызвать удивления. Со странной настойчивостью в ряде статей журнал хулит все последние произведения советской драматургии, пытающиеся вторгнуться в жизнь, оговариваясь, что вообще-то они хороши, но в частности очень и очень плохи... А мне, грешным делом, казалось, что у такого единственного по вопросам

театра органа должна бы быть линия в искусстве, программа — за неё журнал должен драться. А получается нечто зыбкое, как желе.

Положение в драматургии трудное, серьёзное, сложное, и разобраться в причинах оставания надобно глубоко, по-хозяйски, бережно и сообща. Да, виновны и даже не заслуживаем снисхождения! Понимаем всю глубочайшую неудовлетворённость зрителя нашими пьесами — и качеством многих из них и малым их количеством.

Но бранью обилия пьес не создашь! Кроме того, стоит заметить, что зрители не хотят ходить не только на дурные пьесы, но и на дурные спектакли. Вряд ли кто из нас осмелится назвать однодневками такие, скажем, пьесы, как «Дачники» Горького или «Двенадцатую ночь» Шекспира. А тайна ли, что на эти спектакли, поставленные в МХАТ, зритель вовсе или почти не ходит, усердно посещая в то же время такой, например, превосходный мховский спектакль, как «Плоды просвещения».

Мало, мало современных, советских пьес, по-настоящему волнующих, насыщенных чувством времени, без которого невозможно театральное представление. И всё-таки не в интересах истины и пользы дела изображать, как это делают иные деятели театра, всю современную драматургию как некую зону пустыни. «В добрый час» В. Розова, например, идёт при переполненных залах по всей стране. Пьеса не имела успеха лишь в студии МХАТ, — но ведь не по вине автора? Недавно мы видели тысячный спектакль «Тани» А. Арбузова. А в самом МХАТ? Я уже говорил о выдающемся успехе «Кремлёвских курантов». И разве не шли десять и свыше сезонов в том же МХАТ такие превосходно поставленные и сыгранные спектакли, как «Платон Кречет» и «Глубокая разведка»? Судьба театра — это репертуар. Но ведь и судьба репертуара — это театр. Вот недавно прошла, обретя своё второе рождение, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского в Ленинградском театре имени Пушкина. Этот горячий революционный спектакль, исполненный суровой и мужественной красоты, делает аншлаги, и каждый, кто видел его, понимает: да, театр почувствовал драматурга, его стиль, его манеру, его замысел, и этот контакт театра и драматурга дал силу и мощь сценическому воплощению трагедии, которую мы все теперь ещё больше оценили.

У драматургии слишком много своих грехов — незачем ей приписывать грехи чужие. Плодотворнее было бы не браниться, а, чувствуя свою общую ответственность, сообща и бороться и за яркие пьесы и за яркие спектакли. А. К. Тарасова утверждает, что театр — простой «передатчик пьес зрителю». Нет, Алла Константиновна, в этом с вами никогда не согласились бы ни Станиславский, ни Немирович-Данченко. Они жарко боролись за драматурга, любили его, верили в него, они его и окрыляли, и это было для них святым и вечным законом, начиная от исторической для судеб русского театра реабилитации «Чайки», освящённой и ошканный в Петербурге. Помните борьбу МХАТ за «несценичного» Горького, вспомните уже послереволюционные годы МХАТ и прозаика, дебютировавшего в драматургии, в которого поверил и которого увлёк МХАТ, — Всеволода Иванова. Так появился «Бронепоезд». Вспомните Булгакова и Афиногенова, вспомните начинающего Корнейчука, которого заметили и благословили Станиславский и Немирович. Эти драматурги чувствовали в театре не только передатчика пьес зрителю, нет, театр был для них другом, советчиком, надёжным товарищем, локоть которого они ощущали не только во времена «огней и цветов», но и в период мучительных раздумий, поисков, в период неудач и поражений.

К сожалению, эти святые традиции великих отцов некоторые современные деятели театра, в том числе и некоторые деятели МХАТ, запомнили.

Справедливости ради скажем, что сейчас МХАТ предпринял шаги к тому, чтобы возобновить утраченный контакт с автором. Мне кажется, что при этом надо отбросить установившийся в последние годы снисходительный стиль отношения к драматургу. Дескать, театр делает одолжение драматургу самим фактом постановки его пьесы. Никто никому не делает одолжения!

Да, неуважение к драматургу, к пьесе воспитывалось в декадентском театре — пьеса там была предлогом для спектакля. Но нам-то зачем повторять эти зады декадентского театра?

В этом смысле я понимаю Арбузова, и тут я присоединяюсь к соответствующей части его статьи. В непонимании роли и места автора в театре — одна из коренных причин многих недостатков нашей театральной жизни. Статья Арбузова интересна и

тем, что она продиктована горячим чувством художника, его искренним стремлением исправить положение. Арбузов не мог не выступить. Эту статью, несмотря на то, что я не могу согласиться с рядом её положений, написал человек, тревожащийся за судьбу театра.

Ведь действительно за последние годы наши драматурги стали какими-то «бесквартирными». Возьмите любого драматурга и проследите, как его фамилия скачет по всем театрам. Фамилию А. Арбузова встретишь на афишах театра имени Ермоловой («Европейская хроника»), имени Маяковского («Домик на окраине»), Театра Советской Армии («Встреча с юностью»), театра имени Ленинского комсомола («Годы странствий»). Возьмите Н. Погодина — Малый («Когда ломаются копья»), МХАТ («Кремлёвские курьезы»), имени Вахтангова («Человек с ружьём»), Центральный театр транспорта («Вихри враждебные», «Багровые облака»)… А. Б. Лавренёв? К. Симонов? Самое печальное для всех нас, что всё это совершенно случайное родство. Вот В. Розов, он более или менее верен Центральному детскому театру, у него с этим театром связаны самые отрадные страницы его творческой жизни. А вот Ю. Чепурин. В Театре Советской Армии поставлены четыре его пьесы, одна за другой, — это целая жизнь. А теперь с ним расстались, расстались равнодушно.

Если «Новый мир» собрал нас для того, чтобы затем со своих страниц со всей остротой рассмотреть вопрос о взаимоотношениях автора и театра, то это будет полезно и нужно — вопрос и большой и большой.

Но я не могу умолчать о том, с чем я не согласен в статье Арбузова, статью, написанной хорошо и интересно по форме.

Очень важно, когда статья интересна не только по существу, но и по форме. Но вот форме в драматургии, думается мне, Алексей Николаевич придаёт излишне много значения в этой статье. Это вовсе не означает, что я против формы в драматургии; мне просто кажется, что Арбузов заблуждается, объясняя причины того отставания, которое есть у нас в драматургии, только неудачами формы. Нет, дело тут глубже, сложнее. Неправильно в этом смысле объяснение успеха «Оптимистической трагедии» тем, что «после неудач «Последнего решительного» и «На западе бой» Вишневский, дескать, прислушался к театру, внимательно оглядел его многовековое великое наследство… и создал «Оптимистическую трагедию» — сложную и мощную по форме пьесу».

Это, конечно, весьма субъективное и одностороннее суждение. Я, например, не считаю «Оптимистическую трагедию» лучшей пьесой Вишневского, хотя это очень хорошая и сильная, действительно мощная пьеса. Но мне кажется, что «Первая Конная», написанная до «Оптимистической», ещё найдёт своё новое сценическое решение, обретёт новую сценическую судьбу. По языковому богатству, по речевым характеристикам, по остроте заключённых в ней классовых столкновений, по концентрации революционного материала это лучшее из того, что написал Вишневский. Но и в «Оптимистической» и в «Первой Конной» главное в том, что в театр явился художник-боец, страстный революционный бунтарь, солдат великой армии коммунизма, и свой революционный запал, свою страсть он стремился выразить в присущей ему художественной форме. Не жила бы сейчас столь полнокровной жизнью эта пьеса, не звучали бы слова её столь современно, если бы мощь её заключалась в одной лишь форме.

Мне кажется также, что напрасно Алексей Николаевич полагает, будто бы пьесы тридцатых годов, принадлежащие перу Погодина, устарели оттого якобы, что Погодин не нашёл адекватной сценической формы, отвернулся от формы, так сказать, презрел её.

Напротив, многие пьесы Погодина, написанные в тридцатых годах, вовсе не устарели сейчас; в годы борьбы за шестую пятилетку они должны найти себе театр, как нашли себе театр другие уже упоминавшиеся «старые» пьесы, так, как нашла себе сцену «Оптимистическая трагедия» — с первого взгляда, как будто бы самую «неожиданную» — сцену академического театра.

И тут я должен возразить против ещё одного положения, которое выдвигает Арбузов.

Вот перед нами старый академический театр, такой театр, как бывший Александринский. Посмотрите на его путь за последние годы. Он стал передовым театром современной, советской темы, таким же, каким начинал становиться в двадцатых и в

тридцатых годах, когда ставил «Конец Криворыльска» Б. Ромашова, «Ярость» Е. Яновского, «Чудак» и «Страх» А. Афиногенова. Именно этот театр вышел в ряды передовых театров Ленинграда, да и всей страны, поставив с жаром, увлечённо такие советские спектакли, как «Крылья» и «Годы странствий». Этот-то театр и возродил для сегодняшнего зрителя «Оптимистическую трагедию». Бывший Александринский театр может дать фору иным театрам, считающим себя «молодыми».

По поводу студий. Каждая эпоха создаёт те формы, которые ей нужны. Я не уверен, что сейчас главным, решающим звеном в театральной цепи явились бы новые студии, что в них — панацея от всех болезней нашего театра.

Конечно, студиям надо помогать, бережно растить их. Вот в недрах Театра киноактёра возникла одна студия: ученики Сергея Герасимова Ю. Егоров и Ю. Победоносцев несколько лет тому назад написали пьесу и сами же её поставили; «Три солдата» стали интересным, свежим и своеобразным спектаклем. Была там же поставлена «Молодая гвардия» — в той же манере, примерно в тех же решениях. Казалось бы, расти и расти этой студии — со своим лицом, со своим художественным руководителем. Однако последний-то, занятый кинематографом, и не превратил студию в театр, а раз корабль остался без рулевого, дело завяло, и студия слилась с Театром киноактёра, растворилась в нём. Случаи рождения студий, как видите, бывают разные. Мне кажется, в том значении, какое Арбузов придаёт студиям, есть нечто отдающее, так сказать, утопизмом. Он думает: будет студии, и всё будет прекрасно! Нет, надо думать о том, что делать существующим театральным организмам, как их поднимать, как связать их судьбу с судьбой драматургов и драматургии.

И тут хотелось бы сделать ещё одно необходимое замечание. У нас есть формула, справедливая формула: «Драматург должен знать жизнь». Однако эту формулу применяют механически; она даже стала похожа на молитвенное заклинание. А вот недавно вышел сборник «Чехов о литературе». И посмотрите, какой Чехов разный в своих советах драматургу!

В нескольких письмах пишет он Горькому о том, что незачем ему сидеть в Нижнем Новгороде. «Естественное же состояние литератора — это всегда держаться близко к литературным сферам, жить возле пишущих, дышать литературой. Не боритесь же с естественным, покоритесь раз навсегда и переезжайте в Петербург или в Москву. Бранитесь с литераторами, не признавайте их, половину из них презирайте, но живите с ними...»

Так он пишет Горькому.

А вот И. Щеглову — наоборот: «Засим я боюсь, что из Вас выйдет не русский драматург, а петербургский. Писать для сцены и иметь успех во всей России может только тот, кто бывает в Питере только гостем и наблюдает жизнь не с Тучкова моста... «В горах Кавказа» Вы написали потому, что были на Кавказе; пьесы из военного быта написаны благодаря тому, что Вы скитались по России...»

О Тимковском он пишет: «...архитекторские способности есть, хоть отбавляй, а материала, из чего строить, очень мало...»

Гославскому он советует писать больше — по 20—30 листов в год; только тогда, по мнению Чехова, выработается из него драматург. Скитальцу он говорил: «У вас теперь могло быть томика четыре, а вы что-то на первом замешкались... если бы я остановился на первых рассказах, — меня бы и писателем не считали».

А о Найдёнове он пишет (высоко оценивая его как драматурга), что тот торопится, спешит: «А Найдёнов со своим «№ 13» провалился. Вот он должен меня слушаться: писать пьесу не чаще чем раз в пять лет. Ведь «Дети Ванюшина» долго ещё будут кормить его, значит можно не торопиться...»

Как поучительно это чеховское отношение к литераторам, товарищам. Как нужен нам такой чеховский «индивидуальный подход»! Как часто не хватает нашим драматургам такого подсаза. У одних писателей исчерпался запас наблюдений, им не о чем писать, утрачены связи с жизнью — тут нужны срочные и решающие меры. У других есть жизненный опыт, которого хватит на десять лет, но вот беда — портреты выходят у них бледнее оригиналов. Или опыт есть, язык сочен, но нет чувства сценической формы. И тут общение с театром, с талантливыми людьми театра, общение непосредственное, живое, повседневное необходимо. Оно поможет рождению новых, богатых

жизненным содержанием пьес, которые оплодотворят и обогатят этих талантливых людей. А у нас иные драматурги едут в командировки, даже термин есть такой ужасный: «на материал». Да разве так создаются пьесы? Сошлюсь опять на Чехова. В одном из писем он отказывается от предложения писать о загранице, где он в то время находился, так как он пишет не по текущим впечатлениям, а по воспоминаниям...

Мне кажется, что мы мало используем в драматургии свой собственный жизненный опыт, свои наблюдения, свои непосредственные связи с людьми других профессий, с которыми сталкиваемся, среди которых есть наши друзья, знакомые...

Но это уже иной вопрос, которого следует коснуться при обсуждении всего комплекса проблем советской драматургии.

В. Розов:
**ДЕЛО, КОНЕЧНО,
НЕ В ДОЛЖНОСТИ**

Я целиком за то, чтобы драматург занял своё главное идейное место в театре, чтобы театр осуществлял замыслы драматурга, а не «трактовал» его.

Если театр мыслит о жизни так же, как мыслит автор пьесы, развивая и углубляя эти мысли, и если режиссёр прибавляет к раскрытию этих мыслей своё дарование, а актёры—своё, то именно тогда происходит то закономерное наращивание сил, которое приводит к успеху спектакля. А если режиссёр и актёры по поводу изложенного в пьесе будут высказывать свои соображения, может быть и интересные, но несхожие с замыслом автора, вряд ли получится нечто более вразумительное, чем то, что было заключено в пьесе.

Я не знаю, как практически сделать, чтобы драматург занял главное — в идейном отношении — место в театре. Можно ли связывать это с официальным назначением автора на ту или иную должность в театре? Мне думается, вряд ли.

Ты приходишь в театр, и там тебя ждут определённые люди, конкретные режиссёры, актёры. У них с любым автором возможно полное непонимание друг друга (и это бывает довольно часто), но возможно и взаимопонимание, что бывает, к сожалению, реже.

Мне посчастливилось в работе с Центральным детским театром, может быть, именно потому, что там отнеслись вполне уважительно к моим мыслям о жизни, к моим взглядам на жизнь, которые я выражал в своих пьесах; им эти мысли, эти взгляды нравились, и наша общая работа носила чрезвычайно дружный характер.

Конечно, надо бороться за своё место в театре, но я не думаю, чтобы этому помогли административные меры. Многие из нас члены художественных советов театров, но наш удельный вес чрезвычайно мал. С нами могут согласиться на заседании совета. Но в практической работе театра мы существенной роли не играем.

Думаю, что мы, драматурги, должны глубже осмысливать те явления жизни, которые раскрываем в своих пьесах, философски глубже их выражать, чтобы актёры и режиссёры были ими страстно увлечены. Это наиболее естественный путь к тому, чтобы мы смогли занять должное место в театре.

Относительно студий. Я целиком за то, чтобы студии рождались, и когда они родятся,— а они, вероятно, скоро родятся,— то это надо приветствовать.

Ю. Чепурин:
**КАК Я РАССТАЛСЯ
С ТЕАТРОМ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ**

Я считаю, что вопрос, который поставил А. Арбузов, заслуживает всякого внимания и поддержки. Его статья возникла не случайно. Потому что в отношениях между театром и драматургом что-то обязательно надо менять. Дальше пребывать в таком положении нельзя.

Я хочу рассказать о том, что я перенёс, переживал в общении с театром.

У меня когда-то были хорошие, светлые годы. Я был кровно связан с Театром Советской Армии и считал себя счастливым. Это великое дело, когда ты знаешь, что театр ждёт от тебя пьесу.

Почему же мне пришлось расстаться с Театром Советской Армии, из-за чего произошёл наш разрыв? Он связан с потерей нашими большими, крупными мастерами интереса к тому, что мы приносим к ним в театр. У многих режиссёров по отношению

к нашим пьесам существует термин — «материал». Пьеса — не пьеса, а «материал»! И режиссёру предстоит благородная задача превратить этот «материал» в спектакль. И театр, если хочет, это великолепно делает.

Но бывает и так, что драматург не соглашается с трактовкой театра. Так было со мной, с моей пьесой «Весенний поток». Я упорно дорабатывал пьесу, идя навстречу пожеланиям театра, в течение целого года. Когда я посмотрел генеральную репетицию, то в свою очередь высказал ряд замечаний. Но ни одно, даже самое малейшее, моё замечание не было учтено, будто бы меня и не было, будто бы это не моя пьеса, будто бы не я её писал и не имею к ней никакого отношения. После многолетнего сотрудничества такое оскорбительное отношение трудно было вынести. И я увидел, что театр с лёгкостью готов порвать наши кровные, прочные связи.

У меня один из героев хотел закончить жизнь самоубийством. У актёра не выходил этот акт, и от него отказались, хотя, казалось бы, вернее было поискать другого актёра. Но нет, начисто отказались от этого эпизода, и появился другой финал. Театру в финале понадобился обязательно пароход на сцене, и Алексей Дмитриевич Попов поставил вопрос так: если уберёте пароход со сцены, то я уйду из театра! В результате пароход остался, а ушёл из театра драматург!

Театр относится к работе драматурга, как потребитель материала правдивой жизни, который приносит ему драматург, и всё.. Мне было очень трудно, очень тяжело, но всё же, памятуя о старой долготейшей дружбе, я понёс театру и новую свою пьесу.

Театр, получив эту пьесу, не нашёл даже нужным пригласить меня поговорить. Мне просто ответили в трёх строчках, что пьеса не подходит. Если я потерпел неудачу, то разве в задачу театра, с которым мы были много лет связаны, не входило разобрататься в её причинах?

Теперь о руководящей роли драматурга в театре. Мне кажется, что сейчас, к сожалению, мы не располагаем достаточной группой драматургов, которые могли бы претендовать на такую роль в театре. И если это ещё можно сделать в Москве, то для периферии это — утопия. Там положение более трудное. Найти для огромного количества периферийных театров директоров-драматургов невозможно.

И такая форма, как студия, тоже не может решить вопрос целиком.

Мне кажется, что студии нужны прежде всего для воспитания нового огромного отряда режиссёров, которые должны по-настоящему сблизиться с драматургами. Потому что молодым драматургам с режиссёрами страшно трудно работать. Нам всё-таки несколько легче, хотя режиссёры не доверяют и нам.

Я думаю, что наши театры располагают всеми возможностями для организации студий. В театрах вполне достаточные труппы: в Художественном театре труппа в 180 человек, в Малом театре и Театре Советской Армии примерно по 140 человек. На малой сцене Театра Советской Армии, например, вполне можно было бы развернуть работу студии. Пусть там работают несколько драматургов, пусть они присутствуют на репетициях, спорят, определяют репертуар. Это может вылиться в экспериментальный театр новой советской пьесы. И может послужить хорошим примером для подражания.

Организовывать же такие студии вне театров, на мой взгляд, не стоит. У них не будет финансовой базы, перед ними всегда будут стоять огромные трудности в отношении организации работы, репетиций (ведь все актёры будут заняты в спектаклях своих театров) и т. д.

А. Караганов: БУНТ ПРОТИВ РЕЖИССУРЫ?

Статья Алексея Николаевича Арбузова хороша тем, что каждое слово в ней пережито, наполнено авторским волнением. Она проникнута тревогой за театр, чувством горечи от неудач последнего времени. Статья А. Арбузова привлекает своей взволнованностью, своим беспокойством.

Но, разделяя чувства автора статьи, я бы хотел поспорить с некоторыми его положениями. Мне показалось, что полемическая страсть, которая живёт в статье, иногда подсказывает А. Арбузову односторонние обобщения и неточные аргументы для их обоснования и защиты.

Алексей Николаевич в своей статье проводит линию развития отношений театра и драматурга где-то над жизнью, вне её конкретности, забывая о многообразии этих отношений.

Вам, Алексей Николаевич, показалось, что наш театр прошёл путь от взаимоотношений Островского с Малым театром до «Принцессы Турандот» у вахтанговцев, где «приоритет» режиссуры над драматургией получил своё почти «классическое» выражение. Дальнейшие отношения театра и драматурга вы фактически изображаете, как продолжение «линии» «Турандот».

А я хочу в этой связи вспомнить «Три сестры», поставленные В. И. Немировичем-Данченко в 1940 году, то есть во времена, когда, по концепции обсуждаемой статьи, «режиссёрское начало» в нашем театре решительно преобладало. Это был спектакль не «театра режиссёра» и не «театра актёра», а «театра драматурга». И это был подлинно классический спектакль — одна из самых высоких вершин театрального искусства. «Три сестры» — далеко не единственный пример, который не укладывается в предложенную А. Арбузовым схему развития отношений режиссуры и драматургии, больше того, взрывает эту схему. Могу напомнить работу А. Попова с Н. Погодиным в тридцатые годы, которая тоже явно противоречит проведённой в статье «средней линии». Нужны ли другие факты?

Нет, и годы, которые, по мысли А. Арбузова, были годами унижения драматургии и возвышения режиссуры, отмечены проникновенной работой многих и многих мастеров сцены над раскрытием глубин драматургии, и в это время традиция содружества Островского и Малого театра не умирала, хотя и было у неё немало прямых и невольных противников.

Театральная жизнь, в том числе и отношения театра с драматургом, — это великое многообразие разных явлений и фактов, это сложный процесс, который невозможно представить «единым потоком», выразить некоей «средней кривой», обозначающей «общую тенденцию».

Естественно и неизбежно, что, когда один большой художник непохож на другого большого художника, он спорит с ним творчески, а иногда и теоретически. Так было и так будет. В дни Первого съезда писателей Погодин и Вишневский резко полемизировали с Афиногеновым и Киршоном о принципах и особенностях современной драмы. Подобные споры возникают и сейчас — жаль, что их мало. И нет ничего необычного, как и неожиданного в том, что Арбузов высказывает решительное несогласие с некоторыми принципами поэтики Погодина, критикует погодинскую драматургию. Погодин в последнее время не выступал, ничего не писал о драматургии Арбузова, но я думаю, что у него тоже есть что сказать о своих эстетических расхождениях с Арбузовым, о своём непринятии некоторых особенностей арбузовской драматургии.

Такие столкновения и споры естественны — это норма художественной жизни; и речь в данном случае идёт не о противопоставлении одного художника другому, не о «сталкивании лбами», как у нас иногда любят говорить, а о разнообразии творческих индивидуальностей, художественных стилей, форм и течений в искусстве социалистического реализма.

Но плохо, когда один художник свою точку зрения решительно объявляет абсолютной истиной и слишком безоговорочно начинает судить другого, исходя из своих принципов, из своего понимания драмы. А у вас, Алексей Николаевич, есть такой оттенок категоричности там, где вы говорите о погодинской драматургии.

Алексей Николаевич Арбузов считает, что увлечённый жизнью Погодин, стремясь скорее и полнее охватить и вывести на сцену увиденное, стал очеркистом в драматургии. И только тогда, когда Н. Погодин овладел богатствами классической формы, он стал создавать настоящие вещи, такие, как «Человек с ружьём» и «Кремлёвские куранты».

У меня иная точка зрения. Я считаю, что «Человек с ружьём» и «Кремлёвские куранты» органически связаны с принципиальными особенностями погодинской драматургии. Вы, Алексей Николаевич, видите в драматургической поэтике Погодина только слабости, а я вижу и слабости и силу — ту силу, без которой нельзя было написать ни «Человека с ружьём», ни «Кремлёвских курантов». Погодинскую драматургию, как и всякое явление, надо рассматривать диалектически, всесторонне. Если слабости её

проявились в очерковости, сюжетной аморфности некоторых пьес, то в ней есть и великолепная живописность в обрисовке людей, есть революционный размах, широта жизненного охвата, острое чувство времени, и эти сильные стороны её сказались и в «Человеке с ружьём», и в «Кремлёвских курантах», и в других лучших пьесах Погодина.

Недавно мы все смотрели «Кремлёвские куранты». На мой взгляд, это очень хороший спектакль, настоящая творческая победа Художественного театра. Изумительно играют Б. Смирнов и Б. Ливанов. Смотря этот спектакль, я снова и снова почувствовал силу драматургии Погодина.

Конечно, Погодину в своих пьесах не удаётся решать многие из тех задач, которые решает Арбузов, но и Арбузову не удаётся решить многие из тех задач, которые решает Погодин. И то, что у нас есть два таких разных драматурга, и то, что у них разные подходы к творчеству, к драме, — это хорошо. Только не надо объявлять поэтику Арбузова обязательной для всех советских драматургов, в том числе и для Погодина, точно так же, как поэтику Погодина не надо считать обязательной для Арбузова.

Что же касается отношений театра с драматургом, то тут дело не в том, что драматург сидит на плюшевом диване «у врат литчасти», а не в директорском кресле. Вопрос очень серьёзный. А. Штейн верно здесь говорил о чувстве времени, о творческой активности драматурга.

У нас привыкли объяснять все беды драматургии тем, что писатели плохо знают жизнь. Но ведь начали хуже писать и те драматурги, которые знают жизнь. И очень часто, когда читаешь пьесы (а мне приходится много читать ещё не изданных пьес), рождается впечатление, что в пьесе получила отражение лишь малая часть знания жизни: автор знает жизнь и шире и глубже, чем это сказалось в его же пьесе.

У нас принято объяснять слабости и недостатки нашей драматургии недостатками мастерства. Но почему же стали хуже писать некоторые наши крупные мастера?

Ни то, ни другое объяснение не даёт полного ответа на вопрос. В чём же тут причина?

Если говорить прямо, то, по моему мнению, беды многих наших драматургов состоят в том, что ими в творчестве утрачены некоторые важные идейные позиции. А. Корнейчук очень интересно и верно говорил на Втором съезде советских писателей о путешествнически-созерцательном отношении к жизни, о том, что оно не может послужить основой для боевых и жизненных произведений, даже если драматург много ездит по стране, встречается с людьми и т. д. Советский писатель — идейный борец. Идейность, творческая активность — важнейшие условия успеха в писательской работе. А во многих пьесах последнего времени чувствуется, что мелки жизненные позиции автора, вопросы, которые он поднимает.

А. Арбузов, по-моему, переоценивает значение «организационных вопросов» во взаимоотношениях театра и драматургов. Если мы вспомним историю советской драматургии, то увидим, что в общем-то организационные формы отношений драматурга и театра и раньше были такие же, как сейчас... Но, тем не менее, драматурги сыграли тогда огромную роль в развитии нашего театрального искусства, в идейной его перестройке. Ведь Тренёв не был ни директором, ни художественным руководителем Малого театра, но «Любовь Яровая» помогла Малому театру стать подлинно советским театром, быстрее выйти на передовые идейные позиции. То же самое было и с МХАТ. Именно в работе над пьесами советских драматургов идейно росли творческие кадры театров.

Мне кажется, что в нынешних отношениях театров к драматургам слишком много равнодушия. Среди театральных работников нередко можно встретить нежелание или неумение по-настоящему бороться за современный репертуар, отвечать за него, как за главное дело своей жизни в искусстве.

Я не могу согласиться со статьёй и там, где А. Арбузов говорит, что всё дело в овладении классической формой драмы. Конечно, овладение художественным опытом классиков — важная и плодотворная задача. Конечно, без решения этой задачи нельзя серьёзно идти вперёд в развитии нашего искусства. Но в статье Арбузова сквозит недооценка и с к а н и й в области формы, н о в а т о р с т в а в драматургии.

Вся история классической драматургии — это движение, искания, борьба. Чехов, скажем, произвёл целый переворот в драматургии, ввёл новые формы драмы. Разве можно говорить, что Чехов просто продолжил Островского? Точно так же успехи советской драматургии связаны не только с тем, что наши драматурги внесли в драматургию новые темы, мотивы, вехи современной советской жизни, а и с тем, что они по-новому решали художественные задачи, которые выдвигала перед ними жизнь.

И тут надо решительно спорить с Алексеем Николаевичем Арбузовым, надо решительнее подчёркивать необходимость исканий. У нас слишком много пьес, похожих на те, что уже были, и слишком мало пьес «непохожих». А истинное искусство всегда уникально, оригинально. И только яркие, проникнутые творческим своеобразием произведения драматургии могут по-настоящему питать и вдохновлять режиссёрские и актёрские искания.

Я, конечно, имею в виду не формалистические новшества ради новшества, а то новаторство, которое породило «Любовь Яровую», которое несли и несут на сцену Покодин, Вишневский, Корнейчук, тот же Арбузов...

В статье Арбузова проводится мысль, что театры, как и живые организмы, рождаются, развиваются и неизбежно умирают. Я до конца ещё недоумал эту мысль и свои аргументы против неё, но спорность её для меня очевидна.

Сейчас часто можно слышать разговоры о том, что Художественный театр кончился: прошли годы юности, зрелости, сейчас наступила пора умирания. По-моему, от таких разговоров веет философией непротивленчества, пассивности. По-моему, они решительно не в интересах дела. Наоборот, надо сейчас всячески подчёркивать необходимость, значение активной, творчески мыслящей, дерзающей режиссуры которая способна дать молодую жизнь даже очень почтенному годами театру. В том же Художественном театре положение могло бы быть значительно лучшим, если бы там была сильная, творчески активная режиссура. Ведь там только в некоторых спектаклях М Кедрова можно увидеть настоящий МХАТ. Но Кедров очень медленно работает, редко выпускает спектакли. А спектакль «Кремлёвские куранты» показал, что когда работает настоящий, ищущий, творчески активный режиссёр, то можно «по-мхатовски» возродить старый спектакль — сделать из него спектакль новый и молодой.

И дело сейчас вовсе не в том, чтобы заменять режиссёра драматургом, «укоротив» режиссёрскую власть. Это не решает вопроса, а вот если бы по-настоящему решить вопрос о режиссуре, тогда можно было бы выправить дело, и мы бы снова увидели МХАТ во всём его традиционном блеске и во всей его силе.

Одним каким-то переименованием или назначением этого вопроса не решишь. Если бы в течение, скажем, пяти лет внутри театра, в студии активно работали молодые люди, не «молодые» в сорок лет, а действительно молодые, то мы бы уже имели хороших режиссёров. Причём речь идёт не просто о прохождении и усвоении на «отлично» школьной программы, а именно о практической творческой работе, похожей на ту которая наполняла жизнь молодого Станиславского. Ведь появился же в Детском театре Эфрос, ему ещё нет тридцати лет, он по-настоящему молод, и он уже настоящий режиссёр, от которого многое ждёшь. Воспитание и выдвижение таких молодых режиссёров должно быть естественным процессом, и надо добиться, чтобы в этом процессе не было помех. Это только одна из форм действенной заботы о молодой режиссуре. Надо думать и о других формах, добиваться этого, заботиться об этом, а не констатировать спокойно, что театры рождаются, развиваются и умирают.

А. Анастасьев:

ДРУЗЬЯ,

А НЕ ПРОТИВНИКИ

Театр и драматург! На эту тему написаны десятки статей, из года в год проводятся различные совещания, вопрос всесторонне обсуждается...

Между тем это привычное сочетание слов просто лишено смысла, ибо театр не существует без драматурга, а драматический писатель перестаёт быть таковым, если его пьесы не узнали сцены. Недаром же Гоголь говорил, что пьеса без театра — всё равно, что тело без души; Островский писал: «без пьесы, как бы ни были талантливы актёры, играть им нечего»; а Станиславский утверждал: «Наше коллективное творчество начинается с драматурга, — без него артистам и режиссёру делать нечего».

И всё же мы говорим о взаимоотношениях театра и драматурга, говорим, потому что велит жизнь. Дело в том, что в последнее время наметилась опасная тенденция к противоестественному разрыву между драматическим писателем и театром — и здесь, в этом разрыве, кроются истоки серьёзных бед нашего театрального искусства. Вот почему, кажется мне, что взволнованная, тревожная, хотя далеко не во всём справедливая статья А. Арбузова нацелена верно и заслуживает пристального внимания.

Нормальное положение, когда драматург приходит в театр, как полноправный хозяин, когда его ждут в театре, со всем вниманием прислушиваются к его словам, а он в свою очередь учится у режиссёров и артистов мастерству драматического творчества, стремится уловить их интересы, их мысли о жизни. Из такого сотрудничества только и рождаются настоящие спектакли, причём, конечно же, в этом оркестре драматург играет первую скрипку. Но ведь этого сейчас нет! Сейчас театр словно бы стал заказчиком, потребителем, а драматург — поставщиком. И понятно, что в этой роли поставщика ему нередко приходится скромно сидеть на плюшевом диванчике подле кабинета завлита, ожидая своей очереди.

Да, именно очереди. Многие наши театры, порвав творческие связи с писателями, отстранив писателей от своего искусства, смотрят на них так: принёс годную пьесу — давай, не принёс — ступай прочь, кто следующий? Такой потребительский, утилитарный подход театра к писателю сложился, по-моему, в силу того, что многие наши коллективы, и прежде всего их руководители, обнаруживают непонятную в искусстве всеядность. Помнится, скажем, на одном из совещаний бывший в ту пору главным режиссёром театра имени Пушкина Б. Бабочкин на вопрос, как представляет он художественную, эстетическую программу своего театра, ответил примерно так: «Какая программа? Давайте хорошую пьесу — поставим; следующую — тоже». Так, за «пьесо-единицей» не видно идейных и творческих устремлений театра, но зато отчётливо проглядывается неуважительное отношение к драматургу, как к поставщику товара.

Настала пора восстановить драматурга во всех его больших правах в театре! Опасливое, незаинтересованное, с изрядной долей казённости отношение театра к драматургу вредит театральному искусству, тормозит развитие нашей драматической литературы. И наоборот, когда театр верит в драматурга, видит в нём не случайного прохожего или, тем более, смущённого просителя, а своего идейного вдохновителя, творческого единомышленника, рождаются хорошие спектакли и пьесы — пьесы, которые вслед за премьерой обходят сцены многих театров страны.

Думается, однако, что драматурги тоже повинны в том, что театры нередко относятся к ним без должного уважения. Когда молодой, совсем ещё начинающий писатель приносит в театр свою пьесу и безропотно соглашается на любые изменения, — это, конечно, обидно. Но ведь у начинающих драматургов есть примеры старших, более опытных товарищей. Разве не знали мы случаев, когда писатель не только чересчур податлив, но когда он считает благом решительное вмешательство театра в текст пьесы. Такое понимание содружества театра и драматурга высказал однажды в печати А. Софронов, принимая тем самым роль писателя, утверждая его мнимое право сдать в театр незавершённую пьесу.

Каковы же пути к верным творческим отношениям между писателем и театром, к восстановлению драматурга в правах ведущей фигуры театрального творчества? Ясно совершенно, что это будет тем скорее достигнуто, чем выше по своей мысли и художеству будет наша драматургия. Но есть, думается, и другие вопросы, которые требуют решения.

А. Арбузов предлагает: драматург должен стать директором театра. Что ж, это было бы очень хорошо, и если писатель найдёт верные, подлинно творческие связи с главным режиссёром, со всем коллективом, если он возьмёт на свои плечи всю многообразную работу по руководству театром, — он в роли директора представляется мне наиболее желанной фигурой, более подходящей, нежели руководитель только административного толка или актёр. Но, разумеется, одними организационными решениями дела не двинешь. У всех, наверное, на памяти опыт назначения многих драматургов заместителями художественных руководителей по репертуару: Л. Леонов пошёл тогда в Малый театр, К. Симонов — в театр имени Ленинского комсомола, Г. Мдивани — в

театр имени Станиславского.. И ничего хорошего из этого не получилось. Поэтому придумать для драматурга руководящий пост в театре явно недостаточно. Как это ни трудно, но здесь необходимы меры моральные: надо, чтобы и писатели, и прежде всего театры, отчётливо, глубоко поняли, что друг без друга они не могут существовать; и на основе этой моральной готовности работать вместе можно искать и организационные пути сближения.

В своей статье А. Арбузов вновь напомнил о студиях, об этой хорошей, неправильно забытой традиции советского театрального искусства. В самом деле, сколь многого лишили мы сами себя! Ведь студии всегда были главным источником тех творческих сил, которыми до сих пор богат и славен советский театр, в них объединялись творческие единомышленники и создавались своеобразные, непохожие друг на друга коллективы.

Почему же вот уже много лет мы не видим новых студий? А. Штейн полагает, что они ушли в прошлое, что надежды на появление новых студий носят несколько утопический отблеск. По мнению Ю. Чепурина, созданию студий препятствуют неизбежные материальные трудности, отсутствие помещения, необходимость работать после трудового дня. Думаю, и то и другое неверно. И пусть не сердятся многие наши режиссёры старшего и среднего поколений, но мне кажется, что забвение студийной формы театральной работы объясняется недостатком их энергии, вялостью, пассивной удовлетворённостью своим тем или иным положением в театре. А вот Ю. Завадский, Н. Хмельёв, Р. Симонов не удовлетворялись тем, что они уже признанные артисты и режиссёры, и, работая в своих театрах, находили время для студий. Потому что активно, горячо хотели утвердить своё понимание искусства, сказать своё слово. И именно вокруг них объединилась талантливая молодёжь, увлечённая смелыми стремлениями и пожеланиями. Здесь-то и был источник того энтузиазма, без которого, конечно, невозможны первые шаги студийного театра и преодоление неизбежных трудностей.

Вовсе не следует планировать появление новых студий: в Москве — три, в Ленинграде — две, в Киеве — одна; вовсе не обязательно немедленно предоставлять помещение возникшей студии и обеспечивать её зарплатой — можно с уверенностью сказать, что это будет только во вред делу. Но если возникла студия, если в первых её работах видны талант и желание идти по нехоженным тропам, — такую студию надо поддерживать, поддержать прежде всего заинтересованностью в её судьбе и общественным вниманием. В этом так же глубоко прав А. Арбузов, сам имеющий в прошлом опыт работы в студии.

Но некоторые мысли А. Арбузова кажутся мне неверными, и оспорить их надо потому, что они ведут к неверным выводам не только в осмыслении истории русского театрального искусства, но неверным и для практики современного театра.

Приводя в качестве примера нормальных отношений театра и драматурга опыт работы Островского в Малом театре, А. Арбузов далее пишет: «Пришедшие в театр модернисты и декаденты короновали режиссёра полномочным диктатором...»

Здесь много напутано. Во-первых, вряд ли можно сказать, что у Островского и Малого театра были образцовые творческие отношения. Совсем нет! Мы знаем, как страдал писатель оттого, что дирекция мешала ему работать, наводняла труппу бездарными, неподготовленными людьми, подчиняла искусство коммерческим соображениям, наконец, стояла на пути идейных устремлений драматурга. Но дело даже не в этом. По мнению А. Арбузова, нормальные отношения между драматургом и театром кончились, когда в театр пришёл режиссёр, и пришёл он якобы в театр вместе с декадентами и модернистами. Тут уж всё неверно. Хорошо известно, что первыми подлинными режиссёрами были Ленский, Станиславский, Немирович-Данченко, — так при чём же здесь декаденты? Но главное состоит в том, что приход в театр новаторов-режиссёров на рубеже двух столетий был явлением весьма прогрессивным для развития русского театрального искусства и не только не противоречил передовой традиции Гоголя, Щепкина и Островского, но закономерно продолжал и обогащал её. Именно Станиславский и Немирович-Данченко подняли русский реалистический театр на новую ступень, практически осуществили на сцене то, о чём мечтали их предшественники, и, между прочим, именно они утвердили фигуру драматурга в театре, как фигуру

ведущую, определяющую. Если нужны примеры, то вспомним судьбу Чехова и Горького в театре, вспомним замечательные усилия основателей Московского Художественного театра по привлечению писателей в советскую драматургию. И надо сказать, что они, многоопытные мастера театра, показывали пример внимательнейшего отношения к драматургу, подлинного уважения к нему. Это было во всём, начиная от известного принципа «театра автора» и кончая практическим привлечением писателя к работе над пьесой. Вот лишь один пример: работая над «Пугачёвщиной», Немирович-Данченко писал Тренёву: «Репетиции идут горячим ходом, работаем с большим увлечением. Сила и значительность трагедии не допускают малодушной торопливости, легкомысленной небрежности... Ваше присутствие вообще очень желательно». Как характерна эта последняя фраза.

Нет, напрасно А. Арбузов противопоставляет драматурга режиссёру — это не на пользу нашему театру. Поступать так — значит отбрасывать театр далеко назад. И, между прочим, те студии, за которые справедливо ратует А. Арбузов, создавались большей частью именно режиссёрами, а в этих студиях активное участие принимали драматурги. Одно из доказательств тому — студия, созданная незадолго до войны В. Плучеком и А. Арбузовым.

Нельзя согласиться с А. Арбузовым и в его попытке канонизировать лишь одну творческую линию в нашей драматургии — линию, связанную с его собственным творчеством, — и отвергнуть драматическую форму, рождённую В. Вишневым или Н. Погодиным. Не будем здесь исследовать творческие принципы этих писателей, скажем только, что советская драматическая литература лишь выигрывает от того, что она создавалась и создаётся разными художниками. А такие спектакли, как «Оптимистическая трагедия» в Ленинградском театре имени Пушкина или недавно показанный в Москве «Мой друг» в исполнении самодеятельного коллектива Калининградского дома культуры, убедительно показывают, что пьесы эти живут и поныне и горячо волнуют зрителей.

Наш театр переживает серьёзные трудности. Чтобы преодолеть их, вновь завоевать ум и сердце зрителей, драматургам и театрам необходимо решительно выйти на самые передовые позиции идейной жизни народа, необходимо работать активней, смелей, горячее. Что это в их силах, неопровержимо доказывают недавние спектакли — «Кремлёвские куранты», «Оптимистическая трагедия», «Фома Гордеев», которые рождают хорошие чувства, бодрые надежды.

И, конечно же, новые успехи тем ближе, чем скорее будет сломана стена между театром и писателем, чем скорее драматург войдёт в театр как полноправный хозяин и творец.

В. Плучек:

**АРБУЗОВ
ОШИБАЕТСЯ!**

Драматическое положение выступающего последним заключается в том, что на его же глазах товарищи отбирают у него один за другим тезисы его собственного выступления. Мне остаётся, строго говоря, лишь произнести сакраментальную фразу: «Присоединяюсь к предыдущему оратору».

Всё же несколько слов по существу.

Мне странно спорить с Алексеем Николаевичем. Мы вместе прожили юность, у нас были общие жизненные планы, мы вдвоём создавали Театр-Студию, остаёмся друзьями и сейчас. Почему же его статья возбуждает во мне такое двойственное чувство? С одной стороны, я нахожу в ней те мысли, которые дороги и мне, которые волновали нас обоих в былые годы, и мне досадно, что именно эти мысли получили в статье такое неполное, бледное отражение. С другой стороны, статья свидетельствует, что за последнее время у Алексея Николаевича накопилось множество ересей, они-то и вызывают мой ярый протест.

Я всячески разделяю тревогу Арбузова за наш театр, за его сегодняшнее состояние, понимаю неудовлетворённость автора статьи сложившимися ныне отношениями между драматургами и театрами. Но когда он пробует объяснить, почему эти взаимоотношения ненормальны, найти панацею от всех существующих бед и прописать её

театру, как больному прописывают лекарство,—он, по моему, сугубо не прав, дезориентирует нас и уведит от истины.

На мой взгляд, статья Арбузова содержит четыре основных положения; в обнажённом виде они сводятся к следующему:

1. Режиссёрское искусство изжило себя.
2. Драматург должен стать у руководства театрами.
3. Каноничность формы — необходимое и важнейшее свойство драмы.
4. Обновление театра придёт через организацию студий.

Первые два вопроса взаимосвязаны.

Хотел этого автор статьи или не хотел, но она вся пронизана тоской по тем блаженным временам, когда в русском театре не было ещё однозной для Арбузова фигуры режиссёра, когда Островский сам проходил роли с актёрами, а Виктор Крылов писал пьесы для Савиной и был практическим деятелем театра (а точнее сказать — театральным дельцом). С точки зрения Арбузова, всякий режиссёр заботится лишь о самовыражении, является в лучшем случае «талантливым узурпатором» сцены, мастерство его «опустошительно», а мысль и идея автора неизбежно приносятся им в жертву разного рода «интерпретациям».

Я режиссёр, и естественно, что всё во мне восстаёт против подобного ликвидаторского отношения к моей профессии, к делу, которому я отдал двадцать пять лет жизни. Арбузов пытается зачеркнуть полувековой прогрессивный опыт русского реалистического театра, свести высокое искусство режиссуры, основанное Станиславским и Немировичем-Данченко и представленное именами лучших художников русской сцены, к проискам неких злокозненных декадентов. По сути дела, вы, Алексей Николаевич, утверждаете в этой статье, что весь путь развития театра за последние пятьдесят лет был путём ошибочным, который завёл наше искусство в тупик.

Это рассуждение исторически порочно и теоретически несостоятельно. Не годится даже самому уважаемому драматургу дискредитировать мировые завоевания русской сцены. Тезис: «Назад, к дорежиссёрскому театру!» — на мой взгляд, тезис бессмысленный и реакционный. Можно ли представить себе удачный современный спектакль вне организующей, мобилизующей и направляющей воли режиссёра, вне композиционного и стиливого единства, вне реалистически выстроенного ансамбля? Я лично не могу себе этого представить. И больше всего меня возмущает то обстоятельство, что драматург Арбузов отказывается видеть в современном режиссёре первого друга и защитника прав драматурга на театре.

А между тем «режиссёрский» советский театр славится прежде всего как театр автора, создавший прочные традиции истолкования Шекспира и Лопе де Вега, Гоголя и Островского, Чехова и Горького, Тренёва и Бишневского и в конце концов Погодина, Афиногенова, Арбузова, Крона... Арбузов забыл, чем он обязан советской режиссуре, весьма много сделавшей для утверждения его драмы на сцене, самонадеянно возмнил, что может обойтись в своих отношениях с актёрами без творческого вмешательства режиссёра. По Арбузову выходит, что всякая, в том числе и его собственная пьеса может иметь лишь одно решение — то самое, которое он, драматург, таит в своей душе, творя произведения для театра, и способен сам преподавать актёрам без посредничества третьих лиц.

Я позволю себе спросить Арбузова: слышал ли он когда-нибудь о том, что драматический писатель частенько оказывается далеко не лучшим ценителем того, что им создано, что театр своим искусством может открыть автору глаза на его собственное творение? Отрицать за советскими режиссёрами талант первооткрывателей, когда именно они дали жизнь ряду крупных произведений драмы, — значит отрицать факты, достаточно широко известные. Не случайно рядом с именем Н. Погодина сейчас встаёт имя Алексея Попова, не случайно мы вспоминаем А. Дикого — едва лишь заговариваем о «Первой Конной», а тысячное представление «Тани» по праву явилось триумфом не только драматурга А. Арбузова, но и режиссёра Н. Лобанова.

Арбузов видит корень нынешних бед театрального искусства в той «узурпации» сцены, которую произвели режиссёры-декаденты в начале двадцатого столетия. Это всё равно, как если бы кто-нибудь попробовал объяснить сегодняшние хозяйственные

трудности нашего времени тем обстоятельством, что когда-то, мол, было татарское иго и оно задержало на триста лет наше общественное развитие. И вообще: не довольно ли поминать все имена Добужинского, Бенуа, Вахтангова? Здесь что ни имя — то принципиально другое явление, и оперировать ими вкуче — значит волюно или невольно солидаризироваться с «Очерками истории русского советского драматического театра» — книгой, на мой взгляд, порочной и вредной, где путь театра с 1917 года предстаёт в виде свода ошибок и формалистических вылазок, среди которых редкими разрозненными островками высятся факты искусства столь педантично реального, что они не кажутся «идеологической диверсией» даже сверхбдительным создателям книжки.

Как поднялась у Арбузова рука бросить камень в Вахтангова за его «Турандот» — один из самых светлых и жизнерадостных спектаклей нашей юности, рождённый из здорового чувства протеста против театральной рутины, против обветшалых сценических форм? Как может он сегодня, задним числом, третировать произведение искусства, которому рукоплескали такие реалисты, как Станиславский и Немирович-Данченко? А может быть, под «злокозпенными декадентами» он понимает — и не хочет упомянуть — Мейерхольда? Ну, Мейерхольда нет с нами вот уже двадцать лет, но если мы спросим себя по чести: Мейерхольд ли виновен в том, что мы недовольны состоянием нынешнего советского театра, вряд ли мы сможем, не кривя душой, ответить на этот вопрос утвердительно. Так давайте ж попробуем ни на кого не сваливать собственную вину. У каждого времени — свои трудности; каждое время должно их по-своему изживать.

Нет, корень непонимания, существующего сегодня между драматургами и театрами, заключается не в том, что во главе театра стоит режиссёр, человек с широкими организационно-творческими полномочиями. Вся беда заключается в том, что такого человека в театре не стало, — а его не стало или почти не стало. Мало можно назвать режиссёров, которые знают, куда нужно вести коллектив, и ведут его собственной дорогой, помогая ему стать индивидуальным, обрести лицо. Арбузов прав, когда он говорит, что режиссёрское искусство измельчало, что ныне этим делом занимаются сплошь да рядом не люди самостоятельного таланта, но лишь «ученики учеников».

Но это значит, что нужно бороться за возрождение режиссёрской профессии, а не за ликвидацию её.

Отрицая нацело всю современную режиссуру, образующую, по мысли Арбузова, лишь заслон между драматургом и театром, автор статьи отстаивает тезис о совмещении функций режиссёра и драматурга в лице последнего, требует, чтобы драматург стал практическим деятелем театра. И приводит в доказательство этой своей мысли список звонких имён — от Эсхила до Гёте, — воплотивших в себе его, Арбузова, идеал.

Что ж, я готов согласиться с Арбузовым в том, что художники, им перечисленные, талантливо ставили на сценических подмостках свои собственные творения (разумеется, в меру того, что тогда называли режиссурой). Времена были другие, такие времена, когда ряд творческих профессий ещё не выделился из «первобытного синкретизма». Вот и приходилось писателям «проходить роли с актёрами», о чём так мечтает Алексей Николаевич. Поневоле приходилось. Но почему бы ему, в таком случае, не сказать, что Шекспир и Мольер были и актёрами тоже, и, стало быть, для расцвета театра всего полезнее, чтобы драматурги лично разыгрывали свои пьесы, ну, хотя бы на подмостках Центрального Дома литераторов? А иные из названных Арбузовым лиц сами же и оформляли свои спектакли — не изгнать ли нам на этом основании художника из театра?

Ошибка Арбузова, коренная и главная, заключается в том, что в наши дни, когда унификация признана наибольшим злом искусства, он пытается найти «идеальную» схему, пригодную для театров всех жанров и форм. Ошибка в том, что он хочет реформировать театры по своему собственному образу и подобию.

Вас, Алексей Николаевич, привлекают театры, в которых главную, руководящую роль практически играл бы драматург. Это верно для вашей собственной мечты, для вашей биографии. Вы человек, выросший в театре, пробовавший свои силы как актёр, человек, для которого самый воздух кулис живителен и привычен. И вы хотели бы стать во главе какого-либо театрального организма. Могу я представить себе такой

театр? Вполне. И верю, что он может быть хорошим театром. Прецеденты такие есть: назовём хотя бы театр Брехта в Берлине. Но я голосую за театр Брехта, за театр Арбузова, а не за то, чтобы все театры стали театрами Арбузова, Погодина или Чепурина. Мне страшно представить себе, что случилось бы с театрами, если бы всю секцию драматургов «бросили» на руководящую работу в них.

Те большие художники, которые вами названы, совмещали в себе не только обязанности, но и талант режиссёра и драматурга. Все ли драматурги — потенциальные режиссёры? Все ли они в наш век разделения труда владеют и этой сложнейшей профессией? Нет, разумеется, и Чехов не ставил своих пьес в Художественном театре не только потому, что не позволяло здоровье, но ещё и потому, что не чувствовал к этому творческой склонности. Последнее обстоятельство не помешало, однако, Художественному театру стать домом Чехова, а режиссёрам этого театра прославиться, как глубоким и чутким толкователям чеховских пьес.

Я всячески разделяю и приветствую тот раздел статьи Арбузова, где он говорит об этических нормах взаимоотношений драматургов с театрами, о нарушении этих норм, в ряде случаев достаточно вопиющем. Меня так же, как и Алексея Николаевича, возмущает история с пьесой «Кандидат партии» и позиция Художественного театра по отношению к драматургу А. Крону, которого я люблю. Однако я против схемы и в этом вопросе.

Арбузову явно хочется «раскрепить» драматургов по театрам, чтобы они, драматурги, организовали тему этих театров, придали им лицо. Предположим. Но может ли, должен ли Московский Художественный театр сделаться «театром Крона», как когда-то он был театром Чехова и Горького? Выдерживает ли драматургия Крона подобную эстетическую «нагрузку»? А кроме того, и времена меняются, и люди меняются, и творческие принципы театров переживают непрерывную эволюцию. Чехов мог идти в Художественном театре полосой, потому что то была чеховская полоса его развития, да и то на «Вишнёвом саде» уже обнаружились серьёзные несогласия. А вот Горький, например, имея свой дом — Художественный театр, отнёс «Бульчова» вахтанговцам, и умница Немирович не обиделся, но поставил пьесу «вторым экраном». А Назым Хикмет, весьма довольный тем, как играют его «Чудака» в театре имени Ермоловой, следующую пьесу отдал нашему театру, Театру сатиры, и в этом тоже нет ничего крамольного. Творческие связи не вечны: они могут возникать, обрываться, завязываться вновь, идти по разным руслам, по разным каналам, и мне не хотелось бы думать — при всём моём уважении к драматургу Ю. Чепурину, — что А. Попов обязан теперь ставить его пьесы до гроба, хотя содружество это было удачным, и Чепурин действительно стал своим человеком в Театре Советской Армии.

Честно говоря, я вообще против того, чтобы драматург с головой погружался во внутритеатральные дела. Это всегда может стать губительным для драматурга, сузить его горизонт. Драматург приходит в театр из большой жизни, кипящей вокруг, и приносит с собой её дыхание. Драматург — это человек, который знает о жизни больше, чем режиссёры и актёры, хотя все они обязаны «изучать жизнь». Если писатель начнёт двадцать четыре часа проводить в театре, он рискует утратить это драгоценное свойство, которое делает драматурга драматургом. Недаром Немирович-Данченко, придя в Художественный театр, вовсе оставил драматургию, хотя, казалось бы, обрёл соблазнительную возможность ставить свои пьесы по личному разумению. Чехов был драматургом по призванию, знатоком сцены и её законов, но директором театра стать не рвался, напротив, с гордостью говорил о себе, как о враче, и до конца жизни практиковал. Потому что врачебная деятельность давала ему сотни жизненных встреч, питавших в числе других его музу.

Рабочее место драматурга — жизнь во всём её богатстве и многообразии. Когда лучшие из наших театральных авторов приходили в театр, они поражали и привлекали прежде всего тем, что в их пьесах запечатлены были черты времени, схвачен его ритм. Святая обязанность драматурга — держать руку на пульсе жизни; для этого он должен быть человеком вне театра, а не варящимся в его котле. Именно умение «держать руку на пульсе» отличает передового драматурга в наши дни, что, впрочем, не снимает с него обязанности знать специфику театра и уметь пользоваться этой спецификой,

И тут я подхожу к рассуждению Арбузова, вызвавшему наиболее резкий отпор со стороны здесь присутствующих, — к рассуждению о канонической и неканонической форме драмы.

Рассуждение, в самом деле, сомнительное.

Арбузову кажется, что «Оптимистическая трагедия» Вишневого выдержана в духе исторической преемственности, а «Первая Конная» — ещё от лукавого; что Погодин становится Погодиным лишь в «Человеке с ружьём» и остаётся очеркистом в «Поэме о топоре» и вдохновенном «Моём друге»; что нельзя достичь настоящих творческих успехов вне канонической формы драмы.

Я оставляю на совести Арбузова вкусовую сторону его рассуждений. Дело не в разнице вкусов, а в том, что, философствуя о канонической и неканонической форме, Арбузов вновь уводит нас от существа вопроса, от понимания новаторской природы советской драмы.

Я попробую доказать это на примере самого Арбузова. Его пьеса «Таня» существует в двух вариантах. В первом, раннем варианте героиня уезжала с хетагуровками на Дальний Восток; эта часть пьесы отличалась многоэпизодностью, взрыхлённостью формы. Во втором варианте пьеса обрела черты «канонической» драмы. Но завидное долголетие «Тани» не объясняется ни первым, ни вторым вариантом. Оно объясняется тем, что в центре пьесы Арбузова стоит поэтический и цельный характер женщины нашего времени, через горе и трудности идущей к вершинам своей «большой судьбы». Арбузов подсмотрел свою героиню в жизни, он написал её с любовью, с глубочайшим внутренним «сопереживанием» — и это трогает, задевает зрителя больше всего и сильнее всего. Знание сцены необходимо драматургу, но знание жизни — важнее и кардинальнее. Я не выступаю здесь апологетом бесформенности и не призываю к тому, чтобы наши театральные авторы отказались от добрых сценических традиций. Но я убеждён, что славу советской драме создали не каноничность или, напротив, «разорванность» формы, а то невиданно новое, революционное содержание, которым она потрясала сердца.

Чем был для мещанской буржуазной Европы эйзенштейновский «Броненосец «Потёмкин»? Взрывом бомбы, нарушившим сонный покой обывательщины. Молодое советское искусство принесло в мир могучие страсти и мужественные характеры, исторически масштабные конфликты и пламенный революционный накал. Это стало его первым отличием, тем безошпобочным признаком, по которому узнавали «в лицо» советский театр на заре его творческого существования. И мне жаль, что в сегодняшней драматургии заняли непомерное место пьески прекрасно «организованные», где действие происходит в «комнате с тремя стенами» и где главствуют комнатные страсти, маленькие мысли, будничные, мелкие дела. Будем откровенны: «Домик на окраине» — самая «каноническая» из пьес Арбузова, но, увы, далеко не самая лучшая; в ней сохранены традиционные формы, но утрачена высокая традиция содержания.

Почему нас так взволновала «Оптимистическая трагедия» на сцене Ленинградского Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина? Потому, что там эта главная традиция торжествует. Потому, что Г. Товстоногову удалось поставить спектакль, удивительно строго и сильно передающий героиню времени, подвиг партии, чистоту революционных идей. Потому, что в спектакле есть пафос, которого нам ощутимо не хватает в искусстве, как какого-то главного жизненного витамина. Дело в этом, а не в каноничности формы, которая видится вам, Алексей Николаевич, в драме Вишневого.

Да и самый этот разговор о форме канонической и неканонической весьма условен и в каждом случае требует доказательств. Арбузов взывает к традиции, забывая о том, что сильный художник сам творит эту традицию по своему образу и подобию, и то, что кажется нам правоверным сегодня, когда-то наверняка воспринималось, как вызов традиции, как дерзновенная ломка капонов. Так было с пушкинским «Борисом Годуновым», с драмой Чехова, с советскими пьесами первых лет. Все талантливые драматурги мира были злостными нарушителями правил! Мне вообще думается, что чем больше художник «надерзит» в искусстве, чем яростнее он возьмётся за ниспровержение авторитетов, тем больше будет у него находок, тем скорее он натолкнётся на но-

вые, ещё неизвестные людям пути. Таких «нарушителей» нужно поощрять, а не зачёркивать их поиски, как это делает Арбузов со всей ранней и «средней» драматургией Погодина на том лишь основании, что она будто бы не вполне канонична.

Я приветствую и разделяю мечту Арбузова о театральных студиях, о новых творческих организмах, которые придут и расширят наш эстетический горизонт. Но в том, как ставит этот вопрос Арбузов, также есть элемент абстракции и схемы. Ведь не случайно, что призывы к созданию студий раздаются давно, а студий и по сей день не видно. Конечно, органы, призванные руководить искусством, тяжелы на подъём, инертны. медленно разворачиваются. Но я убеждён, что, начнись такое движение снизу, оно встретило бы поддержку как общественную, так и организационную. Всё дело в том, что нет этого движения, потому что не создано общественной атмосферы, в которой только и могут возникнуть студии. Такая атмосфера в искусстве лишь начинает складываться.

Как рождаются новые театры? Одним путём: из несогласия с существующей творческой практикой, из желания утвердить свою собственную программу в искусстве. Для этого нужны и такое несогласие и такая программа. Так сложился Московский Художественный театр, вызванный к жизни яростным протестом против рутинности и омертвелости форм старых императорских театров. Так в своё время сложился театр имени Вахтангова, так возникла и наша Студия и её манифест — «Город на заре», потому что нам с вами, дорогой Алексей Николаевич, казалось тогда, что в искусстве не выражена тема нашего поколения, его героика, что не найдены для этого ни содержание, ни форма.

Но ведь ещё совсем недавно «инакомыслящих» в искусстве били, и весьма крепко: ещё недавно всякие искания объявлялись крамоллой, грозили ищущему «проработкой», отлучением от сонма «правоверных» реалистов. Рецидивы подобных взглядов нередки и теперь. Так откуда же было взяться студиям, кто мог их возглавить, повести по непроторённому пути? Потому что иначе и студии не нужны, как, право же, не особенно нужными оказались созданные в директивном порядке Московский драматический театр и Московский театр драмы и комедии, лишь увеличившие, на мой взгляд, счёт коллективов без «лица». Так что, по-моему, бесполезно взывать к созданию студий, нужно, повторяю, создать такую общественную атмосферу — творчества, исканий, терпимости к чужому мнению, к разнообразию театральных форм, — когда студии возникали бы сами, знаменуя собой начавшийся рост нашего театрального искусства.

В заключение мне хочется сознаться: статья Арбузова меня огорчила. И не потому, что по ряду вопросов мы оказались на полярных позициях — это нормально, в том числе и между друзьями. Меня огорчила проявившаяся в этой статье тенденция искать идеал где-то зади, в эпохах давно ушедших: лучший вид театра — дорежиссёрский, лучшая форма драмы — традиционная, лучший путь обновления театра — студии. Меня огорчила попытка Арбузова решить все сегодняшние проблемы искусства путём комбинации элементов старых, проверенных, существующих, так сказать, искони. К каким бы блестящим периодам развития театра мы ни обращались — будь то реализм XIX века, или эпоха Возрождения, или даже блаженные времена детства человеческого общества, когда не было злокозненных декадентов, а были только Эсхил и Софокл, — мы не найдём там идеала. Выход, как известно, всегда впереди. К поискам этого выхода — активным, решительным поискам — я и призываю моего друга Арбузова, с которым мы прожили бок о бок долгую жизнь в искусстве.

А. Арбузов:

ВОЗРАЖЕНИЯ ОППОНЕНТАМ

Меня радует, что со многими положениями моей статьи соглашаются, и меня огорчает, что с некоторыми её пунктами спорят по недоразумению. Если статья прочитана недостаточно внимательно, не будем в этом винить её автора.

Ну что посоветовать человеку, намекающему на то, что я против изучения жизни? Ещё раз прочесть мою статью — большего предложить я не могу.

Некоторые из вас видят несоответствие в том, что, если в первой части статьи я выступаю против режиссуры, то во второй её части ратую за студии, которые невозможны без участия режиссуры.

Думаю, что несоответствие это может быть обнаружено, ежели мою статью прочтут как протест против в с я к о й режиссуры. На самом деле это, конечно, не так.

Я против той режиссуры, которая в начале века предпочла зрелище идее. И, конечно, против той режиссуры наших дней, которая, сохранив в своих руках переданную ей по наследству полную власть, не имеет на неё прав из-за отсутствия соответствующих данных.

Я убеждён, что ежели можно простить В. Э. Мейерхольда за то, что он в «Даме с камелиями» вместо Дюма-сына показал нам картину упадка Третьей империи, то оправдывать вялость и дряблость режиссёрского мышления при постановке советских пьес недопустимо.

Появление режиссуры, когда она художественно преобразовала театр, добившись — в выражении мыслей автора — строгого ансамбля, было, безусловно, прогрессивным (возникновение МХАТ). Там же, где режиссура пыталась подменить мысли автора и идею пьесы таким театральным, бенгальским самоизвержением, — там она, безусловно, явилась реакционной силой.

Не надо приписывать мне и нелюбовь к новаторству. Говоря о форме, я вовсе не имею в виду традиционализм. Пусть будут искания, пусть будет новаторство, но я предпочёл бы видеть его выраженным художественно прочно. Ещё раз повторяю — я против того, чтобы мы называли новаторством отсутствие отделки.

А. Штейн приводил тут отличный пример разнообразия советов, которые давал Чехов своим друзьям. Хочется и мне последовать этому примеру и посоветовать Н. Погодину неторопливость и любовь к отделке. Длительный успех «Человека с ружьём» и «Кремлёвских курантов» доказывает, что я, пожалуй, прав.

Не ошибается ли в связи с этим В. Плучек, приписывая успех «Оптимистической трагедии» только тому, что в ней потрясает революционный пафос, накал революции? Ведь этими качествами обладали многие пьесы, — а где они сейчас?

Победа Вишневского-художника состояла в том, что он нашёл такие мощные и прочные формы, которые сохранили этот революционный накал, этот пафос моряка Вишневского до наших дней. Ведь форма — это прежде всего стремление художника с наибольшей полнотой выразить содержание.

В успехе «Оптимистической трагедии» существенную роль сыграло и то, что, в отличие от других пьес Вишневского, здесь дано столкновение больших человеческих судеб — комиссара, Алексея, Вожака. Эпический фон времени придаёт этим фигурам особый масштаб, особую силу.

В. Плучек, ратующий за то, чтобы драматург был главным образом таким связным, таким курьером-посыльным между театром и живой действительностью, в конце концов милостиво добавил: «желательно, чтобы он (драматург) знал и технологию театра».

Нет, не желательно, а обязательно, милый друг! Зачем же припасать технологию только для себя, режиссёра? А вот знание жизни, обязательное для нас, распространить на нашу режиссуру было бы действительно «желательно».

Перейдём к А. Караганову, считающему, что тезис о том, что театры смертны, отдаёт непротивленчеством.

Вот уж нет.

Смерть и рождение, как известно, неразделимы.

Возможно ли, чтобы театры только рождались и совсем не умирали? Этого не только министр финансов, — простой здравый смысл и тот не позволит. Медленно угасающий театр всегда будет мешать рождению театра нового, молодого. Следовательно, непротивленческой является скорее позиция наблюдателя. Вот почему в этом вопросе мы за динамизм.

Хочется мне успокоить и тех, кто этот мой тезис почему-то относит к МХАТ. (В самом деле, почему?)

На мой взгляд, МХАТ ныне является театром академическим и, как таковой, смерти не подлежит. Только надо, чтобы он действительно был академическим, то есть образцовым театром, на сцене которого творчески закреплялось бы всё то, что добывается в бою театрами-разведчиками.

Примером МХАТ мог бы быть Ленинградский театр имени Пушкина, обладающий образцовой труппой (особенно в её мужской части), умеющий работать с советскими драматургами и пользующийся посему огромной любовью зрителей. (Кроме оваций и вызовов, смотри выполнение финплана за 1954—1955 годы.)

Если же Художественный театр считает, что ему не пристало ещё быть академией, то он, видимо, должен, следуя заветам Станиславского, окружить себя студиями, кои смогли бы вернуть ему славу театра новаторского.

Кстати, ещё об академиях. Выступая на одном собрании, директор Малого театра М. Царёв заявил примерно следующее: мы должны потребовать от Союза писателей, чтобы драматурги писали нам пьесы!

Мы должны потребовать от Союза пьесы!

Странное заявление.

Разве ставит пьесы Союз писателей, а не Малый театр! Пьеса должна рождаться в театре, а не в Союзе, — так ведь было во все времена, не правда ли?

Я скорее понял бы Союз писателей, который вдруг вознегодовал бы на Малый театр за то, что он не умеет работать с драматургами и не обогащает нам советский репертуар с в о и м и пьесами.

В нашем театре в директорских креслах мы видели людей самых различных, в том числе и вполне не подходящих профессий.

Отчего бы нам иной раз и не изменить этой традиции и не поставить во главе театра хотя бы двух-трёх драматургов?

Не станем тревожить великие тени, но разве близкий пример Бертольда Брехта — руководителя наиболее интересного современного театра Германии — не говорит в пользу моего предложения?

Это не рецепт, и я не могу поручиться, что такая мера во что бы то ни стало принесёт желанное исцеление. Я лишь предлагаю попробовать эту меру в виде опыта. Если опыт окажется неудачным, беды не будет. А если он удастся, результаты могут оказаться весьма плодотворными.

НАШЕ МНЕНИЕ: *На встрече драматургов, режиссёров и театральных критиков, где была прочитана и обсуждена статья А. Арбузова, итогов не подводилось. Каждый из присутствующих высказал своё мнение, А. Арбузов заверил оппонентов в том, что они так и не поколебали его в существе первоначально высказанных им мыслей. А потом общий разговор закончился, «редакционный огонёк» был погашен поворотом выключателя, и участники обсуждения разошлись, продолжая свой спор у вешалки и потом на улице — с теми, кому оказалось по пути.*

В чём же теперь состоит наша обязанность — обязанность зачинщиков этого разговора в редакции?

В том ли, чтобы сбъязвить в заключение незыблемый приговор: в том-то, мол, и в том-то был прав автор статьи; в том-то и в том-то ему верно возражали оппоненты, и, наконец, в таких-то вопросах единственно верной явится нижеследующая, третья точка зрения?

Думается, что такой метод подведения итогов спора в данном случае был бы неверен.

Если бы мы начинали обсуждение, затаив про себя единственно верное, бесспорное решение вопроса, то к чему было бы и спор затевать?! В том-то и дело, что справедливость какой-либо из точек зрения, выявленных в ходе обсуждения, может быть подтверждена не умозрительным предписанием, не догматическим суждением, но лишь плодотворной практической проверкой.

Речь тут, разумеется, идёт о таких спорах, в которых участники исходят из верных идейных предпосылок, из доброго, искреннего желания помочь нашему общему делу. Либеральное понятие «терпимости» в борьбе идей всегда было глубоко чуждо советским художникам. Идеи, враждебные делу коммунизма, и призывы, идущие во вред созидательному труду народа, всегда получали в нашем искусстве и будут получать самый решительный отпор. Но эта здоровая и необходимая партийная нетерпимость и единомыслие в отпоре, оказываемом чуждым идеям, отнюдь не противоречат доброму спору, в котором сталкиваются различные точки зрения на то, как ускорить наше движение вперёд во всех областях жизни социалистического общества, в том числе, конечно, и в области нашей культуры и искусства.

Такие споры нам насущно необходимы. И не всегда общая точка зрения выработывается в них сразу.

В области драматургии и в жизни наших театров накопилось множество острых, нерешённых вопросов. Слишком мало посвящено у нас за последнее время пьес, помогающих зрителю увидеть и осмыслить кардинальные проблемы современности, слишком мало появилось спектаклей, позволяющих говорить о развитии театрального искусства, о его движении вперёд. Однако хотя их было и слишком мало, но и такие пьесы и такие спектакли посвящались. И, скажем, за два последних сезона их появилось больше, чем за многие предыдущие годы.

И, думается, в корнях успеха лучших наших пьес и наиболее интересных, ярких и самобытных театральных спектаклей очень важно со всем вниманием разобраться. Они рождались там, где и драматург и театр, уверенные в правоте своих идейных позиций, со страстью и новаторским дерзанием обращались к советскому зрителю, раскрывая перед ним высокую правду нашей жизни и нашей борьбы.

«Кремлёвские куранты» в МХАТ, «Оптимистическая трагедия» в Ленинградском театре имени Пушкина, «Баня» и «Клоп» в Театре сатиры, «В добрый час» в Центральном детском театре, «Чудак» в театре имени Ермоловой — очень разные, но похожие один на другой спектакли. Очень различны и пьесы, которые стали основой для создания этих спектаклей. И именно в этом различии — в смелом и решительном раскрытии самобытной индивидуальности художника — и заключается их сила.

Нашей театральной критике предстоит умно и тщательно проанализировать последние успехи советской драматургии и советского театра и наряду с этим предстоит выполнить ещё и такую существеннейшую задачу, как уничтожение многочисленных «белых пятен» в истории нашего театрального искусства. Тут-то и нужно избавляться от однобокой, уравнивающей «всеобщности» рецептов, нужно сделать несделанное и разобраться в том, что внесли в искусство театра не только славные основатели Художественного театра, но и пошедшие затем от МХАТ своими путями такие его воспитанники, как Е. Вахтангов и В. Мейерхольд, надобно поговорить не только об ошибках, но и о достижениях таких режиссёров, как А. Таиров и С. Михоэлс, о творческих методах таких различных драматургов, как, например, Вишневский и Булгаков, Киришон и Бабель, Файко и Афиногенов...

Нужно наконец, поощряя смелость новаторства, помнить также и о необходимости сбережения накопленных нами драгоценных традиций.

Во время обсуждения статьи А. Арбузова много говорилось о том, какой важной творческой школой для драматургов и режиссёров могут стать театральные студии. Вряд ли следует принимать какие-либо организационные меры для искусственного создания таких студий, но принять меры для того, чтобы поддерживать студии, если они начнут возникать в силу естественной потребности, ради обдуманых и целеустремлённых творческих поисков, — необходимо!

Творческое соревнование и творческий спор — это дрожжи, на которых растёт искусство. И чем живее будет такое соревнование, чем более страстными будут споры, толкающие к новым, смелым дерзаниям, тем лучше для нашего общего дела.



ДНЕВНИК ИСКУССТВ

Г. БОРИСОВСКИЙ
Кандидат архитектуры

★

О КРАСОТЕ И СТАНДАРТЕ

Явхожу в магазин и прошу показать мне сороковой номер ботинок. Мне и в голову не приходит, что кто-то когда-то обмерил огромное количество ног, начиная с нежной и тонкой ноги ребёнка и кончая мускулистой ногой великана, и привёл всё их многообразие к нескольким стандартным размерам — номерам.

Стандарт прочно вошёл в нашу жизнь, настолько прочно, что мы его часто не замечаем. В другом магазине я покупаю дюжину перьев, будучи совершенно уверен в том, что смогу их вставить в красивую ручку, лежащую на моём письменном столе. Затем покупаю электрическую лампочку и нисколько не сомневаюсь, что дома её вверну в любой патрон, и т. д. Всем этим я обязан стандарту. Уничтожьте стандарт, и окружающие нас предметы перестанут быть связаны друг с другом. Они перестанут нам служить, мы не сможем ими пользоваться.

Но роль стандарта ещё значительнее. Наше благополучие и наш комфорт во многом связаны с его появлением. Не будь стандарта, мы не имели бы телевизора, радиоприёмника, фотоаппарата и множества других не менее приятных и полезных вещей. Стандарт — это добрый волшебник, превращающий дорогие вещи в дешёвые, уникальные — в общедоступные.

«Вы слишком увлеклись, — скажут мне, — и позабыли о том, что этот «добрый» волшебник обладает странным свойством: стоит ему с чем-либо соприкоснуться, как всё становится некрасивым и однообразным. Костюм, будучи стандартным, перестаёт быть красивым, мебель — изящной, жилой дом — выразительным. А город, сплошь застроенный стандартными домами, — такой город способен расстроить психику здорового человека. Стандарт уничтожает красоту, уют и человеческую радость. Стандарт — это не только добрый, но и злой волшебник».

Так или почти так возражат мне многие.

Действительно, стандарт порой производит столь разрушительное действие; он часто уничтожает красоту. Но почему? — спрошу я. Потому ли, что стандарт и красота несовместимы, или потому, что мы часто пользуемся стандартом вопреки его природе и сущности?

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СТАНДАРТ

Представьте себе такую картину. К драматургу пришёл режиссёр и попросил его написать пьесу, поставив условием, чтобы в ней в качестве основных героев непременно были Отелло, Фальстаф, Дездемона, Джульетта, Гамлет и другие персонажи различных шекспировских пьес. Свою просьбу он мотивировал тем, что эти персонажи уже-де освоены актёрами, в театре имеются, мол, соответствующие актёры и костюмы, такую пьесу можно бы поставить в рекордно короткий срок с наименьшими материальными затратами.

Такой режиссёр покажется глупым и смешным. Но подождите смеяться.

Напомню несколько более или менее известных фактов. В Италии существовал народный театр, так называемый «Театр масок» («Комедия дель-арте»). Это был чудесный театр, увлекательный, весёлый и очень современный. В нём были «стандарт-

ные» герои. Это знакомые всем Бригелла и Арлекин — весёлые плуты и повесы. Коломба, знаменитый Панталоне, всегда ревнивый и неряшливый. Менялось содержание пьесы, а герои оставались неизменными. Неизменны не только характер этих героев, но и их костюмы: красные чулки и короткий камзол у Панталоне, полосатый костюм у Бригеллы и сшитый из разноцветных кусков костюм Арлекина. Здесь мы имеем стабильных, повторяющихся героев, одетых в стандартные костюмы. Но эти герои так созданы, что достаточно свести их вместе для того, чтобы в силу их характеров между ними возникало и естественное действие и чудесные диалоги. И когда драматург просили написать пьесу для этих «стандартных» героев, то он несколько не удивлялся и, по примеру Карло Гоцци, садился и писал увлекательную пьесу.

Таких пьес создано немало, и иные даже и сейчас входят в репертуар наших театров (например, «Король-Олень» Карло Гоцци у С. Образцова в Государственном центральном театре кукол).

Почти каждый народ имел подобных «стандартных» героев. У русских — Петрушка, у украинцев — Ванька-Рутюю, у немцев — Ганс Вурст, у французов — Полишинель, у англичан — Понч и т. д.

Нечто подобное наблюдаем и в народных сказках. Кашей Бессмертный, Баба-Яга, Иванушка-дурачок, Василиса Прекрасная являют собой пример таких «стандартных» героев. Столь же стабильны заставки и концовки народных сказок («В некотором царстве, в некотором государстве», «И я там был, мёд и пиво пил»).

Здесь уместно также напомнить о так называемых постоянных эпитетах, столь свойственных народному творчеству: молодец всегда употребляется в связи с эпитетом добрый; красная девица, белые лебеди, сине-море — всё это неизменно повторяющиеся эпитеты.

Умалает ли такая стабильность достоинства сказки или былины? Не вызывают ли они у нас ощущения навязчивого повторения? Конечно, нет. Наоборот, благодаря этим эпитетам, постоянным вступлениям и концовкам сказка получает своеобразную певучесть и свой специфический народный колорит.

Стабильность, устойчивость художественных форм — одна из поразительных особенностей великого народного искусства. Эту особенность мы обнаружим не только в театре, былинах, сказках, но и в прикладном искусстве и в архитектуре.

Вот несколько примеров. Ковры, изготовленные киргизскими мастерами, имеют многообразный и красивый узор. Каждый из них отличается индивидуальными особенностями. После длительных и кропотливых исследований художнику Рындину удалось установить, что все эти красивые и многообразные узоры составлены из «стандартных» повторяющихся элементов. Мало того, каждый «стандарт» имеет определённое смысловое значение (луна, облако, человек и т. п.). Комбинации этих элементов образуют не только красивый узор, но и «рассказывают» короткую новеллу. Нечто подобное можно обнаружить в иранских коврах.

Народное зодчество Китая и Японии также основывалось на стандарте и сборности. В Японии размер цыновки являлся своеобразным строительным модулем. Здесь говорят: комната в две цыновки, в три, пять цыновок. К этому модулю был приспособлен и стандарт балок.

В Переяславле-Залесском, старинном русском городе, полном красоты и поэзии, есть Святые и Проездные ворота бывшего Горницкого монастыря. Их архитектура отличается большим многообразием форм. Специальное исследование показало, что это многообразие достигнуто комбинацией восьми стандартных керамических элементов, из которых удалось получить различные и порой совершенно неожиданные сочетания. Особого внимания заслуживает стандартный элемент, по своему виду несколько напоминающий форму балясника. (Последний используется в карнизе, где он дан в горизонтальном положении, в архивольте — обрамление арки — в комбинации с другими элементами.) Поставленные вертикально один на другой, эти однотипные элементы образуют архитектурную форму, напоминающую пилястр. Спаренное положение этих элементов даёт новую форму пилястру. Расположенные в несколько рядов, они создают на стене своеобразное и богатое декоративное украшение. Отдельные части этого элемента образуют ряд других архитектурных форм.

Когда смотришь на эти ворота, то абсолютно не чувствуешь стандартности применённых здесь элементов. Я неоднократно любовался воротами бывшего Горницкого монастыря, не раз их рисовал, но от моего внимания всегда ускользала применённая здесь стандартизация форм, и только после специального обмера ворот и анализа форм удалось обнаружить вышеописанные особенности.

Храм Василия Блаженного, гордость нашей национальной архитектуры, несмотря на потрясающее многообразие форм, имеет всего восемнадцать типов фигурных кирпичей. Другое, не менее совершенное произведение древнерусской архитектуры — Храм Вознесения в Коломенском — имеет девять типов фигурного кирпича. В среднеазиатской архитектуре народные мастера достигают исключительной насыщенности и многообразия композиции зданий, используя всего лишь несколько стандартных элементов. Таких примеров можно привести множество.

Пользуясь стандартом, типовыми стабильными формами, народные мастера сумели создать великое искусство, великую архитектуру.

При этом следует помнить, что стандарт в народном зодчестве не был чем-то быстро меняющимся, надуманным или случайным (что имеет ещё место у нас). Стандарт — это результат многовековых традиций, отбора типических особенностей, собственных данной стране и данному народу.

И именно поэтому в народном творчестве мы наблюдаем стабильность, устойчивость повторяющихся форм. В нём, выражаясь современным языком, из «стандартных» частей создавали «нестандартное» целое. Это как раз то, что необходимо сейчас.

Правда, нынешний стандарт и «стандарт» в народном зодчестве не одно и то же (поэтому это слово я взял в кавычки). Первый — результат машинного производства, массового, заводского изготовления, а второй — продукт ремесленного труда. Но их внутренняя природа весьма родственна, а это для нас и важно.

Современный стандарт часто однообразен не потому, что построен на ограничении форм и размеров, а потому, что его можно использовать лишь в одном-единственном варианте. Принцип вариантности, широко распространённый в народном творчестве, должен послужить для нас противовесом против убийственного однообразия, которое ещё часто свойственно стандарту.

И если сегодня жизнь заставляет нас (часто вопреки воле некоторых архитекторов и художников) создавать архитектуру на основе типизации и стандарта и если сегодня предметы нашего быта являются стандартными, то, поверьте, в этом нет ничего предосудительного, такого, что шло бы вразрез с красотой и искусством. Здесь мы являемся прямыми продолжателями великолепных традиций народного творчества.

УНИКУМ И СТАНДАРТ

Но почему же, спросят меня, в народном творчестве стандарт и искусство были органически связаны, тогда как у нас они часто противостоят друг другу?

В самом деле, почему?

Потому, что мы используем порой стандарт вопреки его природе и сущности. Вот тогда стандарт из доброго волшебника действительно превращается в злого.

Стандарт соответствует одним видам искусства и противопоказан другим. Кроме того, он органически связан с определёнными методами труда.

Венера Милосская — произведение гения, уникальное и совершенное. Приходя в Луар, Гейне часами смотрел на неё и плакал. Но что сделали с этой скульптурой в наше время? Превратили её в некий стандарт, который размножили в тысячах больших и малых копий и заполнили ими магазины, клубы и рестораны. Назовём ли мы эти многомиллионные копии полноценными произведениями искусства? Нет. Они не волнуют нас. Это только копия. А копия — суррогат искусства.

Вы идёте по залам музея имени Пушкина и внимательно рассматриваете Афины Палладу с её щитом и красивым, но немного странным головным убором, рассматриваете стыдливо прикрывающую свою наготу Венеру Меднцейскую, трагическую фигуру умирающего галла и множество других тщательно сделанных копий с греческих и римских произведений искусства.

Но вдруг вы останавливаетесь. Ваше внимание привлёк небольшой женский торс. Это Афродита — богиня любви. Золотая ржавчина и глубокие трещины (следы времени) покрыли мраморное тело. Вы не можете от него оторваться. Вы позабыли всё, что видели раньше. Вам начинает казаться, что скульптура тихо дышит, а под мраморной кожей пульсирует живая кровь. Это подлинник.

Эту скульптуру создали две тысячи лет тому назад трепетные руки мастера, влюблённого в этот нежный и целомудренный девичий торс. А всё, что мы видели раньше, — это копии, отлитые в гипсовые формы искусным ремесленником, стремившимся как можно точнее повторить подлинник, и ничего более. Искусство и ремесло. Ремесло часто оставляет нас равнодушным, а произведение искусства заставляет сильнее биться сердце. (Я ни в какой степени не собираюсь умалять значение всякого рода копий и репродукций с произведений искусства. Их познавательная роль очень велика. В этом отношении наша эпоха предоставляет нам исключительные возможности. В течение нескольких часов, не выходя из музея или библиотеки, можно ознакомиться с художественными произведениями, хранящимися в Лувре, Ватикане, Эрмитаже. Но мы ведём разговор о другом, о том, как с помощью современной техники создавать не только копии, но и полноценные произведения искусства.)

В том же музее в стеклянных шкафах стоят небольшие глиняные статуэтки. Они красивы и поэтичны. Это так называемые танагрские статуэтки. Последние, как это установлено, являлись продуктом своеобразного массового производства. У лепщиков были заранее заготовлены «стандартные» фигуры из глины, которым они путём прибавления добавочных аксессуаров туалета, путём поворота головы и т. д. придавали тот или другой новый облик. Танагрские статуэтки — продукт массового производства, распространённого в своё время в Италии, Сицилии, Малой Азии и даже в Африке. Слава этих статуэток ещё в древности была очень велика, а в настоящее время они украшают наши лучшие музеи.

В художественном отношении каждая из них является своего рода совершенством. Массовость изготовления не помешала этим статуэткам стать изумительными произведениями искусства, тогда как массовое производство Венеры Милосской остаётся на уровне копии, имитации и суррогата. Почему?

Да потому, что уникальное искусство (будем называть его так) и массовое имеют свои законы композиции, свой жанр, свои специфические средства выразительности. И нельзя безнаказанно произведения уникального искусства превращать в массовую продукцию¹.

Современная фабрика скульптурных изделий. Здесь в огромном количестве экземпляров изготавливаются разного рода скульптурные изображения: физкультурники в трусах, физкультурницы в купальных костюмах, рабочие в спецовках и т. д. Эти скульптуры можно встретить в наших садах, в парках и на площадях, и надо полагать, что они предназначались для их украшения. Эти скульптуры — продукт массового производства. Они являются копиями с более или менее удачных уникальных произве-

¹ Здесь необходимо сделать существенную оговорку. В дальнейшем будет идти разговор об уникальном и народном, массовом искусстве. Следует сказать, что оба эти термина (уникальное и народное искусство) весьма условны и неточны. Уникальное искусство тоже народно. Венера Милосская — произведение греческого (а не какого другого) гения. Драмы Шекспира так же народны, как пьесы-комедии масок. Поэзия Пушкина не менее народна, чем безымянные сказки и былины.

С другой стороны, произведения народного творчества по своим художественным достоинствам не менее уникальны. Но их уникальность имеет свою специфику. Когда мы говорим о танагрских статуэтках, то в нашей памяти не возникает воспоминание о каком-либо одном конкретном образце. Не случайно мы говорим не о танагрской статуэтке, а о статуэтках (во множественном числе), тогда как, говоря о Венере Милосской, мы имеем в виду именно эту, не какую-либо другую скульптуру (например, Венеру Медицейскую). В первом случае мы имеем серию изделий, а во втором — одно-единственное (уникальное) произведение. В народном искусстве понятие уникальности распространяется не на одно произведение, а на всю серию. Уникальна не одна статуэтка, а танагрские статуэтки, вместе взятые. Причём художественные качества каждой из них не имеют особого значения. Одна может быть несколько хуже, другая — лучше, это лишь небольшое звено всей цепи. Для народного искусства характерно особое понятие уникальности: уникальность серии. В этом, быть может, заключается одна из особенностей народного творчества.

дений, созданных нашими художниками. Но сравните эти многочисленные копии с подлинником. Пропала упругость мускулов и тонкость кожи. Всё огрубело, стало невыразительным и примитивным.

Это и понятно. Бетон, из которого отливались эти скульптуры, в силу своей грубой «природы» уничтожил нюансы, созданные художником, и всё свёл к общей «обтекаемой» форме, к упрощённой схеме. Стандартность, массовость производства превратила произведения искусства в суррогат.

Но значит ли это, что из того же «грубого» бетона на тех же фабриках и в таком же огромном количестве экземпляров нельзя изготавливать подлинные произведения искусства, достойные украшать не только наши сады и парки, но и художественные музеи? Конечно, можно.

В искусстве нет хороших и плохих материалов. Нет хороших или плохих способов изготовления, есть хорошие и плохие художники. Из грубой глины, к тому же обожжённой в печах (неравномерная усадка), греческие лепщики сумели создать полноценные художественные произведения массового изготовления. Русские народные мастера из простых кусков дерева и примитивными инструментами вырезали чудесные игрушки, которые бережно хранятся в наших музеях.

Больше того, подлинный художник обладает удивительной способностью — недостаток строительного материала, так же как и недостатки производства работ, превращать в достоинство. Например, псковские и новгородские зодчие в старину строили здания из грубого постелистого камня, который они добывали здесь же, недалеко от постройки. В результате получалась своеобразная, неровно сложенная стена. В композиции псковских и новгородских храмов органически используется эта особенность кладки, которая придаёт сооружениям характерность и выразительность.

Но вернёмся к разговору о скульптурной фабрике. Последняя выпускает изделия, часто лишённые каких-либо художественных достоинств совсем не потому, что её продукция является массовой и в силу этого стандартной. Здесь уместно сопоставить Венеру Милосскую с танагрскими статуэтками. В обоих случаях художник точно учёл особенности материала (мрамор или глина) и особенности изготовления (уникальное изготовление или массовое производство), тогда как при изготовлении фабричных изделий не было учтено ни то, ни другое.

Для скульптур массового фабричного производства, к тому же изготавливаемого из малопластичного бетона, следовало бы найти особую композицию, особый жанр, особую тематику. В частности, здесь вряд ли могла бы иметь место тонкая нюансировка форм, свойственная уникальному искусству. Лаконичность, простота, обобщённость и в силу этого более монументальная форма позволили бы выпускать на наших фабриках произведения искусства, а не их суррогат.

Всё, о чём мы здесь говорили, имеет прямое отношение к другим видам искусства и в особенности к архитектуре.

Человечество оставило нам огромное количество уникальных памятников зодчества. Это величественные мавзолеи, триумфальные арки, сумрачные соборы, пышные дворцы и виллы, построенные по приказу египетских фараонов и жрецов, средневековых бюргеров и монархов, царей и священнослужителей. Эта уникальная архитектура являлась основным объектом изучения архитекторов и учёных. Именно ей были посвящены многочисленные книги и увражи. На ней главным образом и воспитывалась наша молодёжь. И именно она часто формировала наши художественные идеалы и вкусы.

Но вот наступила новая полоса развития нашей архитектуры. Уникальная архитектура уступает место строительству зданий массового назначения (жилье дома, школы и больницы). Кустарные методы строительства заменяются индустриальными.

Но художественные идеалы многих зодчих продолжают оставаться неизменными. Произошёл трагический конфликт между новыми идеалами и старыми методами творчества. «Такие архитекторы стали камнем преткновения на пути индустриализации строительства» (Н. С. Хрущёв).

Каковы же идеалы этих зодчих и в чём их несостоятельность?

В своём стремлении сделать архитектуру величественной и монументальной многие зодчие связывали понятие красоты с массой и весом здания. Чем массивнее толща стен фасада, тем монументальнее, дескать, здание. Такое понимание монументальности

целиком соответствовало тем образцам архитектуры, о которой мы говорили выше. Греческий храм, римские виадуки, итальянские палаццо имеют толстые, массивные стены, мощные цоколи, циклопическую кладку, придающие этим сооружениям величие.

Но это представление о монументальности находится в прямом противоречии с индустриализацией строительства. Тонкая, маловесомая стена, тёплая и прочная, здание предельно лёгкое, предельно изящное (в отношении массы) — вот к чему направлены усилия наших конструкторов и строителей. Это стремление — результат желания сделать наши здания дешёвыми, гигиеническими, удобными для жилья. Самая жизнь поставила подобные задачи и настойчиво требует их быстрейшего решения.

Расхождение между старыми художественными идеалами и нашей действительностью не смутили некоторых архитекторов. Для того, чтобы современному зданию придать монументальность и величие, архитектор впереди тонкой рабочей стены здания строит вторую, чисто декоративную стену, имитирующую мощную кладку, толстые столбы пилонов и тому подобные архитектурные элементы, которыми он восхищался, рассматривая многочисленные таблицы, посвящённые архитектуре древнего Рима и Италии эпохи Ренессанса. Иногда декоративная стена приобретает чудовищные размеры, в четыре-пять раз превышая нормальную стену (высотный дом на Смоленской площади, где толщина декоративных пилонов достигает двух метров при толщине конструктивной стены в 38 см.).

Этим не ограничиваются усилия таких архитекторов. Для того чтобы жилой дом, школу, общежитие и прочие здания массовой многоэтажной застройки сделать похожими на дворец или палаццо (уникальное сооружение), архитектор создавал сложную иллюзорно-художественную систему, наложенную на реальную структуру многоэтажного дома и подражающую структуре двух-трёхэтажного палаццо. Первые два-три этажа должны создать иллюзию толстых каменных блоков, из которых якобы они сложены. На последующих этажах (опять с помощью лишнего строительного материала — штукатурки или облицовки) даны мощные столбы-пилястры, стоящие на мощной (фальшивой) кладке первых этажей и в свою очередь якобы несущих огромный карниз с большим выносом. К тонкой железобетонной плите балкона, заделанной в стену, снизу подвешиваются мощные декоративные кронштейны, будто бы несущие балкон. Словом, на тонкую и лёгкую стену современных зданий надевали старинные доспехи, снятые с плеч огромного каменного сооружения.

Всё строилось на имитации и подделке, а это неизбежно и закономерно вело к непомерному удорожанию строительства. Выстроить архитектурную декорацию стоит недёшево. В доме, построенном по проекту архитектора А. Жукова на улице Горького, такая декорация обошлась в тридцать процентов от стоимости всего здания.

С развитием новых облегчённых конструкций и новых маловесомых строительных материалов постепенно меняется и наше представление о прочности, устойчивости и тем самым меняется представление о красоте, всегда связанное с современностью. Всего каких-либо шестьдесят лет назад железобетонные мостики, перекинутые внутри здания ГУМ на Красной площади, вызвали настолько серьёзные сомнения в своей прочности, что многие посетители даже не рисковали ходить по ним. Эти мостики казались непрочными и поэтому некрасивыми. Сегодня же они кажутся нам красивыми именно своей тонкостью и лёгкостью. И, напротив, излишне массивные, излишне прочные фермы на станции метро Измайловская в Москве воспринимаются нами как нечто некрасивое.

Современная техника, развиваясь и совершенствуясь, будет непрерывно создавать всё новые и новые конструкции, новые материалы, тающие в себе источник своеобразной красоты.

Некоторые наши архитекторы в стандарте видят самого большого своего врага, в попытках ввести его в архитектуру они усматривают гибель высокого искусства зодчества. Такие опасения имели бы основания, если бы мы рассматривали стандарт только в рамках уникального искусства и забывали о примере полного жизни народного творчества.

Стандарт органически присущ массовому производству. Поэтому говорить о стандарте и искусстве — это значит говорить об искусстве не вообще, а об искусстве, имеющем массовый характер.

Стандарт отнюдь не противопоставлен искусству, он противопоставлен только определённым его видам. Все наши недоразумения со стандартом чаще всего связаны с тем, что мы пытались использовать его в рамках уникального искусства, природа и сущность которого часто противопоставлены современному стандарту.

МАШИНА И СТАНДАРТ

Современный стандарт органически связан с машинным производством. Поэтому наша тема о красоте и стандарте тесно соприкасается с другой темой: о роли машины в современном искусстве.

Машина вторглась в область искусства. Таков непреложный факт. Как следует отнестись к этому явлению? Приветствовать его или попытаться бороться с ним?

Любопытно отношение Запада к такому вторжению машины. Машинное производство убьёт искусство, заявили в конце прошлого столетия английские буржуазные искусствоведы Рескин и Моррис и стали спешно создавать кустарные отрасли художественной промышленности, пытаясь этим обезвредить «гибельное» влияние машины. «Промышленность — корень уродства», — повторил за ними Оскар Уайльд.

Затем художники, несколько привыкнув к машине, перестали её бояться, а в дальнейшем (в двадцатых годах нашего столетия) стали её боготворить, превратив в некое божество, способное оплодотворить их творчество. Но новое божество не имело ни жизнерадостности, свойственной богам древней Эллады, ни одухотворённости христианского бога, оно было геометрически сухо и безжизненно. «Геометрия и боги восседают на одном троне», — заявил один из главных жрецов новой религии. И вот в угоду новому божеству стали строить здания, где человеческая душа была изгнана и геометрия заняла её место. Было построено множество зданий, сильно напоминающих корабли и пароходы, железнодорожные вагоны и автобусы, с «твёрдостоящим домом обращались так, словно ему надо было двигаться на колёсах или плавать на воде» (Бруно Таут).

Мы не можем принять точку зрения машиноборцев (Рескин, Моррис), как не можем согласиться и с машинопоклонниками,

Здесь я ограничусь несколькими замечаниями, имеющими прямое отношение к этой чрезвычайно важной и злободневной теме.

Акакий Акакиевич, герой повести Гоголя «Шинель», как известно, занимался переписыванием бумаг и видел в этом цель и смысл своей жизни. «Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнобразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал...» и т. д. Если бы на месте ограниченного николаевского чиновника находился другой, более одарённый человек, и он обладал бы фантастической любовью Акакия Акакиевича к своему делу, то, вероятно, был бы создан новый каллиграфический стиль. Наряду со стилем Помпадур, Пиранези в наших учебниках мы имели бы стиль Башмачникова.

Разительный контраст представляет труд современной машинистки. Последняя на своём «Ундервуде» выстукивает, не глядя на буквы, целые вороха бумаг. Говорить о творческих возможностях художника здесь не приходится.

Таким образом, ремесленный труд переписчика часто поднимался до подлинного искусства, создавая такие шедевры каллиграфии, как, например, рукописное евангелие, а идеалом труда машинистки является работа с максимальной скоростью и без единой орфографической ошибки, с правильной расстановкой знаков препинания.

Допустим, что Акакий Акакиевич всё же оказался настолько талантлив, что ему удалось создать своего рода рукописный шедевр, и вот одно из издательств решило воспроизвести этот шедевр. Как бы хорошо ни была проделана эта работа и сколь бы ни соответствовали печатные оттиски оригиналу, мы не получили бы полноценного художественного произведения.

Всякая попытка воспроизвести рукопись талантливого каллиграфа с помощью машины даст нам лишь репродукцию, и только. В данном случае можно говорить лишь о техническом совершенстве оттисков, и ни о чём больше.

Совсем иного отношения заслуживают книги, оформленные техникой деревянной гравюры, напечатанной с помощью машины. То, что сделано непосредственно художником, не есть ещё конечное произведение искусства. Только вмешательство печатного станка даст ему полнокровную жизнь. Отношение к оттискам с этих дощечек у нас совершенно иное. Это уже не репродукции, а полноценное произведение искусства. И их мы демонстрируем в наших музеях наравне с так называемыми подлинниками.

В чём разница между оттиском, копирующим изделия ремесленного труда (рукопись, картину), и оттиском, полученным с деревянной гравюры? При создании рукописи, картины и т. п. автор ни в какой степени не учитывал особенности машины, и поэтому последняя не нашла никакого отражения в его творческом процессе. Создавая репродукцию с этих произведений, мы тем самым заставляем машины механически воспроизводить их форму.

Совсем иначе обстоит дело с печатанием гравюры или офорта. В данном случае с первых проблесков замысла до окончательного решения особенности машинного производства были органически включены в творческий процесс художника. Здесь машина явилась как бы кистью, резцом художника, его орудием производства, накладывающим на произведение свой специфический отпечаток. В результате имеем не репродукцию, а полноценное произведение искусства. Итак: 1) машина, механически воспроизводящая чуждые ей произведения ремесленного труда, создаёт изделия, лишённые особых художественных достоинств (репродукция); 2) особенности машинного труда должны органически сливаться с творческим процессом художника, что будет способствовать созданию подлинных художественных произведений.

Несколько лет тому назад московская обойная фабрика выпускала обои, где непрерывно повторялась известная картина художника Шишкина «Утро в сосновом лесу». Картина, носящая в себе все черты и особенности ручного индивидуального труда, была превращена в некий стандарт, размноженный с помощью машины в огромном количестве экземпляров.

Когдаходишь в комнату, оклеенную такими обоями, то начинает казаться, что попал к сумасшедшему маньяку, который с непостижимым для здорового человека упорством и терпением нарисовал тысячу совершенно одинаковых картин и увешал ими своё жилище.

Магазин кондитерских изделий. Коробки конфет самых различных форм и размеров. На них также изображены картины знаменитых художников. Каждая оформлена нелепой рамкой самого дурного, мешанского вкуса. Технически эти репродукции сделаны плохо, цвет искажён.

Хочется задать вопрос директору фабрики, выпускающей подобную продукцию, художнику, оформляющему эти изделия, художественному совету, утверждающему эти рисунки (если таковой имеется), — кто дал право с помощью машины (печатного станка) уродовать и опешлять великие творения человеческого гения? Когда наши музеи издают многочисленные репродукции с картин художников, то они преследуют определённую цель — ознакомить широкие массы с первоклассными произведениями живописи. Но какие ставились задачи, когда на коробке с конфетами печатается, например, картина Васнецова «Богатыри» (к тому же без её названия и автора)? Разве нельзя было украсить эту коробку более подходящим способом?

Разве мы не в состоянии создавать полноценные произведения искусства, используя передовую технику? Разве кино, это совершенно новое и великолепное искусство, не обязано своим появлением новой технике?

Но техника требует творческого освоения. Если бы художники кино ограничились воспроизведением театральных постановок, то мы не имели бы подлинного искусства; это были бы «театральные копии», суррогат театра, которому мы всегда предпочтём настоящий подлинный театр. Заслуга деятелей кино в том, что они сумели новую технику органически включить в область искусства. В результате новая техника явилась стимулом для создания новых художественных форм.

Почему же в других сферах нашей деятельности мы сплошь и рядом низводим нашу изумительную технику до унизительной роли поставщика копий, подделок и суррогатов?

Мебельный магазин. Резко бросаются в глаза два типа мебели фабричного изготовления. Рижская мебель. Гладкие, полированные поверхности, отсутствие каких-либо украшений, какой-либо мишуры. Всё просто, гладко и благородно. С первого взгляда ясно, что эта мебель сделана в основном машиной. Вы понимаете это и цените. Рижская мебель быстро раскупеется, и её не так легко достать.

Здесь же рядом стоит другая мебель, тоже машинного производства, но об этом трудно догадаться. Своими прогнутыми линиями, наличием сложных карнизов, профилей и украшений она сильно напоминает старинную мебель, изготовлявшуюся в своё время руками искусных ремесленников. Но какая колоссальная разница между ними! Здесь сухая и безжизненная подделка, там—произведение искусства. И это не случайно. Слишком велика разница между спецификой ремесленного и машинного труда.

При ремесленном труде между художником и произведением его искусства—прямая и непосредственная связь. Мысль художника, его настроение, иногда даже физическое состояние, случайное движение резца и кисти— всё находит своё отражение в его произведении. «Попробуйте, прежде всего, представить себе, какая точность мускульного движения, какое духовное напряжение нужно для подобной работы; точность движения фехтовальщика достигается упражнением в однообразии их повторения, но руки художника каждую минуту подчиняются непосредственно замыслу» (Рескин). В результате любое изделие имеет свои индивидуальные особенности. Здесь нет и не может быть совершенно одинаковых произведений. Даже когда они выпускаются в массовом порядке, каждое из них, тем не менее, получает своё индивидуальное выражение.

Машинное производство не имеет этих особенностей. Машины выпускают изделия, лишённые индивидуальной характеристики.

Вещь, сработанная машиной, проста и как бы внутренне собрана. В ней не должно быть ничего лишнего, что вызвало бы дополнительные операции. Она экономична. Художественный язык машины прост и лаконичен. И если, пользуясь этим «языком», мы попытаемся передать всё очарование сложных и многообразных изделий ремесленного ручного труда, то получим лишь имитацию и подделку.

Всё это имеет прямое и самое непосредственное отношение к архитектуре.

Когда-то древние греки, у которых всякого рода ремёсла стояли на исключительной высоте, привозили на свои постройки грубо обработанные квадры камня, ставили их на место и начинали обтёсывать. Такой метод сильно напоминал работу скульптора. Каждый удар резца выявлял из грубой массы камня заранее продуманный образ. Отколов несколько кусков, каменотёс спускался вниз, смотрел на нежный мрамор, взвешивал, соображал, снова подымался на леса, откалывал ещё несколько крохотных кусков и так поступал до тех пор, пока его колонна не получала нужную форму. В результате в каждой детали видна трепетная рука мастера, каждая деталь имеет свою индивидуальную форму, свою особенность.

Очарование греческих храмов заключается именно в этой тончайшей нюансировке и индивидуализации деталей. Здесь миллиметры создают совершенство и отличают совершенную вещь от посредственной. Так, Парфенон отличается от похожего на него, но посредственного Тесеяна именно этими мало заметными нюансами.

Архитектурные детали, изготовленные с помощью машины, обладают совсем иными особенностями. Для того чтобы убедиться в этом, возьмём знаменитый американский каталог Tweet's. Здесь собрано всё, что так или иначе касается современного строительства. Наряду с бесчисленными изделиями разных фирм представлены изображения классических колонн, изготовленных с помощью точных машин. Ассортимент этих колонн исключительно разнообразен. Здесь—все наиболее распространённые ордера, причём размер их меняется через один дюйм диаметра колонны. Таким образом, архитектор имеет возможность получить почти любой размер нужного ему ордера. Колонны выполнены с необычайной тщательностью и полным соответствием с оригиналом. Архитектору остаётся взять каталог фирмы, отметить соответствующий номер и послать заказ. В определённый день и час эти детали придут на стройку. Просто и удобно. К чести американских архитекторов надо сказать, что такое «освоение» классики не получило у них широкого распространения. Передовые американские зодчие,

например, архитектор Райт, встали на путь более трудных, но более прогрессивных методов освоения наследия.

На Всесоюзной строительной выставке имеется классическая колонна, изготовленная при помощи центробежной установки. В специальную форму, имеющую очертания колонны, подаётся раствор. Форма быстро вращается вокруг своей оси. Благодаря центробежной силе раствор плотно прижимается к стенкам формы. Затем он затвердевает, и мы получаем тщательно выполненную колонну, точно повторяющую очертания классической.

Рассматриваем эти изделия, и нас поражает их мёртвый вид. Это только жалкие трупки когда-то полных жизни существ. Они напоминают колонны древней Эллады в той степени, в какой пение металлического соловья может напоминать пение живой птицы. Это и понятно. Из-под машины выходят абсолютно одинаковые колонны, с одинаково углублёнными каннелюрами, с однотипными штампованными профилями и т. п. Разве можно ожидать от этих унифицированных штампованных изделий былого очарования колонн древней Греции, Внутренняя природа этих изделий слишком различна. Здесь с помощью машины механически воспроизводят чуждые ей изделия.

Изучая историю искусства и в особенности архитектуры, можно видеть, что красота никогда не была чем-то случайным, привнесённым извне. Она всегда была связана со способом производства работ, с современной техникой. Недаром у древних греков под словом *техне* (техника) подразумевались ремесло и искусство одновременно. Нарушение этой связи уничтожало подлинную красоту.

Не случайно многочисленные попытки даже таких талантливых художников, как Рёскин и Моррис за рубежом, Васнецов и Врубель у нас, создавать красивые вещи, подражая старым кустарным изделиям, не дали и не могли дать положительных результатов. Но те же художники создавали полноценные произведения искусства, когда, отказавшись от прямого подражания готовым формам, использовали прогрессивные принципы, свойственные народному творчеству. Сходную неудачу потерпели некоторые зодчие Москвы и Ленинграда (архитекторы Иохелес и Алексеев) в своих попытках унифицировать для заводского изготовления архитектурные формы, созданные на основе кустарных методов труда (классические профили). Помимо всего прочего, эти формы потребовали огромного количества типов изделий, что сильно затрудняло их машинное изготовление и их монтаж на стройке.

Необходимо всегда помнить, что современный стандарт — детище машинного производства, он органически и неразрывно связан с его природой и сущностью.

И если мы хотим сделать наши стандартные изделия красивыми, то решить эту задачу сможем, лишь связав их со спецификой машины.

К сожалению, в этом плане сделано ещё слишком мало. Больше того, в силу укрупнившихся представлений машины чаще всего используются в качестве своеобразного копировального станка, выпускающего многочисленные подделки и имитации кустарных изделий. Такое использование машины — совершенно бесперспективно.

Нельзя говорить об архитектуре современности, не попытавшись рассмотреть, с точки зрения эстетической, самые строительные материалы, предоставленные архитектору массовым производством, а также пропорции, положенные в основу каждой отдельной панели, изготавливаемой заводским способом (а ведь в панельном и каркасно-панельном строительстве такая панель представляет собой весьма значительную часть площади стены многоэтажного дома).

В этой связи хотелось бы вспомнить об одном направлении нашей архитектурной мысли в двадцатых—тридцатых годах. Направление это, именовавшееся «конструктивизмом», подверглось впоследствии огульному и, на наш взгляд, отнюдь не во всём справедливому осуждению. Именно как противопоставление сухости конструктивных форм пришло потом увлечение пышностью фасадов, ничего не несущими колоннами, декоративными башенками и т. д. и т. п.

Вернёмся, однако, к тому давнему времени, когда вокруг конструктивистских проектов ещё кипели оживлённые споры.

Жестокая борьба между поклонниками академической школы (принадлежащими к старому поколению зодчих) и сторонниками конструктивистской архитектуры, про-

цветавшей в то время на Западе, развернулась у нас примерно три десятилетия тому назад. После длительной и страстной борьбы конструктивисты одержали победу. Эстетика новой архитектуры, тесно связанной с машинным производством, получила широкое распространение. Идеи новой архитектуры были положены в основу обучения студентов. Странники классической школы были изгнаны из вузов и т. д. Но эта победа скоро превратилась в поражение. Многое из того, что за это время удалось построить конструктивистам, оказалось мало привлекательным, а порой просто безобразным. Конструктивизм у нас был скомпрометирован самым жестоким образом. Виною тому многочисленные дома-корабли, дома-ящики, которые были построены лет двадцать тому назад. Они производят унылое впечатление. С ними обычно и связывается наше представление о конструктивизме. Но такое представление односторонне и неверно. Конструктивизм — гораздо более сложное явление.

Художественные идеалы тесно связаны с развитием производительных сил данного общества. Эстетика новой архитектуры, возникшая и вскормленная передовой машинной техникой, вступила в противоречие с примитивными методами строительства, которые тогда имели место.

Кирпич в то время поднимали на «козле», прикреплённой к спине рабочего. Прежде чем построить кирпичный дом, вначале возводили деревянный дом (леся). Десять тысяч подвод ежедневно подвозили строительные материалы к строящемуся зданию телеграфа на улице Горького. Был даже организован специальный диспетчерский пункт, регулировавший столь сложное транспортное хозяйство.

При таком низком уровне строительной техники невозможно было реализовать идеи новой архитектуры. Такие попытки неизбежно были обречены на провал.

Проекты, которые в рисунках архитектора могли радовать глаз сочетаниями светлых поверхностей и обилием зеркального стекла, на самом деле из-за отсутствия надлежащих строительных материалов выполнялись так, что стены построенных домов унытали прохожего своим траурным свинцово-серым цветом, через несколько месяцев штукатурка начинала осыпаться, и на её уныло тёмном фоне дождевая вода оставляла ржавые подтёки. Большие окна оказывались (из-за отсутствия стекла необходимых размеров и должного качества) разделёнными на дробные клетки, подобно тюремной решётке.

Сегодня произошли глубокие изменения в нашей строительной технике. Она стала индустриальной и передовой. Создан ряд мощных заводов, изготовляющих части здания. Строительство механизировано. Внедряются новые конструкции и новые строительные материалы. Но архитекторы позабыли о тех новых и часто передовых идеях, которые они проповедовали ранее. Они увлеклись принципами старой классической школы. Многие из этих принципов вступили в прямое противоречие с новой передовой техникой.

Если раньше низкий уровень строительной техники мешал развитию новой архитектуры, то теперь произошло обратное явление. Архитектура стала мешать развитию новой техники.

Сегодня мы уже не можем так легко отмахнуться от многих идей, выплеснутых вместе с конструктивизмом, как это делали вчера. Возникла неотложная задача: пересмотреть наше отношение к новой архитектуре Запада, не отменяя всё чохом, но тщательно разобравшись в том, что и почему там плохо и не может быть нами принято, а что и почему здраво и может принести нам пользу.

Возведение в принцип голой утилитарности, «обнажённой конструкции» было одной из тех крайностей, в какие ввергал конструктивистов азарт их спора с поборниками старых классических архитектурных форм. Ещё большей крайностью было безоговорочное отрицание всех и всяческих традиций, столь же решительное и огульное, как и то, какому впоследствии подверглись все принципы, провозглашённые самими конструктивистами. Однако отказ конструктивистов от попыток создавать с помощью машин имитацию и подделку заслуживает внимания. Они использовали машину для создания необходимых и красивых в своей простоте вещей, тесно связанных с их назначением, с методом их изготовления, с особенностями материала, из которого они сделаны.

Архитектор — это организатор быта, жизни людей. Его задача — создавать полезные и красивые вещи. Причём под пользой разумеется реальная польза, какую

можно извлечь из данного предмета. Тогда как многих наших зодчих интересуют не столько действительная польза, сколько её видимость. Уже говорилось о том, как часто современный архитектор подвешивает к балконной плите фальшивые кронштейны, создающие видимость необходимых, поддерживающих частей здания, приставляет к фасаду декоративные колонны и пилястры, создающие видимость необходимых конструктивных опор и т. д.

Отсюда-то и начинаются имитация и подделка.

Эстетике нашей архитектуры не нужно такое иллюзорное понимание пользы. Для новой архитектуры должно быть характерно стремление к подлинной, естественной правде материала и конструкции. Здесь архитектор ищет красоту в самой вещи, в синтетическом единстве назначения и формы. Кстати сказать, такое понимание пользы было присуще классической архитектуре древней Греции; тогда как подмена пользы видимостью более характерна для архитектуры Ренессанса и в особенности классицизма, яркими поклонниками которой являлись многие наши зодчие.

Современной архитектуре должно быть присуще пристальное внимание не только к данному проектируемому зданию, но и к проблемам разумной, целостной и красивой застройки обширных районов. С особым размахом должны решаться градостроительные проблемы в нашей стране, на чьей географической карте каждый год прибавляются обозначения новых и новых городов, и притом таких городов, в которых истреблены трущобы, сглажены различия между центром и окраинами, уничтожены такие всё ещё существующие на Западе понятия, как «аристократический квартал» или «район городской бедноты». Помня о специфике наших задач, мы обязаны также изучить и опыт современной архитектуры Запада, где, в частности, развивается принцип «строчной застройки», при котором дома строятся не по периметру квартала или улицы, а параллельно друг другу, подобно строкам книги (отсюда и название). Здесь все здания получают правильную ориентацию по сторонам света, хорошее проветривание и ряд других преимуществ. Широкое использование такой застройки у нас также было скомпрометировано, и только сейчас постепенно начинают использовать её.

Новая архитектура Запада с большим вниманием относится к зелёным насаждениям. Зодчие весьма умело располагают одинаковые стандартные дома среди зелени. В результате каждый стандартный дом получает своё индивидуальное выражение. Стандартные дома становятся непохожими друг на друга.

В новой архитектуре Запада много полезного и прогрессивного, но много в ней и отрицательного. Например, в стремлении к новым решениям часть архитекторов приходит к трюкачеству. Многоэтажные здания ставятся на тонкие стойки, зрительно не выдерживающие тяжести вышележащих этажей. Создают ничем не оправданные консоли с большим вылетом, усложняющие и удорожающие конструкцию. Стремление к предельно лаконичной форме порой приводит к аскетизму, обеднению архитектуры. Дома начинают напоминать, по выражению И. Жолтовского, отгарифмические ли нейки. Архитектурные формы часто сухи и безжизненны. В них отсутствует человеческая теплота и лирика. Они порой абстрактны, как геометрия. Всё это начинают понимать архитекторы Запада. Всё чаще и чаще они обращаются к национальному наследию, вводят в архитектуру народный орнамент и архитектурные формы, свойственные народному зодчеству. Всё чаще и чаще на страницах иностранных журналов можно встретить статьи, призывающие к использованию традиций народного искусства.

Новая эстетика архитектурных форм влечёт за собой также и усовершенствование многих строительных материалов.

Лучшие современные здания, украшающие города Чехословакии, Дании, Швеции, Голландии, демонстрируют нам, например, отличную облицовочную глазированную плитку. Стены, облицованные таким образом, не теряют своей первоначальной свежести долгие и долгие годы, их нужно лишь мыть тёплой водой, чтобы они сохраняли свой блеск и чистоту. Фасады зданий украшают большие стёкла окон, порой квадратных, порой горизонтальных... Во внутренней отделке в изобилии применяются нарядные цветные пластмассы, линолеум и полированное дерево, высокие многостворчатые застеклённые (часто раздвижные) двери сочетаются с одностворчатыми дверями, сделанными из гладкого, отлично отполированного дерева. Всё это имеет не только утилитарную, но и эстетическую функцию.

Это следует учесть и проанализировать при разработке стандартов, производимых нашей строительной промышленностью. Может быть, форма современного окна не должна во что бы то ни стало копировать формы и пропорции, которые были свойственны домам прошлого века. Может быть, стандартная дверь тоже должна изменить свои пропорции и форму, гармонизировавшие некогда со «славянскими шкафами» и пузатыми буфетами.

Нам необходимо изучение современного передового опыта, упорные и смелые поиски нового.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УКРАШАТЕЛЬСТВЕ

Сейчас много говорят и пишут об украшательстве и о той поистине печальной роли, которую здесь сыграли многие архитекторы. Но дело не только в нас, архитекторах:

Если бы не было спроса на украшательскую, эклектически пышную архитектуру, то она не могла бы иметь места. Заказчик (руководитель городских организаций, промышленных министерств и ведомств) часто требовал от нас вычурных форм, обилия украшений и, вообще говоря, архитектуры дурного вкуса.

Но кто виноват в том, что у заказчика оказался дурной вкус?

В этом виновата безобразная чернильница, которая стоит на его столе; в этом виноваты отвратительные игрушки, которыми он играл в детстве. Они и породили у него дурной вкус, породили спрос на украшательство и на эклектическую, мешанскую архитектуру. Следовательно, борьба с украшательством есть борьба с дурным вкусом¹.

Присмотритесь повнимательнее к окружающим нас вещам. Вот, например, клеёнка, которой покрыт обеденный стол. На ней напечатан орнамент, но вместо того чтобы украсить, он обезобразил её. Коробка для папирос, флакон для духов, консервные банки покрыты столь пышным и столь же безобразным орнаментом, нахально претендующим на то, чтобы сделать эти вещи красивыми.

Орнамент — ведь это целый сказочный мир. Здесь красиво изогнутые линии, геометрически отвлечённые формы, чудесные цветы и причудливые животные образуют чёткий ритмический танец узора. Каждый народ имел свой собственный орнамент, который он как национальный флаг пронёс через столетия. Почему же наши орнаменты часто столь безлики и невыразительны?

Красивые вещи должны окружать нас повсюду: в быту, в личной и общественной жизни. Без машины, без заводского производства нам эту задачу не решить. Подлинные произведения искусства только тогда будут достоянием всех и каждого (а не только наших музеев), когда искусство и передовая техника сольются в единое целое.

Если мы выступаем против украшательства в архитектуре, означает ли это, что мы отказываемся вообще от украшения наших зданий?

Нет, конечно. Борьба с украшательством совсем не означает, что на новом этапе развития советского зодчества мы должны забыть об архитектурном декоре, которым с такой любовью и вниманием украшал народ своё жилище, забыть об орнаменте, который с такой тщательностью изготовляли народные мастера.

Между украшением и украшательством принципиальная разница.

Если, например, архитектор кирпичную стену обычного жилого дома рядовой застройки закроет сложной системой рустов, арок, пилястров, выполненных в штукатурке (или облицовке), то в данном случае это будет ненужное украшагельство, трудоёмкое и дорогостоящее.

А если архитектор оставит стену не оштукатуренной, но в контраст её матовой поверхности поместит на ней несколько небольших красивых, сверкающих на солнце керамических вставок (и проявит при этом подлинный художественный вкус), то это

¹ Было бы, конечно, неправильно объяснить развитие украшательства в нашей архитектуре исключительно дурным вкусом заказчика или архитектора. Бесспорно, здесь имели место и другие причины более серьёзного порядка, связанные с общими бедами нашего искусства последних лет. Стремление к ложной монументальности, пышности, «красивости» захватило и театр, и кино, и живопись, и литературу. Но эта тема, исключительно интересная и актуальная, выходит за рамки нашей статьи.

будет украшение, а не украшательство. Подобные вставки, откровенно декоративные, ничего не имитирующие (что придаёт им особую красоту — красоту подлинника), позволят не штукатурить здание и тем самым сэкономить средства и в то же время создать красивый фасад.

Если архитектор современное крупнопанельное здание, построенное на основе передовых конструкций, «украсит» порталом в виде римской триумфальной арки (что имело место в нашей практике) и тем самым значительно усложнит строительство, то это и будет украшательство. Но, украсив вход в здание красивым, откровенно декоративным наличником, напоминающим драгоценное ожерелье и набранным из стандартных элементов заводского изготовления (и тем самым дешёвых и общедоступных), архитектор не сделает ничего предосудительного.

В этом отношении современная техника предоставляет нам большие возможности. Рельефный орнамент, отштампованный мощным прессом, который по точности изготовления может конкурировать с работой ювелира; цветное стекло, золотое, чёрное, красное, любых цветов и оттенков, блестящее и матовое; искусственная смальта; цветная керамика и целый ряд новых материалов, красивых, выразительных и дешёвых, предоставляет архитектуре современная техника. Но для того чтобы использовать их, необходимо знать и любить новую технику, уметь видеть в ней источник своеобразной красоты, которая часто не укладывается в старые художественные идеалы.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ДЕНИСОВА, В. ЖДАНОВ

★

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОЛ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОШЛОГО

Советскими историками, философами, литературоведами проделана большая работа по изучению истории русской общественной мысли. Извлечены из пыли архивов многие важные документы, забытые рукописи революционных деятелей России. Советские учёные показали национальную оригинальность и самостоятельность, революционное содержание и всемирно-историческое значение научной, философской и художественной культуры русского народа. Разработка философского наследия оказалась особенно плодотворной; была опрокинута распространённая в буржуазной литературе точка зрения, будто в России не было философии и настоящих философов. Ленинская мысль о солидной материалистической традиции в русской философии теперь получила прочное подтверждение. Были «открыты» заново многие замечательные деятели, философы, сильные критической материалистической мыслью, европейской образованностью, прогрессивной, а часто и революционной направленностью мировоззрения. Именно советские учёные сделали достоянием мировой науки сокровища русской научно-философской мысли.

При всём том советской науке приходится преодолевать в своём развитии немало трудностей и противоречий. Появляются книги, на первый взгляд как будто примыкающие к указанной плодотворной традиции в разработке русского культурного наследия. Авторы их усердно заверяют читателя в своей преданности революционным идеям, они не знают меры в своих здравцах и восхвалениях. В то же время, пренебрегая истиной, фактами, точностью в изложении материала, они в своих стараниях порой доводят до абсурда даже самые

правильные мысли, превращая истину в ложь, хорошее — в дурное. Стремясь отделить собственные пренимущества, они готовы преувеличить недостатки советской науки в целом, возвести напраслину на некоторых её представителей.

Издательство Академии наук выпустило новую книгу, посвящённую великому русскому мыслителю-материалисту и революционеру Н. Г. Чернышевскому. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что книга В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского» — одна из самых обширных работ, посвящённых этому деятелю. В книге сорок восемь учётно-издательских листов. Её текст обильно уснащён множеством ссылок на различные источники, в том числе на огромное количество использованных автором архивных документов («единиц хранения»), описанных в подстрочных примечаниях по всем правилам соответствующей науки. На странице 16 даётся обстоятельный список условных сокращений. В другом месте любознательный читатель может узнать, что автор книги ещё в 1948—1950 годах работал над докторской диссертацией о Чернышевском, которую затем защитил в Институте философии Академии наук СССР. Автореферат этой диссертации опубликован в 1951 году.

Всё это, повидимому, должно убедить читателя в том, что книга, о которой идёт речь, представляет собой фундаментальный труд, как бы итог всего предшествующего изучения мировоззрения и деятельности Чернышевского. Надо полагать, что именно так смотрело на эту работу и издательство Академии наук. Проявив необычную оперативность, оно подготовило книгу к выпуску в неправлоподобно короткий срок. Обширная рукопись, сданная в набор 22 ноя-

бря 1955 года, уже 19 декабря того же года, то есть меньше чем через месяц, была подписана к печати. Случай необычный в издательской практике. И если бы этим новым для издательства Академии наук темпам соответствовало высокое качество продукции, чего же лучшего можно было бы желать? Увы, ниже читатель увидит, к каким печальным последствиям приводит необдуманная торопливость.

Для характеристики метода исследователя, а также его отношения к советской науке полезно познакомиться с последней главой книги, озаглавленной «Борьба вокруг идейного наследства Н. Г. Чернышевского».

Из этой главы можно узнать, что почти все предшественники В. Баскакова только и делали, что путали, извращали, искажали и лишь на его долю выпала задача впервые установить научную истину. Подробно проследив реакционные суждения о Чернышевском в русской и зарубежной печати, «разоблачив» свыше пятидесяти разных деятелей и авторов в самых энергичных выражениях, В. Баскаков почти в том же стиле подверг разносу труды Плеханова и советских исследователей-марксистов. Стоит специально сказать о том, как В. Баскаков осветил отношение Плеханова к Чернышевскому. Заявив, что «первая попытка разоблачить с марксистских позиций тенденциозно-клеветнические измышления дворянско-буржуазных писак о Чернышевском принадлежит Г. В. Плеханову», автор книги тут же делает оговорку, чтобы читатель и впрямь не подумал, будто Плеханов был марксистом. «Однако,— пишет он,— Плеханов оказался в плену либерально-буржуазных представлений о Чернышевском...» Далее Плеханов уже «сбрасывал со счёта прочную материалистическую традицию в России...», «пытался доказать, что Чернышевский был мыслителем, оторванным от истинных потребностей исторического развития России...», «не видел, что Чернышевский был подлинным революционером», «по мнению Плеханова, мировоззрение Чернышевского формировалось в сфере «чистой», абстрактной мысли, оторванной от жизни, в стороне от русского революционно-освободительного движения...» и т. д. в таком же духе.

В конце концов В. Баскаков окончательно расправляется с Плехановым, категорически квалифицируя его взгляд на источники и характер материализма Чернышев-

ского как антимарксистский взгляд, который «перерос в антимарксистскую концепцию, нашедшую своё законченное выражение в его книге «Н. Г. Чернышевский». Всем известна ленинская критика ошибок Плеханова в оценке Чернышевского, но гряд ли необходимо доказывать, что она не имеет ничего общего с позицией В. Баскакова в этом вопросе. Характерно, что он обращается только к критическим указаниям В. И. Ленина, игнорируя его положительные суждения, высказанные, например, в статье 1899 года «Попытное направление в русской социал-демократии», где В. И. Ленин писал: «Плеханов в своей книге о Чернышевском... вполне оценил значение Чернышевского и выяснил его отношение к теории Маркса и Энгельса».

Разделавшись с Плехановым, В. Баскаков, употребляя всё более крепкие выражения, переходит к «разоблачению» советских исследователей. Не замечая или не желая замечать того нового, что появилось в жизни нашей страны и партии в последние годы, В. Баскаков берёт за основу своих суждений несправедливо резкие оценки, адресованные некоторым авторам, писавшим о Чернышевском отдельные положения из статьи «Разоблачить проповедников космополитизма в философии», опубликованной в газете «Культура и жизнь» в 1949 году. В. Баскаков механически переносит эти положения на работы чуть ли не всех советских учёных. В список раскритикованных им авторов попадают В. Кирпотин, М. Розенталь, Б. Козьмин, М. Лившиц (надо Лифшиц), П. Лебедев-Полянский, Л. Плоткин. Многозначительное «и другие» позволяет предположить, что автор считает свой перечень далеко не исчерпанным.

Послеоктябрьская разработка наследия Чернышевского выглядят в книге ещё более неприглядной, чем дореволюционная. Автор не называет ни одного имени, ни одной книги, которые помогли бы ему определить, что же нового и положительного внесла советская наука в изучение деятельности Чернышевского. Отрицательно оценивая её усилия в этой области, он прибегает к грубо оскорбительным выпадам против честных учёных. Всю их деятельность, в которой, разумеется, были свои недостатки, В. Баскаков сводит к извращениям, политическим ошибкам и даже враждебным партии и ленинизму выступлениям. Какие-либо успехи советской науки в изучении философии Чернышевского В. Баскаков отрицает. Он так и пишет:

«Однако роль Чернышевского в разработке материалистической философии не нашла должного марксистского освещения в нашей историко-философской литературе, вышедшей и после философской дискуссии».

Нарисовав поистине бедственное состояние, в каком якобы находится у нас изучение идейного наследия Чернышевского, автор заявляет, что советской наукой «ещё до сих пор не преодолены полностью рецидивы либерально-буржуазной, меньшевистской концепции в оценке философских воззрений великого борца революционной России». В. Баскаков призывает покончить с этими рецидивами, потому что «в последнее время идеологи реакционных кругов современной буржуазии в своих работах сознательно используют именно эту либерально-буржуазную, меньшевистскую линию для фальсификации истории передовой русской философской мысли!»

Таковы политические выводы, вернее политические обвинения, к которым пришёл В. Баскаков: в советской науке существует целая либерально-буржуазная и меньшевистская линия (?), и её используют реакционные круги современной буржуазии. Договорившись до этого, автор книги не замечает ни коллективных трудов кафедр истории русской философии Московского университета и Академии общественных наук, ни исследований коллектива работников Саратовского университета и Музея имени Чернышевского, ни работ, созданных в союзных республиках. Он не проявляет никакого интереса к трудам советских учёных, в той или иной мере способствовавших правильному освещению философских, политических и эстетических взглядов Чернышевского (кроме вышеуказанных, назовём, например, работы А. Луначарского, Н. Мещерякова, В. Евгеньева-Максимова, А. Лаврецкого, М. Нечкиной, Б. Рюрикова, И. Зевина, А. Скафтымова, Н. Богословского, Г. Фридендера, Б. Бурсова, А. Караганова). Таким образом, получается, что труд В. Баскакова высится одиноко, как пирамида в пустыне.

Назвав главу «Борьба вокруг идейного наследия Н. Г. Чернышевского», автор по существу не показывает никакой борьбы; односторонне, шаг за шагом, он критикует всех идейных противников революционной демократии, включая в эту «линию» и Плеханова и многих советских исследователей. Многочисленным реакционным выступлениям В. Баскаков противопоставляет лишь

высказывания В. И. Ленина. Он так и пишет: «Только В. И. Ленин дал гневную отповедь дипломированным лакеям царизма, пригвоздив их к позорному столбу». Деятельность Ленина выглядит в книге одинокой, у него нет ни учеников, ни соратников; ни предшественников, ни продолжателей.

Ограничив свою задачу приведением цитат, В. Баскаков не показывает, что ленинская оценка русского материализма и философии Чернышевского легла в основу всей советской науки, разрабатывающей наследие русской культуры. Руководствуясь ленинскими положениями, советские учёные много сделали для изучения истории общественной мысли в России, выяснили историческую роль Чернышевского, показали, что в русской и зарубежной культуре существует прогрессивная и революционная наука, отстоявшая наследие великого материалиста, разработавшая его идеи, показавшая преемственную связь между большевизмом и революционной демократией.

Если бы в главе, о которой идёт речь, была исследована подлинная идейная борьба вокруг наследия Чернышевского и показано реальное развитие его общественно-философских идей, то особое место великого революционного демократа в истории материализма и связь его философии с марксизмом были бы убедительно представлены в книге. Но метод исследования, применённый автором, не мог дать таких результатов. Действительная классовая борьба, идейные споры, действительная победа, одержанная марксизмом и прогрессивной наукой над реакционными идеалистическими толкованиями философии великого мыслителя, не были в центре внимания автора. Марксистский метод изучения наследия великого критика он подменил односторонним подбором фактов хулы на Чернышевского, произвольным их обобщением и изображением реакционного направления как главного и единственного в русской культуре (по отношению к Чернышевскому), которому противопоставлены только высказывания В. И. Ленина.

Полное игнорирование достижений советской науки в разработке наследия Чернышевского, попытки создать иллюзию самостоятельности и оригинальности собственной работы, зачеркнув при этом положительное значение коллективных усилий советских учёных, — всё это характерно для книги В. Баскакова. К этому надо добавить,

что «публицистические» приёмы, которыми пользуется автор, расправляясь с реакционерами разных мастей, не отличаются особым разнообразием и не достигают цели. В одной только последней главе книги мы читаем: «Дипломированные лакеи российского капитализма...», «дипломированные лакеи реакции...», «дипломированные лакеи царского самодержавия и буржуазии...», «отповедь дипломированным лакеям царизма...», «господствующие классы России и их дипломированные идеологи...», «дипломированные лакеи американско-английского империализма поднимают на щит размышления П. Сакулина» и т. д.

Одна из основных глав книги озаглавлена «Революционно-практическая деятельность Н. Г. Чернышевского». Пафос этой главы состоит в стремлении доказать, что Чернышевский возглавлял революционную подпольную организацию, которую он создал в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов и на которую опирался в подготовке всероссийского революционного восстания против самодержавия.

Вспрос о практической деятельности русских революционеров-шестидесятников, очень важный по существу и увлекательный для исследователя, до сих пор не может считаться окончательно решённым. Споры вокруг этого вопроса, разгоревшиеся в последние годы, а также новые материалы, сравнительно недавно вошедшие в научный обиход, несомненно, помогут делу. Пока же можно считать совершенно бесспорным, что Чернышевский, Добролюбов и их соратники, не ограничиваясь пропагандой в печати, на пороге шестидесятых годов практически приступили к конспиративной деятельности, к объединению вокруг «Современника» всех сил, способных к самоотверженной борьбе против старого порядка. Множество фактов и документов того времени, многочисленные намёки в письмах и в печати, воспоминания современников свидетельствуют о том, что Чернышевский, идейно возглавлявший революционное движение в России, уже предпринял первые шаги для организации революционного подполья. Размышляя об этом, нельзя не вспомнить о той пропаганде, которую вели деятели «Современника» в студенческих и военных кругах, об их связях с революционными эмигрантами — Герценом и Огарёвым, о выпуске смелых листовок и прокламаций, а также о многих

других обстоятельствах, показывающих, что подпольная антиправительственная деятельность шестидесятников, оборванная смертью Добролюбова и арестом Чернышевского, уже успела приобрести довольно широкий размах.

Если бы автор новой работы о Чернышевском видел свою задачу в собирании этих фактов и материалов (а в книге их приведено немало), в их марксистском освещении, то его труд мог бы оказаться плодотворным. К сожалению, В. Баскаков пошёл по другому пути: в соответствии со своим методом, который следует определить как стремление к «улучшению» или модернизации истории, он произвольно подгоняет факты под свою не менее произвольную схему. Когда фактов недостаёт, он заменяет их домыслами. Когда домыслы исчерпываются, он прибегает к глухим ссылкам на некую архивную «единицу хранения», будто бы таящую в себе никому неизвестные сведения о подпольной деятельности того или иного лица. Вот, например, на странице 198 сообщается, что полковник Лавров и возглавляемый им нелегальный кружок вербовали «в ряды революционного подполья передовых офицеров, подготовленных всем ходом освободительного движения (!) к тому, чтобы перейти на сторону народа». «Об этом свидетельствуют, — добавляет автор, — обнаруженные в последнее время в архивах новые документы». Какие же это документы? Автор не делает секрета из своих находок и тут же даёт их перечень:

«ЦГВИА. Формулярные списки о службе генералов и офицеров Михайловской артиллерийской академии и училища, ф. Михайловской артиллерийской академии и училища, № 310, ед. хр. 719, оп. I, 1860; ед. хр. 720, оп. I, 1861; ед. хр. 722, оп. I, 1862; ЦГВИА. Приказы по Михайловской артиллерийской академии и училищу, ед. хр. 47, оп. I, 1862; ЦГВИА. Список воспитанников училища, ед. хр. 4656, оп. I, 1860—63; ЦГВИА. Об отчислении из академии Ушакова, Воробьёва и Каплинского, ед. хр. 4971, оп. I, 1860; ...ЦГВИА. Об аресте полковника Лаврова, ед. хр. 5048, оп. I, 1861».

Всё это выглядит весьма солидно, и, разумеется, не всякому читателю придёт в голову усомниться в том, что перечисленные автором «новые документы» действительно содержат важные сведения о готовности передовых офицеров «перейти на сторону народа». Однако не будем слиш-

ком доверчивы и перелистаем вслед за автором архивные документы, хранящиеся в ЦГВИА, то есть в Центральном Государственном военно-историческом архиве. Увы, здесь нас ждут одни только разочарования.

Начать с того, что документы, обнаруженные, по словам В. Баскакова, только «в последнее время», на самом деле лежат на своём месте, в том же архиве, ещё с прошлого столетия — с тех пор, как они поступили сюда из Михайловской артиллерийской академии. Затем нам предстоит лишний раз убедиться в том, что «Формулярные списки о службе и достоинстве генералов и офицеров...» не содержат решительно никаких сведений о деятельности нелегальных кружков и революционного подполья. В этих толстых тетрадах, исписанных чётким почерком военного писаря и начисто лишённых всякой романтики, мы найдём лишь перечень чинов и должностей, занимаемых таким-то офицером, сведения о переходах его из одного полка в другой, о полученных им отличиях и «высочайших наградах». Между прочим, здесь можно узнать, что полковник Лавров «в 1861 году апреля 21 дня» был «всемиловнейше пожалован орденом св. Станислава 2 степени».

Что касается «Приказов» по Артиллерийской академии и училищу, на которые ссылается В. Баскаков, то и в них мы напрасно старались отыскать хотя бы следы каких-либо революционных вейаний. Да откуда им и быть в деловых распоряжениях начальника академии генерал-майора Платова? По его приказам можно составить представление о повседневной жизни старого военно-учебного заведения: зачисление на должность, установление жалованья, перевод из прапорщиков в подпоручики «за отличные успехи в науках», запрещение юнкерам курить в непопложенных местах, а также носить длинные волосы, определение формы одежды, регламентация личной жизни, о чём позволяет судить такой, например, приказ генерала Платова, датированный 22 января 1862 года: «...Разрешаю вступить в первый законный брак штатному сапожнику училища Евлампью Журавлёву с бывшей крепостной, ныне временно обязанной девушкой... Маврой Богдановой» Всё это по-своему любопытно, но при чём здесь нелегальный кружок Лаврова и где же завербованные им передовые офицеры?

С последней надеждой обращаемся мы к другим документам, указанным автором

книги. Действительно, в архивной описи фигурируют и «Список воспитанников училища», и дела «Об отчислении из академии...», и «Об арестовании полковника Лаврова и Об отчислении от училища» (оно неточно обозначено в книге В. Баскакова). Но беда в том, что эти документы известны только по описи, а сами они в ЦГВИА не сохранились. Их нет, и ссылаться на них можно только в двух случаях: или вовсе не заглянув в архив, или не преодолев желания любой ценой придать наукообразный вид своему сочинению. Впрочем, обе эти возможности легко могут сочетаться, с успехом дополняя одна другую. Необходимо подчеркнуть, что, не имея возможности изучить всю «архивную» деятельность В. Баскакова, мы взяли для проверки только одну страницу его книги.

Автор книги весьма непринуждённо оперирует понятиями: Петербургский центр, Петербургский революционный центр, тайный Петербургский центр, русское революционное подполье и т. п. От страницы к странице у читателя складывается впечатление, что в России будто бы существовала вполне сложившаяся, широко разветвлённая и образцово построённая организация во главе с Чернышевским, которая объединяла множество кружков, охватывала чуть ли не всю страну и вела самую интенсивную революционную деятельность. При этом автор по сути дела не ставит перед собой задачу выяснить действительную роль «Современника»; как известно, он был идейным центром революционного движения шестидесятых годов.

На странице 148 автор решительно утверждает, что «Чернышевский вместе с Добролюбовым, Михайловым, Шелгуновым, Сераковским, Н. Обручевым и другими своими сподвижниками в течение зимы 1860/61 года создал тайный Петербургский революционный центр». Столь ответственное заявление не подкреплено никакими ссылками, что вполне понятно, поскольку в архивных делах Шелгунова, Михайлова, Обручева и других нет указаний на их принадлежность к какой-либо революционной организации. Точно так же ещё не доказано документально создание подпольного Петербургского комитета студентов. Несмотря на это, автор, объёжив о существовании таких центров, в дальнейшем уже считает это неспоряющей истиной и

соответствующим образом приспособливает к ней все остальные факты и рассуждения.

Вместо того чтобы выдвигать научные гипотезы, искать аргументацию и подтверждать её фактами, автор прибегает к системе категорических, но бездоказательных утверждений. Многочисленные ссылки на архивы, создавая внушительную видимость, в действительности запутывают читателя, который не всегда может разобраться, где факт, а где домысел. В этом и заключается один из главных пороков книги В. Баскакова: на первый взгляд она подкупает читателя обилием привлечённых источников, мельканием множества имён, цитат, ссылок на архивы; по существу же на её страницах возникает во многом ложная, фальсифицированная картина революционно-подпольного движения шестидесятых годов.

Принципиальное пренебрежение к фактам, к точности сообщаемых сведений характерно для всей книги. Уже на первых её страницах можно узнать, что Чернышевский-мальчик «с огромным увлечением» читал сочинения Радищева. Автору хочется, чтобы его герой с юных лет познакомился с «Путешествием из Петербурга в Москву», это нужно для его дальнейших рассуждений. Однако в действительности не сохранилось никаких сведений о чтении Чернышевским этой книги в юные годы.

Для того чтобы обосновать свой тезис о необычайном размахе революционно-практической деятельности Чернышевского, В. Баскакову приходится превращать в революционеров всех окружавших его людей, а также искусственно революционизировать самый ход исторического развития. Подпольная деятельность Чернышевского не могла же зародиться на пустом месте; поэтому автору приходится говорить о «революционно-демократическом подполье» петрашевцев, а этих последних связывать с Радищевым, который тоже, оказывается, «предпринимал практические шаги по созданию революционного подполья». Когда же автор обращается к современникам Чернышевского, то здесь из-под его пера выходят открытия, поистине удивительные. Так, в его изображении поэт-петрашвец Плещеев, известный своей политической умеренностью, становится отважным революционером, правой рукой Чернышевского по подпольной работе. В книге он не раз называется «искусным конспиратором», «опытным революционером-конспиратором» и т. д.

Всё это далеко от исторической правды и свидетельствует о том, что автор смутно представляет себе реальный исторический облик тех людей, о которых пишет.

Что же это за метод, который толкает исследователя на столь эффектные преувеличения и позволяет ему открывать новые истины там, где другие решительно ничего не замечают? Этот метод называется вулгаризацией. Чтобы понять его существо, познакомимся ещё с комментариями В. Баскакова к воспоминаниям Плещеева. Поэт писал, что ещё в ссылке, прочитав статьи Чернышевского, он «почувствовал к нему бесконечное уважение и симпатию». Позднее, после личного знакомства, Плещеев был покорён его умом, «простотой и сердечностью», обрадован той поддержкой, которую оказал ему Чернышевский. И всё. Какой же вывод делает отсюда В. Баскаков? А вот какой: «На Плещеева Чернышевский с самого начала произвёл впечатление подлинного революционера, способного стать во главе грядущей русской революции».

По такому же принципу в книге конструируются многие другие факты, которые должны, по замыслу автора, характеризовать размах подпольной работы в России. По его словам, Добролюбов, выехав в 1860 году в Италию, «устанавливал связь с итальянскими революционерами». Откуда это известно? С какими именно революционерами? Можно ли в книге, претендующей на научное значение, так безапелляционно бросаться словами, не приводя ничего, что могло бы их подтвердить?

До сих пор мы знали, что студент Педагогического института Турчанинов принёс первую статью своего однокурсника Добролюбова к Чернышевскому, и с этого началось их знакомство. Под пером В. Баскакова этот общезвестный факт выглядит так: «В эти же годы Добролюбов и его сподвижники по нелегальному кружку установили через Н. П. Турчанинова тесную связь с Чернышевским, с участниками его кружка» (выше шла речь о революционном кружке Чернышевского). Это сообщение автор пытается подтвердить ссылкой на воспоминания студента Шемановского и приводит его слова: «...перед этим кружком мы благоговели». Кажется, всё хорошо. Однако, обратившись к воспоминаниям Шемановского о Добролюбове, мы читаем: «...он был вхож в литературный кружок Некрасова, Тургенева и Чернышевского, а перед этим кружком мы благоговели». Таким образом, у Ше-

мановского говорится не о подпольном кружке Чернышевского, а о литературном кружке «Современника», среди участников которого он называет Тургенева. Но что до этого вульгаризатору? Лишь бы упоминался кружок! Кстати, о Тургеневе. Ему явно не повезло в книге: в одном месте он без обвиняков отнесен к числу представителей крепостнической реакции, в другом — выступает как певец идеологии «дипломированных лакеев царизма».

В угоду своей тенденции автор книги идёт на многое. Известные последние строки знаменитой статьи Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?» он рассматривает как «прямой призыв к созданию руководящих кадров формировавшейся тайной организации». Это, конечно, прямая натяжка. В «тесную группу» «активных деятелей революционно-демократического подполья», сложившуюся вокруг Чернышевского, автор безговорочно включает и Благовестлова, и Елисеева, и других лиц, позиция которых даже в те годы отличалась умеренностью. Не видя различий между людьми, о которых он пишет, автор старается доказать, что Чернышевский «воспитывал из них настоящих вождей крестьянской революции, крупных руководителей боевого подполья России». О Писареве в книге говорится, что он «мастерски проводил через цензуру идею крестьянской революции, народного восстания», что, конечно, является преувеличением. Жена Чернышевского, Ольга Сократовна, торжественно названа его «сподвижником по революционному подполью».

В книге немало и других натяжек и ошибок, больших и малых. Упомянем одну из наиболее выразительных: на странице 263 приводится отрывок из Некрасовской поэмы «Коробейники» — «Песня убогого странника», в которой есть известный рефрен:

Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Эти стихи В. Баскаков почему-то называет «замечательными словами» Николая Успенского (не потому ли, что их цитирует Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?»), посвящённой Н. Успенскому?). По нашему мнению, это явный показатель самого откровенного невежества. Ведь стихи Некрасова известны любому школьнику.

Нельзя не сказать и о мелких неточностях, количество которых превосходит все мыслимые пределы. Так, на одной и той же странице (214) фигурируют А. С. Слеп-

цов и А. А. Слепцов, хотя это одно и то же лицо; то же самое происходит и с другими людьми. Г. Е. Благовестлов соседствует с Е. Благовестловым; рядом с В. Берви (Флеровским) упоминается Б. Берви (Флеровский); рядом с Г. С. Елисеевым — Г. З. Елисеев. И всё это на двух соседних страницах! Не знаем, как относятся к такого рода вещам в издательстве Академии наук, но нам кажется, что это — предел распушенности и неуважения к читателю.

У книги было три редактора: два от издательства — И. Ворошилин и Н. Кондаков и один ответственный — профессор В. Шульгин. И никто из них не счёл нужным обратить внимание на то, что текст буквально пестрит опечатками и разнообразными искажениями. А. С. Зелёный превратился в Зеленова, К. Хетагуров — в Хитогурова, П. Е. Щёголев — в Щеглова. Известный писатель Боборыкин восемь раз назван Бобрыкиным. На странице 733 среди «дипломированных идеологов» господствующих классов, между Бердяевым и Лосским появился таинственный Степуа (может быть, это Струве?). В разных местах и по-разному в книге искажены инициалы М. Л. Михайлова (стр. 64), Н. М. Чернышевской (стр. 68), А. Н. Пыпина (стр. 31), Н. П. Огарёва (стр. 175), Г. Е. Елисеева (стр. 214), А. А. Фета (стр. 688).

Можно было бы продлить этот скорбный перечень, свидетельствующий об откровенном неуважении к людям, о которых пишет автор, но июньский номер журнала «Звезда» освобождает нас от этой задачи: в заметке «О количестве, переходящем в качество» журнал дал свой список грубых фактических ошибок, допущенных В. Баскаковым. Не без внутреннего удовлетворения отмечаем, что наш список вполне оригинален, он ничуть не короче списка «Звезды» и, за исключением двух случаев, не повторяет тех «перлов», какие отмечены нашим предшественником. Если же найдутся ещё охотники писать о книге «Мировоззрение Чернышевского», то выражаем твёрдую уверенность: и на их долю осталось немало примеров.

Книга В. Баскакова претендует на всеобъемлющий охват теоретических взглядов великого мыслителя-революционера Чернышевского. Суждения критика даже по отдельным отраслям знания могли бы стать предметом специального исследования, тем более интересна попытка дать анализ его

взглядов на мир в целом. Миропознание Чернышевского—это мировоззрение учёного, оно является выработанной системой научных теорий, гипотез, связанных единством научно-философских принципов. Поэтому освещение его взглядов не может сводиться к фрагментарному изложению отдельных высказываний по отдельным вопросам. Между тем книга В. Баскакова построена именно по этому принципу: она не показывает единую систему воззрений Чернышевского. Вряд ли, например, можно считать правильным, что политические взгляды Чернышевского рассматриваются в 1-й главе в полном отрыве от его социологической теории, которой посвящена 4-я глава книги. Также неверно исследовать эстетику (глава 5) в отрыве от теории познания (глава 3): известно, что по классификации самого Чернышевского эстетика непосредственно примыкает к логике. В предисловии к третьему изданию диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский назвал «главными науками»: логику, эстетику, нравственную философию, общественную философию, философию истории. Вызывает недоумение отсутствие главы о нравственной философии, то есть этике; в книге не подвергнута анализу теория «разумного эгоизма», изложенная Чернышевским в работе «Антропологический принцип в философии», в экономических сочинениях и в романе «Что делать?». В отличие от западноевропейских просветителей, Чернышевский никогда не проповедовал мещанского идеала «среднего человека», «человека сорока эю»; из теории «разумного эгоизма» он делал революционные выводы, воспитывая Рахметовых. Словом, содержание работы В. Баскакова не соответствует её названию, а построение книги не отражает единства целостного мировоззрения русского революционера. Такое отступление в построении книги можно было бы оправдать, если бы оно делалось ради марксистского принципа построения, но и он в книге также не выдержан: мы уже говорили об отрыве политических взглядов от социологических.

Чернышевский начал свою философскую деятельность с блестящего опровержения идеализма Гегеля и утверждения объективной необходимости революционного развития общества. Проблема объективной необходимости и неизбежности революции была постоянной темой его размышлений, она определила революционный, а не созерца-

тельный характер его материализма, определила его интерес к практике человека и к тем категориям философии, разработка которых была разработкой идейных основ революции, в частности проблем закономерности, необходимости, случайности и свободы. В. Баскаков правильно делает, что в основной главе своей книги «Н. Г. Чернышевский — великий материалист и диалектик» большое место отводит рассмотрению некоторых из этих вопросов. Но как он это делает? К сожалению, тем же способом крайних преувеличений, вульгаризации и искажения действительных взглядов великого философа. Мы помним, что В. Баскаков не был удовлетворён реальной революционной деятельностью Чернышевского и превращал его в сверхконспиратора, а его родных и знакомых — в активных деятелей подполья. В. Баскакову кажется недостаточной и та научная разработка идейных основ революции, какую мы находим у Чернышевского; он стремится превратить его в сверхматериалиста и сверхдиалектика. В. Баскакову хочется, чтобы всё было в превосходной степени, даже если это приводит к явным несообразностям.

Но всё это ещё полбеды. Хуже обстоит дело, когда автор переходит к анализу самих взглядов Чернышевского на закономерность и необходимость, привлекая многочисленные цитаты из ранней статьи критика «Возвышенное и комическое».

Со школьной доверчивостью В. Баскаков принимает всякое слово в книге Чернышевского за мысли самого Чернышевского, за истину и материализм. Между тем способ изложения вопроса у Чернышевского в его первых статьях по эстетике состоит в том, что сначала он пересказывает господствующие «обыкновенные», то есть идеалистические понятия, причём с большой точностью передаёт концепцию немецких философов (по цензурным соображениям он не называет их по имени), опровергая не отдельные формулировки, а идеи и концепции; затем он переходит к критике идеалистических положений и к изложению своей точки зрения, которую аргументирует чрезвычайно конкретно, приводя примеры из разных сфер жизни. Не замечая этого, В. Баскаков вырывает из контекста отдельные цитаты, упуская из виду ход мыслей, концепцию в целом, и принимает рассуждения объективного идеалиста Гегеля за материалистические положения самого Чернышевского. Это случай крайне при-

скорбный, тем более, что речь идёт о таком важном вопросе, как учение Чернышевского об объективных законах действительности и категории необходимости.

Мы вынуждены привести длинную цитату из книги: «Подвергая решительной критике субъективных идеалистов-волютаристов¹, Чернышевский доказывал, что мир материален, что законы природы существуют независимо от воли людей и что во всём материальном мире царит строжайшая закономерность. «Весь мир, — пишет он в статье «Возвышенное и комическое», — составляет одно целое, и, действуя на известную часть природы, мы до некоторой степени имеем дело со всею природою, потому что все части вселенной связаны между собой так, что изменение одной влечёт за собой некоторое изменение во всех. Не так легко доказать эту связь на высших степенях жизни; но очень ясна она в природе неорганической. Приведём старинный пример. Я бросаю в реку камень; вода взволновывается, и во все стороны катятся по воде круги; они всё расширяются и делаются слабее, незаметнее для глаза, расширяясь... Таким образом, — резюмирует Чернышевский, — весь мир как одно целое стоит под законом, необходимо связывающим все части его. Но точно так же господствует неизбежный закон и в нравственном мире, и нравственный закон владычествует над всею человеческою жизнью». Развивая эти материалистические положения дальше, Чернышевский во второй главе своей работы писал... Мы не будем приводить вторую длинную цитату, которую выписал В. Баскаков, обратим только внимание на то, что приведённое рассуждение, будто «весь мир как одно целое стоит под законом» и в человеческой жизни «владычествует нравственный закон», В. Баскаков принимает за резюме самого Чернышевского и называет без всяких оговорок материалистическими.

На самом же деле Чернышевский думал иначе. Во втором разделе своей статьи «Возвышенное и комическое» он именно эти положения подверг конкретной критике. С цитаты, которая так понравилась В. Баскакову, Чернышевский начинает изложение идеалистических представлений немецкой эстетики о трагическом.

Суть идеалистического понимания проблемы трагического, которое и пересказывает Чернышевский, заключается в том, что столкновение человека с законом необходимости и с законом нравственным, который якобы «владычествует над всею человеческою жизнью», неизбежно кончается трагически, то есть гибелью человека. Необходимость, как фатальный рок, приводит вставшего борца к его гибели. Чернышевский приводит подробную аргументацию немецких идеалистов и свой пересказ заканчивает следующими словами: «...если мы не могли изложить всего так ясно, как нам хотелось бы, то, по крайней мере, не внесли ничего от себя в это изложение». Таким образом, Чернышевский утверждает, что он ничего не внёс от себя в чужое рассуждение, а В. Баскаков, не задумываясь, выдаёт это рассуждение за выражение взглядов русского революционного демократа.

В действительности Чернышевский отрицает фатальное «владычество» закона необходимости как в природе, так и в нравственной жизни людей, обращая внимание на объективное существование не только необходимости, но и случайности, и в так называемом конфликте человека с «законом необходимости» отводит решающую роль активной человеческой деятельности, практике. Он признаёт не только объективность необходимости, но и объективность случайности и утверждает активную борьбу человека за улучшение своей жизни. В противоположность идеалистическому пониманию трагического Чернышевский свою критику в статье «Возвышенное и комическое» резюмирует следующей мыслью: «...не идея необходимости пробуждается в нас зрелищем трагической участи человека». Это совсем другая мысль, не похожая на ту, которую выделил В. Баскаков в вышеприведённой цитате.

Выводы, к которым пришёл Чернышевский в статье «Возвышенное и комическое», повторены им почти текстуально, а многие аргументы развиты в знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Так получила развитие мысль об объективном характере случайности, введено понятие объективных исторических обстоятельств. Вопреки гегелевской трактовке трагического как проявления необходимости в природе, Чернышевский пишет: «Трагическое в борьбе с природою — случайность. Этим одним разрушается теория, выдающая в нём «закон вселенной». Та-

¹ Это неспроста, Чернышевский здесь сосредоточил внимание на критике объективного идеализма. — Л. Д. В. Ж.

ким образом, действительный вывод Чернышевского противоположен тому, что приписал ему В. Баскаков.

Сам Чернышевский придавал большое значение своей критике идеалистического понимания необходимости, потому что идея «владычества» необходимости и «нравственного закона» была тогда на вооружении реакции, которая все выступления против «царства законов» рассматривала как преступление, как трагическую вину. Этого-то и не заметил В. Баскаков! Чернышевский подвергает не только материалистической, но и революционной критике идеалистическое истолкование необходимости. Его мысль о роли практики человека доказывает не враждебность необходимости человеку, а объективную связь необходимости с практикой человека. Более того, Чернышевский приводит множество примеров практического преодоления человеком враждебности законов природы и общественной жизни, показывает «счастливую борьбу», «удачу и успех» от «предусмотрительности», неизбежность и необходимость успеха в борьбе, если учтены все «обстоятельства». «И не правда ли, что если приняты все нужные предосторожности, то почти всегда дело кончается счастливо?» — замечает Чернышевский; революционный характер его рассуждения очевиден.

Таким образом, действительные взгляды Чернышевского на характер и роль объективной закономерности и необходимости ничего общего не имеют с содержанием того отрывка, который привёл В. Баскаков. Из самой сути революционной концепции Чернышевского вытекает то, что он не мог разделять взгляда на «владычество» во всей жизни «строжайшей» необходимости и неведомого «нравственного закона». А исследователь философских взглядов русского материалиста приписывает ему утверждения, против которых Чернышевский выступал неоднократно в разных своих сочинениях, возвращаясь вновь и вновь к вопросу о «владычестве» объективного закона необходимости, считая свою критику очень важной для многих наук и даже для обиходной жизни. Доктор философии принял типичные утверждения идеалистической немецкой эстетики за материалистические положения философии Чернышевского!

Такую же ошибку делает автор и при рассмотрении вопроса о познаваемости законов природы, где снова спутан идеалист Гегель с материалистом Чернышев-

ским. Он вновь приводит длинную цитату из той же работы «Возвышенное и комическое» для доказательства, вернее для иллюстрации мысли о том, что Чернышевский признаёт познаваемость законов природы и «применение» их в интересах человека. Цитата трижды прерывается многоточием. Сравнивая её с подлинным текстом, обнаруживаем не только полный произвол в её составлении, но и вновь смешение взглядов Чернышевского и немецких философов. Так, первая часть цитаты взята со страницы 162 (Полное собрание сочинений, т. II), где излагаются идеалистические понятия о возвышенном, продолжение цитаты извлечено со страницы 165 (то есть через три страницы), где речь идёт уже о трагическом в типично идеалистическом толковании «конфликта» человека с нравственным законом и законом необходимости, причём автор пропускает в приведённой фразе слова «нравственный закон» и тем самым совершенно меняет мысль философа. Наконец, заключительные строки этой злополучной цитаты взяты со страницы 170 (то есть спустя ещё пять страниц!), на которой Чернышевский даёт критику гегелевскому пониманию бесконечности. Гегель, Чернышевский, идеализм, материализм, возвышенное, необходимость, бесконечное... всё смешалось. Девять страниц текста, охватывающего три проблемы, превращены в одну цитату из двадцати пяти строк для иллюстрации совсем другой мысли — о «применении» законов природы человеком, — которую Чернышевский здесь специально и не рассматривает. Можно ли это назвать цитированием? Скорее — это произвольное сочинительство!

Вместе с тем, рассматривая такой важный для теории познания вопрос, как проблема объективности законов действительности, их познание и их «применение», В. Баскаков ограничивается анализом лишь ранних эстетических работ мыслителя и оставляет в стороне те труды, где проблема закономерности освещается применительно к общественной жизни, где Чернышевский поднимается не только до «разоблачения» вульгарных эклектиков, о чём пишет автор, но и до критики самой действительности буржуазного общества и разрабатывает проблему необходимости и свободы. Вспомним хотя бы блестящую диалектику материалистического анализа буржуазной теории *laissez faire, laissez passer* в статье «Экономическая деятельность и законода-

тельство», где Чернышевский вскрывает объективную диалектику необходимости и свободы. Но это осталось вне поля зрения В. Баскакова.

Произвольное сочинительство цитат привело, как видим, к печальным результатам — к выхолащиванию революционного содержания из философского учения великого мыслителя. В. Баскаков обеднил, а в некоторых отношениях искажил действительные взгляды Чернышевского как раз на те категории материалистической философии, которые имели непосредственное отношение к выработке революционного сознания и теоретическому обоснованию неизбежности революционного движения крестьянских масс.

Теперь обратимся к вопросу об антропологическом характере материализма Чернышевского и его истолкованию в книге В. Баскакова. В разделе «Борьба Н. Г. Чернышевского за материалистическую теорию познания», кратко сказав об основном вопросе философии — отношении мышления к материи, повторив оценку В. И. Ленина и его высказывания о борьбе Чернышевского с агностицизмом, В. Баскаков сосредоточил внимание на «вопросе о происхождении сущности (?) человеческого сознания» (формулировка проблемы принадлежит В. Баскакову), полагая, что Чернышевский «в своих произведениях, особенно в «Антропологическом принципе в философии», подробно прослеживает процесс возникновения и развития сознания человека».

Крупнейшей научной заслугой Чернышевского в этой области автор считает то, что «он сумел оценить значение дарвиновского учения... сумел использовать дарвинизм»... Мы не будем подробно останавливаться на вопросе о действительном отношении Чернышевского к Дарвину, это дело специалистов. Здесь мы только отметим факт почти одновременного появления «Происхождения видов» Дарвина (ноябрь, 1859) и «Антропологического принципа в философии» (апрель, май 1860), то есть отметим практическую невозможность «использования» дарвинизма Чернышевским в этой работе.

Теперь по существу. Антропологический материализм был первой последовательной системой в истории философии, которая на основе научных данных естествознания, а не отдельных хотя бы и гениальных догадок (Толанд, Дидро) подвергла критике не только религиозные и идеалистические воззрения на человека и происхождение его

сознания, но вскрыла несостоятельность идеистических и дуалистических теорий, широко распространённых в XVIII веке. Антропологический материализм первый показал недостаточность механистического и математического объяснения природы («Отвлечённое математическое сравнение не есть взгляд действительной жизни», — говорит Чернышевский), и это было важной ступенью в преодолении метафизичности материализма, ибо до Фейербаха и русских революционных демократов критикой механицизма занималась философия. Чернышевский сделал ещё один крупный шаг по пути преодоления метафизичности материализма XVII—XVIII веков, признав практику человека критерием познания, и в критике идеалистической диалектики необходимости и свободы подчеркнул преобразующую роль практики по отношению к объективной природе.

Механистическому материализму это было недоступно, так как вопрос о практике неизбежно связан с вопросом о субъекте, о человеке; для этого нужно было освободить понятие человека от идеалистических и религиозных представлений. Именно эту работу и сделали антропологические материалисты, провозгласив необходимость познания «реального человека» и его деятельности. Однако в «реальном человеке» антропологические материалисты не заметили его главной специфической особенности — его общественной сущности, не поняли ограниченности естественно-научного объяснения человека и общественной жизни людей, не поняли сути и роли общественных наук. Революционный переворот в этой области сделал марксизм, утвердивший понимание человека как «совокупности общественных отношений».

Для того чтобы исследовать особое место теории Чернышевского в антропологическом материализме, необходимо привлечь к рассмотрению его общественные взгляды, от которых, по выражению Ленина, веет духом классовой борьбы и где великий революционер во многом преодолевает узость антропологического принципа. Однако автор книги «Мировоззрение Чернышевского» в конкретном анализе пошёл по другому пути, то есть обычному для него пути препарирования цитат, на этот раз не только из Чернышевского, но и из классиков марксизма. Автор поставил целью доказать «совпадение» взглядов Чернышевского и классиков

марксизма, в особенности Энгельса, по вопросу о происхождении и развитии сознания, то есть как раз по такому вопросу, где «совпадения» между антропологическим и диалектическим материализмом быть не может.

В. Баскаков считает достоинством антропологического материализма идеи естественного происхождения человеческого сознания, общности психической деятельности животных и человека, способности высших животных сознательно отражать окружающий их мир. Автор книги пишет: «Великий русский материалист и диалектик Чернышевский с неопровержимой убедительностью доказывал, что высшим животным, у которых есть центральная нервная система, присущи ощущение, память, представление, примитивное мышление, что они обладают способностью в той или иной степени сознательно отражать окружающий их мир. В этом отношении Чернышевский близко подошёл к взгляду Энгельса». В другом месте он утверждает, что «сознание — это естественная способность организмов, обладающих центральной нервной системой», и считает подобного рода мысли не только «близкими», но даже «совпадающими» с мыслями Энгельса. О «близости» и «совпадении» в этом вопросе антропологического и диалектического материализма говорится также в ряде других мест этой главы.

В. Баскаков сопоставляет высказывания Чернышевского о наличии у животных умственных способностей, фантазии, идальных чувств в «Антропологическом принципе в философии» с фрагментом Энгельса из «Диалектики природы», с положениями его статьи «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Но автор книги нарочито выбрасывает из концепции обоих мыслителей всё, что не совпадает, противоречит друг другу. Своим обычным способом произвольного составления цитат В. Баскаков из четырёх страниц текста Чернышевского (Сочинения, т. VII, стр. 276—279), только дважды разбитого многоточием, изготавил одну цитату в одну страницу (стр. 520—521), которая должна доказать наличие «общей» у человека и у животных сознательной психической деятельности. В этом тексте исключено рассуждение Чернышевского о фантазии у животных и о способности собаки строить силлогизм, то есть исключены ошибочные положения Черны-

шевского. В. Баскаков «улучшил» Чернышевского.

Так же произвольно цитирует автор и Энгельса, из высказываний которого исключены места, подчёркивающие качественное отличие сознания человека от способности к планомерным и преднамеренным действиям животного. Так исключена следующая фраза из фрагмента Энгельса: «Наоборот, диалектическое мышление — именно потому, что оно имеет своей предпосылкой исследование природы самих понятий, — возможно только для человека...»; из другой поддержки, где Энгельс говорит о планомерности действия у животных, выброшено заключение: «Но все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек». Здесь В. Баскаков «ухудшил» Энгельса.

Так «улучшением» Чернышевского и «ухудшением» Энгельса наш исследователь добился «совпадения» между взглядами Энгельса и Чернышевского, то есть совпадения марксизма с антропологическим материализмом как раз в том вопросе — в учении о человеке и сознании, — где на самом деле существует расхождение между ними. Антропологический материализм не улавливает качественного различия между инстинктами животных и возникающими на их основе условнорефлекторными связями и мышлением человека, которое реализуется в языке. Этот момент — язык, как и общественные производственные отношения, обуславливающие происхождение и развитие сознания, остаются вне поля зрения антропологического материализма. Оговорки, которые делает автор книги о «недостаточной зрелости» взглядов Чернышевского и «недостаточной чёткости формулировок», не затрагивают существа вопроса и не касаются противоречий самого антропологического принципа. Гораздо уместнее было бы отметить заслуги Чернышевского как учёного-новатора, во многом преодолевшего противоречия антропологического материализма.

«Совпадения» взглядов Маркса и Энгельса со взглядами Чернышевского В. Баскаков увидел и в оценке политической экономии Дж. Ст. Милля и в оценке Дарвина, что, как известно, абсолютно не соответствует действительности.

Забыв обязанности марксистского исследователя — подходить к проблеме с точки зрения материалистической теории отраже-

нии.— В. Баскаков приписывает Чернышевскому такие взгляды, которые сейчас и в советской науке ещё требуют разработки и экспериментального изучения. Так он утверждает, что Чернышевский «ещё в прошлом веке предвидел» космогоническую гипотезу О. Ю. Шмидта, подверг «резкой критике... теорию внутривидовой борьбы», «отверг метафизическую клеточную теорию Вирхова», «один из первых в мировой науке выдвинул положение о развитии внеклеточных форм жизни». Чернышевский, в изображении В. Баскакова, уже в прошлом веке был мичуринцем, он нередко «высказывал положения, близкие идеям мичуринской биологической науки». Если к этому ещё прибавить, что Чернышевский был и «противником культа личности», то можно сказать, что философия Чернышевского не только «совпадает» с философией классиков марксизма-ленинизма, но вполне «созвучна» решениям XX съезда КПСС.

Модернизация деятельности и взглядов Чернышевского доведена в книге В. Баскакова до предела. Естественно, что в свете такой гиперболической модернизации конкретный историзм, отличающий советскую науку, рассматривающую мировоззре-

ние Чернышевского с позиций ленинской теории отражения, то есть в исторических условиях классовой борьбы XIX века, кажется автору чуть ли не святотатством. Но, как известно, модернизация никогда не была методом марксистского исследования.

После XX съезда КПСС в партийной и научной печати справедливо подверглись критике такие приёмы научной работы, когда искажаются архивные документы, утаиваются факты, сочиняются теории, которые не только не подтверждены практикой, но прямо ей противоречат, а иногда даже ложно её освещают. Борьба за историческую и научную истину особенно развернулась в области истории партии и советского общества. Но подобные приёмы встречаются не только в исторической науке, они проникли и в область философии и в литературоведение, что как нельзя лучше подтверждает самый факт появления книги В. Баскакова. Недостатки этой книги вышли за рамки частных погрешностей. Она является как бы сгустком, концентратом указанных выше отрицательных моментов, и сказать об этом необходимо полным голосом, со всей прямотой.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Лев Славин. Большое в малом.—**Г. Владимов.** Тридцать три дня в Америке.—**Мих. Брагин.** Биография героя.—**Юрий Яновлев.** Для детей и для взрослых.—**А. Берестов.** Плохая книга о досуге рабочего человека.—**В. Афанасьев.** Новый библиографический справочник.—**Радий Фиш.** Поэзия Орхана Велли.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Полковник **С. Козлов.** Неполноценный труд о великой победе.—Кандидат геолого-минералогических наук **И. Батюшкова.** Отец русской геологии.—**Сергей Марнов.** Следопыт Дальнего Востока.—Доктор исторических наук профессор **Н. Воронин.** Открытия советских археологов.—**Ю. Ефремов.** Природа Северо-Восточного Китая.

Литература и искусство

Большое в малом

Меред нами книга повестей и рассказов А. Письменного за много лет. Она в какой-то степени представляет творческий путь писателя, работающего в литературе свыше двух десятилетий, хотя на книге отсутствует обычный в таких случаях заголовок: «Избранное». Сборник А. Письменного принял название наиболее крупной его повести: «В маленьком городе».

Любопытно, что город в ней почти и не виден. Рядом с городом обширное промышленное предприятие. Здесь-то по преимуществу и протекает действие повести. А городок Косьва прикорнул в тени огромного комбината, под его крылом.

Стало быть, повесть озаглавлена неправильно? Значит, не «В маленьком городе», а «На большом заводе» — вот как надо было назвать её? Нет, такое заглавие, пожалуй, било бы мимо цели. Ведь именно из тесного соседства великана-завода и карлика-города рождается своеобразная атмосфера жизни, изображённой в повести.

Такое соседство, кстати сказать, — явление не только не исключительное, а, напротив, характерное для иных районов нашей стра-

ны. В глухих, дотоле безвестных углах, в горном либо таёжном захолустье встают гиганты индустрии и вскоре становятся центрами просвещения для всей округи, обрастая учебными заведениями, дворцами культуры, стадионами, библиотеками, — словом, всем тем, что неизбежно возникает в местах скопления больших человеческих масс.

Вариант этого положения, развитый в повести А. Письменного, имеет некоторые особенности. Когда-то городок Косьва и соседствующий завод были равны. Завод древний. Происхождение его восходит едва ли не к истокам русской металлургии. Столетиями он оставался в сущности большой кузницей. Его преобразование началось в советское время, с началом индустриализации страны, и рядом с цехами, оснащёнными новейшей техникой, можно встретить цех, в котором «...стан до сих пор работает на воде. Как при Екатерине, честное слово!».

Это тоже окрашивает по-особенному повесть А. Письменного.

Обширный мир завода раскрывается перед читателем постепенно. Он видит его глазами вновь назначенного инженера Муравьёва. Этот приём даёт возможность последовательно ознакомиться со сложной

обстановкой повести. Завод в прорыве. Борьба за выполнение плана — главная двигательная сила сюжета.

Сумел ли А. Письменный внести что-нибудь свежее в эту ситуацию, обильно использованную в нашей литературе?

Нам хотелось бы прежде всего отметить, что повесть эта свободна от двух злосчастных ошибок, источниками которых является либо недостаточное освоение материала писателем, либо отсутствие гражданской смелости.

Первая из этих ошибок заключается в искусственном обособлении технических проблем от душевной жизни героев. Вторая, противоположная, — в том, что эмоциональная жизнь героев витает в некоем абстрактном и вымышленном мире.

Удача повести А. Письменного — в правдивом, натуральном соотношении людей и мира, в котором они действуют. Одни персонажи находятся в гармонии с окружающей обстановкой. Таков, например, в высшей степени удавшийся автору инженер Соколовский, человек земной и возвышенный, под внешней прозаичностью которого живёт нежная, благородная душа. В этой же группе сталевары Севастьянов и Шандорин, Марья Давыдовна — любопытный тип общественной деятельницы.

Другие персонажи жизненным поведением своим спорят с окружающим их миром, как, например, инженер Муравьёв, поменявший столицу на Косьву из-за неудачно (по его же вине) сложившейся семейной жизни. Или томящаяся «барынька» Вера Михайловна. Или инженер Подпалов, который «работал в Косье уже четвёртый год, но считал себя москвичом, человеком в Косье временным. Его жена, Зинаида Сергеевна, всё время оставалась в Москве — сторожить квартиру».

Краски повести тонки. Здесь действуют не ангело- и демоноподобные существа, а живые люди со страстями, слабостями, падениями, возвышенными порывами.

Не совсем понятно, почему А. Письменный назвал своё произведение повестью, а не романом. Это, конечно, роман — с широкой картиной нравов, сложным переплетением человеческих судеб, со ступенчатой интригой, с несколькими сюжетными линиями. А то, что он невелик по объёму, говорит только об умении автора сказать многое немногими словами.

А. Письменный обладает даром увлекательного рассказчика. Его манере присуща особая интимная интонация, добрая и умная усмешка, с первых же страниц создающая контакт между писателем и читателем.

Ощущение правды возникает из множества метких деталей, а главное, из острых и живых образов.

Герои повести Письменного — это наши знакомые, соседи, друзья, враги, родственники, сослуживцы, это мы сами. Вот почему они так близки нам, и с такой заинтересованностью следим мы за их судьбами. И даже то, что «В маленьком городе» всё кончается хорошо — к Муравьёву приходит сознание вины в разладе своей семейной жизни, в пошловатой Вере Михайловне возобладало в конце концов влечение к чистой и деятельной жизни, жёны возвращаются к мужьям, завод преодолевает своё отставание, москвичи становятся патриотами «маленького города» и т. д. — такое завершение судеб не выглядит нарочитым благодаря убедительной естественности, с какой развивается повествование.

Благополучный конец имеет одно исключение: потерпела крах Катя Севастьянова, знатная шлифовщица завода, инициатор движения за шлифовку без наладчиков. Но этот крах воспринимается как справедливое возмездие, ибо всё это «движение» и самая «знатность» Кати были состряпаны и искусственно раздуты заводскими бюрократами и карьеристами.

Яркая галерея образов не без пробелов: для изображения секретаря парторганизации Лукина автор не нашёл характеристических черт, а ограничился чисто внешним описанием.

Свойственный А. Письменному дар художественного лаконизма сказывается в ёмком и выразительном пейзаже повести. Превосходна глава, описывающая мальчиков Бору и Витю на рыбной ловле, или, например, описание грозы.

Местами всё же в повести ощущается некоторое «полногласие», чрезмерная детализация, например, в многочисленных описаниях завтраков и обедов, в распространённости диалогов. Думается, что порой А. Письменный недостаточно даёт воли своему дару энергичного изображения, а подчас излишне настаивает на неподвижных описаниях, нередко хороших, но сообщаящих повествованию вялость.

Однако просчётов этих в повести немного, и они мало уменьшают значение её проблематики и изобразительную её силу.

Небольшая повесть «Край земли» написана на материале Великой Отечественной войны. Край земли — это передний край фронта, где и разыгрывается действие повести.

А. Письменный любит «сшибать» контрастные положения. Само по себе это ни хорошо и ни плохо. Это может быть признаком силы, порождая острую манеру письма, выразительную игру светом и тенью, но и признаком слабости, приводя к вычурности, к манерничанью.

Любопытно, что Письменный свободен от того и от другого. В первой повести он выводит огромный завод рядом с маленьким городом. Во второй — сопоставляет грозную боевую обстановку с устойчивым солдатским бытом. Но — удивительный автор! — он скоро сам забывает о им же привлечённых контрастах. Его манят не эффекты композиции, не хитросплетения сюжета, а душа человека, столкновение характеров. Для этого, в сущности, и понадобился А. Письменному оригинальный сюжет, найденный им для повести «Край земли». А сюжет действительно не затронут в нашей довольно обильной военно-художественной литературе. Это будничная быт группы воинов, составляющих расчёт кочующей пушки.

Как и первая повесть, «Край земли» изобилует меткими характеристиками и поэтическими пейзажами. Но и здесь автору иногда изменяет его обычная лаконичная манера письма, в повести есть грех растянутости. В частности, описывая людей, автор с ненужной обстоятельностью приводит их распространённые биографии. Конечно, автор должен знать «личное дело» каждого из своих героев, но стоит ли все эти «дела» вводить в повествование?

Вторая половина сборника Александра Письменного занята рассказами разных лет. Лучший из них, на наш взгляд, — «Через три года».

Передать содержание его и легко и трудно. Легко потому, что рассказ занимает всего семь страниц. Трудно потому, что сила его не в сюжете, а в тончайшей нюансировке душевных движений.

Инженер Ольга Игнатьевна приезжает по делу на строительные карьеры. Ею овладевают воспоминания: три года назад

ещё студенткой она проходила здесь практику. Высокий, неуклюжий, большерукий парторг Никитин тогда влюбился в неё. Сейчас она, уже замужняя женщина, приходит по делу к секретарю райкома. Это, оказывается, тот же Никитин. Происходит деловой разговор. На столе у Никитина её фотография... Разговор закончен. Она уходит. Всё.

Рассказ написан с пронзительной лирической силой. Все три героя его — Ольга, Никитин, его мать — восхищают, вызывают раздумье. Думается, что в этом рассказе наиболее полно проявились лучшие свойства таланта Письменного: деятельная любовь к человеку, зоркость глаза, тонкий лиризм и та умная сдержанность, которая называется чувством меры.

Теми же качествами отличается рассказ «Цыганский барон» — о двух директорах рудников: Горкунове и Попереченко. Горкунов дельный работник. Попереченко... Но тут мы передаём слово автору:

«У письменного стола, крытого рыжим сукном, стояли кожаные мягкие кресла. Баскаков с удивлением заметил, что часть пуговок в глубоких стяжках и на диване и на креслах были не кожаные, а красноармейские, металлические, с серпом и молотом, аккуратно пришитые вместо оторвавшихся. Он усмехнулся. Он узнал Попереченко: аккуратность по пустякам».

Вот счастливо найденная деталь! Для сравнения приведём другую из рассказа «Молния», остроумного, со свежим поворотом сюжета, но уступающего «Цыганскому барону» по глубине постижения характеров.

Описывая инженера Стороженко, автор замечает, что это был «человек с таким длинным лицом, что телефонная трубка была коротка ему». Деталь наглядная, но чисто внешняя. Образность, построенная на уподоблении одних объектов другим по принципу поверхностного сходства, всегда грозит впадением в манерное оригинальничанье, в эксцентризизм. К счастью, для Письменного это не характерно.

Говорят, что наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Это соображение вспоминается, когда читаешь рассказы «Кочевник» и «Васька и Василий Васильевич». Сдержанность, столь пленявшая нас в рассказе «Через три года», в этих двух рассказах становится чрезмерной. Из-за этого «Кочевник» производит впечатле-

ние даже и не рассказа ещё, а только сюжета с обильными заготовками ещё не оживших деталей.

В рассказе «Васька и Василий Васильевич» немало счастливых находок и ярких деталей. Но и здесь «перебор» в сдержанности, из-за чего рассказ кажется «недоразвитым». Он полон хороших чувств, но люди, носители этих чувств, как будто без лиц. Это напоминает эскиз к картине: идея произведения уже существует на полотне — в расстановке фигур, в их движении, в их сочетании, но вместо лиц покуда пустые, ещё не заполненные овалы.

Все вещи в этой книге Письменного датированы. Нам кажется, что в рассказах сороковых годов автор утрирует свойственную ему значительность темы. Она мельчает, и мастерство Александра Письменного повисает в воздухе. Кризис этот как будто начинает преодолеваться им в последнем рассказе, «Память об Унгорянах», где замечательный образ молдаванина Грассу искупает некоторую искусственность сюжета.

Но хоть не все повести и рассказы А. Письменного достигают законченности рассказа «Через три года», в целом книга его — произведение вдумчивого и разностороннего писателя.

При внешней скромности средств изобразительная сила его искусства так убедительна, что у вас не остаётся никакого сомнения в том, что люди и жизненная обстановка именно таковы, какими представил их перед вами автор. Вам близок инженер Соколовский, немного смешной, по-своему

сильный и при всех своих странностях такой земной и милый. Очерченный несколькими штрихами, неотступно стоит перед вашими глазами секретарь райкома Никитин, человек большого сердца, полный сдержанного драматизма и душевного обаяния С поразительной меткостью разоблачён бесплодный хлопотун — директор Попереченко, черты которого вы не однажды узнаете в разных людях. Заключённая в этих образах правда чувств — это тот фермент жизненности, который сообщает большинству произведений А. Письменного глубину и, я сказал бы, дальнбойность во времени.

И тут уместно задать вопрос: почему этот незаурядный писатель в течение многих лет пребывает на периферии внимания нашей критики? Да один ли он? Книжный рынок наш перенасыщен сравнительно немногими, автоматически переиздающимися произведениями. А прожектора критики в течение многих лет неподвижны и упорно обращены лишь на некоторые имена. охотно купающиеся в их услужливых лучах.

Это может породить ложное впечатление об узости и однообразии нашей литературы, которая гораздо богаче, чем это может показаться по довольно тощей «обойме» имён, неизменно перекочёвывающей из одной критической статьи в другую. Да, литература наша намного богаче и шире — и количественно и качественно. Творчество Александра Письменного — одно из доказательств этого.

Лев СЛАВИН.

★

Тридцать три дня в Америке

Не зная вплотную ни Америки, ни американцев, я опасаясь судить о том, насколько новы и занимательны «Американские дневники» Бориса Полевого для читателя, обладающего этим несомненным преимуществом. Будь это книга о нравах и обычаях страны, о её характерных типах и чертах быта, я мог бы оценить её разве что сравнительно с «Одноэтажной Америкой» Ильфа и Петрова или другими попытками обрисовать заокеанский уклад.

Но задачи всестороннего исследования

«американского образа жизни» делегация журналистов, видимо, перед собой не ставила и не могла поставить. Для этого их путешествие было слишком ограничено: сроком, маршрутом и Фрэнком Клокхуном. Первые два были утверждены заранее Госдепартаментом Соединённых Штатов, третий — по единодушному свидетельству всех семерых — «старательно показывал нам лучшее в Америке, и мы ему благодарны за это. Столь же старательно он загораживал от нас худшее. И мы на него за это не сердимся». Первый же шаг делегации был не шагом исследования, а шагом дружелюбия: они согласились

Борис Полевой. Американские дневники. Журнал «Октябрь» №№ 2, 3, 4 за 1956 год.

смотреть «всё лучшее в Америке, всё, чем гордятся сами американцы». Они пошли на это тем охотнее, что настоящую их задачу не могли расстроить ни предупредительность Госдепартамента, ни старательность Фрэнка Клокхуна. Делегация пересекла океан, чтобы узнать и написать о том, чем дышит, живёт и о чём думает сегодня новая Америка, вновь открываемая после долгих и тяжких лет «холодной войны».

Самая форма «Дневников» привязана целиком к событиям дня. Это не очерк и не серия статей, — надобно быть семи пядей во лбу, чтобы, не видев Хемингуэя, переговорив немного с Альбертом Каном и наскоро погостив у Говарда Фаста, написать статью о путях и дорогах современной американской литературы или, окинув торопливым взором кипение и бурление нью-йоркской биржи, делать прогнозы на завтрашний день американской экономики. При таких темпах путешествия похвальное стремление к цельности и завершенности чревато неиссякаемыми лирическими отступлениями и нещадной эксплуатацией авторской фантазии. Но читателя в данном случае больше интересуют факты и выводы из фактов, его жажде познаний скорее ответит живой отчет о пережитом за день, дневниковая запись по горячим следам.

Это и легче и труднее. Легче потому, что для той задачи, какую поставили себе делегация и автор «Дневников», вполне достаточно тридцати трёх дней, любого маршрута и любого спутника, говорящего по-английски и по-русски. Труднее потому, что бесхитростная дневниковая запись, если она не хочет превратиться в бесхитростное разезание рта перед диковинками, требует умения не только смотреть, но и видеть. Плюс к тому, она требует собственного взгляда на вещи, достаточно широкого, любознательного и непредвзятого, а всё это вместе, вероятно, и называется объективностью. Надо признаться, эти достоинства присущи автору «Дневников». Он умеет наблюдать и делать выводы из наблюдений, даже когда показывают одни парадные подъезды. Он отдаёт должное и последнему слову гадательной техники — «слот-машине», в которую несколько американцев «добросовестно, с обречённым видом опускали.. различную мелочь, но так ничего и не добились», и тому, как в Нью-Йорке, «около нескольких магазинов, бродили бедняги **с посиневшими от холода лицами и картон-**

ными плакатиками на спинах. На плакатах было написано: нам здесь мало платят, не покупайте, пожалуйста, в этом магазине». Он наконец заходит и в парадные подъезды и видит в них не предусмотренное ни маршрутом, ни Фрэнком Клокхуном. Индейскую резервацию журналистам не показали, отсюда это, повидимому, к худшим сторонам американской жизни. Уже из этого можно было заключить, каково живётся аборигенам материка. Но есть вещи, которыми гордятся сами американцы. Они гордятся прекрасным устройством выставки, на которой эти аборигены живут в загонах с надписями и выставлены на обозрение в качестве живых этнографических экспонатов. Они гордятся «бескорыстным и человеколюбивым» разрешением индейской проблемы и на вопрос, чем живут эти люди в резервациях, отвечают с хорошо скрываемой скромностью:

— Как чем? Разве вам не говорили, что их кормит правительство!

И гость из России именно после этого произносит свою окончательную и горестную сентенцию: «Кормит! Какое это страшное дело для гордого, талантливого народа, благородство, мужество, изобретательность которого засвидетельствованы лучшими американскими литераторами многих поколений, жить вот так, на подачки, с колыбели и до могилы чувствовать себя иждивенцем, рождать и воспитывать иждивенцев». Предусмотрительный Госдепартамент едва ли предполагал, что его программа расстроится не от излишнего любопытства экскурсантов, а от простого несходства взглядов, от того, что иное лучшее для хозяина покажется худшим гостю. Самая жизнь, что кипит на улицах, врывается в гостиничные номера и окна автомобилей, вынуждает последнего пристально вглядываться в окружающее. Это тем более необходимо, что и хозяева относятся по-разному к сюрпризам своей программы. Эдмунд Миронович Глен, маленький служащий Госдепартамента, находит вполне приемлемым и даже считает выражением свободного демократического мнения безобразное «пикетирование» гостиницы и сотрясение воздуха надсадными воплями — плакаты с надписями: «Иван, убирайся домой!» Но мистер Итон, миллионер, смотрит на дело иначе: «Нет, нет, это не Америка! Настоящая Америка, джентльмены, стыдится таких штук, настоящая Америка говорит: приветствую тебя, чужестранец!»

Трудное это дело для чужестранца — понять, что такое «настоящая Америка». Лучшее в его положении — остаться самим собой, гражданином своей земли, и при этом не забывать, что ты в гостях, уважать обычаи чужого дома, стремиться к общему языку и ценить любезность и время показывающих тебе своё добро. Страницы «Дневников» отмечены именно такой интонацией. И несмотря на это, а может быть благодаря этому, картина не делается плоскостной, фигуры не теряют объёмности, а тон приобретает самые разнообразные оттенки. Он делается уважительно-дружелюбным при описании Грейс Келли — кинозвезды «первой величины», в которой автор сумел увидеть «девушку-труженицу, простую и, несомненно, одарённую», добродушно-насмешливым применительно к взбалмошному сенатору О'Магони, иронически вежливым в изображении пророка мормонов, который в делах мирских придерживается позиции Даллеса насчёт свободного неба, наконец, просто любопытствующим в портретах тех личностей, относительно которых автор «Дневников» не успеваешь или ещё не решается делать выводы. Надо отдать ему справедливость, он предельно тактичен при расстановке всех описываемых фигур. Америка предстаёт его глазам в смятении её общественного духа, в сложном переплетении индивидуальных судеб, в «переслоении» социальных групп. Нет ничего проще, чем обозвать мистера Итона эксплуататором и буржуем, а скромного механика фордовского конвейера причислить к лику безукоризненных пролетариев. Но дело в том, что механик держит одну-две акции, считает себя по этой причине совладельцем и компаньоном Форда и верует в модный «демократический капитализм» истовее своего хозяина. Дело в том, что туз и король Сайрус Итон выдвигает замечательный лозунг: «...обмениваться быками куда лучше, чем атомными бомбами» — и предлагает тост за широту взглядов. Дело в том, что Джон Джекобс, фермер, у которого восемь батраков-ковбэев обслуживают две тысячи телят, охотно готов помочь своим опытом развитию животноводства на наших целинных землях и свой досуг посвящает деятельной пропаганде мира. Дело наконец в том, что Америка в данном случае чертовски сложна, многопланова, многогранна и контрастна, — это та Америка, которая развяжет войну

или не развяжет, согласится торговать или не согласится, пойдёт на сотрудничество с нами и народной демократией или не пойдёт.

И, может быть, главное достоинство «Дневников» — это их верно выбранный тон, дружественный и непримиримый одновременно. Эти два качества несколько не исключают друг друга, даже напротив, они одно без другого не смогли бы существовать. Лозунг мистера Итона — прекрасный и разумный лозунг, но это ещё не резон, чтобы подменять им лозунги пролетарского интернационализма. При всех достоинствах Америки, это страна, которую гостю из России хочется уважать и любить, но в которой он не согласился бы жить. В этой стране много неприемлемого для нас, но дружить с нею можно и нужно, сотрудничать с нею необходимо, и надо её досконально знать, и надо, чтобы она не хуже знала о нас.

Особенная трудность этой проблемы в том, что американцы, как известно, знают о нас гораздо меньше, чем мы о них. Они воспринимают с вежливо скрываемым недоверием, что у наших газет больше, чем у них, тиражи, что студенты получают стипендию, что есть бесплатная медицинская помощь, что на тракторных и автозаводах уже введены автоматические линии, а на крупнейших гидростроях построены бетонные заводы, которыми управляет один человек. Они спрашивают, правда ли, что женщины в колхозах обобществлены, что за каждым иностранцем ходят по пятам агенты ГПУ, что композитор испрашивает разрешения у правительства написать такую-то и такую-то симфонию. Но чаще всего, и всего тревожнее, они задают вопрос: «...скажите откровенно: вы-то всё-таки на нас не нападёте, а?» Они тут же спохватываются: «Я ведь тоже так думаю, зачем вам?» Но этот второй вопрос посещает их доверчивые головы на пять минут позже, чем следовало бы, а из этих пяти минут, помноженных на десятки миллионов людей, растут годы непонимания, неизвестности, страха.

Когда хотели доказать своё миролюбие, протягивали встречному ладонь правой руки, в которой обычно держат оружие. Так родился тысячелетний обычай рукопожатия. Надо знать друг друга, это говорит сегодняшняя Америка. Это говорит мистер Фэнстон, президент нью-йоркской биржи, и

сенатор Кеннеди, и профессор Робертсон, и Виктор Бреша, американец итальянского происхождения, и ковбои на фермах, и рабочие на рудниках, и обитатели стандартных домиков одноэтажной Америки. Америка уже не доверяет провокаторам «холодной войны», но она ещё в начале пути к настоящему знанию. Чтобы ускорить её шаги, нужно самим знать её лучше.

Такова была вторая задача делегации, уже не ограничиваемая маршрутом и Фрэнком Клокхуном, а только временем. Надо ещё раз отдать справедливость автору «Дневников», он успел увидеть многое и написать подробно и живо о «лучшем в Америке», о том, «чем гордятся сами американцы», и о том, чем они не гордятся, хотя имеют на это право: о любопытной и толковой системе воспитания молодых журналистов, об экономной организации работы голливудских декораторов, о дешёвых и удобных кафетериях, о «мотелях» вдоль автострад и оснащении быта «простыми экономичными машинами и машинками».

Это только первая попытка за долгие годы, и она не свободна от мелких изъянов. Можно изумляться расточительности автомобильных выставок, но не стоит всё-таки жалеть американцев за то, что у них слишком много автомобилей. Хочется также верить, что, подъезжая к Сьерра-Неваде и вспоминая по этому случаю соответствующий романс, автор имел в виду всё-таки испанскую Сьерра-Неваду, а не американскую.

Всё это, разумеется, мелочи, которые не мешают понять «настоящую Америку». Но что действительно в какой-то степени этому мешает, так это апелляции автора к некоему Джону Смигу, с которым он так и не встретился в Америке и в котором он, тем не менее, видит типичного «среднего американца». Уже наконец Говард Фаст говорит ему: «Его просто нет, Джона Смита, вернее, их слишком много, и все они разные». И всё же напоследок автор опять обращается к Джону Смигу с перечнем того, что понравилось ему в Америке и что не понравилось.

Эта условная линия чужда, нам кажется, «Дневникам». Увидев Америку по-новому, сложной и противоречивой, живо обрисовав и осмыслив её разнообразные типы, Б. Полевой обращается к бесплотному Джону Смигу, словно бы не доверяя собственным размышлениям и выводам. А между тем эти размышления достаточно серьёзны, а выводы — значительны. Что и говорить, Америка — большая, сложная страна. Не будь она так пестра и многообразна, она бы не стремилась к стандарту и «стопроцентности». Не будь её народ миролюбив, не было бы нужды подогревать его военной истерией. Это огромный и сильный народ, у которого есть чему поучиться и которого многому можно научить. Он был неплохим союзником в войне — он будет ещё лучшим сотрудником в мире. Мы хотели бы в это верить.

Г. ВЛАДИМОВ.

★

Биография героя

Память народа будет вечно хранить прославленные имена героев Советского Союза, отличившихся в боях Великой Отечественной войны. Их подвиги отмечены Указами Президиума Верховного Совета, о них писали газеты военных лет, их скульптурные портреты украшают площади городов и сёл.

Но, к величайшему сожалению, широко известна народу лишь небольшая когорта той армии героев, которые своей храбростью и талантом, кровью и жизнью завоевывали победу. Каждый из них достоин не только гранитного монумента, но и литературного памятника.

Вот идёт уже второе десятилетие со дня окончания войны, а наша литература всё ещё в неоплатном долгу перед героями — мы пишем о них мало и, бывает, плохо.

Воениздат выпускает серию книг о героях Советского Союза, но она не стала галереей ярких литературных портретов и вызывает справедливые упреки читателей и критиков.

Это вызвано, как мне кажется, двумя обстоятельствами. Во-первых, наиболее опытные писатели не считают работу над биографиями героев Советского Союза делом, достойным мастеров литературы (кстати, скульптурные и живописные портреты героев исполняются лучшими скульпторами и художниками страны); во-вторых,

издательство до последнего времени планировало выпуск небольших (1—2 печатных листа) брошюр о героях, что в значительной мере суживало творческие возможности авторов, а при попытках описать весь жизненный путь героя вело к поверхностным, схематическим очеркам.

Сейчас положение стало несколько улучшаться. Появляются неплохие книги очерков о героях; к таким, в основном, удачным произведениям следует отнести и книгу И. Крамова «Яков Осипов». Это уже не сухая брошюра, а полнокровный очерк, в котором автор убедительно раскрывает типические черты советского офицера.

Осипов вышел из той славной среды балтийских моряков, которые свершали революцию, отстаивали её в боях гражданской войны. Он слушал речь Ленина в 1917 году, по зову партии покинул корабль, сел на коня, дрался на сухопутных фронтах, выполнял задания Кирова, много раз видел смерть, закалился под пулями. «Людей, подобных Осипову, — пишет автор, — революция и гражданская война отливала крепко и навсегда. Из тех отшумевших лет они вынесли любовь к родной земле, отвоёванной их руками в ожесточённой борьбе, оптимизм победителей, солдатское умение довольствоваться малым, привычку, не отводя глаз, смотреть в лицо трудностям».

Автор отказался от традиционного последовательного, хронологического изложения событий. Книга построена так, что первая часть её знакомит и заинтересовывает читателя боевой деятельностью героя в 1941 году, а во второй части мы узнаём, почему Осипов оказался подготовленным к тяжким испытаниям начала Великой Отечественной войны.

Есть в книге И. Крамова, помимо других, одна привлекательная сторона. Она может быть не замечена читателем, не бывшим в боях, но фронтовики её достойно оценят. Мы имеем в виду проникновенные в характер боёв и в психологию бойца, находящегося под огнём.

Наглядно рисуется картина боя подразделения Ламзина; психологически верно поведение в бою Осипова и комиссара полка Митракова; оправданы их беседы и споры о том, как должен вести себя командир в разной боевой обстановке.

В этих сценах книги — не назидательные

поучения, выдуманные автором, а мысли, продиктованные самой природой боёв.

Интересны и жизненно достоверны эпизоды книги, показывающие, как полковник Осипов завоёвывал авторитет у своих солдат, их любовь и доверие, без которых нет победы в бою и которые позволяют командиру вести солдат в смертный бой, рождают готовность солдат закрыть командира своей грудью от пули врага. Это очень важно уяснить, ибо авторитет завоёвывается по-разному. Были командиры, которых именовали «батей», «хозяином», они сами домогались, чтобы части, им подчинённые, назывались по их именам, но от такой «батьковщины» — шаг до анархии.

Боицы, которыми командовал Осипов, говорили: «Мы — осиповцы»; жители Одессы говорили: «Осипов держит» противника, пополнения шли «к Осипову» — и в этом не было ничего предосудительного, ибо в этом проявлялись безграничное доверие к командиру, его непререкаемый авторитет, завоёванный личной храбростью, умением побеждать, заботой о людях, исключительной скромностью. И чем равнодушнее был Осипов к своей славе, тем шире она распространялась. О нём знали в Одессе от мала до велика, о нём писала «Правда», ему поручили выступить из осаждённой Одессы по радио перед всей страной.

В книге немало написано о решениях и действиях полковника Осипова. Жаль только, что автор не раскрывает в книге общей оперативно-тактической обстановки, в которой решения принимались, а действия совершались. Трудно поэтому судить читателю: верно ли было решение командира полка и насколько целесообразны его действия.

Автор и редактор упустили из вида, что читателю, не знающему, как строилась оборона Одессы, не представляющему, где находятся десятки населённых пунктов, дог, лиманов, высот, упоминаемых в книге, подробные описания боёв станут гораздо понятнее, если их подкрепить картой обстановки.

Есть и другие изъяны в очерке Крамова. Тем не менее перед нами серьёзная попытка раскрыть природу героизма советского человека, показать роль нравственного элемента на войне, командирские качества наших офицеров.

Мих. БРАГИН.

Для детей и для взрослых

О специфике детской литературы велось много различных споров. Нам же думается, что главным признаком хорошей книжки для детей является сила её воздействия не только на маленького, но и на взрослого читателя. У такой книжки широкий горизонт, и то, что не до конца увидит в ней маленький читатель, он разглядит, когда вырастет. Наиболее ярким примером такой книги является гайдаровская «Голубая чашка». Даже трудно сказать, кого больше взволнует этот небольшой рассказ — взрослого или ребёнка? А может быть, каждого по-разному?..

Подобные вопросы возникают не только после чтения Гайдара, но и после знакомства с лучшими произведениями многих современных детских писателей. Задумываешься над ними и прочитав толстый том избранных произведений Якова Тайца.

В книге собраны лучшие произведения писателя, созданные им за двадцать пять лет. Все они написаны в разное время. Все они разнообразны и по теме и по форме. Маленькие рассказы и большие повести Я. Тайца охватывают значительный отрезок истории. Они идут следом за жизнью писателя — от далёких, дореволюционных до наших, сегодняшних дней. Мы откажемся от хронологического принципа разбора повестей и рассказов Я. Тайца, не будем претендовать в этой статье на всесторонний разбор творчества писателя. Хочется поговорить о том, на наш взгляд, главное, что пронизывает почти все произведения Я. Тайца. Это главное — большие чувства малышей. Приводя незначительные, на первый взгляд, факты, писатель умеет показать глубокие переживания своих маленьких героев, умеет вызвать любовь и сочувствие к ним.

В творчестве каждого писателя, даже среди его лучших произведений, есть особенно яркие, так сказать, «правифланговые». Именно таким «правифланговым» произведением Я. Тайца является его маленькая повесть «Находка».

В этой повести есть два плана. С одной стороны, это приключенческая повесть. Мальчик Лёша обещал взять свою сестрёнку Таню на археологические раскопки и не сдержал обещания. Но Таня — девочка смелая и упрямая. Она одна отправляется

на поиски брата. Её исчезновение вызывает дома тревогу. В конце концов после многих приключений Таня попадает к месту раскопок. И тут-то можно было поставить точку — приключения кончились. Но не во имя одних приключений написана эта повесть. Второй её план, наиболее важный, — углублённое раскрытие характеров героев, их переживаний.

И этот второй план — лирический, вернее драматический. Во время Великой Отечественной войны папа Лёши и Тани ушёл на фронт. Он обещал написать с фронта письмо. Идут годы, а маленькая Таня всё вспоминает о папе и о папином так и не пришедшем письме. И вот в ржавой коробке, найденной во время раскопок, Таня обнаруживает письмо солдата: «Дорогие мои мать, жена, сын и дочка...» «Ну, конечно, это про нас», — решает девочка. Она бежит к маме. Рядом с письмом, написанным на папиросной бумаге, лежит мундштук. Танин папа никогда не курил. И письмо это написал, конечно, не он, а другой боец. Но мама молчит. Пусть Таня думает, что письмо от папы. Ведь и её папа, если бы пуля не сразила его, написал бы в своём письме домой: «Я смерти не боюсь. Если погибну, то ведь это за вас, за мою семью, за Москву, за Родину».

Повесть «Находка» глубоко поэтична. В ней автор создал живой, трогательный образ девочки Тани, в которой угадывается большая душа настоящего человека. Повесть написана с добрым сердцем, и это ощущается читателем.

Вот мы уже перелистали много страниц книги Я. Тайца, познакомились с её героями, были свидетелями многих событий, раскрывающих сердца ребят. Эти события, как правило, сами по себе не очень-то и значительны, но за ними незримо стоят благородные чувства, порывы, дела. И при всём этом — скромность, сдержанность, полное отсутствие тщеславия.

Девочка, отдающая свои тапочки мальчику, которого не пускают босиком в метро, — в рассказе «Летом». Другая девочка — литовка Альдона, незаметно подбрасывающая русской девочке Ане кусочек янтаря (его Аня тщетно ищет всё лето на берегу «мелкого моря»), — в рассказе «Аня и Альдона». Настенька, которая идёт по морозной тайге встречать корейских ребят, едущих в Москву, и делит полученный по-

дарок между всеми своими товарищами,— рассказ «Голубая бусинка». И сила Я. Тайца именно в том, что об этих благородных чувствах и делах он пишет скромно и сдержанно. Он не комментирует поступки своих героев, не навязывает их читателю в качестве положительного примера. Он предоставляет читателю самому разобраться в своих привязанностях, самому решить, кому из героев подражать.

«Повести и рассказы» Я. Тайца — книга объёмная. Объёмная не только по листажу, но и по тому большому жизненному материалу, который воплощён в произведениях, составивших сборник. Под рассказами Я. Тайца не стоят даты. Но время их написания можно определить по тем чертам эпохи, которые присутствуют в каждом его даже самом маленьком произведении. Это не просто играющие абстрактные мальчики и девочки. С героями рассказов Я. Тайца

мы приходим к нашим дням от дореволюционной поры через гражданскую и Отечественную войны.

Когда много произведений писателя собрано в один том, то становятся рельефнее не только достоинства, но и недостатки его творчества. Если лучшим произведениям Тайца свойственна сдержанность и большая выразительность, то в ряде произведений автор не экономит, не строг в отборе выразительных средств. Например, его рассказ «В городе Эйслебене» публицистичен по форме, это скорее исторический очерк, чем рассказ. Таких художественных срывов в книге не много, но они свидетельствуют о том, что автор порой изменяет лучшим сторонам своего дарования.

Беллинский называл хорошие детские книги детским праздником. В толстом томе произведений Я. Тайца много хороших детских праздников.

Юрий ЯКОВЛЕВ.

★

Плохая книга о досуге рабочего человека

Человек пришёл с работы домой. Чем заполнен его досуг? Ведь свободное время — одно из ценнейших богатств, которыми он располагает. Но не все умеют этим богатством пользоваться. Одни бездумно разменивают его на мелочные страстишки, не замечая, как потерянные часы складываются в бесплодно прожитую жизнь. Другие безвольно уступают его скуке, лишая себя истинных радостей. Зато третьи умеют использовать свободные минуты так, чтобы обогатить свой духовный мир.

Вот о таких людях и рассказывает М. Кондрашова в своём сборнике очерков «После шести часов вечера».

Автор книги знакомит читателя и с участниками самодеятельного оперного коллектива в городе Электросталь, и с садоводами Горьковского автозавода, и с охотником из города Яхромы. Из очерка «В заводском санатории» читатель узнаёт, как, не выходя с заводской территории, отдыхают в своём парке рабочие московского завода «Калибр». В другом очерке рассказывается о начальнике автоколонны москвиче Л. А. Колесникове, которому за вы-

ращенные в часы досуга в своём саду новые сорта сирени была присуждена Сталинская премия.

Но чтобы не оказаться в положении начавших за здравие, а кончающих за упокой, скажем сразу: темы очерков заслуживают гораздо большей похвалы, чем их исполнение.

Отыскав интересных людей, М. Кондрашова не сумела интересно о них рассказать. Содержание сборника почти исчерпывается его оглавлением, ибо из названия каждого очерка, как правило, мы узнаём лишь не многим меньше, чем из очерка в целом.

Взять, к примеру, очерк «Цветы на окнах». Автор подробно описывает, где, в какой день и час открылась выставка комнатных растений, сколько человек побывало здесь в первый день и когда появился на выставке сам автор очерка. Наконец мы встречаемся с героем очерка, Свиричевским, вырвавшимся у себя дома лимоны, один из которых весил полкилограмма. «Как же это удалось ему?» — спросит читатель следом за любителями-цветоводами, задававшими на выставке тот же вопрос Свиричевскому. Но из книжки мы узнаём лишь, что Свиричевский сам живёт в Соколе, за че-

М. Кондрашова. После шести часов вечера. Редактор А. Лысый. 168 стр. Профиздат. М. 1955.

ренками ездил в Павлово, а в качестве подкормки применял конский навоз...

Не о подкормке, а о человеке, об его характере должна была рассказать очеркистка, о том, как большая любовь к тому делу, какому её герой посвящал часы досуга, помогла преодолеть все препятствия. У Кондрашовой же очерк закончился там, где он должен был лишь начаться.

Вместо углублённого и эмоционального рассказа о любви рабочих к книге автор предложил нам скучный отчёт о читательской конференции на Московском автозаводе (очерк «Взыскательный читатель»), а вместо образа старого рабочего Каширина, увлечёвшегося воспитательской деятельностью, — написанную с добросовестностью начальника отдела кадров его анкету-биографию с приложением перечня общественных нагрузок Каширина (очерк «Родительский университет»).

Живее других написан очерк «Рождение картины», рассказывающий о том, как несколько рабочих завода «Компрессор» в течение ряда лет создавали картину «Большая семья», но так и остались ею неудовлетворёнными. Есть запоминающиеся штрихи в очерке «Встреча в саду», где деловой и практичный нормировщик Чудаков оказывается поэтом. Но живыми деталями очеркист весьма скупо радуется своего читателя.

Художественная конкретность слишком часто подменяется в очерках сухой конкретностью протокола. Необработанную

стенограмму первых впечатлений — без отсева излишков, без выявления главного — представляют собой такие, например, очерки, как «У телевизора».

Мешает очеркам М. Кондрашовой также и то, что едва ли не все они проникнуты духом неудержимой восторженности и умиления.

К сказанному хочется ещё добавить, что в языке рецензируемых очерков не обнаружилось никаких красок, кроме типографской. Зато передки штампы, неряшливости. Чувство слова притуплено не только у автора, но и у редактора (А. Лысый). «Маловато тургеневского было в этом мотоциклисте!» — читаем мы в книжке. «Критика телевизионных передач вводит нас в ту светлую и чистую духовную атмосферу, в которой живёт советский человек...» «За окном воет осенний ветер, трещит крепкий мороз». (Одновременно?! — А. Б.) «Свойственное простому человеку радушное желание угостить всем, что ни есть в доме, становится у здешних садоводов совершенно неотразимым...» Коротче говоря, трудно найти в сборнике страницу без какой-либо смысловой или стилистической погрешности.

Профиздат верно понял свою задачу (причём одну из насущнейших, на наш взгляд, задач нынешнего дня), включая тему такой книги в свой издательский план. Но выпуском рецензируемого сборника он ещё не начал решать эту задачу. Тут, как говорится, вся работа впереди.

А. БЕРЕСТОВ.

★

Новый библиографический справочник

Необычайно обширна и разнообразна по материалу новая работа Н. Мацуева «Художественная литература, русская и переводная, 1938—1953 гг.». Перед нами первый том из задуманного двухтомного справочника, охватывающий период с 1938 по 1945 год включительно. За сухим и бесстрастным перечнем изданий русской классической и переводной литературы перед глазами встаёт богатая и разносторонняя духовная жизнь нашего народа за восьмилетие с 1938 по 1945 год. Особенно обращает на себя внимание большое количество изданий не только русской класси-

ческой, но и переводной литературы, вышедших в самые суровые, самые напряжённые годы и месяцы Отечественной войны. Факт появления во время войны новых переводов Данте и Шекспира, новых изданий Гейне, Дефо, Додэ, Драйзера, Золя, Киплинга, Лондона, Мопассана, Уитмена, Флора и других зарубежных писателей, не говоря уже о русских классиках, достаточно говорит за себя.

Ставя своей целью учесть не только все появившиеся за эти годы книги русских классиков и зарубежных писателей, но и по возможности всю критическую литературу об авторах этих книг, Н. Мацуев значительно расширил по сравнению с прежними своими работами круг изданий, использованных при составлении справочника. Так, впервые

Н. Мацуев. Художественная литература, русская и переводная, 1938—1953 гг. Т. 1. Редактор Е. Игошина. Гослитиздат. М. 1956.

привлечены им материалы учёных трудов и учёных записок университетов и многочисленных педагогических институтов страны. Общий список использованных составителем периодических изданий насчитывает около ста пятидесяти названий.

Справочник хорошо оформлен — сравнительно небольшой формат, компактный и чёткий шрифт, расположение текста вдоль всей страницы, а не в два столбца, как в прежних справочниках, — всё это делает новое издание удобным для пользования.

Достоинства работы Н. Мацуева, охватывающей материал о творчестве свыше пятисот представителей русской классической и зарубежной литературы, не подлежат сомнению. Но именно потому, что ценность работы бесспорна, хотелось бы указать на отдельные, частные её пробелы и недостатки.

Перечень книг, объединённых в разделе «Литературно-художественные сборники», насчитывает всего 50 названий и с первого же взгляда вызывает сомнение: достаточно ли он полон? Сомнения эти подтверждаются при более внимательном ознакомлении с разделом. Особенно бросается в глаза отсутствие ряда сборников, вышедших в годы Великой Отечественной войны. Таковы, например: «Иностранная антифашистская поэзия» (Гослитиздат. 1943); «Отечественная война 1812», сборник стихотворений русских поэтов (Детгиз. 1942); «Рассказы» (Д. Стивенса, Э. Колдуэлла, И. Шоу, Э. Хемингуэя, Д. Стейнбека) (Детгиз. 1943). Указывая в отдельных случаях первое издание того или другого сборника, составитель не упоминает зачастую о втором, иногда значительно дополненном и расширенном. Для примера сошлёмся на книгу «Родина» — сборник высказываний русских писателей о Родине, 2-е издание, дополненное (Гослитиздат. 1943). Есть пробелы и в других разделах справочника. Указана, например, книга поэта С. Д. Дрожжина, вышедшая в Калинин в 1940 году, но отсутствует упоминание о другом его сборнике, изданном в том же городе в 1945 году; пропущены «Стихотворения» М. Ю. Лермонтова (Детгиз. 1941); повесть А. И. Герцена «Сорока-воровка» («Правда. Библиотека «Огонёк». 1939), а также переводные издания: Р. Гринвуд «Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны» (Гослитиздат. 1943); Джон Пэн «Динамитчики» («Правда. Библиотека «Огонёк». 1941) и другие. В разделе «Фольклор» не упомянут сборник

«Русские песни», составитель Н. Захарова, под редакцией И. Розанова («Молодая гвардия». 1945).

Есть в справочнике и более серьёзные, бросающиеся в глаза пробелы. Так, например, из поля зрения составителя совершенно выпал такой видный американский писатель, как Колдуэл, хотя за период, охваченный справочником, на русском языке вышли четыре его книги: «Табачная дорога» (роман), «Беглянка» (рассказы), «Смерть Кристи Тэкера» (рассказы), «Мальчик из Джорджии» (повесть). Ни одна из этих книг не упомянута в справочнике.

Пропущены и некоторые значительные критические работы. Так, в рубрике «Жизнь и творчество» мы не найдём книги В. Гебеля о творчестве Лескова (книга значит лишь в разделе критики), не упоминается в справочнике и ряд журнальных статей, например, большая статья И. Новича «Герцен и Россия» («Красная новь» №№ 3—4 за 1942 год), статья Е. Бертельса «Низами и его творчество» («Дружба народов» № 5 за 1940 год).

Приходится пожалеть, что, сообщая подробные библиографические данные о каждой зарегистрированной в справочнике книге, составитель не всегда упоминает о наличии предисловий, вступительных статей, не называет фамилий их авторов.

Встречаются (правда, в единичных случаях) искажения фамилий писателей, а также факты приписывания произведения одного автора другому. Так, участница горьковских сборников «Знание» писательница Е. М. Милицына превращена в мужчину и именуется Милицын, а сказка В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» приписана поэту-декабристу А. И. Одоевскому.

«Не повезло» на страницах справочника некоторым литературоведам и критикам, чьи фамилии оказались искажёнными. Так, один из составителей популярного учебника для девятых классов, автор статьи о романе Горького «Дело Артамоновых» Д. Райхин превращён в Д. Рахтанова, известный советский художник А. Лентулов, упомянутый как автор воспоминаний о Маяковском, стал А. Лентуковым, автор статьи о Чехове Б. Яголим — Б. Яголиным, один из редакторов вышедшего в Ростове-на-Дону чеховского сборника Н. Весенев — Н. Власеневым и т. п.

Иногда в именном указателе авторов Н. Мацуев, сам того не замечая, объединяет в одном лице нескольких совершенно раз-

личных людей. Так, на страницах именного указателя фигурирует, например, Л. Коган, фамилия которого (или которой?) не менее десяти раз упоминается в тексте работы. Стоит, однако, обратиться к этому тексту, чтобы убедиться, что «Л. Коган» — это по существу три различных человека: 1) переводчица с французского Р. Роллана и других авторов; 2) философ, изучающий мировоззрение Писарева, Добролюбова, Антоновича; 3) шекспировед, написавший статью о «Комедии ошибок». При этом фамилия шекспироведа не Коган, а Каган. Но это не помешало Н. Мацуеву всех троих объединить в одно «синтетическое» лицо.

Не всегда верно приводятся в справочнике названия отдельных критических работ. Так, статья З. Ган о романе Т. Драйзера «Сестра Керри» называется не «Теодор Драйзер и его новый роман», как указано у Н. Мацуева, а «Теодор Драйзер и его первый роман», статья Е. Трошенко — не «Сатира и юмор в жизни Маяковского», а «Сатира и юмор в поэзии Маяковского». Следует отметить также, что не всегда точно указывается место, где напечатана та или другая статья. Так, например, очерк-воспоминания К. Федина «Егор Булычов» напечатан не во втором, как значится у Н. Мацуева, а в третьем номере журнала «Октябрь» за 1943 год.

Многое из того, что отмечено здесь, может показаться мелочью, но в работе библиографа всякая «мелочь» играет существенную роль.

Заканчивая рассмотрение справочника Н. Мацуева, следует подчеркнуть, что не отдельные неточности и пробелы определяют его значение. Вместе с тем нельзя не указать, что этих неточностей и пробелов в новом издании, может быть, несколько больше, чем в предшествующих работах того же автора. Объясняется это как объемом и сложностью материала, привлечённого составителем, так и условиями военного времени, когда библиографический учёт новых изданий и отзывов на них не мог быть налажен так образцово, как в мирное время. Поскольку не менее половины материала, вошедшего в справочник, относится именно к военным годам, отдельные промахи составителя в какой-то мере объяснимы. Нужно, однако, подумать об устранении этих и о предупреждении возможных в будущем промахов. Для этого издательствам следует привлечь к внутреннему, редакционному рецензированию библиографических работ по художественной литературе как крупных библиографов, так и литературоведов. Надо подумать также о создании кадров редакторов-специалистов в области библиографии.

Тридцатилетняя плодотворная деятельность крупнейшего нашего библиографа Н. И. Мацуева заслуживает того, чтобы ему в его столь важной для советского литературоведения работе была оказана максимальная помощь.

В. АФАНАСЬЕВ.



Поэзия Орхана Вели

Это было в ноябре 1950 года в Стамбуле. «Я хорошо помню этот день,— писал турецкий журналист Хикмет Ульген.— Проводив любимого друга, я возвращался с пристани. На Галатском мосту я встретил товарища. «Откуда?» — спросил он. Я показал ему на корабль, выходивший в Мраморное море, и прочёл стихи Орхана Вели «Разлука»:

Оцепенев, я смотрю
вслед уходящему кораблю.
Слишком прекрасен мир —
в море броситься не могу.
Говорят, есть мужское достоинство,
плакать я не могу.

Orhan Veli. Bütün şiirleri. Varlık yayıncılığı. İstanbul. 1955. (Орхан Вели. Все стихи. Издание журнала «Варлык». Стамбул. 1955).

На глазах моего товарища показались слёзы. «Я должен сообщить тебе печальную весть,— сказал он.— Орхан Вели умер». Этому я не поверил. Но это было правдой».

Созсем молодым,— ему не было ещё тридцати семи лет,— в тяжкой нужде умер один из талантливейших поэтов Турции — глава нового направления в турецкой поэзии Орхан Вели. Когда друзьям выдали из больницы его старый, залатанный костюм, они нашли в карманах лишь зубную щётку, завёрнутую в бумагу. На этом клочке обёрточной бумаги были записаны последние стихи поэта:

Ни к кому я не был привязан так,
Как был я привязан к ней.
Не женщина просто, а человек!
Ни тряпки, ни деньги, ни знатный дурак

Были вовсе ей не нужны.
Говорила:
«Ах, если б мы были равны!
Если б нам свободными быты!»
Она умела любить людей
Так же, как любят жить.

В этих ещё не отделанных строках Орхана Вели есть всё, чем он жил, о чём думал, что любил и о чём писал, — мечты о свободе, любовь к людям, к жизни, отвращение к мещанству, к власти вещей над людьми, ко всему, что мешает людскому счастью.

Теперь, когда стихи поэта собраны в одной небольшой книге, особенно ясно видишь, сколь многим обязана Орхану Вели турецкая поэзия. Вместе с группой поэтов-единомышленников выводит он поэзию из эстетских салонов и «барских садоводств» в широкую жизнь трудового народа. Он искал и разрабатывал новые, близкие и понятные самым простым людям поэтические формы.

В Стамбуле, в Анкаре, в Измире, на пароходе, в поезде, в рабочей столовой, в кофейне, на улице, во время игры в кости, в лавке, за обедом вы можете услышать, как с грустью и иронией кто-нибудь вдруг скажет: «Жаль Сюлеймана эфенди!» Это слова из короткого, всего в восемь строчек, стихотворения Орхана Вели. В нём рассказывается о жизни мастера Сюлеймана эфенди, который весь век трудился и нажил только мозоли. И вот он умер, так и не дождавшись иных, счастливых дней. «Жаль Сюлеймана эфенди!» — восклицает поэт. И эта строка стала поговоркой.

• Недолгую жизнь прожил Орхан Вели. Но это была жизнь, полная исканий и борьбы за народное искусство.

В первые годы войны вместе с выдающимися поэтами Мелихом Джевдетом и Октаем Рифатом он выпускает книгу «Диковина». Большую часть этой книги занимала проза — манифест нового направления в турецкой поэзии. В нём звучит протест против оторванности поэзии от дум и интересов простого человека, протест против ложной поэтичности, мнимой значительности и высокопарной красоты.

Во второй части книги, названной «Результат», молодые поэты поместили стихи, в которых хотели показать, как они на практике осуществляют свои принципы новой поэзии. В этих стихах очень сильно чувствовалось желание эпатировать бур-

жуазных потребителей литературы, салонных эстетов так называемыми низкими, непэтическими темами, словами и нарочито прозаическими приёмами. Но, протестуя против слащавости, молодые поэты зачастую отрицали романтику, борясь за новую поэзию, нередко скатывались к натурализму, к чисто формальному экспериментаторству.

Вспоминая об этом периоде своего творчества, Орхан Вели говорил: «Впоследствии мы отошли от этого. Но, по-моему, это был для нас необходимый этап, чтобы сделать следующий шаг — к народной поэзии».

Победа народов над фашизмом во вторую мировую войну, подъём национально-освободительного движения в Азии, рост сознательности и активности народных масс — вот что помогло передовым турецким поэтам сделать этот следующий шаг.

В жизни Орхана Вели огромную роль сыграла служба в армии. Постоянное общение с рабочими и крестьянами в солдатских шинелях помогло поэту глубже понять жизнь своего народа, положило начало новому периоду в его творчестве. «Поскольку в нынешнем мире большинство составляет бедный народ, — говорил Орхан Вели, — значит новая литература должна быть его литературой. Из этих людей она должна выбирать своих героев, их жизнь описывать, к их проблемам обращаться».

Под впечатлением военных лет, с глубоким проникновением в строй и дух народной поэзии написано Орханом Вели стихотворение «Надгробная надпись»:

Его винтовку положили в склад
Его одежду отдали другому.
В его мешке теперь нет хлебных крошек.
На фляге нет следов от губ его.
Такой пронёсся ветер...
Он ушёл
И даже имени на память не оставил.
И лишь в кофейне, возле очага,
Остались эти две строки,
Что написали его руки:
«Что смерти! Умрём мы все.
Вот если б не было разлуки...»

В послевоенные годы одна за другой выходят книжки стихов Орхана Вели — «От чего я не могу отказаться», «Как дестан», «Новое», «Против». Эти сборники сделали Орхана Вели признанным главой прогрессивного направления в турецкой поэзии последних лет. Его стихи попрежнему полемичны. Но теперь уже не только по форме, но и по самой сути, по отношению к миру,

который окружает поэта. Мир насилия, голода, эксплуатации он не приемлет. С теми, кто пытается его приукрасить и воспеть, он воюет.

Труд, голод, надежда, любовь, родина — вот темы стихов Орхана Вели. Но о чём бы он ни писал, он видит мир глазами рабочего человека. Думы и мечты ремесленников Стамбула, рабочих Анкары, мелких чиновников, безработных воплощал поэт в своих стихах. Он пишет о самых простых, обыденных вещах. И его стихи предельно просты. Поэт не агитирует своих читателей, как оратор или трибун. Но его стихи входят в любой дом, говорят о самом важном, нужном и понятном каждому.

Стихам Орхана Вели присущи некоторые особенности, в той или иной форме характерные для целого направления в современной турецкой поэзии. Это прежде всего стремление к лаконичности, краткости. Здесь Орхан Вели выступает продолжателем лучших традиций классической и народной поэзии Востока.

Когда Орхану Вели не удавалось что-либо сказать прямо и открыто, он прибегал к инсказанию, аллегории. И это тоже одна из традиций народной турецкой поэзии. К этому народ привык за долги сотни лет султанского гнёта.

Большинство народа неграмотно. Значит, надо писать так, чтобы стихи звучали, как пословица, как афоризм, запоминались с первого раза. Над восьмью—двенадцатью строками Орхан Вели иногда работает по целому месяцу, добиваясь предельной сжатости выражения поэтической мысли, предельной ясности.

Стихи Орхана Вели расходились по всей стране, вызывая любовь народа и улюлюкание реакционеров.

Но поэт спокойно продолжал делать своё дело. Друзья помогли ему собрать небольшую сумму денег, и в последние годы жизни он издавал двухнедельный литературный журнал «Лист». Он сам писал стихи и многие статьи в журнал, сам был корректором, метранпажем, редактором, секретарём. Его высокую худую фигуру привыкли видеть на почте, где он принимал подписку и сам рассылал журнал подписчикам.

В последние годы своей жизни Орхан Вели много сделал для того, чтобы познакомить турецких читателей с лучшими достижениями мировой культуры. Он перевёл Арагона, Элюара, Гарсиа Лорку. В его

прекрасных переводах шли на сценах пьесы Мольера. Вместе с Эролом Гюнеем он перевёл повести Гоголя «Коляска» и «Нос».

Турецкие расисты-пантюркисты объявили Орхана Вели писателем а:инациональным, а о его творчестве говорили, что оно «корнями уходит за границу». И тогда Орхан Вели, скромный до застенчивости, обычно не отвечавший на личные выпады врагов, заявил: «Я хорошо знаю, против кого пантюркистские мракобесы, изобретшие выражение «корин за границей» и тем нанесшие самый страшный вред нашей стране, употребляют это оружие. Но не то, что оно направлено сейчас против меня, я считаю важным. Оно направлено против отечественной мысли и искусства. Почему они хотят держать наши двери на замке? Отсутствие свободы связывает литератора по рукам и ногам. Добавьте к этому, что всякого, кто пытается писать о народе, кто хочет вытащить его из нищеты, осуждают и клеймят, как коммунистов, левых и так далее».

Борясь с реакционерами всех мастей, Орхан Вели с особой злостью клеймит тех, кто виляет хвостом перед реакцией:

Нет, разные у нас пути.
Ты киска мясника, я уличная кошка.
В лужёной миске твой обед,
А мой — в когтях у льва.
Тебе любовь, мне кость лишь снится.
Но и твоя жизнь не легка.
Ведь не легко, сестрица,
Весь день вот так вилять хвостом?!

(«Хвостатые стихи»)

Орхан Вели всегда активно откликался, на важнейшие мировые события, боролся своими стихами за мир. Когда в 1950 году Назым Хикмет начал в тюрьме голодовку, три известных турецких поэта объявили голодовку солидарности и протеста против издевательств над народным художником Турции. Среди этих поэтов был и Орхан Вели.

За пять лет, что прошли со дня смерти Орхана Вели, книга, в которой собрано всё немногочисленное, но драгоценное поэтическое наследство поэта, выдержала пять изданий. Эта цифра — невиданная в Турции. Теперь даже те, кто травил поэта, не решаются отрицать его значения для турецкой культуры, ибо стихи Орхана Вели прочно вошли в быт и сознание народа.

Радий ФИШ.

Политика и наука**Неполноценный труд о великой победе**

Через десять лет после окончания второй мировой войны Институт истории Академии наук СССР издал коллективный труд «Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945». Состав авторов и высокий научный авторитет учреждения, выпустившего книгу, давал основания предполагать, что советский и зарубежный читатель наконец-то получит полноценный материал по истории замечательных событий недавнего прошлого. Однако при чтении книги появляется чувство разочарования и неудовлетворённости.

Хотя книга и не претендует на всестороннее и систематическое освещение хода войны и не носит исследовательского характера, а представляет собой, как указано в предисловии, научно-популярную работу, читатель вправе был ожидать большего. Достаточно перелистать книгу и бегло познакомиться с подстрочными примечаниями, чтобы убедиться, что авторы ограничились лишь обобщением газетно-журнального материала.

Возникает законный вопрос: если за десять лет Институт истории Академии наук СССР не смог изучить и использовать для юбилейной по сути дела работы более глубокие источники и создать труд, достойный великой победы советского народа над фашизмом, то кто и когда должен решить эту бесспорно серьёзную и важную задачу?

Мы вовсе не намерены опорочить или принизить значение материалов прессы, относящихся к периоду минувшей войны, — они, несомненно, также представляют собой исторические документы. Но это, как для всех ясно, документы своеобразные, относящиеся чаще всего к внешней стороне событий и не рассчитанные на глубокий научный их анализ и обобщение. Кроме того, следует считаться с естественной ограниченностью газетных материалов, печатавшихся в условиях цензуры военного времени. Вот почему такие материалы могут быть использованы лишь как один из дополнительных, но не как основной и тем более почти единственный источник при написании даже научно-популярной работы.

«Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945», Ответственный редактор Б. С. Тельпуховский. 535 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1955.

Подобная узость и односторонность источников неизбежно должна была сказаться на содержании разбираемого труда. Популяризация, тем более научная, — это не скольжение по поверхности событий, а их раскрытие в доступной для понимания широким кругом людей форме. Интересующая же нас книга, хотя и солидная по объёму, к сожалению, едва ли что-либо способна прибавить к тому общему представлению о причинах, завязке и ходе войны, которые хорошо известны массовому советскому читателю.

Ограничимся в настоящей рецензии лишь некоторыми соображениями.

По сравнению с другими популярными работами по истории Великой Отечественной войны эта книга имеет некоторые преимущества. В ней меньше недочётов в освещении роли народных масс и организаторской руководящей деятельности Коммунистической партии в войне. В книге показан всенародный характер борьбы с агрессорами, подчёркивается единство тыла и фронта и те огромные возможности, которыми обладает страна социализма.

Но вместе с тем в книге имеется очень много недостатков, присущих и более ранним трудам. Мимо этих недостатков нельзя пройти хотя бы потому, что в распоряжении авторов было достаточно времени, чтобы избавиться от неверных представлений и поверхностных трактовок.

Книга не даёт полного представления об исключительно большом масштабе нашей победы, обо всём её величии, ибо чрезвычайно бледно и невыразительно рисует те огромные трудности, которые должны были преодолеть советские люди, и те усилия, которые прилагали советский народ и его партия для завоевания победы. Это относится и к первому, наиболее тяжёлому для нас периоду войны и к последующим её этапам.

Не показаны в полной мере те условия, которые определили возможность для врага достигнуть столь значительных первоначальных успехов. Всё «легко» объясняется только внезапностью вероломного нападения гитлеровцев на нашу страну. Бесспорно, фактор военной внезапности сыграл немалую роль и был одной из причин наших неудач на первом этапе войны. Но

нельзя забывать о том, что внезапность имеет место только тогда, когда отсутствует бдительность и надлежащая готовность другой стороны.

Накануне нападения гитлеровцев наша страна имела всё необходимое для успешного отражения любого агрессора. И если эта возможность не была сразу претворена в действительность, то для этого были свои глубокие причины.

Важнейшей из них была неоправданная самоуспокоенность и благодушие, порождённые культом личности И. В. Сталина и связанные с этим культом методы лакировки действительности и игнорирование очевидных фактов назревшей угрозы военного нападения. Нарушение ленинского принципа коллективности руководства не могло не сказаться резко отрицательно в условиях подготовки к отражению империалистической агрессии.

Партия своей беззаветной и неутомимой организаторской работой, советский народ своим героическим трудом, а его Вооружённые Силы своей самоотверженной борьбой преодолели возникшие беспримерные трудности как на фронте, так и в тылу, где разворачивалась запоздавшая перестройка мирной экономики на военный лад. Об этой перестройке в книге сказано также очень недостаточно и невыразительно. Говорится только о том, как быстро это было сделано, а в чём конкретно заключалось, в каких условиях происходило, — читатель не видит. Между тем этот истинный подвиг народа заслуживал более точного и взволнованного описания.

Изложение хода военных событий, составляющее главное содержание книги, дано очень неровно. Одним фактам в книге уделено много внимания, о других, как, например, о наших наступательных операциях весной и летом 1942 года, сказано скороговоркой, а третьи, где имели место наши ошибки и просчёты, вообще выпали из поля зрения авторов.

Хотя в книге и нет прямых ссылок на якобы имевший место план «активной обороны», тем не менее, у читателя создаётся впечатление, что на нашей стороне всё развивалось планомерно и отвечало определённым замыслам. Надо было резко подчеркнуть вынужденность нашего отступления в 1941 году и летом 1942 года, которое никак не следует рассматривать в качестве обязательного условия для подготовки контрнаступления. Решающие предпосылки для

успешного контрнаступления создаются в ходе успешной обороны. Отступление же есть чаще всего результат неудачной обороны, невыгодного соотношения сил.

В книге не видно чёткой грани между событиями разного масштаба и значения: стратегические, оперативные и тактические моменты подчас находятся в таком смешении, что трудно в них разобраться. В похвальном стремлении показать героизм и самоотверженность отдельных воинов авторы подают отдельные эпизоды личного мужества так, словно они имели прямое влияние на общий ход операций. В то же время творчеству советских военачальников и его значению в достижении победы не уделено места в книге.

Только в одном случае авторы нашли возможным упомянуть нумерацию армий (62-й и 64-й армий), почему-то пренебрегши этим в остальных случаях. Нумерация армий противника встречается много чаще. И получается такая безликость советских войск, которую не делают более выразительной некоторые упоминания фамилий представителей ставки, командующих войсками фронтов и редко армий.

Мастерство советских военачальников, выдающаяся роль таких полководцев, как Жуков, Конев, Малиновский, Рокоссовский и другие, зримое совершенствование советского военного искусства показаны весьма слабо. Если о них и упоминается, то не в сопоставлении с замыслами и действиями противника, которые огульно оцениваются как авантюристические и шаблонные. Правда же состоит в том, что искусство врага было превзойдено ещё более высоким воинским мастерством и умением советских военачальников, без чего немислима была бы победа над сильным и активным противником.

По истории второй мировой войны в капиталистических странах издано очень много трудов. Авторы книги совершенно игнорируют это обстоятельство, не используют имеющиеся зарубежные материалы, представляющие известную научную ценность, а главное, не подвергают заслуженной и суровой критике те из указанных источников, которые грешат против исторической правды, фальсифицируют события.

Работа грешит преувеличением личной роли И. В. Сталина в достижении победы в Великой Отечественной войне.

Известно, однако, что именно в период войны члены ЦК партии, а также выдаю-

щиеся советские военачальники взяли в свои руки определённые участки деятельности в тылу и на фронте, самостоятельно принимали решения и своей организаторской, политической, хозяйственной и военной работой вместе с местными партийными и советскими организациями обеспечивали победу советского народа в войне. Одним из основных источников для «Очерков» послужила книга «О Великой Отечественной войне Советского Союза», которая, как известно, является сборником политических докладов, выступлений и некоторых военных приказов, далеко не охватывающих всего хода событий и в ряде случаев подвергающих их субъективной оценке.

Даже из короткого перечисления недостатков рецензируемой книги видно, что труды по истории Великой Отечественной войны должны создаваться иначе.

Прежде всего, для их написания должны быть привлечены документированные архивные источники, дополненные проверенными свидетельствами очевидцев и участников событий. Должно иметь место сопоставление и анализ источников — своих и противника, — выявление подлинных замыслов сторон и объективный показ их реализации.

Должны быть вскрыты истинные причи-

ны успехов и неудач, трудности и их преодоление. Чем более точно это будет сделано, тем отчётливее станет всё величие победы советского народа, тем выразительнее и глубже будет вскрыта выдающаяся роль Коммунистической партии, приведшей народ к победе.

Периодизация событий войны должна быть строго научной. Поскольку речь идёт о труде, посвящённом не специально военному искусству, а войне в целом, периодизация должна учитывать не только ход военных операций, но всю совокупность внешней и внутренней политической обстановки. А для этого историю Великой Отечественной войны Советского Союза следует изучать и описывать не локально, а как важнейшую часть второй мировой войны, чем она в действительности и была.

Мы вправе предъявить настоятельное требование советским историкам — гражданским и военным: создайте как можно скорее полноценную научно-популярную историю Великой Отечественной войны! Правдиво и ярко покажите победу нашего народа и вдохновителя и организатора этой победы — славную Коммунистическую партию Советского Союза!

Полковник С. КОЗЛОВ.



Отец русской геологии

Есть глубокий смысл в том, что предисловие к книге, посвящённой академику А. П. Карпинскому, написал его ученик академик В. А. Обручев, недавно скончавшийся. Оба выдающихся учёных, связанных на протяжении многих лет тесной творческой дружбой, внесли ценнейший вклад в развитие русской и мировой геологической науки.

«Биографический очерк о жизни и научной деятельности Александра Петровича Карпинского, многолетнего президента Академии наук Советского Союза, — писал В. А. Обручев, — познакомит нашу учащуюся молодёжь с замечательным учёным, основоположником знаний о геологическом составе и строении обширной территории

нашей Родины, о её ископаемых богатствах, обеспечивающих горную промышленность такими необходимыми веществами, как каменный уголь, нефть, различные руды, цветные и драгоценные камни.

Научные идеи А. П. Карпинского, двадцатилетие со дня смерти которого исполнилось в июле, совершили при своём появлении подлинный переворот в геологических воззрениях. Из основных положений А. П. Карпинского исходят и современные геологи в своей работе.

Научные интересы А. П. Карпинского были необычайно широки. Он оставил ценные труды в области тектоники и палеогеографии, стратиграфии, петрографии, учения о полезных ископаемых и т. п.

Ещё к концу прошлого столетия А. П. Карпинский, один из первых в мире, разработал общую схему строения земли и установил понятие о медленных колебательных движениях крупных участков земной коры. К таким выводам А. П. Карпин-

Ольга Баян. Отец русской геологии (Рассказы о жизни и деятельности академика А. П. Карпинского). Под научной редакцией доктора геолого-минералогических наук В. А. Варсанюфезой и доктора биологических наук Р. Ф. Геккера. 264 стр. Детгиз. Л. 1955.

ский пришёл на основании введённого им палеогеографического метода — составления карт древней географии, то есть очертания морей и суши в минувшие геологические периоды. Эти карты дали правильное направление поискам многих полезных ископаемых.

А. П. Карпинский создал также единую классификацию осадочных пород, которая была принята на II сессии Международного геологического конгресса, состоявшегося в 1880 году в Болонье. С тех пор на основе этой классификации составляются все геологические карты. Учёный ввёл понятие о переходных органических формах и о переходных слоях, примером которых являются отложения так называемого артинского яруса на Урале. Исследования артинского яруса имели и большое практическое значение, потому что именно в известняках этого возраста уже в советское время были открыты крупные месторождения нефти.

Развитие основных идей А. П. Карпинского и его научная биография изложены во многих специальных статьях. Однако до недавнего времени не было ни одной популярной книги о жизни и деятельности выдающегося учёного, которая рассказала бы молодёжи о его замечательном жизненном пути. А подобного рода книги играют немалую роль в формировании мировоззрения юных читателей. Этот пробел в известной мере заполняет интересная книга О. Баян.

В живом изложении проходят перед читателем детские, юношеские и зрелые годы А. П. Карпинского. Достаточно популярно изложено содержание его важнейших работ. Следует, однако, сразу же упрекнуть автора в том, что нередко хронологическая последовательность их нарушается, и у читателя может создаться неправильное представление о развитии основных идей учёного. Это серьёзный недостаток книги. Вот примеры. В главе «Снова в Горном» рассказывается об избрании А. П. Карпинского действительным членом Академии наук в 1885 году; в следующей главе, «По холмам и равнинам», речь идёт о его путешествии на юг России в 1872 году, и тут же, без указания года издания, излагается содержание основных трудов А. П. Карпинского: «Очерк физикогеографических условий Европейской России в минувшие геологические периоды» (1886) и «Общий характер колебания земной коры в пределах Европейской России»

(1894). Об этих же работах упоминается ещё раз значительно дальше, в главе «В старой Академии наук», также без указания года издания.

Со многими учёными-геологами встречался за свою долгую жизнь А. П. Карпинский. Некоторые были его учителями, другие — товарищами, третьих — в том числе В. А. Обручева и А. Е. Ферсмана — он вырастил и воспитал. Встречи с этими учёными описаны с большой теплотой.

Хороши картины природы Урала и быта уральских горняков.

Удача часть книги, посвящённая деятельности А. П. Карпинского после Великой Октябрьской социалистической революции. Радостно встретил революцию А. П. Карпинский, сразу и безоговорочно став на сторону Советской власти. Первый выборный президент Академии наук, он, уже глубокий старик, без усталости работал сам и увлекал своим примером служения Родине некоторых колебавшихся ещё академиков.

Кипучая энергия А. П. Карпинского, казалась, только увеличивалась с годами. Вместе с А. Е. Ферсманом он совершил поездку на Кольский полуостров, положившую начало изучению Хибин. Он был участником выездной сессии Академии наук на Урале. Разносторонней была большая общественная деятельность А. П. Карпинского. Он выступал на Менделеевском съезде, на съезде колхозников-ударников, на Первом съезде писателей и т. д.

В восьмидесятилетнем возрасте А. П. Карпинский предпринял поездку на Север. Описание этой поездки — одна из наиболее красочных глав книги. Принято было думать, что полевыми экспедиционными работами А. П. Карпинский перестал заниматься очень давно, ещё в первые послереволюционные годы. Между тем последняя поездка Александра Петровича была настоящей полевой экспедицией. Маршрут её отличался большой протяжённостью: Архангельск—Котлас—Сольвычегодск—Сыктывкар.

До последних дней жизни А. П. Карпинского не покидало стремление как можно больше сделать для науки. Он умер на девяностом году жизни. Почему-то точная дата смерти автором не указана.

Глубокие научные идеи А. П. Карпинского продолжают развивать выдающиеся советские геологи. Этой теме посвящена

последняя глава — «Дело его продолжается», написанная, однако, бледно и неубедительно. А между тем молодые читатели, для которых предназначена книга, должны ясно понять, почему мы продолжаем так глубоко ценить труды учёного и чтить его имя.

Книга хорошо иллюстрирована. Некоторые фотографии опубликованы впервые.

Можно пожелать Детгизу выпускать больше книг, рассказывающих о жизни выдающихся деятелей науки и культуры.

Кандидат геолого-минералогических наук
И. БАТЮШКОВА.



Следопыт Дальнего Востока

Литературовед, историк и этнограф Марк Азадовский, профессор Иркутского университета, открыл для нас имена подчас забытых писателей старой Сибири, отыскал замечательные свидетельства о декабристах, создал множество самых разнообразных научных трудов.

Какую-то часть своей трудолюбивой жизни учёный потратил и на изучение деятельности творца «Дерсу Узала», следопыта дальневосточной тайги В. К. Арсеньева. В последние годы своей жизни М. Азадовский составил сборник, озаглавленный «Из литературного наследия В. К. Арсеньева» и включивший малоизвестные труды выдающегося путешественника, его письма; в приложении даны воспоминания об Арсеньеве, написанные одним из его спутников.

Смерть в 1954 году не дала возможности М. Азадовскому осуществить издание «арсеньевского» сборника. Читинское книжное издательство выпустило отдельной книжкой его не большой, но ценный очерк «В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. Опыт характеристики». Подобное издание надо только приветствовать. На страницах книжки оживает образ выдающегося исследователя Дальнего Востока.

Автор характеризует В. К. Арсеньева как человека душевной красоты и высокого подвига. Эти качества ставят его в ряд с такими самоотверженными открывателями, как П. П. Семёнов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Г. Н. Поганин. Такую же любовь и уважение, какими пользовался учёный-гуманист Миклухо-Маклай у папуасов Берега Маклая, списал в делях Дальнего Востока В. К. Арсеньев, верный друг и защитник орочей и удэгейцев. «Нужно быть Арсеньевым,— пишет М. К. Азадовский,— чтобы сразу понять, оценить

и глубоко полюбить такого человека, как Дерсу, нужно было быть Арсеньевым, чтоб завоевать любовь и преклонение всех этих обездоленных людей...»

Книга рассказывает о трудных походах Арсеньева, о бедствиях, выпавших на его долю, о бесстрашных его спутниках, таких, как стрелки Павел Ноздрин, Илья Рожков или казак Крылов. Гимном мужеству звучит рассказ о страшной голодовке на реке Хугу.

Автор знакомит с историей создания печатных работ Арсеньева и опровергает обвинение его в том, будто он намеренно медлил с обнародованием своих открытий.

Важно подчеркнуть, что М. Азадовский первый установил, кто был главным недоброжелателем знаменитого исследователя. Это приамурский генерал-губернатор Н. Гондатти, мнивший себя не только покровителем наук, но и самостоятельным учёным. Пользуясь своей почти неограниченной властью сатрапа дальневосточной окраины, Гондатти даже запрещал Арсеньеву некоторые его экспедиции, как это было, например, в 1915 году. «Мне он говорит одно,— писал Арсеньев о Гондатти,— а телеграфирует в Петроград другое... Мне сдаётся, что подкладка тут ещё хуже, а именно: я думаю, что Гондатти ревнует меня к краю. Он хочет, чтобы одно его имя только и было в истории исследований. Как это глупо! Погоня за дешёвой рекламой. Разве учёный и серьёзный человек будет гнаться за этим».

Враги неутомимого исследователя, распространяя слухи о том, что он не пишет книг о своих путешествиях, великолепно ушли следующее обстоятельство. В 1912 году был издан большой труд Арсеньева «Краткий военно-географический очерк и военно-статистический очерк Уссурийского края». «Краткий очерк» охватывал историю его экспедиций с 1901 по 1911 год. К нему было приложено два десятка карт, составленных Арсеньевым. Но эта энцикло-

М. К. Азадовский. В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. Опыт характеристики. Редактор Е. Петряев. 38 стр. Читинское книжное издательство. 1955.

педия Дальнего Востока была издана Штабом военного округа, и на ней стоял гриф: «Не подлежит оглашению». Поэтому, опровергая клеветнические измышления о том, что он молчит как учёный, Арсеньев был лишён возможности ссылаться на «Краткий очерк», поскольку последний был закрытым изданием.

Вслед за «Кратким очерком» Арсеньев издал «Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края» (1913). Уже в следующем году вышел из печати труд о китайцах Дальнего Востока. Прошло ещё два года, и писатель закончил работу над двумя самыми знаменитыми своими книгами — «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому краю».

Ещё в 1905 году Арсеньев напечатал, казалось бы, прозаический, если судить только по одному заголовку, «Отчёт о деятельности Владивостокского общества любителей охоты». Но этот отчёт местами звучит, как поэма.

М. Азадовский уделяет большое внимание характеристике творчества Пржевальского и называет Арсеньева самым ярким продолжателем литературной традиции великого исследователя Тибета. Подобно Пржевальскому, воспринимая природу как поэт, Арсеньев достигает не только выразительности, но и точности в описаниях. Поэзия и

наука идут рука об руку в произведениях этих открывателей.

Автор высказывает важные мысли о научно-художественной литературе, о которой, к сожалению, очень мало пишет наша критика. На страницах книги мы находим подробный разбор художественных приёмов Арсеньева.

Книга М. Азадовского сопровождается многочисленными примечаниями. О их ценности можно судить хотя бы по примечанию на странице 84. В нём автор скромно свидетельствует, что ещё в 1914 году он имел встречи с Арсеньевым, слушал чтение глав из его книги. Уже тогда Азадовский мог оценить мужественные и проникновенные рассказы о скитаниях на озере Ханка, смерти Дерсу. И надо думать, что Арсеньев не пренебрегал дружескими советами своего будущего биографа.

Книга М. Азадовского о следопыте Дальнего Востока создается не случайно. Она проверена временем, подтверждена собственным опытом автора. Старый историк Сибири не мог не написать этой искренней книги, чтобы рассказать нам правду о бесстрашном исследователе и честном художнике слова Арсеньеве, крепкую руку которого он не раз пожимал.

Сергей МАРКОВ.



Открытия советских археологов

Археологические исследования в нашей стране получили после Великой Октябрьской социалистической революции огромный размах. Достаточно сказать, что в царской России было известно всего двенадцать памятников палеолита, теперь на территории СССР их открыто около восьмисот.

Кроме чрезвычайно важных количественных достижений, советскую археологию отличают и строго научные методы исследований, приёмы изучения добытых во время раскопок вещественных источников и обобщения их «показаний». Всё это позволяет считать советскую археологию новой наукой. Она является ныне полноценным разделом истории, изучающей развитие человеческого общества как единый и зако-

номерный во всей своей громадной разносторонности и противоречивости процесс.

Археологическая наука самостоятельно ставит и решает различные исторические проблемы. «Архив земли», пока только затронутый археологами, таит в себе неисчерпаемые научные богатства.

Важнейшим открытиям советских археологов посвящена изданная Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР работа А. Л. Монгайта «Археология в СССР». Потребность в появлении подобного обобщающего труда давно назрела.

В чём основное значение книги А. Л. Монгайта?

Археологам принадлежит, бесспорно, первое место в борьбе против враждебных теорий буржуазной науки, которая стремится принизить историческую роль народов СССР и игнорирует их подчас очень высокую самобытную культуру. Исследования советских археологов способствовали

познанию древнейшего прошлого нашей страны. Они помогли воссоздать историю бесписьменных народов, воскресить тысячелетнюю историю древних цивилизаций. Советская археология необычайно широко раздвинула горизонты нашего исторического видения, осветив прошлое ярким светом марксистско-ленинской теории.

Материалы и иллюстрации книги А. Монгайта знакомят читателя с выдающимися памятниками древней культуры и искусства народов нашей страны. Мы видим жилища и произведения искусства людей древнего каменного века, изделия эпохи бронзы, поразительные находки в могилах древней алтайской племенной знати. Большое впечатление оставляют памятники античных колоний северного Причерноморья и рабовладельческих и феодальных государств Кавказа, древних цивилизаций Средней Азии, отвоеванные археологами у песчаных пустынь, памятники высокой культуры городов древней Руси.

Читатель знакомится с важнейшими разделами теории и практики работы археологов, начиная с изучения древнейших ступеней истории человечества — каменного века — и вплоть до средневековья. Трудно здесь даже перечислить все темы и памятники, охарактеризованные автором. Исключительный интерес представляют найденные останки людей палеолита — творцов каменных орудий труда, — позволившие восстановить физический облик древнейшего человека.

Советские учёные открыли также много новых памятников неолита. Это дало возможность археологам воссоздать историю формирования отдельных племён и представить конкретную картину их хозяйства и идеологии. Следовало бы воспроизвести в книге рисунок реконструкции поселения древнейших земледельческих племён нашего юга — «трипольцев», сделанной на основе раскопок в урочище Коломыйщина. Рисунки подобных реконструкций дают читателю больше, чем самый живой текст.

Поучителен материал, характеризующий разнообразие культур племён эпохи бронзы — от передовых культур Кавказа, с их высокоразвитой уже в III тысячелетии до н. э. металлургией, и до запаздывавших в своём развитии племён лесной полосы Восточной Европы. Археологические данные говорят также о росте связей племён бронзового века как между собой, так и с передовыми цивилизациями древности.

В рассказе о раннем железном веке внимание привлекают материалы раскопок Неаполя-скифского под Симферополем с его знаменитым мавзолеем скифской знати, курганы Алтая, сохранившие в условиях вечной мерзлоты тела погребённых племенных вождей и трупы коней, огромные красочные ковры и памятники высокохудожественной резьбы по дереву.

Советские археологи значительно продвинули вперёд изучение античных городов северного Причерноморья. Более ясными стали связи, существовавшие между античной цивилизацией и культурой причерноморских племён. Раскопки в Причерноморье обогатили науку новыми памятниками искусства — превосходными расписными вазами, чудесными произведениями мелкой пластики, монументальной скульптуры и декоративной мозаики.

Пожалуй, наиболее яркое впечатление у археологов в области истории и культуры рабовладельческих и феодальных государств Кавказа, Средней Азии и Сибири. Сильное впечатление производят величественные памятники древнейшего на территории нашей страны государства Урарту в Армянском нагорье, а также находки археологов в Грузии и Азербайджане. И здесь, придя к столкновению с неоспоримыми фактами, рухнули старые легенды буржуазной науки об «отсталости» и «застойности» в развитии народов Средней Азии и Кавказа. Их предки вписали яркие страницы в историю мировой культуры, обогатив её великолепными произведениями монументальной архитектуры, скульптуры и живописи Хорезма и Согдианы.

Наши археологи ввели в науку большой новый материал, способствующий решению сложнейшей проблемы происхождения восточных славян. Однако в интерпретации этих памятников есть ещё много спорного. Рассказав об этом, автор должен был выдвинуть свою точку зрения и не оставлять читателя на распустье.

Работы по исследованию древнерусских городов следовало показать шире, в частности больше рассказать о памятниках русской архитектуры XI—XIII веков, богаче представить их в иллюстрациях. Эта тема имеет не узкий историко-архитектурный интерес, она важна для оценки древнерусской культуры в целом. Обилие открытых памятников каменного зодчества свидетельствует о широком развитии монументального строительства, о высокой техни-

ческой и художественной квалификации русских строителей.

Книга снабжена хорошо разработанным справочным аппаратом, что далеко не всегда ещё, к сожалению, сопутствует многим научным и научно-популярным изданиям. В специальных картах дано размещение археологических культур и важнейших изученных памятников. Интересен именно указатель историков и археологов СССР с кратким указанием их специальностей. Географический указатель позволяет быстро найти на картах и в тексте любой объект, а списки литературы в конце каждой главы могут помочь читателю в более глубоком изучении того или иного заинтересовавшего его вопроса.

Автор хорошо справился со своей сложной задачей — осветить всю совокупность археологических исследований от палеолита до средневековья. Он умело отобрал главное, хотя нужно сказать, что за пределами его книги осталось ещё очень много интереснейших материалов. Но это не столько его вина, сколько заслуга советской археологии. Она выросла настолько, что обо всём ею сделанном рассказать в одной книге просто нельзя.

Труд А. Монгайта будет способствовать пропаганде достижений советской археологической науки не только в нашей стране, он, несомненно, вызовет интерес и за рубежом. Полагаем также, что книга явится ценным пособием и для подготовки археологов в наших вузах. В связи с этим нельзя не удивиться её небольшому тиражу — шесть тысяч экземпляров. Не вызывает сомнения необходимость её переиздания:

книга будет совершенствоваться вместе с развитием советской археологической науки.

Считаем нужным коснуться здесь и более общего вопроса — о популяризации памятников культуры народов нашей страны. Если А. Монгайт справедливо упрёкает советских археологов в отставании с публикацией добываемых ими новых драгоценных источников по древней истории СССР, то ещё более велико отставание в области ознакомления с этими открытиями широкого читателя.

Книга А. Монгайта при всей доступности её изложения всё же не представляет собой массового издания. Нельзя ли тому же издательству Академии наук СССР или Госкультпросветиздату (а может быть, и им обоим) организовать издание серии богато иллюстрированных и увлекательно написанных небольших книжек и брошюр, рассказывающих о важнейших открытиях советских археологов, о работе экспедиций, о новых исследовательских приёмах, позволяющих точнее и глубже познавать «речь» древних вещей, детальнее и ярче рисовать картину жизни наших предков?

Такая популярная серия очень нужна. Её содержание могло быть весьма широким: древняя архитектура и искусство, история отдельных важнейших отраслей материальной культуры, земледелия и ремесла, оружия, военного дела, отдельных городов и т. д. Нужно пожелать, чтобы книга А. Монгайта стала починком в этом большом и важном деле.

Доктор исторических наук профессор
Н. ВОРОНИН

★

Природа Северо-Восточного Китая

Один из основных разделов географической науки — страноведение — не получил ещё у нас достаточного развития. Очевидно, что для полного, живого и красочного описания различных стран необходимо и большой запас личных наблюдений, прочные международные связи учёных-географов. Между тем наши географы слишком редко, значительно реже, чем представители других отраслей науки и

культуры, посещают зарубежные страны. Самая методика построения страноведческих характеристик стала у нас делом полужабытым; основную роль здесь играет «интуиция автора».

Мы до сих пор не имеем сводного труда, обнимающего в целом географию, или хотя бы только физическую географию нашего великого соседа — Китайской Народной Республики (если не считать справочной статьи в Большой Советской Энциклопедии и пособия для вузов по физической географии стран Азии).

К числу книг, посвящённых отдельным районам Китая, относится книга доктора

З. Мурзаев *Северо-Восточный Китай. Физико-географическое описание. Ответственный редактор доктор географических наук В. Т. Зайчиков. 252 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1955.*

географических наук, известного исследователя Монголии Э. Мурзаева «Северо-Восточный Китай».

Большой опыт географа-страноведа и литератора позволил автору даже в порядке, так сказать, «заочного странствования» дать первую находящуюся на современном уровне знаний сводку о природе этой сложной и интересной страны. Если учесть, что попыток комплексного описания природы Маньчжурии (так называли раньше эту территорию) на русском языке не делалось с 1934 года, значение работы Э. Мурзаева ещё более возрастает.

Рассказы о природе характеризуются комплексностью. Хорошо, что рельеф и геологическое строение даны в одной главе. Доходчиво показан в отдельном очерке органический мир — растения и животные Северо-Восточного Китая.

При всей серьёзности содержания работы Э. Мурзаева (автор привлёк специальные материалы по геологии, климатологии и т. д.) книга достаточно популярна, читается легко и с интересом.

Наибольшую ценность представляет вторая часть книги, посвящённая характеристике физико-географических районов. Поистине неисчерпаемо здесь разнообразие природы: сухие Гобийские плоскогорья и сырая Нижне-Сунгарийская равнина, хмурая тайга Хингана и роскошные хвойно-широколиственные леса Восточно-Маньчжурских гор.

Автор увлекательно рассказывает об отдельных растениях и животных, о замечательном озере Цзиньбоху и вулканах Уюнь-Холдонги (Удаляньчи), извергавшихся ещё в двадцатых годах XVIII века. Запас собственных экспедиционных впечатлений об аналогичных районах Монгольской Народной Республики помог Э. Мурзаеву при характеристике западных плоскогорно-степных областей страны. Главы, посвящённые районам Барги, Большому Хингану и Гобийскому, выделяются яркостью и живостью описаний.

Большое внимание Э. Мурзаев уделил русским исследователям Маньчжурии: землепроходцам, первым послам в Китае. Значительны работы учёных В. Комарова, П. Кропоткина, К. Максимовича и других. Хорошо, что автор останавливается и на большом вкладе, который внесли в изучение страны русские краеведы в Харбине.

Особое место в книге уделено раскрытию истории и смысла географических названий.

Очень часто, особенно в Китае, они бывают настолько богаты содержанием, что понимание их облегчает не только ориентировку в стране, но позволяет полнее раскрыть как бы самую «душу» соответствующих географических объектов.

Нельзя не остановиться на некоторых спорных, а подчас и неточных местах хорошей книги Э. Мурзаева.

Вряд ли удачно вынесение раздела «Население и хозяйство» в начало книги и рассмотрение, таким образом, этих вопросов в отрыве от природной среды, не известной ещё читателю. Автору приходится говорить о полезных ископаемых задолго до характеристики геологического строения. Трудно воспринимается и рассказ о сельскохозяйственных культурах Северо-Восточного Китая до получения сведений о климате и почвах. Разве не лучше было бы после описания животного мира дать комплексный обзор типов местности, а потом поместить раздел, посвящённый населению и хозяйству? Тогда, опираясь на ранее изложенный материал, автор последовательнее мог бы раскрыть взаимодействие природы и человека.

Непонятно отсутствие в книге общего обзора почв Северо-Восточного Китая, которые являются, пожалуй, наиболее выразительным «зеркалом» существенных черт ландшафта. Почвы обрисованы отрывочно, лишь в порайонном обзоре. Не хватает и картосхемы типов почв (остальные разделы книги картосхемами обеспечены неплохо).

Вызывает сомнение толкование автором термина «ландшафт» преимущественно в биогеографическом смысле. Картосхема типов ландшафтов опирается только на геоботанические данные, причём, если судить по условным знакам, климатические и геоморфологические данные во внимание не приняты. В результате объединены в один тип такие разные географические области, как горная тайга средневисотного Большого Хингана, лиственное мелколесье, лесостепные холмы и низкогорья Сахалинского Хингана и равнинная болотистая тайга приамурских плато.

Не совсем понятно, как увязаны между собой схемы «типов ландшафтов» (фиг. 20) и «физико-географических районов» (фиг. 22). Различие многих контуров на этих схемах не даёт возможности сделать вывод, что физико-географическое районирование подчинено закономерным сочетаниям типов ландшафта.

Из того факта, что ледниковые отложения имеются только в горах Большого Хингана, сделан неожиданный вывод: «Это говорит о том, что данный хребет и в первой половине четвертичного времени не был настолько высок, чтобы стать центром оледенения».

В «биогеографической характеристике» неудачно сказано, что «можно проследить один и тот же вид, присущий европейским и дальневосточным лесам». А в качестве примера приводятся различные, хотя и близкие, виды: «европейская зеленушка представлена (место «замещена». — Ю. Е.) на Дальнем Востоке китайской зеленушкой».

Из-за опечаток и недосмотра дважды не повезло реке Сунгари. Она ошибочно упомянута в связи с Шуйфынским водохранилищем, которое находится не на Сунгари, а на Ялуцзяне. Кроме того, Сунгари заставили впадать в... Уссури — здесь её явно спутали с рекой Сунгачей,

Плохую услугу книге оказала техническая редакция. В результате неудачной рубрикации вся вторая часть «Северо-Восточного Китая» — повествование о контрастных, сверкающих разнообразными красками географических областях — слита в один сплошной текст. Это затрудняет чтение.

Нужная и полезная книга Э. Мурзаева, вероятно, потребует переиздания. Отмеченные недочёты нетрудно будет устранить.

Полнокровной жизнью живёт великий китайский народ. Быстрыми темпами движется исследование природы Китая, её преобразование на благо человека. Хочется пожелать Институту географии Академии наук СССР выпускать больше хороших, ярких книг о нашем великом соседе.

Ю. ЕФРЕМОВ.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

свою судьбу, и любовь играет в его жизни совсем иную роль. Жюльен Сорель — отнюдь не игрок: это волевой человек, идущий сознательно к намеченной цели. Обще-

ПОЧЕМУ СТЕНДАЛЬ НАЗВАЛ СВОЙ РОМАН «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ?»

Вероятно, этот вопрос задавал себе чуть ли не каждый читатель «Красного и чёрного».

Близкий друг Стендаля и его первый биограф Ромен Ко-

ломб сообщает: «Уже больше года я видел на письменном столе Бейля (Стендаля) рукопись, на обложке которой было написано большими буквами: «Жюльен»... Как-то утром, в мае 1830 года, он неожиданно прервал разговор и сказал мне: «А не назвать ли нам его «Красное и чёрное»?..» Да, назовём его «Красное и чёрное». И, взяв рукопись, он заменил этими словами название «Жюльен». «Что значит это название? — продолжает Коломб. — Каждый пытался найти его смысл, но дальше предположений дело не пошло... Я склонен думать, что это странное наименование было просто уступкой тогдашней моде и придумано было как средство успеха».

Действительно, в начале тридцатых годов XIX века «странные» названия были в моде, хотя все они так или иначе мотивировались и никакой загадки не составляли. С другой стороны, едва ли бессмысленное название могло бы содействовать успеху книги. Каковы же причины, которые заставили Стендаля избрать именно это название и эти цвета?

Современники Стендаля, так же как его ближайшие друзья, отказывались от объяснения.

«Название случайное и немного бессмысленное», — писало «Ревю Этранжер» (1832).

«Роман с тем же успехом можно было бы назвать «Зелёное и жёлтое» или «Белое и синее», — писало «Ревю де роман» (1839).

Позднее романист Арсен Уссе увидел в названии намёк на красное и чёрное поля рулетки: роман, мол, говорит об игре случая, о «человеческой судьбе, брошенной на зелёное поле любви». Однако в романе нет никаких намёков на азартную игру; ни на какое зелёное сукно Жюльен не бросает

свой смысл романа — в детерминированности этой судьбы, а не в её случайности.

После смерти Стендаля его друг французский критик Эмиль Форг с чьих-то слов сообщил, будто бы сам Стендаль давал такое объяснение: «Красное означает, что, если бы Жюльен родился раньше, он был бы солдатом, но в свою эпоху он должен был надеть на себя сутану, отсюда чёрное».

То, что Форг изложил, как непроверенное предположение, позднее многие биографы Стендаля приняли без всяких колебаний.

Однако при ближайшем рассмотрении это толкование вызывает некоторое недоумение. Почему наполеоновская армия должна быть представлена красным цветом? Очевидно, по цвету военного мундира, о котором мог бы мечтать Жюльен? Именно это и утверждает большинство тех, кто придерживается такого объяснения. Но и в революционной и в императорской армии красные мундиры были очень редки — красными или кармазиновыми в некоторых частях были только выпушки и султаны. В красные же мундиры была одета английская армия. Красный мундир для французских солдат был предметом ненависти. Это был мундир врага. В «Пармском монастыре» на поле Ватерлоо французские солдаты, увидев неприятельские трупы, радостно кричали: «Красные мундиры! Красные мундиры!» Красный цвет был также эмблемой испанских Бурбонов, и потому их сторонники, как и испанские партизаны, против которых сражались французские войска, носили красные кокарды. Стендаль, бывавший в Испании и осведомлённый в делах империи, знал это очень хорошо. Поэтому он не мог избрать эмблемой военной службы в период революции или империи красный мундир.

Но, может быть, красный цвет это цвет не мундира, а династии? Тоже не так. Эмблемой Наполеона был зелёный цвет.

Нет красных мундиров и в романе Стендаля. Мадам де Реналь хотела, чтобы Жюльен Сорель «хотя бы на один день сбросил с

себя своё печальное чёрное одеяние». Если бы Стендаль хотел противопоставить чёрную одежду красному мундиру, то он сделал бы это именно здесь, однако мундир почётной гвардии, который с таким восторгом надевает Жюльен в день приезда короля, светлоголубой.

Жюльен постоянно носит чёрный костюм — как учитель в доме Реналей и как секретарь маркиза де Ламоля. Но это не только цвет духовной одежды. Это цвет одежды чиновника. Конечно, Жюльен пытается сделать карьеру, облачившись в сутану, но цель его стремлений выше: если бы ему пришлось выбирать, он выбрал бы лиловую рясу епископа Агдского, а потому лиловый цвет с тем же успехом мог бы фигурировать в названии романа.

Многие критики идут ещё дальше. Увидев в названии романа обозначение сначала платья, а затем профессии, они утверждают, что эти цвета обозначают также и политические партии: красное должно обозначать будто бы либералов или республиканцев, а чёрное — иезуитскую конгрегацию или ультрароялистов. Жорж Садуль, говоря о фильме «Красное и чёрное» («Иностранная литература» № 6 за 1955 год), утверждает, что «в Жюльене Сореле борются... чёрные сутаны приверженцев Карла X и красные знамёна 1793 года». Можно подумать, что все приверженцы Карла X носили сутаны, что это была особая форма одежды реакционной политической партии. Этого, конечно, не было. В двадцатые годы партия ультрароялистов никогда не обозначалась при помощи чёрного цвета. С 1661 года цветом королевского знамени был белый. Отсюда белые кокарды, сыгравшие такую роль во всех монархических движениях и восстаниях конца XVIII — начала XIX века. Вот почему и Стендаль в «красочном» названии своего «Люсьена Лувена» («Красное и белое») обозначил белым цветом легитимистов.

Но мог ли красный цвет символизировать либералов или республиканцев? Ни в коем случае. Не было «красных знамен 1793 года». Французская революция выступала под знаменем, в котором к традиционному белому цвету королевского флага были присоединены красный и синий цвета города Парижа.

Правда, 17 июля 1791 года на Парижской ратуше развевалось красное знамя, но значение его было иным. Согласно секрету Учредительного собрания, оно должно бы-

ло вывешиваться в окне ратуши как предупреждение о том, что собравшаяся толпа будет разогнана силой. Революционный смысл красное знамя получило лишь 5 июня 1832 года, то есть два года спустя после того, как роман Стендаля получил своё окончательное название. В этот день на похоронах Ламарка республиканцы подняли восстание против Июльского правительства, и на краткое мгновение среди восставших в руках неизвестного всадника мелькнуло красное знамя — отныне символ революции.

Существует ещё одно толкование, не связанное ни с мундиром, ни с партиями. В специальной статье, посвящённой названию «Красного и чёрного», современный учёный-литературовед Лири Жакубе рассматривает оба эти цвета как характеристику двух возможных жизненных путей: чёрное, цвет отталкивающий и вместе с тем ужасный, — это всё то, что может ввергнуть в обыденность, в пошлость, раблепие и мелкое тщеславие; красное — это пламя страстей, буйство, блеск славы, а также пролитая, своя и чужая, кровь и т. д. Жакубе указывает на несколько сцен, кажущихся ему «красными»: на сцену в Верберской церкви, на кровавую рану, намалёванную на статуе св. Климента, на красную ленточку, которую король разрешил носить верьерским девушкам в память его приезда, на ревнивые размышления Ренала, тоже будто бы имеющие красный цвет или смысл. Словом, всё то, что, по мнению Жакубе, выходит за рамки обыденной жизни, он называет красным (красным кажется ему и чёрный траур Матильды, отмечающей «кровавую» дату смерти Бонифаса де Ламоля). С другой стороны, чёрное — это всё банальное и обыденное: честолюбие, семинария и т. д. Такое толкование сочетает вещи несовместимые — красные ленточки и убийство, нелепо раскрашенную статую святого и похороны Жюльена, а с другой стороны — супружеские обманы мадам де Реналь и подражники гадких семинаристов. Ничего обоснованного, научно аргументированного в этом толковании нет.

Но как всё же объяснить «загадочное» название? Прочитаем роман заново. Мы обнаружим в нём две сцены, которые можно было бы назвать «пророческими». Такие «пророческие» сцены во французской и в других европейских литературах встречаются очень часто. То, что должно случиться с героем, предсказывается уже в самом

начале романа или драмы либо предчувствием, либо предзнаменованием, либо прямым, хотя и неясным «пророчеством».

Жюльен отправляется в дом Реналей, в котором должна решиться его судьба. «Лицемерия ради» он заходит в церковь. По случаю какого-то праздника окна церкви затянуты малиновой материей. «От этого под лучами солнца получался ослепительный световой эффект самого внушительного религиозного свойства». Жюльен сел на скамью; на ней был герб господина де Реналья. На этом месте впоследствии он будет стрелять в мадам де Реналь. На аналое лежал клочок печатной бумаги, и Жюльен прочёл: «Подробности казни и последние минуты Луи Жанреля, казнённого в Безансоне...» На обороте стояло: «Первый шаг». Жюльен обратил внимание на то, что фамилия казнённого кончается так же, как «Сорель». У выхода под кропильницей ему помешалась кровь. Это была пролитая святая вода; отсвет красных занавесей, закрывавших окна, придавал ей вид крови. Как полагается в этой литературной традиции, героя охватывает «тайный ужас». Да, это он делает свой «первый шаг», за которым последует убийство, и так же будет лужа крови посреди храма, и вслед затем уже не Жанрель, а Сорель будет осуждён местным судом и гильотинирован. И несмотря на это предупреждение, Жюльен, вскричав: «К оружию!» — быстрым шагом идёт к дому Реналья, навстречу своей судьбе.

Эта первая «пророческая» сцена вся озарена красным светом, который имеет здесь явно символическое значение.

Жюльен приезжает в Париж, и открывается вторая пророческая сцена. Матильда де Ламоль появляется к столу в глубоком трауре, который тем более поразил Жюльена, что только она одна из всей семьи была в чёрном платье. Этот траур, шокирующий её родителей, Матильда надевает по Бонифасу де Ламолю, которому 30 апреля 1574 года отрубили голову на Гревской площади. Услужливый академик сообщает Жюльену, что Маргарита Наваррская, возлюбленная Бонифаса, выкупила его голову у палача и в полночь похоронила её собственноручно у подножия Монмартрского холма. Поведение Маргариты Наваррской восхищает Матильду.

Матильде уготована та же участь: она также «без содрогания» прикоснётся к выкупленной у палача голове своего возлюб-

ленного и ночью при свечах, в глубоком трауре, похоронит её — она получит то, о чём мечтала: испытает и совершит необычайное. Чёрный цвет траурного платья Матильды также имеет здесь символический смысл.

Первая пророческая сцена предсказывает преступление, убийство, вторая — наказание, смерть. Они связаны между собой прочной причинной связью.

В первом двухтомном издании романа замечательный рисовальщик того времени Анри Монье изобразил именно эти сцены: на обложке первого тома Жюльен стреляет в мадам де Реналь, на обложке второго — Матильда при свечах целует отрубленную голову Жюльена. Это единственные иллюстрации издания. Выбор их был сделан, конечно, по указанию Стендаля.

Очевидно, Стендаль придавал этим сценам большое значение. Он изображал судьбу честолюбца из низших слоёв общества, энергичного и талантливого юноши, перед которым закрыты все двери. Этот честолюбец не находит прямого выхода своей энергии и своим талантам и должен итти в обход. Он должен лицемерить и лгать. Вместо того чтобы принести пользу обществу, как то случилось бы в другую, более демократическую эпоху, он становится преступником.

Таков был замысел Стендаля. Выдвигая эту идею на первый план, он и показал в самом начале романа «пророческую» сцену в Верьерской церкви в тот момент, когда Жюльен делает свой «первый шаг» на гибельном пути честолюбия и лицемерия. Вторая «пророческая» сцена должна была придать большую отчётливость образу Матильды и всем тем общественным проблемам, которые с нею связаны. Тем самым роман приобретал композиционную чёткость и единство, которое, казалось Стендалю, могло распастись при том методе «хроникального», последовательного анализа, которым он создавал свои крупные романы.

Несомненно, колорит «пророческих» сцен оказался явлением вторичным. Лужа крови должна быть неизбежно красного цвета, так же как траурное платье Матильды — чёрного. Написав почти целиком весь свой роман и обратив внимание на то, что две пророческие сцены обладают столь ярко выраженными колоритными свойствами, Стендаль, чтобы подчеркнуть идейную

и сюжетную структуру романа, решил дать ему это «цветовое» название.

Естественно затем, что с красным цветом в романе ассоциируется убийство, пароксизм страсти, преодолевшей контроль разума и внушённой низкими, господствующими в данном обществе представлениями и идеалами; с чёрным цветом — высший трагизм безнадёжной любви, смерть, карающая за нелепое преступление, и, с другой стороны, отказ от жизни, не стоящей того, чтобы жить, трагическое освобождение от честолюбивого угара, от ложной любви.

Однако название, как мы видели, увлекло воображение исследователей совсем в другую сторону: начались догадки о мундирах и сутанах, не имеющие под собой исторических оснований, искажающие нравственный смысл романа и обедняющие его общественный смысл.

Режиссёр французского фильма «Красное и чёрное» Клод Отан-Лара тоже стал жертвой «теории мундира и сутаны» и в своём цветном фильме «раскрасил» роман совсем не так, как у Стендаля. Прежде всего он уничтожил «красную» сцену в церкви и заменил её тоже «пророческой», но в цветовом отношении безразличной сценой со свечами, которые гасит аббат Пирар (такой сцены в романе нет). Затем он изменил цвет мундира, в который облачается Жюльен Сорель в день приезда в Верьер короля: он снял с Жюльена небесно-голубой мундир и надел на него красный. Неверное понимание названия привело, на наш взгляд, и к некоторому искажению подлинника.

Интерпретировав это название в связи с анализом текста и намерениями Стендаля, мы можем полнее воспринять общественное содержание романа и его художественные качества

Проф. Б. РЕИЗОВ.

★

ЗАБЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ

История русской литературы начала XIX века, а также Отечественной войны 1812 года освещена достаточно полно.

Однако есть один писатель и публицист этого времени, несправедливо забытый нашим литературоведением. Речь идёт об Алексее Григорьевиче Евстафьеве (1779—1857).

О жизни А. Г. Евстафьева известно до обидного мало. То же, что мы знаем о нём,

свидетельствует о своеобразно сложившейся его судьбе, как человека и писателя.

А. Г. Евстафьев родился на Украине в районе города Чугуева или в самом Чугуеве. Учился он, кажется, в Харьковском коллегии, по окончании которого, в самом конце XVIII века, был послан мелким служителем (по имеющимся сведениям, певчим) при церкви русской дипломатической миссии в Лондоне. Изучив в совершенстве английский язык, А. Г. Евстафьев усиленно занялся литературой и историко-политическими вопросами. Вскоре благодаря проявленным способностям он становится работником дипломатической миссии, затем назначается русским консулом в США, в Бостоне, а с 1834 года в Нью-Йорке. На консульских должностях А. Г. Евстафьев пробыл до 1852 года. Оторванный на столь длительное время от родины, А. Г. Евстафьев почти все свои произведения вынужден был обнародовать на английском языке в Англии и США.

Обширная литературная и публицистическая деятельность Евстафьева должна, безусловно, служить предметом специального изучения. Здесь же нам хотелось коротко сказать о некоторых его работах.

В своём творчестве Евстафьев выражал прогрессивные общественно-политические воззрения. В ряде статей (изданных обычно анонимно) он живо откликался на животрепещущие международные проблемы.

Активную публицистическую деятельность развил А. Г. Евстафьев в годы Отечественной войны 1812 года. Он был едва ли не одним из первых русских публицистов, который познакомил английских и американских читателей с подробным ходом военных событий. Опираясь на огромный фактический материал, он объективно и всесторонне показал героические подвиги русской армии и русского народа.

В 1813 году Евстафьев издал переведённую им на английский язык книгу полковника генерального штаба П. Чуйкевича «Рассуждения о войне 1812 года».

В том же 1813 году, то есть задолго до завершения войны, А. Г. Евстафьев издал в Бостоне книгу «Силы России накануне войны с Францией с кратким описанием казаков и прибавлением перечня боевых операций». О популярности этой книги и интересе читателей к ней может достаточно свидетельствовать то, что она выдержала ещё три издания в Бостоне и Лондоне.

А. Г. Евстафьев не ограничился только объективным изложением событий, а вступил в горячую полемику с английскими и американскими «друзьями Наполеона» и теми обозревателями и публицистами, которые пытались умалить усилия и успехи русского оружия и занимались поисками разного рода «географических» и «климатических» факторов и причин поражения наполеоновской захватнической армии. По этому поводу Евстафьев издал в 1813 году в Бостоне брошюру «Ответ Эдинбургским обозревателям автора книги «Силы России накануне войны с Францией», в которой дал достойную отповедь людям, не желавшим понять, что главной причиной гибели наполеоновских полчищ был не «ужасный климат России», а боевая месть и патриотизм русской армии и народа.

Другие свои полемические выступления в американской и английской прессе Евстафьев объединил в книге «Достопамятные замечания о последних событиях в Европе» (Бостон, 1814). В предисловии к книге автор писал: «Значительная и беспринципная группа людей здесь (то есть в США. — Л. С.) и в Англии напрягает свои усилия для того, чтобы поносить мою страну и принизить заслуги русских и их достоинства. Я осмелился вступить в борьбу с этими Голнафами. Я это сделал не потому, что я переоценивал свои скромные силы, а потому, что они невежественны и недобросовестны в подборе фактов, широко распространяемых ими. Из-за этого даже благосклонные к русским писатели судят о них до известной степени несправедливо».

Этими статьями далеко не исчерпываются все выступления автора по поводу войны 1812 года. Он сам указывал, что приводит только некоторые свои статьи или извлечения из них. Таким образом, совершенно очевидно, что многие статьи Евстафьева пока не обнаружены и не учтены. Следует сказать, что даже известные его произведения малодоступны и являются библиографическими редкостями, с трудом находимыми в наших лучших книгохранилищах.

А. Г. Евстафьев является также автором ряда литературно-художественных произведений. В 1812 году он издаёт в Бостоне книгу «Рассуждения, заметки и подлинные анекдоты, рисующие душевные свойства

Петра Великого» и в качестве приложения к ней трагедию «Царевич Алексей». Имеются сведения о принадлежности Евстафьеву поэм об Отечественной войне 1812 года и «Мазепа и Пётр Великий».

В 1818 году вышла в свет его эпическая поэма «Дмитрий Донской». Автор единственной пока в нашей литературе краткой статьи о Евстафьеве (первое библиографическое известие о Евстафьеве, составленное С. Д. Полторацким, появилось в 1858 году в журнале «Библиографические записки») профессор М. П. Алексеев, высоко оценивая художественные достоинства поэмы «Дмитрий Донской», указал вместе с тем на гражданский пафос, каким проникнута поэма. (Научный бюллетень Ленинградского государственного университета № 8 за 1946 год.) М. Алексеев предполагает, что поэма Евстафьева могла оказать некоторое воздействие на известную «думу» вождя декабристов Рылеева — «Дмитрий Донской».

Передовые демократические идеи Евстафьева нашли выражение и в его эпистолярном наследии. В дошедших до нас письмах он энергично осуждает деспотизм самодержавия, аракчеевщину, военные поселения, сословные предрассудки. Побывав на своей родине в 1828 году, спустя почти десятилетие после кровавого подавления Чугуевского восстания, и увидя некогда цветущий родной край разрушенным и опустошённым, Евстафьев с гневом писал известному государственному деятелю Н. С. Мордвинову, что Аракчеев — опасный для России мрачный демон, трусливый и жестокий тиран. Вся «доблесть» которого сводится к истреблению честных патриотов своего отечества. В другом письме, относящемся к началу 1840-х годов, Евстафьев писал, что узкокастовый эгоизм дворянской и чиновничьей знати является «роковым для России злом».

Для выявления всего литературного наследия А. Г. Евстафьева потребуются, несомненно, упорные разыскания исследователей-специалистов. Но сейчас, в связи с приближающейся столетней годовщиной со дня смерти А. Г. Евстафьева, следовало бы Гослитиздату издать в русском переводе уже известные сочинения этого писателя.

Л. СВЕТЛОВ.



РЕПЛИКИ

О ГОСТЯХ И ГОСТИНИЦАХ

Несколько лет тому назад на улице Горького я встретил знакомого агронома. На его лице боролись два взаимоисключающих чувства: восторг и разочарование.

— Наконец-то я в Москве! — сообщил он устало. — Сбылась моя давнишняя мечта... Но...

Но нет места в гостинице. Сегодня освободилась одна комната в гостинице «Балчуг», но его не приняли, так как у него нет командировочных документов. Да, он не в командировке — просто ему очень хотелось провести свой месячный отпуск в Москве.

— Ведь есть у меня документ, — вспикел мой знакомый, — есть паспорт, наш советский паспорт!

В этом «случайном» эпизоде кроется печальная закономерность. Гостиницы перегружены не только в Москве, но и во многих городах нашей страны, и гости, если они не состоят членами каких-либо делегаций, не могут даже и рассчитывать на номер в гостинице.

Однако и с членами делегаций дело обстоит не столь уж благополучно. Пока длится срок пребывания твоей делегации, ты почётный гость, тебя встречают в гостинице с уважением и дружеской улыбкой. Но едва делегация закончила свою работу, ты для работников гостиницы уже не почётный гость, а жалкий «объект

выселения». Дежурная по этажу приветствует тебя вопросами и лаконическими императивами: «Когда вы уезжаете?», «Ваш номер нам нужен», «Вы должны завтра освободить номер». Вы пытаетесь отвечать: «Но я вынужден задержаться в Москве ещё дней десять: я ещё не успел посмотреть достопримечательности города, не купил подарки детям, мне предстоит работа в библиотеке имени Ленина». Все эти аргументы не действуют на гостиничную администрацию, ибо ей уже дано распоряжение разместить новую большую группу гостей...

Нет сомнения, что ты должен уступить место для предусмотренной планом группы туристов или для членов другой делегации, раз в городе большой недостаток гостиниц. Разум диктует: безропотно собрать свои вещи и искать выход из неприятного положения. Но тот же разум возмущается: почему это положение остаётся в наших городах неизменным на протяжении десятков лет? Почему нельзя форсировать строительство новых гостиниц и добиться того, чтобы человеку, приезжающему в какой-нибудь город, не приходилось думать, найдёт ли он номер в гостинице и не высылат ли его оттуда раньше времени?! Ведь сумел же, например, Московский Совет за сравнительно короткий срок осуществить строительство целого ряда гостиниц для делегатов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Как было бы хорошо: приехал человек, скажем, в

Ленинград, в Киев или Ригу, и уже на вокзале окружают его представители разных гостиниц на своих машинах: «Добро пожаловать!» Я считаю, что советский человек, путешествующий по родной стране, имеет право рассчитывать на такой приём в любом городе.

Это не слишком дерзкая мечта. Уровень развития нашей страны, гигантский размах жилищного строительства дают возможность в ближайшем будущем превратить эту мечту в действительность.

Следует увеличить число гостиниц прежде всего в Москве, куда ежедневно устремляется огромный поток гостей из разных стран, со всех концов нашей необъятной Родины. Надо срочно освободить здание «Новомосковской» гостиницы от постоянных жителей, пристроить вторую очередь гостиницы «Москва» (ведь эти работы должны были начаться ещё до войны!), форсировать строительство новой гостиницы в Зарядье. Все эти гостиницы вместе дадут около пяти тысяч номеров. Не надо строить таких «роскошных», гостиниц, как, например, «Ленинградская», где не слишком удобный номер стоит 40—60 рублей в сутки. Надо, чтобы номера были удобные, комфортабельные и чтобы цена их была доступна рядовому тружущемуся, в том числе и командированному по делам служащему, которому государство разрешает платить за гостиничный номер не более восемнадцати рублей в сутки.

Не следует забывать, что первое непосредственное впечатление от любого города мы получаем через гости-

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

В МИРЕ ЧУДЕС

Обратили ли внимание рецензенты романа Евгения Фёдорова «Ермак» (Ленинград, 1955) на склонность автора к мистике? В обеих книгах романа буквально на каждом шагу происходят чудесные явления.

Так, на странице 323 (книга II) автор романа, описывая пир у Грозного в 1582 году, мимоходом сообщает: «В застольице протискался дородный князь Вотынский».

Дородный князь, видимо, так любил покусать, что и гроб не удержал его вдали от накрытого стола. Опальный князь умер по дороге в ссылку в 1577 году, но эта мелкая подробность его биографии нисколько ему не помешала, по свидетельству Фёдорова, появиться на пиру у Грозного.

В 1579 году скончался от пыток царский врач Елисей Бомелий. Но в 1584 году, по словам Е. Фёдорова, он появился у постели умирающего Грозного «со своими снадобьями» (стр. 452, книга II).

Не желал заснижаться на том свете и думный дьяк Висковатый. Стоило оказаться в Москве посольству Ермака в 1582 году, как тут же появился и покойный дьяк. Он, по словам автора романа, вёл себя чрезвычайно живо: с кем-то переглядывался, на кого-то «многозначительно» смотрел. Уже двенадцать лет

прошло с тех пор, как тело казнённого Висковатого было предано сырой земле. Странно, что его появление на приёме послов Ермака ровно никого не удивило. Но герои романа Е. Фёдорова ко всему, видно, привыкли.

Однако наиболее жизненным и стойким оказался купец Строганов. По свидетельству Е. Фёдорова, этому герою удалось посмертно произвести на свет сына Анику. В 1517 году, пишет автор, Анике «только-только исполнилось двенадцать лет» (стр. 290, книга I). Ребёнок, следовательно, родился на свет в 1505 году. Поистине чудесное рождение, если принять во внимание, что его отец скончался в 1493 году!

Галерея энергичных жителей того света этим в романе Фёдорова не заканчивается. Одни участвуют в земной жизни посмертно, другие пытаются смешаться с живыми до своего появления на свет. Так, на странице 302 (книга I) мы читаем, что в 1452 году московскому государю Ивану III было вручено письмо «от римско-германского короля Максимилиана». В этих строках чудеса на каждом шагу! В указанный год Московской правил не столько Иван III, сколько батюшка его Василий Тёмный. Римско-германского короля Максимилиана никогда не существовало, а был император Максимилиан. Но это мелочи. Интереснее другое: нетерпеливый Максимилиан написал письмо за семь лет до своего появления на свет!

Если покойные герои Е. Фёдорова ведут себя с такой энергией, то нетрудно

вообразить, какие чудеса творят живые!

На странице 353 (книга II) атаман Иван Кольцо за просто выхватывает «из-за пазухи пищаль». Не удивительно, что стрельцы в смятении отступают. Ни стрельцам, ни кому другому не приходилось, конечно, видеть, чтобы огнестрельное оружие длиной в полтора метра носили за пазухой и легко выхватывали из оной. Нездешней силой и нездешней пазухой обладал атаман Кольцо!

Герои Фёдорова надслены также чудесными пророческими способностями. «Айда, братья, в кружало!»—бодро восклицает тот же Кольцо на странице 227 (книга I). Кольцу нипотём, что в его время никаких кружал и в помине не было и что эти питейные заведения откроются значительно позже, в декабре 1651 года. Кольцо предчувствует: быть кружалам на Руси!

Не отстаёт от Кольца и казак Полетай, который на странице 23 (книга I) говорит Ермаку: «Каждая русская реченька имеет свою красу. Волга-матушка—глубокая, раздольная и разгульная! Урал—золотое донышко, серебряны покрывечки...» Известно, что во время беседы Полетая с Ермаком никакой реки Урал не существовало, а была река Янк, которая лишь при Екатерине была переименована в Урал. В те далёкие времена будущая река Урал не входила в русское царство.

Чудеса творит и сам царь Иван Грозный. По свидетельству автора романа, он награждает oprичников родовыми вотчинами князей Ярославских, Белозерских,

Суздальских и Черниговских (книга I, стр. 354). Что Грозному до того, что перечисленные роды угадали до его изобретения, что этих вотчин давно не существовало? Если вокруг воскресают из мёртвых, то почему бы не дарить того, чего нет на свете? В этом романе всё возможно.

Подобные чудеса щедрой рукой рассыпаны по страницам объёмистого романа Е. Фёдорова. Один из его героев, Сейдяк, одновременно ухитряется быть сыном двух братьев—Бейбулата и Эдигера. Если вы взглянете на страницу 367 (книга II), то там Сейдяк фигурирует как сын Бейбулата, на странице 448 он становится сыном Эдигера, а на странице 465 вновь становится сыном Бейбулата. Автор романа чудесным образом переносит город Ростов в Заповолжье (стр. 361, книга I), сажает в Новгород митрополита (стр. 355), которого там отродясь не было, заставляет Ермака участвовать в Ливонской войне (стр. 378, книга II), хотя этого тоже никогда не было...

Нет возможности перечислить все странные явления, встречающиеся в этом историческом романе Е. Фёдорова. Не будем ни о чём спрашивать автора.

Нам лишь хочется задать вопрос редактору А. Троицкому: читал ли он отредактированный им роман?

**С. ЛУРЬЕ, библиотекарь,
Н. ИЛЬИНА.**

★

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЮМОР?

Под таким названием появилась статья в газете «Советская культура» от 14 июня 1956 года. Поскольку статья напечатана в порядке обсуждения, мы позволим себе сказать о ней несколько слов. Судя по всему, автор, кандидат филологических наук С. Калачёва, решила внести наконец ясность в вопрос о юморе. Мы прочитали статью, и вместо ожидаемой ясности — на сердце грусть.

Автор выступает как умудрённый эрудицией «смеховед», который если и улыбнётся, то исключительно с научной целью.

В соответствии с тем, как пишутся подобные статьи, в которых ещё тлеет не остывший диссертантский пыл, С. Калачёва доказывает, что существующие определения юмора никуда не годятся и, кроме вреда, ничего не приносят. Затем она выдвигает своё определение. Мы узнаём, что юмор «открывает незаметные с пер-

вого взгляда достоинства человека», в этом его сущность и отличие от сатиры. Юмор — утверждает, сатира — отрицает. Таким образом, начиная с 14 июня 1956 года, когда опубликована эта статья, уже нельзя никого юмористически изображать в смысле «высмеивать», а можно только юмористически прославлять, воспевать и утверждать. Впрочем, в этом есть какой-то смысл, ибо самая статья «Что же такое юмор?» действительно полна юмористических утверждений. Чего стоит хотя бы предостережение о том, что опасно совмещать в едином образе юмор и сатиру. Жаль, Чехов не читал этой статьи. Он, конечно, сейчас же перестал бы этим заниматься.

Или С. Калачёва доказывает, что у человека не может быть «второстепенных, частных» недостатков. Все они равно недопустимы, нетерпимы и, в конечном счёте, могут привести «к серьёзным промахам, а иногда и к преступлению». Ну зачем же так? Вот, например, бывает, что у человека нет чувства юмора. Нехорошо, конечно. Бесспорный «частный недостаток». Однако ничего преступного здесь нет. Жить можно. Не стоит только писать таких статей о юморе.

А. Я.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. БОНЧ-БРУЕВИЧ. В. И. Ленин в Петрограде и в Москве (1917—1920 гг.). Госполитиздат. М. 1956. 48 стр. Цена 55 к.

Читатель с живым интересом прочтёт эту небольшую книжку, дополняющую новыми штрихами бессмертный образ великого создателя и вождя первого в мире социалистического государства.

Автор вспоминает о деятельности Владимира Ильича Ленина в первые дни Октябрьской революции.

Яркими примерами передана в книжке отеческая забота Ленина о людях. Отдельные главы посвящены отношению Владимира Ильича к науке, технике, искусству.

Ю. ПЕТРОВ. Военные комиссары в годы гражданской войны (1918—1920 гг.). Госполитиздат. М. 1956. 148 стр. Цена 2 р. 46 к.

«Без военкома мы не имели бы Красной Армии», — так оценил В. И. Ленин роль комиссаров в годы гражданской войны. Популярная брошюра Ю. Петрова раскрывает эту роль на конкретном историческом материале.

Автор восстанавливает в памяти читателей имена многих комиссаров — героев гражданской войны: М. П. Ялышеза, П. Н. Бахтурова, Я. Б. Гамарника, Г. П. Звейнека, Ем. Маленкова, С. П. Воскова, И. И. Газа и многих других посланцев партии, воодушевлявших бойцов на подвиги. В книге приведены многочисленные цифры, характеризующие организаторскую работу ЦК партии, направлявшего коммунистов в Красную Армию.

СЕМЬЯ ЗАЛОМОВЫХ. Сборник воспоминаний и документов. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М. 1956. 208 стр. Цена 4 р. 70 к.

Трудно найти в нашей стране человека, и не только в нашей стране, который не был бы знаком с повестью «Мать» А. М. Горького. Известно, что прообразами центральных героев этой повести писателю послужили два представителя семьи Заломовых — Анна Кирилловна Заломова и её сын Пётр Андреевич Заломов, молодой рабочий Сормовского завода.

В сборник включены воспоминания Петра Андреевича Заломова (они выходили отдельным изданием в Курске в 1939 году и Горьком в 1947 году), рассказ о своей жизни А. К. Заломовой и воспоминания младшей сестры Петра Андреевича — Варвары Заломовой (первоначально напечатаны в журнале «Знамя» № 11 за 1938 год). Кроме того, в сборнике приводятся письма

П. А. Заломова к своим родным, к друзьям, к А. М. Горькому, отдельные статьи из газеты «Искра», рассказывающие о рабочей политической демонстрации 1 мая 1902 года в Сормове и судебном процессе над её участниками.

С. С. СОВЕТОВ. Адам Мицкевич. Издательство Ленинградского университета. 1956. 188 стр. Цена 6 р. 80 к.

Автор этой книги С. С. Советов многие годы занимался творчеством великого польского поэта Адама Мицкевича. Его книга охватывает два важнейших периода в жизни и творчестве Мицкевича: виленско-ковенский (1798—1824) и период пребывания в России (1824—1829). Такое разделение характеризуется не территориальными признаками, сообщает в предисловии автор, но прежде всего стремлением показать эволюцию эстетических воззрений поэта, его духовный рост и развитие творческой деятельности от революционного романтизма к реализму.

С особым интересом будут прочитаны страницы, повествующие о пребывании Адама Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге. В книге приведены документы, наглядно раскрывающие политические и культурные связи передовых людей Польши и России.

ЮГОСЛАВСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ. Перевод с сербско-хорватского, словенского и македонского П. Эрстова. Под редакцией М. Зенкевича. Гослитиздат. М. 1956. 187 стр. Цена 3 р. 30 к.

Югославские народные песни популярны во многих странах. «Прелесть содержания и художественная полнота формы, — писал о них Н. Г. Чернышевский, — одинаково совершенны в этих превосходных песнях».

Собранные в книге произведения отличаются тематическим и жанровым разнообразием. Исторические баллады, сатирические стихи и задушевные лирические песни широко представлены в сборнике. Они отражают черты национального своеобразия и культуры народов, населяющих Югославию. Большинство помещённых в сборнике песен на русский язык переведены впервые.

А. ВАРШАВСКИЙ. Заметки о Югославии. Госполитиздат. М. 1955. 80 стр. Цена 85 к.

Советский журналист А. Варшавский посетил Югославию в конце прошлого года. Он побывал во многих районах страны и рассказывает о большом интересе югославов к советским людям. Этот живой друже-

ский интерес, пишет автор, чувствовался по тому, «как посмотрел на тебя случайный прохожий, обернувшийся на звук русской речи, по тому, с каким удовольствием ученицы гимназии читали русские стихи, или, наконец, по тому, какую массу людей соборали просмотры наших кинокартин в Белградском доме советской культуры».

Небольшая книжка Л. Варшавского рассказывает о первых, беглых впечатлениях от Югославии. Советские читатели хотя бы более полно познакомятся с сегодняшним днём Югославии, с жизнью его талантливого, гордого народа, с которым нас накрепко связывают узы братской дружбы.

ВОЛШЕБНАЯ ЧАША. По мотивам индийских сказок. Обработка для детей Н. Ходза. Рисунки Н. Кочергина. Детгиз. Л. 1956. 153 стр. Цена 5 р. 45 к.

Советский читатель уже знаком с красочными и мудрыми индийскими сказками: в прошлом году Государственное издательство художественной литературы выпустило в переводе с языка урду сборник таких сказок.

В аннотируемую книгу вошли индийские сказки, специально обработанные для детей. Слобовью и сердечностью изображён в этих сказках трудовой народ: горшечники, жестянщики, плотники, брадобреи. Безымянные сказители воспевают природный ум, справедливость, храбрость и доброту простых людей. Рядом с людьми в сказках действуют фантастические существа и животные.

П. МАКРУШЕНКО. Рассказы натуралиста. Костромское книжное издательство. 1956. 54 стр. Цена 75 к.

Однажды в почтовый вагон погрузили ящики с живыми пчёлами, которых надо было срочно доставить в Москву. В дороге случилась беда: машинист резко затормозил поезд, один из ящиков упал, чуть-чуть приоткрылся, и стряхнутые с рамок, обожжённые пчёлы хлынули наружу. Испуганные разъярённым роем почтовые работники заперлись в служебном купе. Дверь вагона на остановке не открывалась, корреспонденция не принималась, нормальная работа почты нарушилась. Но вот один из пассажира, семнадцатилетний паренёк, вызвался войти в опасный вагон и загнать всех пчёл обратно в ящик, и сдержал своё обещание. Как ему это удалось? На таких и сходных с ними загадках из мира живой природы строится большинство «Рассказов натуралиста» П. Макрушенко. Хорошее знание обычаев, повадок птиц и насекомых, особенностей тех или иных растений, умение рассказать об этом увлекательно и просто (к сожалению, эту простоту кое-где портит наивная беллетризация) — всё это

делает рассказы П. Макрушенко интересными и полезными для юных читателей, которым адресована эта небольшая книжка.

А. М. ГОРОДИНСКИЙ. Колхоз на подъёме. Лениздат. 1956. 128 стр. Цена 1 р. 65 к.

Небольшой колхоз имени XVIII партсъезда, расположенный в 38 километрах от Ленинграда, за короткий срок вышел из отстающих в передовые. На протяжении пяти лет денежные доходы колхоза увеличились в четыре раза. К концу шестой пятилетки общий доход возрастёт на миллион рублей. Запланировано выдать в 1960 году на каждый трудодень по 21 рублю вместо 8 рублей в 1955 году.

Рассказывая об этих достижениях, автор книги — председатель правления колхоза — приводит интересный экономический анализ развития многоотраслевого общественного хозяйства.

А. СВЕТОВ. Это будет на спартакиаде. «Физкультура и спорт». 1956. 176 стр. Цена 2 р. 80 к.

Исключительно интересно нынешнее спортивное лето! Одна союзная республика за другой, готовясь к генеральному спортивному смотру — спартакиаде народов СССР, провели уже свои спартакиады. Десять тысяч спортсменов из всех республик, а также команды Москвы и Ленинграда будут в упорной борьбе соревноваться за высокое звание победителей.

Книжка А. Светова знакомит читателя с тем, что будет происходить на новом, самом большом в СССР стадионе в Лужниках, на Москве-реке, в августе.

VII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ. Издательство газеты «Советский спорт». М. 1956. 156 стр. Цена 2 р. 50 к.

Эту книжку написали специальные корреспонденты газеты «Советский спорт» И. Немухин, В. Пашинин и В. Фролов в содружестве с фотографом Б. Светлановым, выезжавшие в Кортина д'Ампеццо на «Белую олимпиаду» (так называют на Западе VII олимпийские игры). Конькобежцы и лыжники, хоккеисты и фигуристы развернули напряжённую борьбу на «ледяном стадионе», на лыжне, на крутых горных спусках. Много побед одержали советские спортсмены и спортсменки. Хоккейная команда СССР завоевала 51 золотую медаль чемпионов мира, Европы и олимпийских игр.

Обо всём этом живо рассказывается в книжке — первой, выпущенной молодым издательством и вышедшей уже через два месяца после соревнований. В приложениях к книжке приведён интересный и полезный справочный материал. Почему-то редакция забыла поместить оглавление; это затрудняет пользование книжкой.

Сдаются в печать...

В Государственном издательстве политической литературы слано в печать учебное пособие «История СССР. Эпоха социализма», предназначенное для студентов и слушателей политехнол повышенного типа. В книге освещён путь, пройденный нашей

страной за сорок лет. Всесторонне показана руководящая роль Ленина в победе Великой Октябрьской социалистической революции, в установлении Советской власти, в создании Союза Советских Социалистических Республик, в подготовке программы социали-

стического строительства в нашей стране. В полном объёме предстаёт организующая и направляющая роль Коммунистической партии на всех этапах истории Советского государства. Правдиво показаны огромные трудности, которые приходилось преодолевать советскому народу, а также ошибки, которые при этом допускались.

В книге Г. А. Фавстова и В. А. Шварева «Февральская революция в России» многие события освещены значительно полнее, чем в прежних работах. Читатель знакомится с непосредственными участниками революции — не только с руководителями, но и с рядовыми борцами. Показана обширная география Октябрьского восстания, охватившего вслед за Петроградом все районы страны. Факты убеждают в огромной популярности большевистской программы среди широких народных масс уже на первом этапе революции.

В работе члена-корреспондента Академии наук Г. В. Хачапуридзе «Борьба грузинского народа за победу Советской власти» использована большая литература и новые архивные материалы, воссоздающие картину того времени. Ценность работы повышается тем, что именно в освещении революционных событий в Грузии имелось много извращений.

Книга «Из истории борьбы советского народа против иностранной военной интервенции и внутренней контрреволюции в 1918 году» написана большим коллективом авторов. Среди них — историки Москвы, Ленинграда, Ташкента.

В те грозные дни, когда четырнадцать государств включились в «крестовый поход» против СССР, героический советский народ, руководимый гением Ленина и мудрой Коммунистической партией, в тяжёлых боях против интервентов отстаивал своё право на свободную, счастливую жизнь. Из народной толпы вышли талантливые полководцы-самородки, такие, как несправедливо забытый в нашей литературе легендарный герой гражданской войны В. К. Блюхер — первый, кто был награждён орденом Красного Знамени.

Много нового узнает читатель о деятельности Ленина в создании Красной Армии, о его руководстве военными действиями, о его повседневной заботе о бойцах и командирах, о том, как терпеливо и настойчиво разъяснял Ленин допущенные ошибки.

Немалое значение в большом и важном деле воссоздания подлинной истории советского общества имеют воспоминания старых большевиков.

Госполитиздат подготовил к сдаче в печать несколько мемуарных книг, которые явятся ценным дополнением к истории советского общества или, вернее, сами составляют неотъемлемую её часть.

Старейший рабочий-большевик Сергей Яковлевич Аллилуев, книга которого «Прой-

денный путь» в скором времени выйдет в свет, вступил в ряды социал-демократической организации в Тифлисе шестьдесят лет назад — в 1896 году. С. Я. Аллилуев — активный участник первой русской и Великой Октябрьской социалистической революций. Он умер в 1945 году.

«В своих воспоминаниях, — пишет М. И. Калинин, — товарищ Аллилуев называет себя бунтарём. И действительно, я знаю его как бунтаря, но только в лучшем понимании этого слова. Бунтарство его всегда носило характер революционно-пролетарского действия, направленного на защиту угнетённых».

«Записки большевика» Осипа Ароновича Пятницкого охватывают период с возникновения Коммунистической партии до февраля 1917 года и представляют собой ценный вклад в историко-партийную литературу. О. Пятницкий родился в 1882 году в семье рабочего-столяра. В шестнадцатилетнем возрасте вступил в РСДРП. Вернувшись из ссылки, О. Пятницкий после победы Октябрьской революции был секретарём Московской партийной организации и одним из секретарей ИККИ. В последние годы работал в ЦК ВКП(б), членом которого был избран на XV съезде. Умер О. Пятницкий в 1939 году. С юношеских лет и до самой смерти он оставался честнейшим коммунистом, неразрывно связавшим свою жизнь с жизнью Коммунистической партии.

В 1932 году в опубликованном в «Правде» приветствии в честь пятидесятилетия О. Пятницкого Надежда Константиновна Крупская писала: «20 лет проработал Пятницкий (или «Пятница», «Фрейтаг», как мы его называли) в подполье. Он был типичным революционером-профессионалом, который всю свою жизнь, всего себя отдавал партии, жил только её интересами. Пятница был убеждёнейшим большевиком, цельным, у которого слово никогда не расходилось с делом, на которого можно было положиться. Таким его считал Ильич».

В предисловии к книге М. Лядова «Из жизни партии в 1903—1907 годах» Елена Стасова пишет: «Воспоминания Мартина Николаевича Лядова (умершего в 1946 году) представляют несомненный интерес для всех, кто хочет знать, как возникла и развивалась Коммунистическая партия». Профессиональный революционер-подпольщик М. Н. Лядов вместе с Лениным боролся за создание и укрепление партии нового типа. На протяжении ряда лет он был лично и перепиской связан с Владимиром Ильичём, неоднократно встречался с ним в России и за границей. М. Н. Лядов был участником II, III, IV и V съездов партии.

В дни декабрьского вооружённого восстания М. Н. Лядов был членом Московского Комитета партии и Исполнительной комиссии МК по руководству восстанием.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. Алексеева и С. Воловикова. Стратегия и тактика большевиков в первой русской революции. 168 стр. Цена 2 р.

Э. Я. Брегель. Накопление капитала и обнищание пролетариата. 184 стр. Цена 2 р. 25 к.

А. Я. Лурье. Портреты деятелей Парижской Коммуны. 420 стр. Цена 7 р. 30 к.

Материалы второй сессии Всекитайского собрания народных представителей. 440 стр. Цена 10 р.

Международные отношения на Дальнем Востоке (1840—1949 гг.). 284 стр. Цена 19 р.

И. Портянкин. Большевицкая печать в годы первой русской революции. 128 стр. Цена 2 р.

Г. Е. Скоров. Французский империализм в Западной Африке. 224 стр. Цена 5 р.

Р. И. Цзылев. Объединение угольных и стальных королей Западной Европы. 144 стр. Цена 1 р. 65 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР четвёртого созыва. Пятая сессия (11—16 июля 1956 г.). Стенографический отчёт. 396 стр. Цена 8 р.

Стенографический отчёт издаётся на языках: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском и финском.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Закон о государственных пенсиях. Принят Верховным Советом СССР 14 июля 1956 г. 32 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Азаров. Товарищ Тельман. Поэма. 100 стр. Цена 2 р.

Я. Брыль. На Быстрянке. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 200 стр. Цена 3 р. 85 к.

А. Велиев. В нашем Чичекли. Роман. Перевод с азербайджанского. 364 стр. Цена 6 р. 45 к.

Б. Галин. Годы нашей жизни. Очерки. 672 стр. Цена 11 р. 50 к.

Г. Добин. Рассказы. Перевод с еврейского. 248 стр. Цена 4 р. 45 к.

И. Дубинский, Шатровы. Записки комбайнера. 195 стр. Цена 3 р. 80 к.

С. Крушинский. Горный поток. Роман. 504 стр. Цена 8 р. 20 к.

Ю. Пиляр. Всё это было! Повесть. 240 стр. Цена 2 р. 90 к.

Г. Рыклин. Серьёзный разговор. Рассказы и фельетоны. 256 стр. Цена 4 р. 10 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Индонезийские сказки. Перевод с индонезийского. 240 стр. Цена 4 р. 10 к.

Аветик Исаакян. Избранные сочинения в двух томах. Перевод с армянского. Том первый. 348 стр. Цена 6 р. 90 к. Том второй. 216 стр. Цена 5 р.

В. Катаев. Собрание сочинений. В пяти томах. Том первый. 610 стр. Цена 12 р.

И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. 496 стр. Цена 11 р. 85 к.

Яков Ухсай. Дед Кельбук. Поэма. Авторизованный перевод с чувашского. 176 стр. Цена 3 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Болдырев. Книга о металле. 352 стр. Цена 9 р. 5 к.

Мих. Горденко. Море моё. Стихи и поэмы. 143 стр. Цена 3 р. 15 к.

Мехти Гусейн. Схватка. Повести. Авторизованный перевод с азербайджанского. 376 стр. Цена 7 р.

Джанси Кимонко. Там, где бежит Сукпай. Повесть. 176 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Остроумов, Ю. Добряков, Н. Быков. Путешествие в год 60-й. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

Евг. Пермяк. Кем быть? Путешествие по профессиям. 448 стр. Цена 9 р. 55 к.

Анжела Степанян. Золотая медаль. Авторизованный перевод с армянского. 304 стр. Цена 5 р. 95 к.

А. Тайми. Страницы пережитого. 256 стр. 5 р. 35 к.

ДЕТГИЗ

В. Аланов. Петька Дёров. Повесть. 280 стр. Цена 7 р.

А. Бруштейн. Дорога уходит в даль... Повесть. 108 стр. Цена 2 р. 30 к.

Э. Выгодская. Опасный беглец. Пламя гнева. 456 стр. Цена 10 р. 30 к.

М. Коршунов. Красные каштаны. Рассказы и повести. 256 стр. Цена 4 р. 45 к.

В. Лацис. Со-голик. Рассказы. Перевод с латышского. 80 стр. Цена 2 р. 80 к.

Д. Линдсей. Беглецы. Восстание на золотых приискаx. Перевод с английского. 328 стр. Цена 7 р. 65 к.

Г. Мало. Без семьи. Сокращённый перевод с французского. 360 стр. Цена 6 р.

С. Могилевская. Золотой налив. Повесть. 152 стр. Цена 3 р. 85 к.

А. Мусатов, Г. Рихтер. Делегат. Повесть. 128 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ю. Олеша. Три толстяка. Повесть-сказка. 152 стр. Цена 5 р. 60 к.

О. Перовская. Ребята и зверята. 198 стр. Цена 4 р. 25 к.

М. Поступальская. На Лене-реке. Историческая повесть. 248 стр. Цена 4 р. 90 к.

Сказки русских писателей. 192 стр. Цена 3 р. 70 к.

Г. Скребницкий. Товарищи по охоте. Рассказы. 128 стр. 2 р. 85 к.

А. Феи. Петрусь Потупа. Повесть. 128 стр. Цена 2 р. 95 к.

И. Франко. Детям. Поэмы. Притчи. Сказки. Рассказы. 368 стр. Цена 7 р. 65 к.

В. Чаплина. Мои воспитанники. Рассказы. 168 стр. Цена 3 р. 70 к.

К. Чуковский. Бибигон. Сказка. 48 стр. Цена 3 р. 25 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. П. Бодров. Большевиcтские военные газеты в годы первой русской революции. 173 стр. Цена 5 р. 55 к.

Л. Вайнштейн. Спортивная стрельба из пистолета и револьвера. 158 стр. Цена 3 р. 85 к.

Е. Воробьёв. Польские встречи. Путевые очерки. 175 стр. Цена 3 р.

А. М. Иовлев и Д. А. Воропаев. Борьба Коммунистической партии за создание военных кадров (1918—1941 гг.). 119 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Лашков. Дорога на перевал. Стихи. 158 стр. Цена 2 р. 75 к.

С. Напалков. Рассказ о далёких странах. 256 стр. Цена 5 р. 35 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. М. Андреева. Австралия. Географический очерк. 102 стр. Цена 1 р. 70 к.

География Китайской Народной Республики. Сборник статей. 135 стр. Цена 3 р. 50 к.

Я. Н. Гузеватый. Китайская Народная Республика. Географический очерк. 134 стр. Цена 2 р. 35 к.

Л. И. Маруашвили. Вахушти Багратиони, его предшественники и современники. 136 стр. Цена 4 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Иоганнес Бехер. Избранное. Перевод с немецкого. 420 стр. Цена 8 р. 35 к.

Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд. Африка грёз и действительности. Том 1. Перевод с чешского. 279 стр. Цена 18 р.

С. Д. Дешпанде. Западная Индия. Географический обзор. Перевод с английского. 261 стр. Цена 19 р. 30 к.

Египетские новеллы. Перевод с арабского. 182 стр. Цена 4 р. 50 к.

Ремус Лука. Ана Нуку. Перевод с французского. 204 стр. Цена 5 р. 45 к.

И. Марянович. Освободительная война и народная революция в Югославии. Сокращённый перевод с сербско-хорватского. 125 стр. Цена 1 р. 85 к.

Х. Матусоу. Лжесвидетель. Перевод с английского. 290 стр. Цена 9 р. 40 к.

Альберт Норден. Между Берлином и Москвой. К истории германско-советских отношений. Перевод с немецкого. 411 стр. Цена 14 р. 80 к.

С. Радхакришнан. Индийская философия. Том 1. Перевод с английского. 623 стр. Цена 29 р.

ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ

В. Коккошка. Путь к мастерству. 104 стр. Цена 1 р. 65 к.

Коллектив авторов. Полёт на Луну. 183 стр. Цена 3 р. 50 к.

П. Г. Москатов. Плечом к плечу. 455 стр. Цена 9 р. 35 к.

ПЕНЗЕНСКОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Поэты Пензы. 176 стр. Цена 2 р. 90 к.

Джемс В. Шульц. Ошибка Одинокого Бизона и другие повести. 312 стр. Цена 7 р. 35 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,
М. К. Луконин, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 22/VI 1956 г.

А 09933. Формат бумаги 70×108/16, 9 бум. л.—24,66 печ.

Подписано к печати 3/VIII 1956 г.

л. Тираж 140.000. Заказ № 1417

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.